

РАСЫА  
ТАМБАТОВ



МОЙ ДАГЕСТАН

Scan Kreyder - 13.04.2018 - STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА  
**ДН**  
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ  
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

**Сурен Агабабян  
Ануар Алимжанов  
Лев Анненский  
Сергей Баруздин  
Альгимантас Бучис  
Константин Воронков  
Валерий Гейдеко  
Леонид Грачев  
Игорь Захорошко  
Имант Зиедонис  
Мирза Ибрагимов  
Алим Кешоков  
Григорий Корабельников  
Леонид Лавлинский  
Георгий Ломидзе  
Андрей Лупан  
Юстинас Марцинкявичюс  
Рафаэль Мустафин  
Леонид Новиченко  
Александр Овчаренко  
Александр Руденко-Десняк  
Инна Сергеева  
Леонид Теракопян  
Бронислав Холопов  
Иван Шамякин  
Людмила Шиловцева  
Камиль Яшен**



Б И Б Л И О Т Е К А   « Д Р У Ж Б Ы   Н А Р О Д О В »

РАСУЛ  
ГАМЗАТОВ

мой дагестан



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» ● МОСКВА ● 1977

**С (Аварск.) 2**  
**Г18**

**Перевод с аварского Владимира СОЛОУХИНА**

**Художник И. УРМАНЧЕ**

**Г  $\frac{70302-025}{074(02)-77}$  179-77** подписное



8 сентября 1923 года в ауле Цада Хунзахского района Дагестана, в семье народного поэта Дагестана Гамзата Цадаса родился сын. Назвали его Расул, что означает по-арабски «представитель». Детство Расула Гамзатова прошло в аварском ауле. Здесь он ходил в школу, которая помещалась в Хунзахской крепости, помнящей еще времена Шамиля. Сюда же вернулся учителем в 1940 году, окончив Буйнакское педагогическое училище. В Цада одиннадцатилетний Расул написал свое первое стихотворение. Здесь постигал он мудрость своего народа.

Расул Гамзатов рано начал писать. Когда ему было четырнадцать лет, в аварской газете появились его стихи. А в 1942 году вышел первый сборник «Пламенная любовь и жгучая ненависть» на аварском

языке (в 1943 году — на русском). В этих первых стихах сразу же прозвучала одна из основных тем творчества Расула Гамзатова — тема содружества советских народов.

Большое значение для формирования поэтического таланта Гамзатова имела его учеба в Литературном институте им. А. М. Горького в Москве. Здесь, в институте, Гамзатов с упоением переводил на аварский язык стихи и поэмы Пушкина («Цыгане», «Медный всадник», «Полтава» и др.). Здесь же он нашел своих первых переводчиков, и стихи Расула Гамзатова зазвучали на русском языке. С тех пор у Гамзатова и в Махачкале на родном языке и в Москве на русском языке вышло более сорока сборников.

В 1947 году — «Наши горы» и «Земля моя», в 1950 — «Родина горца», в 1952 — «Слово о старшем брате», в 1955 — «Дагестанская весна».

Стихи Гамзатова, объединенные общим названием «Песни гор», ясные, простые. Иногда лукавые, иногда мудрые и всегда подкупающе искренние. Большое место в поэзии Гамзатова занимает любовная лирика. В ней звучит то напряженное страстное чувство, то мужественная сдержанность. Влюбленный уверен, что он один знает о своей любви. Но, оказывается, его любовью наполнен весь мир. Ее ликую-

щая мелодия слышна и в звуках песни старого чабана, и в шуме горной реки, и в нежном шелесте листьев. Лирический герой Гамзатова — человек большой душевной силы, истинного благородства.

В 1953 году вышла в свет поэма Р. Гамзатова «Разговор с отцом». В ней затронута одна из «вечных тем» поэзии — о назначении поэта. «Стихи, вы обязаны трудиться. Я понял, что в этом — призвание поэта» — такова основная мысль поэмы. В 1958 году читатель знакомится с новой поэмой Расула Гамзатова — «Горянка». Ее героиня Асият, наша современница, воспитанная Советской властью, смело бросает вызов старым законам и побеждает в этой борьбе.

За сборник стихов и поэм «Год моего рождения» (1950) Расулу Гамзатову была присуждена Государственная премия.

За поэтический сборник «Высокие звезды» поэт удостоен Ленинской премии.

Расул Гамзатов — народный поэт Дагестана. Он глубоко почитаем в своей родной республике. Но поэта чтит вся наша страна, весь советский народ. Много лет Расул Гамзатов избирается депутатом Верховного Совета СССР. Книги поэта выходят огромными тиражами и неизменно пользуются популярностью. Хорошо известно творчество Р. Гамзатова и за пределами нашей

страны. Его стихи и поэмы переведены на многие языки мира. И сам поэт объездил почти весь мир. Дважды побывал он и в Хиросиме, в «столице трагедии нашей планеты». Итогом этих поездок стала поэма «Колокол Хиросимы», где трагический материал воссоздан во всей своей чудовищной беспощадности, сурово и обнаженно.

Каждый год приносит читателю новые книги Гамзатова. Вот далеко не полный перечень его поэтических сборников, вышедших за последнее десятилетие: «Четки лет», «Мулатка», «Две шали», «Стихи и поэмы», «Книга любви» и др.

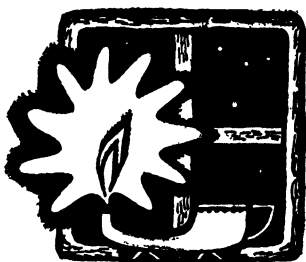
Многие стихи Гамзатова положили на музыку, и его песни получили признание и пользуются заслуженным успехом в нашей стране.

«Мой Дагестан» — первая книга в прозе Расула Гамзатова, Книга автобиографична, освещена мягким юмором. Писатель рассказывает в ней смешные и грустные истории, пережитые им самим или сохранившиеся в народной памяти, перемежая их размышлениями о жизни, об искусстве, обо всем, что ему дорого и важно в этом мире.

В 1974 году Расулу Гамзатову за большие заслуги в развитии советской литературы и общественную деятельность присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Если ты выстрелишь  
в прошлое  
из пистолета,  
будущее  
выстрелит  
в тебя из пушки.  
*Абуталиб сказал*

Путник, если ты обойдешь  
мой дом,  
Град и гром на тебя, град  
и гром!  
Гость, если будешь сакле  
моей не рад,  
Гром и град на меня, гром  
и град!  
*Надпись на дверях*



**книга первая**







## ● ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ О ПРЕДИСЛОВИЯХ ВООБЩЕ

Когда проснешься,  
не вскакивай с постели,  
словно ужаленный.  
Сначала подумай над тем,  
что тебе приснилось.

**Я** думаю, что сам аллах, прежде чем рассказать своим приближенным какую-нибудь забавную историю или высказать очередное нравоучение, тоже сначала закурит, неторопливо затанется и подумает.

Самолет, прежде чем взлететь, долго шумит, потом его везут через весь аэродром на взлетную дорожку, потом он шумит еще сильнее, потом разбегается и, только проделав все это, взлетает в воздух.

Вертолету не нужно разбегаться, но и он долго шумит, грохочет, дрожит мелкой, напряженной дрожью, прежде чем оторваться от земли.

Лишь горный орел взмывает со скалы сразу в синее небо и легко парит, подымаясь все выше, превращаясь в незаметную точку.

У всякой хорошей книги должно быть такое вот начало, без длинных оговорок, без скучного предисловия. Ведь если быка, пробегающего мимо, не успеешь схватить за рога и удержать, то за хвост его уже не удержишь.

Вот певец взял в руки пандур. Я знаю, что у певца хороший голос, так зачем же он так долго и бездумно бренчит, прежде чем начать песню? То же самое скажу

о докладе перед концертом, о лекции перед началом спектакля, о нудных поучениях, которыми тесть угощает зятя, вместо того чтобы сразу позвать к столу и налить чарку.

Однажды мюриды расхвастались друг перед другом своими саблями. Они говорили о том, из какой прекрасной стали их сабли сделаны и какие прекрасные стихи из корана начертаны на них. Среди мюридов оказался Хаджи-Мурат — наиб великого Шамиля. Он сказал:

— О чем вы спорите в прохладной тени чинары? Завтра на рассвете будет битва, и ваши сабли сами решат, которая из них лучше.

И ВСЕ ЖЕ я думаю, что аллах неторопливо закуривает, прежде чем начать свой рассказ.

И ВСЕ ЖЕ в моих горах есть обычай — всадник не вскакивает в седло около порога сакли. Он должен вывести коня из аула. Наверно, это нужно, чтобы еще раз подумать о том, что он оставляет здесь и что ожидает его в пути. Как бы ни подгоняли дела, неторопливо, раздумчиво проведет он коня в поводу через весь аул и только потом уж, едва коснувшись стремени, взлетит в седло, пригнется к луке и растает в облачке дорожной пыли.

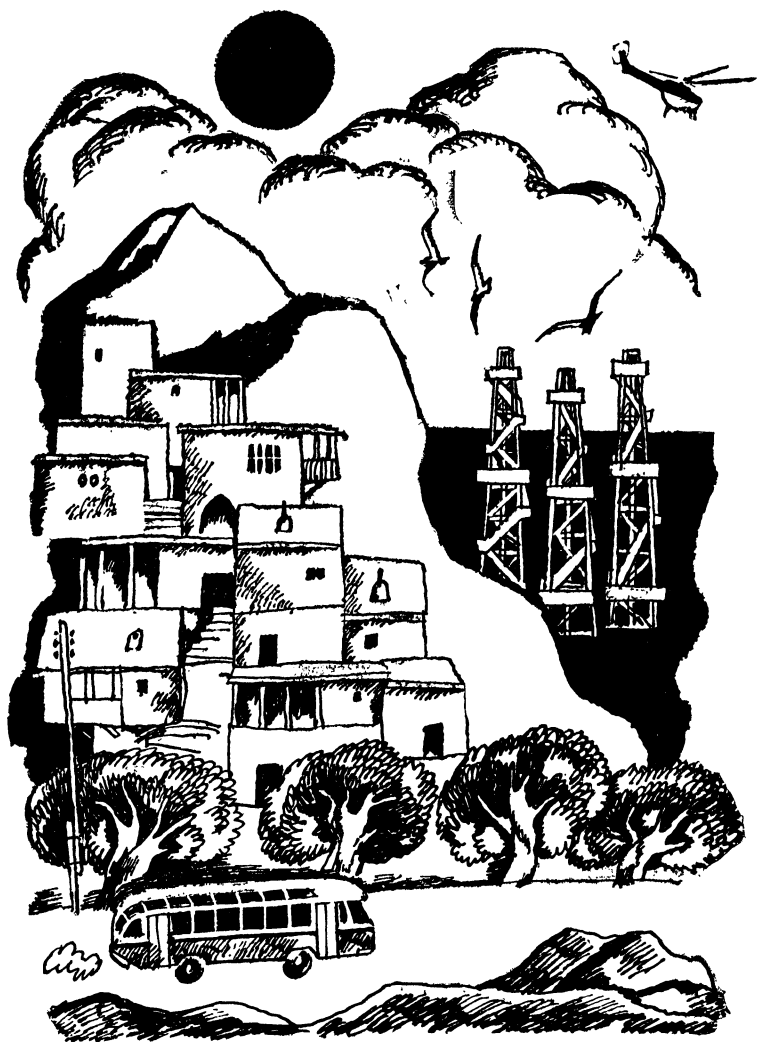
Вот и я, прежде чем вскочить в седло моей книги, медленно иду в раздумье. Я веду коня в поводу и сам иду рядом с ним. Я думаю. Я медлю произнести слово.

Слово может задержаться на языке не только у человека, который заикается, но и у того, кто ищет наиболее подходящее, наиболее нужное, наиболее мудрое слово. Я не надеюсь поразить мудростью, но я и не заика. Я ищу слово и потому запинаюсь на нем.

АБУТАЛИБ СКАЗАЛ: предисловие к книге — это та же соломинка, которую суеверная горянка держит в зубах, латая мужу тулуп. Ведь если не держать в это время соломинку в зубах, тулуп, согласно поверью, может обернуться саваном.

АБУТАЛИБ ЕЩЕ СКАЗАЛ: я похож на человека, который бродит впотьмах, ища дверь, куда бы войти, или на человека, который уже нашарил дверь, но не знает еще, можно ли и стоит ли в нее входить. Он стучится: тук-тук, тук-тук.

— Эй, там, за дверью, если вы собираетесь мясо варить, то пора вставать!



— Эй там, за дверью, если вы собираетесь толочно толочь, спите себе на здоровье, спешить не надо!

— Эй там, за дверью, если вы собираетесь пить бузу, не забудьте позвать соседа!



Тук-тук, тук-тук.

— Так что же, заходить мне или вы обойдетесь без меня?

Человеку нужно два года, чтобы научиться говорить,

и шестьдесят лет, чтобы научиться держать язык за зубами.

Мне не два и не шестьдесят. Я на середине пути. Но все же я, видимо, ближе ко второй точке, потому что несказанное слово мне дороже всех уже сказанных слов.

Книга, не написанная мною, дороже всех уже написанных книг. Она самая дорогая, самая заветная, самая трудная.

Новая книга — это ущелье, в которое я никогда не заходил, но которое уже расступается передо мной, маня в туманную даль. Новая книга — это конь, которого я еще никогда не седлал, кинжал, которого я еще не вытаскивал из ножен.

Горцы говорят: «Не вынимай кинжал без надобности. А если вынул — бей! Бей так, чтобы сразу убить наповал и всадника и коня».

Вы правы, горцы!

**И ВСЕ ЖЕ.** Прежде чем обнажить кинжал, вы должны быть уверены, что он хорошо заточен.

Книга моя, долгие годы ты жила во мне! Ты как та женщина, как та возлюбленная, которую видишь издали, о которой мечтаешь, но к которой не приходилось прикоснуться.

Иногда случалось, что она стояла совсем близко — стоило протянуть руку, но я робел, смущался, краснел и отходил подальше.

Но теперь — кончено. Я решился смело подойти и взять ее за руку. Из робкого влюбленного я хочу превратиться в дерзкого и опытного мужчину. Я седлаю коня, я трижды ударяю его плетью — будь что будет!

**И ВСЕ ЖЕ** сначала я сыплю горский наш самосад на квадратик бумаги, я неторопливо скручиваю самокрутку. Если так сладко скручивать ее, каково же будет курение!

Книга моя, прежде чем тебя начать, я хочу рассказать, как ты прозревала во мне. И как я нашел для тебя название. И зачем я тебя пишу. И какие цели у меня в жизни.

Гостя впускаю на кухню, где еще разделяется баранья туша и пахнет пока не шашлыком, а кровью, и теплым мясом, и парной овчиной.

Друзей я ввожу в заветную рабочую комнату, где лежат мои рукописи, и разрешаю копаться в них.

**ХОТЯ МОЙ ОТЕЦ ГОВОРИЛ:** тот, кто копается в чужих рукописях, подобен шарящему в чужих карманах.

**ОТЕЦ ЕЩЕ ГОВОРИЛ:** предисловие напоминает человека с широкой спиной, к тому же в большой папаше, сидящего в театре впереди меня. Хорошо еще, если он сидит прямо, а не клонится то вправо, то влево. Как зрителю мне такой человек приносит большие неудобства и вызывает в конце концов раздражение.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Мне часто приходится выступать на поэтических вечерах в Москве или других городах России. Люди в зале не знают аварского. Сначала кое-как, с акцентом я рассказываю о себе. Потом друзья, русские поэты, читают переводы моих стихов. Но прежде чем они начнут, меня обычно просят прочитать одно стихотворение на родном языке: «Мы хотим услышать музыку аварского языка и музыку стихотворения». Я читаю, и мое чтение не что иное, как бречание на струнах пандура перед началом песни.

Не таково ли и предисловие к книге?

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Когда я был московским студентом, отец прислал мне денег на зимнее пальто. Получилось так, что деньги я истратил, а пальто не купил. На зимние каникулы в Дагестан пришлось ехать в том же, в чем уехал летом в Москву.

Дома я стал оправдываться перед отцом, на ходу сочиняя всякие небылицы, одну нелепее и беспомощнее другой. Когда я окончательно запутался, отец перебил меня, сказав:

— Остановись, Расул. Я хочу задать тебе два вопроса.

— Задавай.

— Пальто купил?

— Не купил.

— Деньги истратил?

— Истратил.

— Ну вот, теперь все понятно. Зачем же ты наговорил столько бесполезных слов, зачем сочинил такое длинное предисловие, если суть выражается в двух словах?

Так учил меня мой отец.

**И ВСЕ ЖЕ** ребенок, родившийся на свет, не сразу начинает говорить. Прежде чем произнести слово, он бормочет что-то невнятное. И бывает, когда он плачет

от боли, даже родной матери трудно узнать, что у него болит.

Но разве душа поэта не схожа с душой ребенка?

**ОТЕЦ ГОВОРИЛ:** когда люди ждут появления с гор отары овец, сначала они видят рога козла, всегда идущего впереди, потом всего козла, а потом уж самую отару.

Когда люди ждут появления свадебной или похоронной процессии, сначала они видят гонца.

Когда люди ждут в аул гонца, сначала они видят облачко пыли, потом лошадь, а потом всадника.

Когда люди ждут возвращения охотника, они видят сначала его собаку.

## ● О ТОМ, КАК ЗАРОДИЛАСЬ ЭТА КНИГА, И О ТОМ, ГДЕ ОНА ПИСАЛАСЬ

И маленькие дети видят большие сны.

*Надпись на колыбели*

Оружие, которое понадобится один раз, нужно носить всю жизнь.

Стихи, которые будешь повторять всю жизнь, пишутся за один раз.

**Н**ад весенним аулом пролетала весенняя птица. Думала, где бы отдохнуть. Увидела крышу сакли, широкую, плоскую, чистую. На крыше — каменный каток. Спустилась птица со своего поднебесья и села на катке отдохнуть. Проворная горянка поймала птицу и унесла ее в саклю. Птица увидела, что все в доме относятся к ней хорошо, и осталась здесь жить. Она свила себе гнездо на подкове, вколоченной в старую закоптелую балку.

Не так ли и моя книга?

Сколько раз я взглядывал из своего поэтического поднебесья вниз, на равнину прозы, отыскивая, куда бы сесть, отдохнуть...

Нет, лучше здесь сравнение с самолетом, которому нужно спуститься на аэродром. Вот уж я делаю круг, чтобы зайти на посадку. Но аэродром из-за плохой погоды отказывается меня принять. С широкого круга я

снова перехожу на прямую линию полета и лечу дальше, а желанная земля снова остается внизу... Так было не один раз.

Значит, думал я, не суждена мне твердая бетонная опора. Значит, моим ногам суждено безостановочно идти по земле, моим глазам — без отдыха оглядывать новые места на планете, моему сердцу — без отдыха рождать новые песни.

Как пахарь, залюбовавшийся проплывающим мимо облаком либо пролетающим журавлиным клином, снова, стряхнув с себя очарование, с еще большим усердием налегает на ручки плуга, так и я садился опять за поэму, оставленную на середине.

Да, моя поэзия, сколько бы я ни сравнивал ее с поднебесьем, была для меня моей нивой, моей пашней, моим тяжелым трудом. Прозы я не писал совсем.

И вот однажды я получил пакет. В пакете — письмо от редактора одного уважаемого мною журнала. Впрочем, редактора я уважаю тоже. Да и редактор начинал письмо со слов «уважасмый Расул». В общем, сплошное взаимное глубокое уважение.

Когда я развернул письмо, оно показалось мне с буйволиную кожу, которую горцы расстилают на кровле сакли, чтобы хорошенько высушить. И страницы, когда я их перебирал, гремели не хуже буйволиной кожи, когда она уже высохла и ее складывают вчетверо, чтобы нести в саклю. Не было только резкого, щиплющего в носу запаха кожи. Письмо не пахло ничем.

Редактор, между прочим, писал: «Наша редакция решила опубликовать в ближайших номерах журнала материал о достижениях, о добрых делах, о трудовых буднях Дагестана. Пусть это будет рассказ о простых тружениках, об их подвигах, об их чаяниях. Пусть это будет рассказ о светлом «завтра» твоего горного края и о его вековых традициях, но главным образом — о его замечательном «сегодня». Мы решили, что такой материал лучше всех можешь написать ты. Жанр — по твоему усмотрению: рассказ, статья, очерк, ряд зарисовок. Объем материала 9—10 машинописных страниц. Срок 20—25 дней. Надеемся и заранее благодарим...»

Когда-то, выдавая девушку замуж, не спрашивали ее согласия, но просто, как бы теперь сказали, ставили ее перед фактом. Говорили, что все решено. Но даже в



те времена у нас в горах никто не посмел бы сыграть свадьбу своего сына без его согласия. На это, говорят, решился однажды некий гидатлинец. Но разве мой уважаемый редактор журнала из аула Гидатли? Он все решил за меня... Но решил ли я рассказать о моем Дагестане на девяти страничках в двадцатидневный срок?

В сердцах отбросил я подальше оскорбительное для меня письмо. Однако через некоторое время мой телефон начал звонить так настойчиво, словно это был не телефон, а курица, только что снесшая яйцо. Ну, конечно, это был звонок из редакции журнала.

— Здравствуй, Расул! Получил наше письмо?

— Получил.

— А где же материал?

— Да я... Дела... Все как-то нскогда.

— Ну что ты, Расул! Не может быть и речи. Ведь тираж нашего журнала почти миллион. Его читают и за границей. Но если ты действительно очень занят, мы пришлем к тебе человека. Ты ему кинешь несколько мыслей и деталей, остальное он сделает сам. Прочитаешь, подкорректируешь, поставишь свое имя. Нам главное — чтобы имя.

— Пусть переломаются все кости у того, кто не любит гостей! Если кто встретит гостя с недовольным видом или хмуренным лбом, пусть в доме у него не будет ни старших, которые могли бы давать мудрые советы, ни младших, которые эти советы слушали бы! Так смотрим мы на гостей. Но ради бога, не посылайте ко мне Салихалова<sup>1</sup>. Свой бубен я настрою и без него. И ручку к своему кувшину приделаю сам. Если будет зудеть спина, никто не почешет мне ее лучше, чем я сам.

На этом закончились наши переговоры. Васалам, вакалам!<sup>2</sup>

Я взял отпуск на месяц и поехал в родной аул Цада.

Цада!.. Семьдесят теплых очагов. Семьдесят голубых дымков, поднимающихся в чистое высокогорное небо. Белые сакли на черной земле. Перед аулом, перед белыми саклями — зеленые плоские поля. Позади аула поднимаются скалы. Серые утесы столпились над нашим аулом,

<sup>1</sup> Когда аварцы хотят сказать, что дело хорошо налажено, они говорят: «Как бубен у Салихалова». Вероятно, это соответствует поговорке: «Дело в шляпе».

<sup>2</sup> Мир дому твоему. Разговору конец.

словно дети, собравшиеся на плоской кровле, чтобы смотреть вниз на свадебный двор.

Приехав в аул Цада, я вспомнил письмо, которое прислал нам отец, впервые увидевший Москву. Трудно было угадать, где отец шутит, а где говорит всерьез. Он удивлялся Москве:

«Похоже на то, что здесь, в Москве, не разводят огня в очагах, чтобы приготовить пищу, ибо я не вижу женщин, которые лепили бы кизяк на стены своих жилищ, не вижу над крышами дыма, похожего на большую папаху Абуталиба. Не вижу я и катков для укатывания кровель. Не вижу, чтобы москвичи сушили сено на крышах. Но если они не сушат сена, то чем же кормят своих коров? Не увидел я ни одной женщины, бредущей с вязанкой хвороста или травы. Не услышал я ни разу пения зурны или удара в бубен. Можно подумать, что юноши здесь не женятся и не играют свадеб. Сколько я ни ходил по улицам этого странного города, ни разу не увидел ни одного барана. Но спрашивается, что же режут москвичи, когда порог переступит гость? Чем же, если не разрезанным бараном, отмечают они приход кунака? Нет, я не завидую этой жизни. Я хочу жить в своем ауле Цада, где можно вволю поест хинкалов, сказав жене, чтобы она побольше положила в них чесноку...»

Много и других недостатков нашел мой отец в Москве, сравнивая ее с родным аулом. Он, конечно, шутил, когда удивлялся, что дома в Москве не залеплены кизяком, но он не шутил, когда великому городу предпочитал маленький свой аул. Он любил свой Цада и не променял бы его на все столицы планеты.

Дорогой мой Цада! Вот я и приехал к тебе из того огромного мира, в котором еще мой отец подметил так много «недостатков». Я объездил его, этот мир, и увидел много диковинного. Мои глаза разбегались от обилия красоты, не зная, на чем остановиться. Они перескакивали с одного прекрасного храма на другой, с одного прекрасного человеческого лица на другое, но я знал, что, как бы ни было прекрасно то, что я вижу сейчас, завтра я увижу нечто еще более прекрасное... Миру, видишь ли, нет конца.

Пусть простят меня пагоды Индии, пирамиды Египта, базилики Италии, пусть простят меня автострады Америки, бульвары Парижа, парки Англии, горы Швейцарии,

рии, пусть простят меня женщины Польши, Японии, Рима — я любовался вами, но сердце мое билось спокойно, а если и учащалось его биение, то не настолько, чтобы пересыхало во рту и кружилась голова.

Отчего же сейчас, когда я снова увидел эти семьдесят саклей, приютившихся у подножия скал, сердце мое раскачалось в груди так, что больно ребрам, в глазах моих затуманилось и голова закружилась, будто я болен или пьян?

Неужели маленький дагестанский аул прекраснее Венеции, Каира или Калькутты?

Неужели аварка, бредущая по тропинке с вязанкой дров, прекраснее высокорослой белокурой скандинавки?

Цада! Я брожу по твоим полям, и утренняя холодная роса омывает мои усталые ноги. Даже не в горных ручьях, а в родниках умываю я свое лицо. Говорят, если уж пить, то пить из источника. Говорят также — и мой отец это говорил, — что мужчина может стать на колени только в двух случаях: чтобы напиться из родника и чтобы сорвать цветок. Ты, Цада, мой родник. Становлюсь на колени, припадаю губами и жадно пью из тебя.

Увижу камень — и словно прозрачная тень на нем. Это я сам, каким был тридцать лет назад. Сажу на камень и пасу овец. На мне лохматая папаха, в руках длинная палка, на ногах пыль.

Увижу тропинку — и словно прозрачная тень на ней. Это тоже я, каким был тридцать лет назад. Зачем-то пошел в соседний аул. Наверно, меня послал отец.

На каждом шагу я встречаюсь с самим собой, со своим детством, со своими веснами, дождями, цветами, опадающими осенними листьями.

Я раздеваюсь и подставляю свое тело под искрящийся водопад. Поток, прыгая с уступа на уступ со скалы, разбивается вдребезги восемь раз, и собирается вновь, и наконец разбивается о мои плечи, о мои руки, о мою голову.

Душ в парижской гостинице «Королевский дворец» — жалкая пластмассовая игрушка по сравнению с моими прохладными водопадами.

Между теплыми камнями нагревается за день вода, втекающая сюда боковой струйкой из горной речки. Голубоватая ванна в лондонской гостинице «Метрополь» — жалкая тарелка по сравнению с моими горными ваннами.

Да, я люблю ходить по большим городам пешком. Но все же после пяти-шести продолжительных прогулок город начинает казаться знакомым и желание бесконечно бродить по нему притупляется.

Но вот уже в тысячный раз я иду по улочкам своего аула, и нет сытости, и нет желания перестать по нему идти.

В этот приезд я побывал в каждом доме. У каждого очага, где горит огонь, где теплые угли или где давно остывшая холодная зола, склонил я свою голову, тоже припорошенную холодной белой золой.

Я стоял над колыбелями, в которых барахтаются будущие горцы и горянки, или в которых тепло еще, хотя уже пусто, или в которых давно остыли одеяльца и подушки.

Над каждой колыбелью мне казалось, что это я сам в ней лежу и все у меня еще впереди: и горные тропинки, и широкие дороги России, и автострады, аэродромы далеких стран.

Я баюкал детей, пел колыбельные песни, и дети мирно засыпали под мои немудреные песенки.

Бродил я также по цадинскому кладбищу, где старые, заросшие травой могилы соседствуют со свежими могилами, пахнущими землей.

Молчаливо сидел я в домах на траурных сходах, весело плясал на свадьбах. Услышал много слов и рассказов, которых до сих пор не приходилось слышать. Многое из того, что я знал и забыл, снова вспомнилось мне теперь, выплыло из бездонных и темных глубин памяти...

Новое я видел своими глазами, о старом слушал, вспоминая, и думы мои были, как разноцветные нитки, обвивающие большое веретено. Я мысленно представлял уж себе тот многоцветный ковер, который можно соткать из этих ниток.

Еще вчера по птичьим гнездам лазил,  
Друзей-мальчишек в скалы замая,  
Пришла любовь, строга и синеглаза,  
И сразу взрослым сделала меня.

Еще вчера себя считал я взрослым,  
Седым и мудрым до скончанья дней.  
Пришла любовь и улыбнулась просто,  
И снова я мальчишка перед ней <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Стихи, переводчик которых не указан в тексте этой книги, переведены с аварского Вл. Солоухиным.

Да, у меня недописана поэма о любви. Он и Она. Он—это я. Но главная героиня—моя любовь. Надо бы дописать! Но у меня такое чувство, будто я получил тревожную телеграмму и должен бросить все, чтобы спешить на аэродром.

**ИЛИ БЫВАЕТ ТАК**, когда горянка рано утром разжигает огонь в очаге. Она собирается разогревать остатки вчерашнего обеда, которых достаточно, чтобы наелась вся семья. Но на пороге неожиданно появляется гость. Нужно снимать с огня кастрюлю со вчерашней едой, нужно готовить новое кушанье.

**ИЛИ БЫВАЕТ ТАК**, когда на свадьбе юноши садятся поближе к жениху, своему товарищу и ровеснику, но вдруг им приходится вставать и уступать место, потому что в комнату зашли люди постарше их.

**ИЛИ БЫВАЕТ ТАК**, когда в кунацкой сидят старейшины и тут же играют дети. И вдруг детей отсылают из кунацкой, потому что старейшины собираются держать важный совет.

Иногда мне кажется, что я охотник, рыболов, всадник: я охочусь за замыслами, ловлю их, седлаю и прищипориваю их. А иногда мне кажется, что я олень, лосось, конь и что, напротив, замыслы, раздумья, чувства ищут меня, ловят меня, седлают и управляют мной.

Да, мысли и чувства приходят, как гость в горах, без приглашения и без предупреждения. От них, как и от гостя, не спрячешься, не убежишь.

У нас в горах не бывает гостей маленьких или больших, важных или неважных. Самый маленький гость для нас важен, потому что он—гость. Самый маленький гость становится почетнее самого старшего хозяина. Не спрашивая, из каких он краев, мы встречаем гостя на пороге, ведем в передний угол поближе к огню, усаживаем на подушки.

Гость в горах всегда появляется неожиданно. Но он никогда не бывает неожиданным, никогда не застаёт нас врасплох, потому что гостя мы ждем всегда, каждый день, каждый час и каждую минуту.

Так же, как гость в горах, пришел ко мне замысел этой книги.

**ИЛИ БЫВАЕТ ТАК**, когда лениво, от нечего делать снимаешь со стены пандур, чтобы проверить, настроен он или нет, и начинаешь брэнчать, но вдруг нежиз-

данно приходит песня, брелчание перерастает в мелодию, и льются стройные звуки, и сам ты поешь, не замечая, как уходит ночь и наступает рассвет.

**ИЛИ БЫВАЕТ ТАК**, когда юноша пойдет в соседний аул по какому-нибудь пустяковому делу, а возвращается с женой, сидящей за седлом.

Дорогой редактор журнала! Я исполню просьбу, содержащуюся в вашем письме. Скоро я начну книгу о Дагестане. Но только простите меня — в срок, назначенный вами, я, наверно, не уложусь. Слишком много тропинок должен я пройти, а тропинки у нас в горах очень узки и круты.

Горы мои поблескивают вдали таинственно, как нешлифованные алмазы. Много простора моему скакуну. Он не хочет скакать в узкое ущелье, намеченное вами.

Не завернуть мне моего Дагестана и в ваши девяносто страниц. Да и не сумею мне написать «материал о достижениях, о добрых делах, о трудовых буднях», «о простых тружениках, об их подвигах, об их чаяниях», «о светлом «завтра» горного края и о его вековых традициях, но главным образом о его замечательном «сегодня».

Мое маленькое перо не в силах удержать на себе столько груза. Капелька чернил на его конце не может вобрать в себя и большие плавные реки, и грохочущие горные потоки, и судьбы мира, и судьбу одного человека.

Большая птица — много крови, маленькая птица — мало крови. Какова птица — столько и крови.

**ГОВОРЯТ:** случайно бросили косточку, случайно она упала на оленью голову, и вот выросли прекрасные оленьи рога.

**ГОВОРЯТ:** если бы не было на свете Али, не появилось бы на свете Омара. Если бы не было на свете ночи, неоткуда было бы взяться утру.

**ГОВОРЯТ:**

- Где ты родился, орел?
- В тесном ущелье.
- Куда ты летишь, орел?
- В просторное небо.

## ● О СМЫСЛЕ ЭТОЙ КНИГИ И О ЕЕ НАЗВАНИИ

О празднике он возвещать нам рад,  
Но дремлет в нем и яростный набат.

*Надпись на колоколе*

Был храбрым отец, был правдивым отец до конца.  
Здесь младенец спит, носящий имя отца.  
Отцовский кинжал висит в его головах,  
Подвиг отца — у колыбельной песни в словах.

*Надпись на колыбели*

**Д**ве вещи должен беречь горец: свою папаху и свое имя. Папаху сбережет тот, у кого под папай есть голова. Имя сбережет тот, у кого в сердце — огонь.

В потолке нашей тесноватой сакли много следов от пуль. Друзья моего отца стреляли в потолок из пистолетов: орлы, гнездящиеся в окрестных горах, должны узнавать, что у них родился брат и что в Дагестане одним орлом стало больше.

Конечно, от выстрела, от пули не может родиться сын. Но всегда должна найтись пуля, чтобы отметить рождение сына.

Когда родился я и когда мне давали имя, друг моего отца выстрелил дважды: и в потолок и в пол.

Мать рассказывала о том, как мне давали имя. Я был в нашем доме третьим сыном. Была еще одна девочка, моя сестра, но мы говорим о мужчинах, о сыновьях.

Имя первенца знал весь аул задолго до его появления на свет, ибо по обычаю он должен был получить имя своего покойного деда. Каждый житель аула помнил об этом, и все говорили: скоро в семье Гамзатов появится Магомет.

Во двор моего дедушки ни разу не заходило ни одно четвероногое животное, кроме разве собаки да кошки. Едва ли он когда-нибудь спал под одеялом, едва ли он знал, что такое нижнее белье. Ни один доктор в мире не мог бы похвастаться тем, что осматривал Магомета, заглядывая ему в рот, щупал пульс, заставлял дышать его то глубже, то реже и вообще видел его тело. Никто не знал также у нас в ауле точных дат его рождения и смерти. Если верить одному заявлению, написанному, чтобы

очернить моего отца, дедушка Магомет немного знал по-арабски. Его-то имя и дал мой отец своему первенцу, моему старшему брату.

Был у моего отца еще дядя, который умер незадолго до рождения второго мальчика. Дядю звали Ахильчи.

— Вот и Ахильчи воскрес! — радостно говорили жители аула, когда родился в нашем доме второй мальчик. — Воскрес наш Ахильчи. Пусть будет к добру, а не к беде, если сядет ворона на его бедную саклю. Пусть мальчик вырастет таким же благородным человеком, каким был тот, чье имя ему досталось носить.

К тому времени, когда нужно было родиться мне, у отца не было уже в запасе ни родных, ни друзей, которые недавно умерли или пропали на чужой стороне и чье имя можно было мне передать, чтобы я нес его по земле с той же честью.

Когда родился я, отец, чтобы исполнить обряд наречения, пригласил в саклю самых почтенных людей аула. Они неторопливо и важно расселись в сакле, словно предстояло решать судьбу целой страны. В руках они держали по пузатенькому изделию балхарских гончаров. В кувшинах была, конечно, пенистая буза. Только у одного, самого старого человека с белоснежной головой и бородой, у старца, похожего на пророка, руки были свободны.

Этому-то старцу передала меня мать, выйдя из другой комнаты. Я барахтался на руках у старца, а мать между тем говорила:

— Ты пел на моей свадьбе, держа в руках то пандур, то бубен. Песни твои были хороши. Какую песню ты споешь сейчас, держа в руках моего младенца.

— О женщина! Песни ему будешь петь ты, мать, качая его колыбель. А потом песни ему пусть поют птицы, реки. Сабли и пули тоже пусть поют ему песни. Лучшую из песен пусть споет ему невеста.

— Тогда назови. Пусть я, мать, пусть весь аул и весь Дагестан услышат имя, которое ты сейчас назовешь.

Старец поднял меня высоко к потолку сакли и произнес:

— Имя девочки должно быть подобно сиянию звезды или нежности цветка. В имени мужчины должны воплощаться звон сабель и мудрость книг. Много имен узнал я, читая книги, много имен слышал я в звоне сабель.



Мои книги и мои сабли шепчут мне теперь имя — РАСУЛ.

Старец, похожий на пророка, наклонился над одним моим ухом и шепнул: «Расул». Потом он наклонился над моим другим ухом и громко крикнул: «Расул!» Потом он подал меня, плачущего, моей матери и, обращаясь к ней и ко всем, сидящим в сакле, сказал:

— Вот и Расул.

Сидящие в сакле молчаливым согласием утвердили мое имя. Старцы опрокинули кувшины, и каждый, вытирая рукой усы, громко крикнул.

Две вещи должен беречь каждый горец: папаху и имя. Папаха может оказаться тяжелой. Имя тоже. Оказывается, седовласый горец, повидавший мир и прочитавший много книг, вложил в мое имя смысл и цель.

Расул по-арабски означает «посланец», или, еще точнее, «представитель». Так чей же я посланец, чей представитель?

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Бельгия. Я — участник встречи поэтов мира, на которую собрались представители разных наций и стран. Каждый выходил и говорил о своем народе, его культуре, его поэзии, его судьбе. Были и такие представители: венгр из Лондона, эстонец из Парижа, поляк из Сан-Франциско... Что поделаешь, судьба разбросала их по разным странам, за моря и за горы, далеко от родной земли.

Всех больше меня удивил поэт, который провозгласил:

— Господа, вы собрались сюда из разных стран. Вы являетесь представителями разных народов. Только я не представляю здесь ни одного народа, ни одной страны. Я представитель всех наций, всех стран, я представитель поэзии. Да, я — поэзия. Я — солнце, которое светит всей планете, я — дождь, который поливает землю, не задумываясь о своей национальности, я — дерево, которое одинаково цветет во всех уголках земного шара.

Так он сказал и пошел с трибуны. Многие аплодировали. А я думал: он прав, конечно, — мы, поэты, ответственны за весь мир, — но тот, кто не приязан к своим горам, не может представлять всю планету. Для меня он похож на человека, который уехал из родных мест, женился там и тещу стал называть мамой. Я не против тещ, но нет мамы, кроме мамы.

Когда у тебя спрашивают, кто ты такой, можно предъявить документы, паспорт, в котором содержатся все основные данные.

Если же у народа спросить, кто он такой, то народ, как документ, предъявляет своего ученого, писателя, художника, композитора, политического деятеля, полководца.

Каждый человек смолodu должен понимать, что он пришел на землю для того, чтобы стать представителем своего народа, и должен быть готовым принять на себя эту роль.

Человеку дают имя, папаху и оружие, человека с колыбели учат родным песням.

В какие бы края ни забросила меня судьба, я везде чувствую себя представителем той земли, тех гор, того аула, где я научился седлать коня. Я везде считаю себя специальным корреспондентом моего Дагестана.

Но в свой Дагестан я возвращаюсь как специальный корреспондент общечеловеческой культуры, как представитель всей нашей страны и даже всего мира.

О нашем крае всем краям подлунным  
Я, как хотелось, рассказать не мог,  
С собой носил я полные хурджуны,  
Да вот беда — их развязать не мог.

И звонкой песни на родном наречье  
Я о подлунном мире спеть не мог,  
Я кованный сундук взвалил на плечи,  
Но сундука я отпереть не мог.

*Перевел Н. Гребнев*

Рассядемся на плоской крыше сакли, и мои земляки начинают расспрашивать меня:

— Не повстречал ли в дальних краях нашего человека?

— Нет ли на земле гор, похожих на наши?

— Не было ли тебе скучно в чужой стороне, не вспоминал ли ты наш аул?

— Знают ли там, в других странах, о нас, о том, что и мы живем на земле?

Я отвечаю:

— Откуда им знать нас, если мы сами себя еще как следует не знаем. Нас один миллион. Мы собраны в ка-

менную горсть дагестанских гор. Миллион человек и сорок разных языков...

— Вот ты и Расскажи о нас — нам самим и другим людям, живущим по всей земле. В течение веков писали нашу историю кинжалы и сабли. Переведи на язык людей эти письма. Если ты, родившийся в ауле Цада, не сделаешь этого, никто не сделает этого за тебя.

Собери свои мысли в отборные табуны, где скакун к скакуну и худших нет между ними. Выпусти эти табуны на пастбища чистых страниц. Пусть мысли мчатся по страницам, как вспугнутые лошади или как стадо турок.

Мысли свои не прячь. Спрячешь — забудешь потом, куда положил. Не так ли скупой забывает иногда о тайнике, где спрятаны деньги, и теряет их из-за своей скупости.

Но не отдавай своих мыслей и другим. Дорогой инструмент нельзя давать ребенку вместо игрушки. Ребенок или сломает, или потеряет инструмент, или обрежется об него.

Никто не знает повадок твоего коня лучше, чем знаешь их ты сам.

**ПРИТЧА О ТРОПЕ МОЕГО ОТЦА.** Из нашего маленького аула Цада в большой аул Хунзах есть дорога, по которой ездят автомобили. В Хунзахе — районный центр. Мой отец всегда ходил в Хунзах не общей дорогой, а по своей собственной тропинке. Он ее наметил, он ее проторил, он ходил по ней каждое утро и каждый вечер.

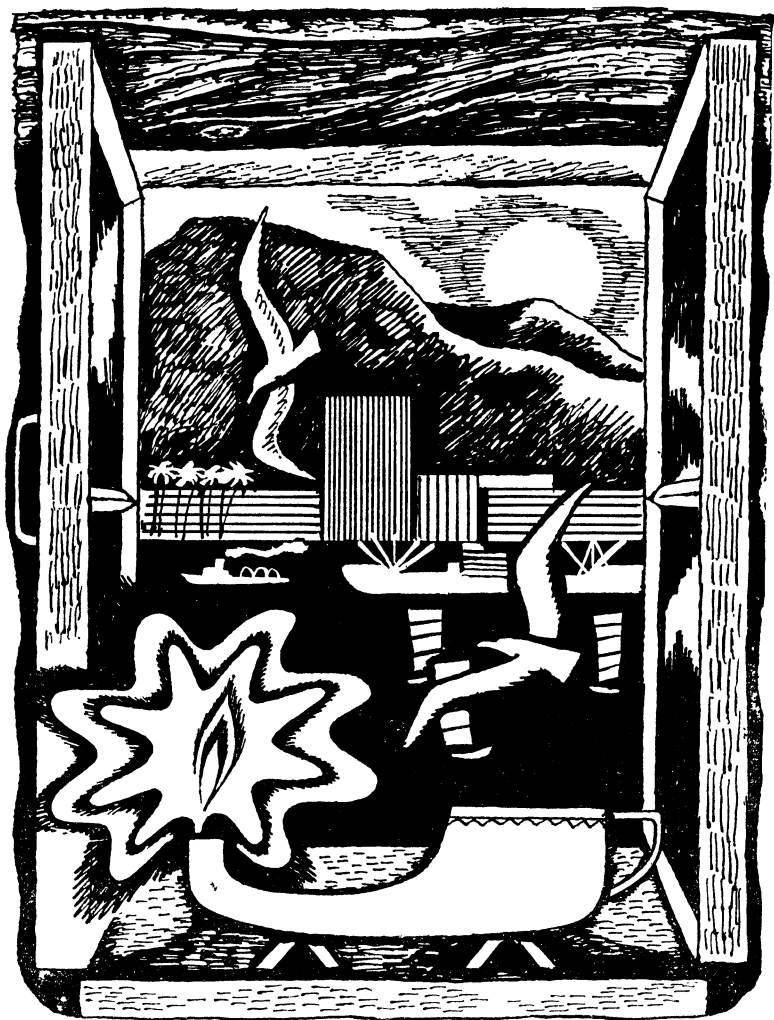
На своей тропе отец умел находить удивительные цветы. Он собирал их в еще более удивительные букеты.

Зимой и справа и слева от тропы он лепил из свежего снега маленькие скульптурки людей, лошадей, всадников. Жители Цада и жители Хунзаха приходили потом любоваться на эти фигурки.

Давно завяли и высохли те букеты, давно растаяли фигурки, вылепленные из снега. Но цветы Дагестана, но образы горцев живы в стихах отца.

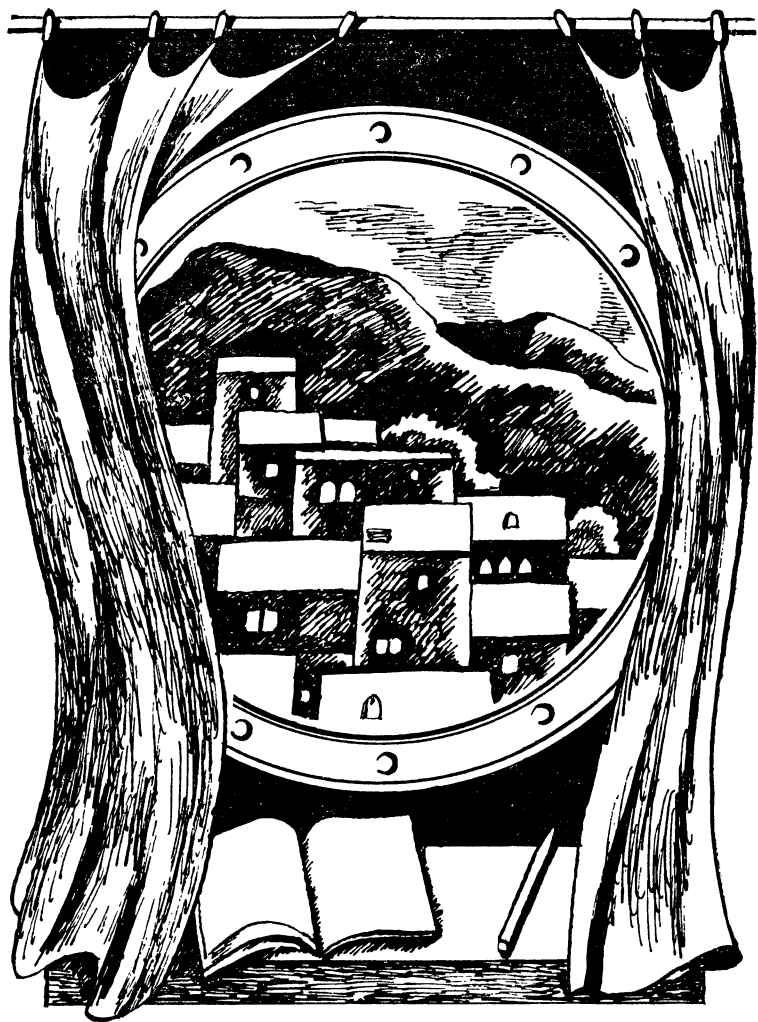
Когда я был еще подростком и был еще жив мой отец, мне понадобилось сходить в Хунзах. Я свернул с большой дороги и хотел идти по тропинке, проторенной моим отцом. Старый горец, увидев меня, остановил и сказал:

— Тропу отца оставь отцу. Ищи себе другую, свою тропинку.



Я послушался старого горца и пошел искать новый путь. Длинной, извилистой оказалась тропа моей песни, но я иду по ней, собирая свои цветы для своего букета.

На этой же тропе мне впервые пришла мысль об этой книге.



Задумал — все равно что зачал. Дитя обязательно родится, нужно только выносить его, как вынашивает женщина плод в своем чреве, а потом в поте лица и в муках — родить. Применительно к книге — написать.

Но имя ребенку можно выбрать до того, как он появится на свет. Как же мне назвать мою книгу? Взять ли:

мне имя для нее у цветов? Или у звезд? Вычитать ли в других мудрых книгах?

Нет, не буду надевать на своего коня чужое седло. Имя, взятое со стороны, может быть только прозвищем, кличкой, а не именем.

Все это так. Но если ты ищешь заглавие, надо исходить из того содержания, которое ты хочешь вложить в свою книгу, а также из цели, которую ты ставишь перед собой. Папаху выбирай по голове, а не наоборот. Длина струны определяется длиной пандура.

Мой аул, мои горы, мой Дагестан. Вот гнездо моих дум, моих чувств и стремлений. Из этого гнезда вылетел, как оперившийся птенец, я сам. Из этого гнезда все мои песни. Дагестан — мой очаг. Дагестан — моя колыбель.

Тогда зачем долго думать? В горах сыну чаще всего дают имя деда. Книга будет твоё детище, а ты сын Дагестана. Значит, имя ей — «ДАГЕСТАН». Да и может ли быть более подходящее, более прекрасное и точное имя?

Страну, которую представляет посол, узнают по флажку на его машине. Моя книга — моя страна. Название — флажок.

У пишущего человека мысли спорят между собой на каждой странице, в каждой строке, за каждое слово. Вот и мои мысли тоже вступают в спор о названии книги — как министры на каком-нибудь международном совещании бросаются в словесную драку, начиная даже с повестки дня.

Итак, один министр внес предложение назвать будущую книгу словом «Дагестан». Второму министру это не понравилось. Раскладывая перед собой бумаги, он начинает возражать:

— Не пойдет. Не годится. Как это можно именем целой страны называть маленькую книгу? На ребенка не надевают папаху отца — голова ребенка утонет в ней.

— Почему не годится? — протестует министр, внесший предложение. — Когда луна плывет в небесах и отражается в морской или речной глади, то и отражение луны мы продолжаем называть луной, а не как-нибудь иначе. Неужели нужно придумывать для этого отраже-

ния какое-нибудь другое название? Правда, в сказке лиса, показывая однажды отражение луны волку, убедила серого, что это кусок сала, и волк сдуру прыгнул в реку. Но ведь лиса — известная обманщица и плутовка.

— Не пойдет. Не годится,— упорствует тот, другой министр.— Дагестан — прежде всего понятие географическое. Горы, реки, ущелья, родники, даже моря. Когда мне говорят: «Дагестан», я прежде всего вижу географическую карту.

— Ну нет! — вмешиваюсь я.— Мое сердце до краев наполнено Дагестаном, но оно не географическая карта. У моего Дагестана вообще нет географических и каких-либо других границ. У моего Дагестана нет и последовательного плавного течения из века в век. Моя книга, если я ее напишу, не будет похожа на учебник о Дагестане. Я смешаю века, а потом возьму самую суть исторических событий, самую суть народа, самую суть слова «Дагестан».

Казалось бы, Дагестан — один-единственный для всех дагестанцев. И все-таки у каждого дагестанца он свой.

И у меня есть тоже свой собственный Дагестан. Таким вижу его только я, таким знаю его только я. Из всего, что я видел в Дагестане, из всего, что я пережил, из всего, что пережили все дагестанцы, жившие до меня и живущие вместе со мной, из песен и рек, поговорок и скал, орлов и подков, из тропинок в горах и даже из эха в горах сотворился во мне мой собственный Дагестан.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Кисловодск. Нас двое в палате. Я и один узбек. В час заката и в час восхода мы видим в окно обе вершины Эльбруса.

Я думаю о том, что эти две вершины похожи на бритые, покрытые ранами головы двух друзей, бесстрашных мюридов Шамиля.

В ту же самую минуту мой сосед говорит:

— Эта двуглавая гора напоминает мне одного седовласого старца из Бухары, который шел с двумя блюдами плова и вдруг остановился и замер, очарованный открывшимся видом утренной долины.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** В Калькутте в доме великого Рабиндраната Тагора я видел нарисованную птицу. Такой птицы нет на земле и не было никогда. Она родилась и жила в душе Тагора, она плод его фантазии. Но, конечно, если бы Рабиндранат никогда не

видел настоящих земных птиц, то он не мог бы создать и образа своей чудесной птицы.

У меня тоже есть такая чудесная птица — мой Дагестан. Поэтому, чтобы название книги было точнее, нужно назвать ее «МОЙ ДАГЕСТАН». Не потому, что он мой по принадлежности, а потому, что мое представление о нем отличается от представления других людей.

Итак, решено. На обложке будет написано: «Мой Дагестан».

Несколько мгновений на совещании министров было тихо, никто не возражал. Но вдруг из-за стола встал и пошел на трибуну третий министр, доселе молчавший.

— Мой Дагестан. Мои горы. Мои реки. Ну что ж, неплохо. В общежитии хорошо жить только в молодости, в студенческом возрасте. Впоследствии человек должен иметь свою комнату или даже квартиру. Но мало сказать «мой очаг» — надо, чтобы в очаге горел огонь. Мало сказать «моя колыбель» — надо, чтобы в колыбели лежал ребенок. Мало сказать «мой Дагестан» — надо, чтобы в этих словах была идея — судьба Дагестана, его сегодняшний день. Известен своей мудростью дагестанский поэт Сулейман Стальский. Он понимал то, что я хочу теперь сказать. Вот его слова: «Я поэт не лезгинский, не дагестанский, не кавказский. Я поэт — советский. Я хозяин всей огромной страны». Вот как говорил седовластый мудрец Сулейман. А ты затвердил одно: мой аул, мои горы, мой Дагестан. Можно подумать, что весь мир начинается и кончается для тебя Дагестаном. Но разве не Кремль начало мира? Этого-то я и не вижу в твоём названии. Ты создал грудную клетку, забыв вложить в нее бьющееся сердце. Ты создал глаза, забыв вдохнуть в них блеск мысли. Безжизненные глаза похожи на виноградины.

Кинув с трибуны это яркое сравнение, третий министр важно пошел на свое место, собрав под мышкой кипы бумаг с цитатами из толстых и очень серьезных книг. На других он смотрел при этом так, будто им уже нечего сказать после его слов, как нечего сказать после приговора судьи.

Но тут на трибуну выбежал еще один участник совещания. Был он живой, веселый и вроде как помоложе



других. Он и начал свою речь не как все, а со стихотворения:

Пока человек сидит, не узнаешь, хромой он или не хромой.  
 Пока человек спит, не узнаешь, крив он или не крив.  
 Пока человек обедает, не узнаешь, трус он или герой.  
 Пока человек молчит, не узнаешь, лжив он или правдив.

— Так вот что я хочу сказать,— продолжал он,— конечно, хорошо, когда есть идея, а тем более такая, о которой говорил предыдущий оратор. Но бывают ведь и чересчур идейные товарищи. От таких для самой идеи только вред. Я напомню вам некоего Михаила из аула Итля...

Так как на совещании регламента установлено не было, то оратор, как бы между прочим, рассказал нам про своего Михаила.

В Хунзахском райкоме партии работал конюхом Михаил Григорьевич Гусейнов. На самом деле он вовсе не Михаил, а Магомет. Был где-то во время гражданской войны, а в родные места вернулся уже не Магометом, а Мишей. Сменил, значит, свое дагестанское имя. Старый отец сказал тогда новоявленному Мише:

— Чтобы твоя мать носила по тебе траур! Хотя имя Магомет дал тебе я, все же это теперь твое имя и ты вправе обращаться с ним, как хочешь. Но кто тебе позволил трогать меня? Кто тебе позволил поменять Гасана на Григория? Я твой отец, я еще жив! И я хочу остаться Гасаном!

Участник гражданской войны был непоколебим. Он остался Михаилом Григорьевичем и в этом звании работал конюхом в Хунзахском райкоме партии.

Табуны его знаний были малочисленны и тощи, но зато он считал себя очень идейным, всюду говорил об этом, и многие стали считать его самым яростным борцом за идею.

Однажды наш учитель Гаджи получил выговор за то, что у его троюродного брата родственник был, кажется, из князей, а учитель Гаджи в своей анкете не написал об этом.

Понуро брел Гаджи домой в аул Батлаич, неся свое партийное взыскание. По пути догнал его райкомовский конюх Михаил Григорьевич. Разговорились. Гаджи рассказал о своей беде.

— Да тебе и выговора мало! Надо было исключить из партии. Какой же ты партиец, какой коммунист? Настоящий коммунист должен был сам написать заявление куда следует... Даже если бы это был не троюродный брат, а родной, или родная сестра, или родной отец...

Учитель поднял глаза, поглядел на Михаила Григорьевича и сказал:

— Недаром тебя считают сверхидейным. Удивляюсь, как это ты до сих пор не выровнял все дагестанские горы. Ровное место «идейнее» и проще, чем отвесная каменная гора. Впрочем, е таким, как ты, говорить бесполезно.

Гаджи свернул с дороги на боковую тропу, хотя обоим нужно было идти в один и тот же аул.

— Куда же ты? — удивился Михаил Григорьевич.

— Куда бы ни было — не по пути нам с тобой.

— Но я иду в коммунизм! А если ты хочешь идти в противоположную сторону...

— Даже в коммунизм я не хочу идти с тобой рядом. Посмотрим, кто из нас дойдет до него скорее.

Закончив эту историю, оратор продолжал:

— Один поэт написал такие стихи про чабана:

Рассеялся в горах туман,  
Путь ясен впереди.  
Своих баранов, о чабан,  
Ты в коммунизм веди.

ИЛИ: другой такой же ревнитель идеи написал заявление в райком: «Несмотря на все мои усилия и даже физические воздействия, моя жена недостаточно прилежно читает «Краткий курс истории ВКП(б)». Прошу райком воздействовать на мою жену с целью содействия ее идейному воспитанию».

ИЛИ: на дверях Союза писателей Дагестана однажды появилось грозное объявление: «Без глубокой теоретической подготовки не имеешь права входить в эту дверь».

Старый прославленный поэт Абуталиб Гафуров шел по какому-то делу в Союз писателей, но, увидев это предупреждение, повернул обратно.

ИЛИ: в Махачкале, многонациональном городе, есть разные кладбища: православные, мусульманские, еврей-

ские... Один чересчур идейный товарищ выступил на совещании республиканского актива. Он говорил:

— Мы ведем неустанную повседневную борьбу за укрепление дружбы между народами, а между тем у нас столько разных кладбищ. Пора создать одно общее кладбище. Можно подумать и о названии. Скажем: «Дети одной семьи». Да и вообще... Мои родители, например, были верующими, они молились богу. Как же я, член партии с 1937 года, могу лежать на одном кладбище с ними? Нет, давно пора создать в нашем городе новое кладбище на более высоком идейном уровне!

Говорят, бедняга недавно умер, так и не дождавшись нового кладбища.

— Вот я и говорю,— продолжал министр, поднимая голос.— Название книги — как папаха. Но что же важнее, папаха или голова? Расскажу вам о том, как три охотника ловили волка.

**БЫЛА ЛИ У ОХОТНИКА ГОЛОВА?** Три охотника узнали, что в ущелье недалеко от села скрывается волк. Они решили его поймать и убить. О том, как они его ловили, есть много разных толков в народе; я с детства запомнил такой рассказ.

Волк, спасаясь от охотников, забрался в пещеру. Вход в нее был только один, и тот очень узкий — голова пролезет, а плечи нет. Охотники притаились за камнем, свои винтовки нацелили на вход и стали ждать, когда волк вылезет из пещеры. Но волк был, как видно, не дурак, он спокойно отсиживался. Значит, проиграть должен был тот, кому первому надоест сидеть и ждать.

Одному охотнику надоело. Он решил как-нибудь протиснуться в пещеру и выгнать оттуда волка. Он подошел к дыре и просунул в нее голову. Охотники долго наблюдали за своим товарищем и удивлялись, почему он не старается пролезть вперед или хотя бы вытащить голову обратно. Наконец им тоже надоело ждать. Они пошевелили охотника и убедились, что головы у него нет.

Стали гадать: была ли у охотника голова до того, как он полез в пещеру? Один говорил, что как будто была, другой — что как будто не было.

Безголовое туловище принесли в аул, рассказали о случившемся. Один старец сказал: судя по тому, что

охотник полез в пещеру к волку, головы у него не было уже давно, может быть, с самого рождения. Пошли выяснять к овдовевшей жене охотника.

— Откуда мне знать, была ли у мужа голова? Помню только, что каждый год он заказывал себе новую папаху.

Идея должна быть в делах, а не на словах. Она должна быть в самой книге, а не кричать с обложки. Слово, которое можно сказать в конце речи, не нужно произносить вначале.

Новорожденному нередко вешают на грудь талисман, чтобы легкой была его жизнь, чтобы не болел, не знал тоски и горя. Не будем судить, помогает ли талисман на самом деле, но известно, что его носят под одеждой, а не выставляют напоказ.

В каждой книге должен быть такой талисман, о котором знает автор, о котором догадываются читатели, но который скрыт под одеждой.

ИЛИ, когда делают урбеч, в него добавляют немного меда. Мед растворяется в сладком и душистом напитке, но его не увидишь и не потрогаешь.

ИЛИ: в Бомбее есть сад, который вечно прекрасен. Он не увядает и не сохнет, хотя кругом сушь и жара. Оказывается, под садом — скрытое от глаз озеро, которое поит деревья прохладной живительной влагой.

Идея не та вода, которая с грохотом мчится по камням, разбрасывая брызги, а та вода, которая незримо увлажняет почву и питает корни растений.

— Что же это значит! — вскрикнул, вскочив и хлопнув ладонью по столу, тот самый министр, который весь обложен был книгами и цитатами. — Выходит, нет никакой разницы, что украшает папаху: белая чалма, или красная лента, или пятиконечная звезда? Выходит, нет разницы, что человек носит на груди: красный орден или черный крест? Было бы, по-вашему, доброе сердце. Один человек не должен быть одновременно, как Гасан из аула Танусы: учителем в Гонохе, комсоргом в Гиничутле и муллой в Хунзахе. То же самое приложимо и к книге... Нет, нет и нет! Идея — это знамя, и его не нужно прятать от глаз. Его нужно высоко поднять и так нести, чтобы все люди видели и шли за ним.

— А! Пусть жена изменит тому, кто будет возражать твоим словам,— опять вступился тот министр, что помоложе,— но ты хочешь сделать так, чтобы знамя было отдельно, а люди, глядящие на знамя,— отдельно. То есть чтобы идея жила отдельно от человеческих душ и сердец. Ты сажаешь их на две разные арбы. А вдруг потом эти арбы поедут по разным дорогам? Ты говоришь, что человек должен быть не аварцем, не дагестанцем, а просто советским человеком. Но я вот, например, чувствую себя и аварцем, сыном Дагестана, и в то же время гражданином СССР. Разве эти понятия исключают друг друга?

Как известно, от Кремля начинается земля. И я согласен с этим. Но для меня мир, кроме того, начинается еще и от родного очага, от порога моей сакли, от моего аула. Кремль и аул, коммунизм и чувство родины — два крыла птицы, две струны моего пандура.

— Но зачем же ковылять на одной ноге? Тогда надо придумать второе название для книги, чтобы оно выражало ее внутреннюю суть.

Искал я его повсюду. Я думал о Дагестане, путешествуя по Индии. В древней культуре этой страны, в ее философии слышался мне отзвук некоего таинственного голоса. А голос моего Дагестана для меня вполне реален, и он ведь слышен далеко по земле. Было время, когда на слово «Дагестан» откликались эхом только пустынные ущелья и голые скалы. А теперь оно звучит над всей страной, над всем миром и находит отклик в миллионах сердец.

Думал я о Дагестане и в буддийских храмах Непала, где текут двадцать две целебные воды. Но Непал — еще не отгранный алмаз, и я не мог сравнить с ним своего Дагестана, ибо алмаз Дагестана разрезал уже не одно стекло.

Думал я о Дагестане и в Африке. Она напомнила мне кинжал, вынутый из ножен только на одну четверть. И в других странах — в Канаде, Англии, Испании, Египте, Японии — думал я о Дагестане, ища или различия, или сходства с ним.

И вот однажды, во время поездки по Югославии, я оказался в удивительном городе Дубровнике на берегу Адриатического моря. В этом городе дома и улицы похожи на ущелья и скалы, на гранитные утесы со множе-

ством уступов и площадок. Входы в дом похожи иногда на входы в пещеры, вырубленные в скале. Но рядом подымаются современные дома, соседствуя со средневековым и еще более глубокой стариной.

Весь город окружен стеной — как наш Дербент. На эту стену я карабкался по узким порожистым улицам, по каменным лестницам. Вдоль всей стены с одинаковыми промежутками расставлены каменные башни. У каждой башни две бойницы, как два суровых глаза. Эти башни похожи на мюридов имама, несущих бессменную неподкупную службу.

Вскарабкавшись на стену, я хотел взглянуть сквозь бойницы изнутри башни. Я бы сделал это немедленно, но там толпились туристы, и я не мог подойти к бойницам вплотную. Издалека же сквозь бойницы я видел только маленькие лоскутки чего-то голубого. Эти лоскутки были величиной с бойницы, а бойницы — величиной с ладонь.

Когда же я подошел и приблизил к бойнице свое лицо, я был поражен, увидев огромное море, переливающееся под январским солнцем, нежное, потому что это все-таки Адриатическое, южное море, и суровое, потому что все-таки был январь. Море не голубое, а разноцветное. Оно обрушивало свои волны на прибрежные скалы, и волны разбивались с пушечным гулом и откатывались назад. По морю плыли корабли, каждый из них — величиной с наш аул.

В это время я, до сих пор стоявший за спинами туристов и тянувшийся на цыпочках, чтобы взглянуть на огромный мир, а затем подошедший к окну и взглянувший, снова вспомнил про Дагестан.

Он ведь тоже стоял все время сзади, дожидаясь своей очереди, тоже тянулся на цыпочках и тоже ему мешали широкие спины впереди стоявших счастливчиков. А теперь он увидел весь мир будто через маленькое окошечко в крепостной стене. Он сам слился теперь со всем огромным миром, принеся в него свои обычаи, нравы, песни, свое достоинство.

Разные поэты в разные времена искали разные образы, чтобы воплотить в них свое представление о Дагестане. Печальный певец Махмуд сказал о народах Дагестана, что они похожи на горные ручьи, которые все время стремятся слиться в один поток, но не могут

слиться и текут каждый сам по себе. А еще он сказал, что народы Дагестана чем-то напоминают ему цветы в узком ущелье, которые склоняются друг к другу, но не могут обняться. Но разве теперь народы Дагестана не слились в один горный поток, разве они не соединились в один букет?

Батырай сказал: как бедняк бросает свой ветхий тулуп в темный угол, так и Дагестан скомкан и брошен в ущелья гор.

Мой отец, прочитав историю Дагестана, сравнил его с рогом, который пьяницы во время застолья передают друг другу из рук в руки.

С чем же я сравню тебя, мой Дагестан? Какой образ найду, чтобы выразить свои мысли о твоей судьбе, о твоей истории? Может быть, потом я найду лучшие и достойнейшие слова, но сегодня я говорю: «Маленькое окно, открытое на великий океан мира». Или еще короче: «Маленькое окно на великий океан».

Вот вам, товарищи министры, второе название книги, которую я собираюсь написать. Я понимаю, так могли бы сказать про себя и другие страны, соседки моего Дагестана. Ну что ж, пусть у него будут тезки.

Итак, вот вам папаха — «МОЙ ДАГЕСТАН», вот вам и звезда на папаху — «Маленькое окно на великий океан».

Как человек, собирающийся играть, я настроил свой двухструнный пандур. Как человек, собирающийся шить, я уже вддел нитку в игольное ушко.

Мои министры утвердили название книги, как министры на международном совещании утверждают в конце концов повестку дня.

**БЫВАЕТ**, два брата едут мирно на одном коне. Бывает, один джигит ведет на водопой сразу двух коней в одном поводе.

**АБУТАЛИБ СКАЗАЛ**: шляпу-то он купил, как у Льва Толстого, такую же голову где бы ему купить?

**ГОВОРЯТ**: имя-то у него хорошее, каков-то вырастет сам человек?





Стучат подковы коня по каменистой дороге родной дагестанской земли. Над головой небо, окаймленное вершинами гор. Оно то залито солнцем, то усыпано звездами, то загорожено тучами и поливает землю дождем.

Подожди, мой конь, подожди,  
Я еще назад не взглянул.  
Оставляем мы позади  
Наш любимый родной аул.

Ты лети, мой скакун, лети,  
Для чего нам глядеть назад?  
Ждут аулы нас впереди,  
Там найдутся и друг и брат.

Куда я еду? Как мне выбрать правильный путь? Как написать мне новую книгу?

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Сейчас в Дагестане молодые люди не носят нашей национальной одежды. Они ходят в брюках, в пиджаках, в теннисках, в рубашках под галстук — как в Москве, в Тбилиси, в Ташкенте, в Душанбе, в Минске.

Национальную одежду надевают теперь только артисты Ансамбля песни и пляски. Человека в старой одежде можно встретить на свадьбе. Иногда, если человек захочет одеться по-дагестански, он берет одежду у друзей, у знакомых или напрокат. Своей уже нет. Одним словом, национальная одежда исчезает, чтобы не сказать — исчезла.

Но дело в том, что у иных поэтов исчезает национальная форма и в стихах, и они даже гордятся этим.

Я тоже хожу в европейском костюме, тоже не ношу черкеску отца. Но одевать свои стихи в безликий костюм не собираюсь. Я хочу, чтобы мои стихи носили нашу дагестанскую национальную форму.

Я — что! Мне отпущено прожить несколько десятилетий. Эти десятилетия пришлись на период, когда все люди ходят в брюках, ботинках и пиджаках. У стихов — своя жизнь. У них свои сроки рождения и смерти. Я ничего не говорю о своих стихах, может быть, они не переживут меня.

Я видел в Москве старый дуб. Говорят, его посадил Иван Грозный. Значит, пока он рос, люди ходили сначала в боярских одеждах, потом в камзолах и пудренных париках, потом в цилиндрах и черных фраках, потом в

буденовках и кожаных куртках, потом в простых пиджаках и широких брюках, потом в узких брюках... А дуб как бы говорил людям: бегайте там внизу, меняйте свою одежду, если вам нечего больше делать. У меня свое предназначение — улавливать солнечные лучи и превращать их в крепкую звонкую древесину, а также в желуди, из которых вырастут такие же могучие деревья.

В горах говорят, что одежда делает человека, конь делает храбреца. Эта поговорка звучит красиво, но мне она не кажется справедливой. Не обязательно в тигровую шкуру должен рядиться герой. Иногда и под стальной кольчугой может прятаться сердце труса.

И БО не раз мне приходилось чесать в затылке, когда арбуз, выбранный мною за красоту, оказывался внутри белым и несладким.

И БО один унцукулец увез однажды свою возлюбленную, завернув ее в бурку, а когда развернул, там оказалась беззубая бабушка возлюбленной.

И БО Абуталиб рассказал мне, как однажды он был приглашен в далекий аул на свадьбу и играл там на зурне. Свадьба удалась на славу. Три дня на поляне перед аулом кудахтали зурна, хохотал барабан, стонала скрипка, заливалась гармонь, звенели песни. Как говорят в Дагестане, было и «дам-дам» и «чам-чам», то есть было что послушать, но было и что поесть. Весь аул на свадьбе побывал, и каждый человек от стара до мала хоть немного, да танцевал.

На третий день свадьбы глашатай по поручению тамады громко объявил, что сейчас выйдут в круг танцевать невеста и жених. Ну, жениха все видели в течение этих трех дней, невеста же все время сидела, скрытая под фатой. Три дня Абуталиб приглядывался к ее нарядным одеждам. Своей яркостью одежды напоминали, пожалуй, красочную обложку антологии кавказской поэзии.

Когда невеста поднялась и пошла в круг, Абуталиба несколько насторожила ее комплекция. По увесистости невесту можно было бы сравнить разве что с киргизским эпосом «Манас», изданным в Гослитиздате. Невеста приготовилась откинуть покрывало с лица. Все замерли, и Абуталиб затаил дыхание. И вот невеста приоткрывает платок — мгновение, которого ждали три дня...

Один глаз невесты смотрел в Хунзах, а другой в Бот-

лих. Между глазами, сердито отвернувшимися друг от друга, неуклюже примостился длиннющий нос...

Грустно стало Абуталибу. Он уже не смог больше ни играть на зурне, ни есть. Пришлось уйти со свадьбы.

Я думаю, Абуталиб преувеличил немного, рассказывая эту историю.

И ВСЕ ЖЕ хорошее оформление не может спасти плохую книгу. Чтобы правильно оценить ее, с нее тоже нужно сбросить чадру.

И БО был год, когда на должную высоту, «на самое острое» был поднят вопрос о положении женщины-горянки и об отношении к ней со стороны мужчин.

В тот год муж не смел сказать жене поперек ни одного слова. За обычную домашнюю ссору вызывали в райком и давали выговор. А чтобы не было нареканий, сначала дали по выговору всем работникам аппарата райкома. В тот год то и дело собирались съезды горянок, на которых было выпущено на волю столько слов, сколько не выпущено на всех остальных съездах за все время.

В тот год на воскресных базарах стала появляться огромная женщина, торговавшая разным недозволенным товаром. Милиционер боялся ее тронуть, дабы не посягнуть на независимость и равноправие горянок. Но все же на третье воскресенье он робко предупредил торговку, а на пятое воскресенье — будь что будет! — решил задержать и отвести в милицию.

Пока милиционер вел торговку по улице, на него со всех сторон показывали пальцем и удивлялись, как это он посмел забрать независимую, раскрепощенную горянку!

Там, в базарной толчее, разглядеть торговку было трудно, а теперь внимание милиционера стали привлекать некоторые детали, например, огромные сапоги, выглядывавшие из-под юбки.

«Да этот ручей течет не из родника!» — подумал милиционер и сорвал с торговли покрывало. На милиционера глянуло лицо матерого мужчины с выпученными глазами, с усами, похожими на кусты терновника на утесе.

Некоторые художники, не имеющие таланта, терпения и гордости, чтобы сбыть свой товар, тоже рядятся

в чужие одежды, пытаясь за блеском формы спрятать немощность мысли. Но если в животе пусто, что толку от того, если папаха надета набекрень.

А ТАК ЖЕ, как бы ни был красив кинжал, сделанный из дерева, им не зарежешь и цыпленка. Он годен разве лишь на то, чтобы перерезать нити дождя.

А ТАК ЖЕ. От женитьбы кукол не рождаются дети.

А ТАК ЖЕ, когда мальчику хотят сделать обрезание, ему показывают гусиное перо. Но это только для того, чтобы обмануть. Гусиным пером обрезания не сделаешь, для этого нужен острый нож.

Но читатели не дети, чтобы их обманывать и утешать, и я не артист, чтобы носить в ножнах кинжал из картона, если даже ножны настоящие и позолоченные.

КОНЕЧНО, нужны и ножны — без них кинжал заржавеет. И хорошо, когда ножны красивые;

КОНЕЧНО, когда джигит возвращался из набега с драгоценной добычей, жена обвязывала шею коня шелковым платком;

КОНЕЧНО, тупой язык для самой острой мысли — все равно что волк для ягненка;

КОНЕЧНО, самая крепкая арба может растряссться на плохой дороге и может свалиться даже в пропасть;

КОНЕЧНО, спину коня не может украсить подседельник осла, а ослу не подойдет седло горячего скакуна.

Здесь я расскажу вам притчу о балхарце и его кляче.

**ПРИТЧА О БАЛХАРЦЕ И О ЕГО КЛЯЧЕ.**

Один балхарец нагрузил своего беднягу коня горшками, кувшинами, плошками и отправился по аулам торговать.

В аварском ауле был в этот день праздник скачек. Горячие джигиты съехались сюда на своих еще более горячих конях. И джигиты были прославлены, и кони были прославлены. Джигиты были стройны и красивы, а их кони еще стройнее и красивее. Глаза у джигитов горели отвагой и азартом, глаза у коней горели огнем нетерпения.

Наездники начали уж выстраиваться в ряд, как вдруг на площадь въехал мирный балхарец на своей кляче. Вид у балхарца был полусонный, а его лошадь, казалось, совсем засыпает на ходу. Молодые джигиты подняли балхарца на смех.

— Давай присоединяйся к нам!

— Давай мы и твою клячу запишем в скакуны.

— Почему бы и ей не потягаться с нашими скакунами?

— Давай скачи вместе с нами, а то некому будет подбирать за нами подковы.

В ответ на все эти насмешки балхарец молча стал сгружать со своей лошади горшки, кувшины и плошки. Спокойно он сложил товар в одну кучу, спокойно сел верхом на коня и занял место в ряду джигитов.

Кони у джигитов рыли копытами землю, вставали на дыбы, перебирая в воздухе передними ногами, тогда как лошадь балхарца дремала, понунив голову.

И вот начались скачки. Как вихрь, понеслись горячие кони. Поднялось облако пыли, и в этом-то облаке, в самом хвосте его побежала и лошаденка балхарца. Закончился один круг скачек, потом другой, третий. Всем было заметно, как устают кони, на них появилась испарина, потом на них появилась пена, она хлопьями падала в горячую пыль. Ноги у скакунов как будто все больше немели, быстрота замедлялась. Как ни хлестали своих коней джигиты, как ни били их в бока задниками сапог, ничто не могло заставить коней скакать быстрее. И только кляча балхарца скакала, как прежде,— не тише и не шибче. Она сначала догнала задних, потом сравнялась с передними, а потом на последнем, десятом, круге обошла и передних.

На понурую шею балхарской клячи пришлось повязывать гордый призовой платок. Балхарец спокойно подвел свою лошадь к горшкам, погрузил их и поехал дальше.

Еще чаще, нежели на скачках, подобные случаи бывают в литературе.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Стихи, которые писались легко, бывает трудно читать. Стихи, которые писались с трудом, бывает легко читать. Форма и содержание — это как одежда и человек. Если человек хороший, умный, благородный, почему бы ему не носить соответствующей одежды. Если у человека красивое лицо, почему бы ему не иметь и красивых мыслей.

Очень часто женщины бывают красивы, но неумны, а если очень умны, то некрасивы. То же самое случается и с произведениями искусства.

Но есть счастливые женщины, которые блещут и красотой и умом. То же можно сказать и о книгах по-настоящему талантливых поэтов.

ОДИН МААЛИЕЦ СКАЗАЛ: «Как только человек, идущий к нам в аул, покажется на перевале, я сразу узнаю, хороший это или плохой человек».

ОДИН КУБАЧИНЕЦ СКАЗАЛ: «Золото или серебро сами по себе еще ничего не значат. Нужно, чтобы у мастера были золотые руки».

Самые прекрасные кувшины  
Делаются из обычной глины.  
Так же, как прекрасный стих  
Создают из слов простых.

*Надпись на кувшине.*

*Перевел Н. Гребнев*

Я прожил на свете больше пятнадцати тысяч дней. Я исходил и изъездил по земле очень много дорог. Я повстречал на земле много тысяч людей. Мои впечатления бесчисленны, как горные ручейки во время дождя или во время таяния снегов. Но как их соединить, чтобы вышла книга? Написать ее — все равно что в долине проделать широкое и глубокое русло. Но это только половина задачи. Надо, чтобы все горные ручейки собрались и потекли по этому руслу. Как же мне это сделать? Какие знания нужны, кроме знания жизни? Теория литературы? Но ведь нельзя думать больше о том, как писать стихи, вместо того, чтобы их писать.

Хочу сказать, что у меня нет любимых литературных школ и течений. У меня есть любимые писатели, художники, мастера.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. В Литературном институте на экзамене одного аварца спросили: какая разница между реализмом и романтизмом? Книг на эту тему аварец, должно быть, не читал, а отвечать было надо. Он подумал и так ответил профессору:

— Реализм — это когда орлом мы называем орла, а романтизм — это когда орлом называем петуха.

Профессор рассмеялся и поставил моему земляку зачет.

Что касается меня, то я с самого начала стараюсь называть коня конем, ишака ишаком, петуха петухом и мужчину мужчиной.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** У прославленного Рабиндраната Тагора был брат, тоже писатель. Этот брат был последователем бенгальской школы в индийской литературе. Рабиндранат же сам был школой, сам был целым течением, и в этом состояла разница между братьями.

В душе у Рабиндраната жила своя птица, не похожая на всех остальных, не существовавшая до него. Он выпустил ее на волю, в искусство, и все увидели, что это птица Рабиндраната Тагора.

Если же художник выпускает свою птицу на волю, а она смешивается со стаей других одинаковых, значит, он не художник. Значит, он выпускает не свою, необыкновенную, удивительную птицу, а обыкновенного воробья, и теперь уж никто не различает его воробья в стае других, пусть симпатичных, но все-таки воробьев.

У человека должен быть свой очаг, чтобы самому разводить огонь. Севший на чужого коня рано или поздно сойдет с него и отдаст хозяину. Не седлайте чужих мыслей, заведите себе свои.

Литературу я осмеливаюсь сравнить с пандуром, а писателей — со струнами, натянутыми на нем. У каждой струны свой голос, свое звучание, но вместе они создают аккорд.

Аварскому пандуру полагается всего лишь две струны. Про моего отца говорили, что на пандур аварской литературы он натянул третью струну.

И мне бы добиться своего, отличного от других звучания. И мне бы стать еще одной струной на нашем древнем аварском инструменте.

Не хочу я уподобляться тем охотникам, которые купили лань на базаре, а дома говорят, что сами убили.

**ИЛИ БЫВАЕТ ТАК:** пройдет слух, будто в одном ущелье один охотник застрелил огромного тура, и вот все охотники бегут скорее в это счастливое ущелье. А тем временем первый охотник в другом месте убивает большого медведя. Ватага охотников бросается туда, тогда как охотник-мастер в третьем ущелье выслеживает матерого барса... Кто же, спрашивается, настоящий охотник? Тот, кто ищет добычу сам, или те, кто бегают за ним

следом? Такие не постыдятся вынуть добычу из чужого капкана.

Они напоминают мне иных писателей. Нельзя поступать так, как поступил один мой знакомый. После того как он познакомился с Корнеем Ивановичем Чуковским, он сделал вид, что не знает Абуталиба.

Ручеек, добежавший до моря и увидевший перед собой неоглядные голубые просторы, и смешавшийся с этой великой голубизной, не должен забывать тот родник высоко в горах, от которого начался его путь по земле, и весь тот каменистый, узкий, порожистый, извилистый путь, который пришлось преодолеть.

Да, я — горный ручей. Я люблю свой исток, свой родник, свое каменистое русло. Я люблю те сумеречные ущелья, по которым протекает моя вода, те скалы, с которых она падает серебристыми водопадами, те тихие ровные места, где она собирается в глубину, отражая в себе окрестные горы, небо и звезды в небе. И снова течет сначала медленно, потом все убыстряя бег.

Но я не говорю, что мне хватило бы одних ущелий. Я теку — значит, у меня впереди цель. Я не только предчувствую — я вижу, я знаю беспредельную широту моря.

Да не только я. Вернее, потому и я, что у всего Дагестана расширился видимый кругозор. За эти годы и десятилетия расширились не только границы наших кладбищ, но и границы наших представлений о жизни и о море.

Я аварский поэт. Но в своем сердце я чувствую гражданскую ответственность не только за Аваристан, не только за весь Дагестан, не только за всю страну, но и за всю планету. Двадцатый век. Нельзя жить иначе.

**МНЕ РАССКАЗАЛИ.** Вскоре после моего рождения отец временно был вынужден перебраться на службу в аул Арадерих. К седлу отцовского коня были приторочены две дорожные сумы, два хурджуна. В один хурджун был собран весь наш домашний скраб: одежда, остатки муки, толокно, сало, книги. Из другой сумы выглядывала моя голова.

После дороги моя мать тяжело заболела. В ауле, куда мы переехали, нашлась бедная одинокая женщина, у которой недавно умер ребенок. Эта арадериханка стала кормить меня своей грудью. Она стала моей кормилицей и моей второй матерью.



Итак, две женщины на земле, перед которыми я в долгу. Сколько бы ни длилась моя жизнь и что бы я ни делал для этих женщин, что бы я ни совершал во имя их, мне никогда не оплатить долга. Сыновний долг не имеет конца.

Эти две женщины: одна — моя мать, та, которая меня родила, и впервые качала мою колыбель, и спела мне первую колыбельную песню; другая... тоже моя мать, та, которая, когда я был обречен на смерть, дала мне свою грудь, и теплая жизнь начала вливаться в меня, и я с узкой тропинки умирания свернул на дорогу жизни.

Две матери и у моего народа, у моей маленькой страны, у каждой из моих книг.

Первая мать — родной Дагестан. Здесь я родился, здесь я впервые услышал родную речь, научился ей, и она вошла в мою плоть и кровь. Здесь я впервые услышал родные песни и первую песню спел сам. Здесь я впервые ощутил вкус воды и хлеба. Сколько бы раз ни поранился я в детстве, карабкаясь по острым камням, воды и травы родной земли залечили все мои раны. Горцы говорят: нет такой болезни, против которой не нашлось бы в наших горах целебной травы.

Моя вторая мать — великая Россия, моя вторая мать — Москва. Воспитала, окрылила, вывела на широкий путь, показала неоглядные горизонты, показала весь мир.

Перед обеими матерями я в сыновнем долгу. Махмуд и Пушкин — два ковра, два портрета висят на стене моей сакли. В томиках Блока, напоенных прохладой белых почей Петербурга, хранился не один огненно-горячий цветок с аварских высокогорных лугов.

Две матери — как два крыла, как две руки, два глаза, две песни. Руки двух матерей и гладили меня по голове, и трепали за уши, когда было нужно. Две матери натягивали струны на моем пандуре. Каждая мать по струне. Они поднимали меня высоко над землей, над моим аулом, и я увидел с их плеч многое в мире, чего не увидел бы никогда, если бы они не поднимали меня над землей. Как орел во время полета не знает, которое крыло из двух ему нужнее и дороже, так не знаю и я, которая мать дороже мне.

Раньше все свои болезни горцы лечили только травами и водой. Они верили знахарям. Правда, были и та-

кие знахари, о которых до сих пор говорят в народе. Эти знахари, чтобы вылечить головную боль, заставляли резать черного барана.

Всякий аварец знает, что у черного барана мясо душистее и слаще, чем у серого или белого. Голову больного знахарь заворачивал в парную шкуру и заставлял его так сидеть. Мясо же уносил к себе домой.

Про таких знахарей мы теперь говорить не будем. Но были и хорошие народные лекари и лекарства.

Однажды мой отец лежал в Москве, в кремлевской больнице. Там он вспомнил про травы и воды Дагестана и попросил своих сыновей привезти водички из маленького родника на Буцрахском хребте.

Слово отца для сыновей закон. Они поехали в Дагестан, вскарабкались на Буцрахский хребет, нашли там родник и взяли из него водички для больного аварского поэта, лежащего в кремлевской больнице.

Отец попил водички, и как будто ему полегчало. Он даже выздоровел. Но он не знал, что в тот же день ему начали впрыскивать новое заграничное лекарство.

Может быть, он не выздоровел бы только от одних этих порожденных мировой наукой медицинских средств. Может быть, он не выздоровел бы только от одной аварской воды, от нашего национального народного средства. Но от обоих средств он выздоровел.

Точно так же должно быть и в литературе. Ее истоки — родная земля, родной народ, родной язык. Но сознание каждого настоящего писателя сегодня шире одной только своей национальности. Общечеловеческое, общемировое волнует его сердце и теснится в его мозгу.

Вот в путь выходит пешеход.  
Что он берет с собой?  
Вино берет и хлеб берет...  
Но, гость мой дорогой,

Тебе окажем мы почет,  
Поклажа не нужна.  
Горянка хлеба напечет,  
А горец даст вина.

Вот в путь выходит пешеход.  
Что он берет с собой?  
Кинжал наточенный берет...  
Но, гость мой дорогой,

В горах тебе привет и честь.  
 А если враг не спит,  
 Кинжал у горца тоже есть,  
 Тебя он защитит.

Вот в путь выходит пешеход.  
 Что он берет с собой?  
 В дорогу песню он берет...  
 О гость мой дорогой,

Есть песни дивные у нас,  
 В горах им нет числа.  
 Но песню ты возьми в запас,  
 Она не тяжела.

Итак, если писателя уподобить доктору, то он должен уметь пользоваться и вековыми народными средствами, и самыми последними достижениями мировой науки.

Если же писателя уподобить пешеходу-путешественнику, то он, приходя в гости к другому народу, должен нести в своем сердце свои родные песни, но он должен найти в сердце место и для тех песен, которые ему будут петь.

Один народ его провожает, другой встречает, а песни есть у всех.

Когда в наши аулы стали приезжать первые лекторы и докладчики, то в ауле Келеб женщины садились спиной к лектору, чтобы он не мог видеть их лиц. Но когда после лектора выходил к собравшимся певец и начинал петь, то женщины из уважения к песне преодолевали предрассудок и поворачивались лицом к певцу; больше того, им позволялось даже откидывать с лица чадру.

Нет дня и нет ни одной минуты, чтобы во мне не жила, не звучала та песня, которую над колыбелью мне пела мать. Эта песня — колыбель всех моих песен. Она та подушка, к которой я преклоняю свою усталую голову, она тот конь, который везет меня по белому свету. Она тот родник, к которому я припадаю во время жажды. Она тот очаг, который согревает меня, и вот тепло сго я несу по жизни.

Но в то же время я не хотел бы уподобиться тому Шукуму, который хотя и вырос в здорового детину, все еще не мог отучиться от материнского молока и тянулся к материнским сосцам. Про таких говорят: «Вырос с быка, а разум как у телка».

В наше время мы привыкли заполнять разные анкеты. Сколько я их заполнил на своем веку! Ни в одной анкете не встречал я вопроса о любви к родине, но это вовсе не означает, что такой любви не существует среди людей на земле.

С другой стороны, мало написать в анкете «гражданин СССР» — надо им быть; мало написать «член КПСС» — надо им быть; мало написать «родной язык — аварский» — надо, чтобы этот язык действительно был родным, надо иметь мужество ему не изменять.

Приходите ко мне, разные гости, приносите мне разные песни! Приходите как братья, как сестры, всех я приму, всем найдется место в сердце!

Если горец, возвращаясь в Хунзах, привозил за седлом женщину другой национальности, такого горца встречали с упреком, поступок его не одобрялся старейшими людьми аула. Но теперь и старые и молодые привыкли к этому. Брак аварца с женщиной любой другой национальности не считается теперь позорным. Только один брак осуждается теперь в горах — это брак без любви.

Разве не правда, что, чем разнообразнее цветы, тем красивее букет из этих цветов. Чем больше на небе звезд, тем небо ярче. Радуга потому и красива, что собрала в себе все земные цвета.

В Африке я видел удивительный, необыкновенный цветок. Каждый лепесток этого цветка окрашен в свой цвет. У каждого лепестка свой аромат, свое название. Короче говоря, на стебле растет прекрасный готовый букет, но в то же время это один цветок.

Я хотел бы, чтобы моя аварская книга была похожа на сказочный африканский цветок, чтобы каждый мог найти в ней свое близкое и родное.

Вот я и раскладываю все, из чего должна создаваться такая книга. Как у хорошего мастера-кубачинца, все у меня под руками. У него — серебро, золото, режущие инструменты, молоточки, зубильца, клейма, рисунки. А у меня: родной язык, опыт жизни, портреты людей, характеры людей, мелодии песен, чувство истории, чувство справедливости, любовь, родная природа, память о моем отце, прошлое и будущее моего народа... Золотые слитки в моих руках. Но золотые ли руки у меня? Хватит ли таланта, хватит ли мастерства?

Как мне сделать, чтобы свою песню передать вам в ладони, как живую трепещущую птицу, чтобы моя песня наполнила ваши сердца без спросу и без предупреждения, как наполняет сердца любовь?

Снова перебираю все, что у меня под руками на моем рабочем столе...

ГОВОРЯТ: пусть уходит жена от того джигита, у которого нет коня.

ЕЩЕ ГОВОРЯТ: пусть уходит жена и от того джигита, у которого нет седла или плети для коня.

ГОВОРЯТ: не пытайтесь кормить орла сеном, а осла мясом.

ГОВОРЯТ: и красивый дом может рухнуть, если стены у него непрочные.

ГОВОРЯТ: приснилось курице, что она орлица,— полетела со скалы и сломала крылья.

Приснилось ручью, что он большая река,— расплеснулся по песку и тут же высох.

## ● ЯЗЫК

Младенец плачет и смеется здесь,  
Ни слова он не может произнести.  
Но срок придет, и он расскажет всем,  
Кто он таков и в мир пришел зачем.

### *Надпись на колыбели*

Если бы в мире не было слова, то он не был бы таким, какой он есть.

Поэт родился за сто лет до сотворения мира.

Человек, решивший писать стихи без знания языка, подобен безумцу, который прыгнул в бурную реку, не умея плавать.

**Н**екотрые говорят не потому, что в голове теснятся важные мысли, но потому, что чешется кончик языка. Некоторые пишут стихи не потому, что в сердце теснятся большие чувства, но потому, что... Трудно даже сказать, почему они вдруг решают писать стихи. Звучание их стихов похоже на сухое шуршание орехов, положенных в мешок из невыделанной овчины.

Эти люди не хотят оглянуться и посмотреть сначала,

что делается в мире. Они не хотят прислушаться и узнать, какими созвучиями, какими песнями, какими мелодиями наполнен мир.

Спрашивается, для чего даны человеку глаза, уши, язык? И почему глаз у человека два, ушей два, а язык только один? Дело в том, что, прежде чем один язык выпустит в мир со своего кончика какое-нибудь слово, два глаза должны увидеть, а два уха услышать.

Слово, сорвавшееся с языка,— все равно что конь, спустившийся с крутой и узкой горной тропы на привольное ровное место. Спрашивается, можно ли выпустить в мир слово, если оно не побывало в сердце?

Нет просто слова. Оно либо проклятье, либо поздравление, либо красота, либо боль, либо грязь, либо цветок, либо ложь, либо правда, либо свет, либо тьма.

Слышал я в краю своем суровом:  
Словом создан мир для грешных нас.  
Как оно звучало, это слово?  
Как молитва? Клятва? Как приказ?

Мы встаем за этот мир на битву,  
Мир изранен, мир истерзан зло,  
Дайте слово: клятву иль молитву,  
Иль проклятье. Лишь бы мир спасло!

Один мой приятель говорил: я хозяин своего слова, хочу — его сдержу, хочу — нарушу. Возможно, для приятеля это годится, но писатель должен быть настоящим хозяином своих слов, своих клятв или проклятий. По одному и тому же поводу он не может поклясться дважды. И вообще, кто часто клянется, тот, по-моему, просто лжец.

Если эта книга похожа на ковер, то я тку ее из разноцветных ниток аварского языка; если она похожа на овчинную шубу, то овчину я сшиваю крепкими нитками аварского языка.

Говорят, раньше, давным-давно, в аварском языке было совсем мало слов. Понятия «свобода», «жизнь», «мужество», «дружба», «добро» обозначались одним и тем же словом либо словами, очень похожими по звучанию и смыслу. Но пусть другие говорят, что беден язык у нашего маленького народа. Я на своем языке могу сказать все, что захочу, и для выражения своих чувств и мыслей мне не надо другого языка.

В Дагестане есть небольшая народность — лакцы. На лакском языке говорит около пятидесяти тысяч человек. Трудно подсчитать точнее, ибо есть дети, которые еще не научились говорить, а есть такие, которые уже забыли язык отцов.

Малочисленны лакцы, но тем не менее их можно встретить во многих уголках земного шара. Бедное существование на каменистой земле заставляло их бродить по белому свету. Все они прекрасные ремесленники, мастера-сапожники, златокузнецы, лудильщики, а некоторые ходили по земле и пели песни. В Дагестане говорят: «Осторожней разрежай арбуз, как бы оттуда не выскочил лакец».

Провожая сына в чужие края, мать-лачка наказывала: «Когда будешь есть кашу из городской тарелки, смотри, нет ли под кашей нашего человека».

**И ВОТ РАССКАЗЫВАЮТ.** По большому городу, то ли по Москве, то ли по Ленинграду, бродил по улицам лакец. Вдруг он увидел человека в дагестанской одежде. Повяло родным, захотелось поговорить. Тотчас подскочил он к земляку и заговорил по-лакски. Земляк не понял своего земляка и покачал головой. Лакец попробовал заговорить по-кумыкски, потом по-татски, потом по-лезгински... На каком бы языке ни пытался заговорить лакец, его земляк в дагестанской одежде не мог поддержать разговора. Пришлось перейти на русский язык. Тогда выяснилось, что лакец напал на аварца. Аварец принялся ругать и стыдить своего неожиданного собеседника:

— Какой же ты дагестанец, какой же ты мне земляк, если не знаешь аварского языка! Ты не дагестанец, а невежественный верблюд.

В этом споре я не на стороне своего соплеменника. Не за что ему было нападать на бедного лакца. Аварский язык можно, конечно, знать, но можно и не знать. Важно, что он знал свой родной, лакский язык. Он ведь знал и еще несколько языков, в то время как аварец не знал их.

**АБУТАЛИБ** однажды гостил в Москве. На улице ему понадобилось за чем-то обратиться к прохожему. Скорее всего — спросить, где тут базар. Случилось так, что Абуталиб попал на англичанина. Что ж, это не удивительно — на московских улицах немало иностранцев.

Англичанин не понял Абуталиба и стал переспрашивать его сначала на английском языке, потом на французском, потом на испанском и, может быть, даже на других языках.

Абуталиб же пытался объясниться с англичанином сначала по-русски, потом по-лакски, потом по-аварски, потом по-лезгински, потом по-даргински, потом по-кумыкски.

Собеседники разошлись, не поняв друг друга. Один слишком культурный дагестанец, знающий два с половиной английских слова, впоследствии внушал Абуталибу:

— Вот видишь, что значит культура. Если бы ты был покультурнее, то мог бы поговорить с англичанином, понимаешь?

— Понимаю,— отвечал Абуталиб.— Только почему англичанин должен считаться культурнее меня, ведь он тоже не знал ни одного языка, на котором пробовал говорить с ним я.

Для меня языки народов — как звезды на небе. Я не хотел бы, чтобы все звезды слились в одну огромную, занимающую полнеба звезду. На то есть солнце. Но пусть сияют и звезды. Пусть у каждого человека будет своя звезда.

Я люблю свою звезду — мой родной аварский язык. Я верю тем геологам, которые говорят, что и в маленькой горе может оказаться много золота.

— Да отнимет аллах у твоих детей язык, на котором говорит их мать,— посылала женщина проклятье другой женщине.

**О ПРОКЛЯТЬЯХ.** Когда я писал поэму «Горянка», мне понадобилось проклятье, которое нужно было вложить в уста злой женщине из поэмы. Мне сказали, что в одном далеком ауле живет пожилая горянка, которую никто из соседок не может переругать. Я тотчас отправился к удивительной женщине.

Добрый весенним утром, когда не хочется ругаться и проклинать, а хочется радоваться и петь, я переступил порог нужной мне сакли. Простодушно рассказал я старой горянке, зачем пришел. Так, мол, и так, хочу услышать от вас проклятие покрепче, я его запишу и вставлю в поэму.

— Чтобы отсох твой язык, чтобы забыл ты имя своей любимой, чтобы твои слова не так понял человек, к кото-



рому тебя послали по делу, чтобы забыл ты сказать слова приветов родному аулу, когда будешь возвращаться из далекого странствия, чтобы ветер свистел в твоём рту, когда он останется без зубов... Сын шакала, могу ли я смеяться (да лишит тебя аллах этой радости!), если мне невесело? Дорого ли стоит плач в доме, в котором никто не умер? Могу ли я сочинить тебе проклятье, если меня никто не обидел и не оскорбил? Ступай, не приходи ко мне больше с такими глупыми просьбами.

— Спасибо, добрая женщина,— сказал я и ушел от порога ее сакли.

По дороге я думал: «Если она без всякой злобы, так сказать, с ходу выпалила на мою голову такое виртуозное проклятие, что же она швырнет в лицо тому, кто се по-настоящему разозлит?»

Я думаю, что со временем кто-нибудь из дагестанских фольклористов составит книгу из горских проклятий, и тогда люди узнают меру изобретательности, меру изошренности, меру фантазии горцев, а также и меру выразительности нашего языка.

В каждом ауле свои проклятия. Берегитесь палящего гнева проклятий! В одном из них вы уже связаны по рукам и ногам незримыми путами, в другом — вы уже в гробу, в третьем — ваши глаза вывалились в тарелку, из которой вы едите, в четвертом — ваши глаза катятся по острым камням и пропадают в ущелье. Проклятие насчет глаз считается одним из самых страшных. Это проклятие из проклятий. Но все же есть и страшнее его. В одном ауле я слышал, как ругались две женщины:

— Да лишит аллах твоих детей того, кто мог бы их научить языку.

— Нет, пусть аллах лишит твоих детей того, кого они могли бы научить языку!

Вот какие страшные бывают проклятия. Но и без всяких проклятий в горах лишается уважения тот человек, который не уважает родного языка. Мать-горянка не будет читать стихи сына, если они написаны на испорченном языке.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Однажды в Париже я встретил художника-дагестанца. Вскоре после революции он уехал в Италию учиться, женился на итальянке и не вернулся домой. Привыкший к законам гор, дагестанец трудно приживался на своей новой ро-

дине. Он колесил по земле, останавливался в блестящих столицах чужедальних стран, но, куда бы он ни поехал, везде с ним была его тоска. Мне захотелось посмотреть на эту тоску, воплощенную в краски, я попросил, чтобы художник показал мне свои картины.

Одна картина так и называется: «Тоска по родине». На картине изображена итальянка (та самая итальянка) в старинном аварском наряде. Она у горного родника, с серебряным кувшином чеканки прославленных гоцатлинских мастеров. Печально нахохлился на склоне горы каменный аварский аул, еще печальнее нахохлились над аулом горы. Вершины гор окутал туман.

— Туман — это слезы гор, — сказал художник. — Когда склоны окутывает туман, по морщинам скал начинают стекать светлые капли. Туман — это я.

На другой картине я увидел птицу, сидящую на кусте колючего терновника. А куст растет среди голых камней. Птица поет, а из окна сакли на нее глядит печальная горянка. Видя, что я заинтересовался картиной, художник пояснил:

— Это по мотивам древней аварской легенды.

— Какой легенды?

— Птицу поймали и посадили в клетку. Оказавшись в плену, птица день и ночь твердила: родина, родина, родина, родина, родина, родина... Точь-в-точь, как все эти годы твержу я... Хозяин птицы подумал: «Что же у нее за родина, где она? Наверно, это какая-нибудь прекрасная цветущая страна, где райские деревья и райские птицы. Дай-ка выпущу я птицу на волю и погляжу, куда она полетит. Она мне покажет дорогу в ту необыкновенную страну». Он открыл клетку, и птица выпорхнула. Она отлетела на десять шагов и опустилась на куст терновника, растущий среди голых камней. В ветвях этого куста было ее гнездо... На свою родину я тоже смотрю из окна своей клетки, — закончил художник.

— Почему же вы не хотите возвратиться?

— Поздно. В свое время увез я с родной земли свое молодое жаркое сердце, могу ли я вернуть ей одни старые кости.

Приехав из Парижа домой, я разыскал родственников художника. К моему удивлению, оказалась еще жива его мать. С грустью слушали родные, собравшись в сакле, мой рассказ об их сыне, покинувшем родину,

променявшем ее на чужие земли. Но как будто они прощали его. Они были рады, что он все-таки жив. Вдруг мать спросила:

— Вы разговаривали по-аварски?

— Нет. Мы говорили через переводчика. Я по-русски, а твой сын по-французски.

Мать закрыла лицо черной фатой, как закрывают его, когда слышат, что сын умер. По крыше сакли стучал дождь. Мы сидели в Аварии. На другом конце земли, в Париже, тоже, может быть, слушал дождь блудный сын Дагестана. После долгого молчания мать сказала:

— Ты ошибся, Расул, мой сын давно умер. Это был не мой сын. Мой сын не мог забыть языка, которому его научила я, аварская мать.

**ВОСПОМИНАНИЕ.** Было время, когда я работал в аварском театре. Нагруженные декорациями, костюмами, бутафорией (весь наш театральный скарб возили ослы, но оставалось еще скарба и для самих артистов), мы кочевали из аула в аул, приобщая горцев к драматическому искусству. Часто я вспоминаю этот год, проведенный в театре.

В некоторых спектаклях мне доставались незначительные роли, но чаще всего я сидел в будке суфлера. Мне, молодому поэту, нравилась роль суфлера больше всех остальных ролей. Мне казалась второстепенной и необязательной игра артистов, их мимика, жесты, передвижение по сцене. Мне казались второстепенными костюмы, грим, декорации. Одно я считал важнее всего на свете — слово. Ревниво я следил за тем, чтобы актеры не перевирали слова, чтобы они правильно их произносили. И если какой-нибудь актер пропускал слово или искажал его, я высовывался из своей будки и на весь зал произносил это слово правильно.

Да, текст и слово я считал важнее всего, потому что слово может жить и без костюма и без грима — его смысл будет понятен зрителям.

Вспоминаю один курьез. Мы показывали тогда спектакль «Горцы» о далеком прошлом аварского народа. Я, как обычно, был суфлером. По ходу спектакля герой пьесы Айгази, скрывающийся в горах от кровной мести, ночью пришел в аул, чтобы встретиться со своей возлюбленной. Подруга уговаривает его скорее уйти обрат-

но в горы, а то убьют, но Айгази (играл эту роль актер Магаев), накрыв возлюбленную буркой от дождя, говорит ей всякие слова о своей любви, о своих страданиях.

Тут произошло неожиданное. На сцену вдруг выбежала жена Магаева. В гневе она набросилась на мужа за то, что он говорит о любви другой женщине. Магаев схватил жену за руки и утащил за кулисы, чтобы объяснить ей что к чему. Он надеялся тотчас же вернуться и продолжать спектакль, но жена вцепилась в мужа и на сцену его не пустила.

Возлюбленная осталась одна посреди сцены. Получилась заминка.

Я сидел в своей будке, конечно, не в костюме и без грима, а просто в брюках и в белой рубашке, с расстегнутым воротником. Кажется, даже в тапочках. В таком виде я заменить Магаева не мог, хоть и знал его роль наизусть. Но так как для меня важнее всего было слово, а не костюм, я выскочил из будки на сцену и сказал бедной возлюбленной все те слова, которые должен был говорить Айгази — Магаев.

Не знаю, остались ли довольны зрители, может быть, драма превратилась для них в комедию, но я был доволен. Ведь они поняли содержание пьесы, они не пропустили ни одного слова, а это я считал самым главным.

Помню, с этим же театром я впервые приехал в знаменитый высокогорный аул Гуниб. Известно, что поэт поэту кунак, хотя бы они и не были знакомы. В Гунибе как раз жил поэт, о котором я слышал, но встречаться с которым раньше не приходилось. К этому поэту я пришел в гости, у него же я остановился на дни наших гастролей.

Добрые хозяева приняли меня так хорошо, что мне было даже неловко, я не знал, куда себя деть. Особенно же запомнилась мне ласковая доброта матери поэта.

Уезжая, я не находил слов для благодарности. Получилось так, что с матерью поэта я прощался, когда в комнате никого не было. Я знал, что для матери не может быть ничего радостнее, если скажут хорошее слово о ее сыне. И хотя я очень трезво смотрел на очень скромные способности гунибского поэта, все же я начал робко хвалить его. Я стал говорить матери, что ее сын — очень передовой поэт, пишет всегда на злободневные темы.

— Может, он и передовой,— грустно перебила меня

мать,— но у него нет таланта. Может быть, его стихи и злободневны, но, когда я начинаю их читать, мне становится скучно. Ты только подумай, Расул, как получается. Когда сын учился произносить первые слова, которые и понять-то было нельзя, я несказанно радовалась. А теперь, когда он научился не только говорить, но и писать стихи, мне скучно. Говорят, что ум женщины лежит на подоле ее платья. Пока она сидит, он при ней, но стоит ей встать, как ум скатывается и падает на пол. Так и мой сын: пока сидит за столом, обедает — говорит нормально, все бы слушала, но пока он идет от обеденного стола до письменного, он теряет все простые и хорошие слова. Остаются только казенные, серые, скучные.

Вспоминая этот случай, я молю аллаха не лишить меня моего языка. Я хотел бы писать так, чтобы мои стихи, и эта моя книга, и все, что я напишу, было понятно и дорого и матери, и сестре, и каждому горцу, и каждому человеку, в руки которого попадет моя книга. Я не хочу навевать скуку — я хочу приносить радость. Если же испортится мой язык, сделается холодным, непонятным и скучным — одним словом, если я испорчу мой родной язык, страшнее этого в жизни для меня ничего не будет.

Бывало, когда горцы нашего аула собирались около мечети на годекан, то есть на сходку, чтобы обсудить некоторые общие дела, я читал им стихи моего отца. Я был ребенок, мальчик, но стихи умел читать с большой энергией (даже с излишней энергией, громко, выделяя некоторые понравившиеся мне слова и звуки. Так, например, читая новое стихотворение отца «Травля волка в Цада», я звук «цъ» в словах «бацъ» и «цъада» произносил сквозь стиснутые зубы, но так, что они все равно дрожали, лязгали, стукались друг о друга. Мне казалось, что при таком резком, напряженном произношении этих звуков получается больше впечатления.

Отец каждый раз поправлял меня, говоря:

— Разве слово похоже на орех, чтобы его грызть и дробить зубами? Или разве слово похоже на чеснок, чтобы его толочь в каменной ступе каменным пестиком? Или разве слово — это сухая каменистая земля, которую нужно пахать, что есть силы налегая на соху? Произноси слова легко, без натуги, чтобы зубы твои не лязгали и не стукали.

Я начинал читать снова, но у меня опять получалось

по-своему. Моя мать в это время стояла на краю крыши сакли. Отец крикнул матери:

— Хоть ты научи его!

Мать произнесла трудные для меня слова так, как хотел отец.

— Слышал? Теперь давай ты.

У меня опять ничего не вышло.

— Тьфу! — рассердился отец. — Одного джалатурина, который портил слова, я побил метлой. Но что мне делать со своим сыном?

В досаде отец ушел с годекана.

**КАК ОТЕЦ ПОБИЛ ДЖАЛАТУРИНЦА.**  
 Был весенний базарный день. Весной, как известно, кончается все, что оставалось от прошлого урожая, но и нового еще ничего нет. Весной все на базаре дороже, чем осенью, даже горшки, хотя они и не растут в поле.

Мой отец, тогда еще молодой человек, решил сходить на базар. Сосед попросил его купить метлу и дал двадцать копеек.

— Если купишь дешевле, сдачу оставь себе, — напутствовал сосед молодого Гамзата, и с этим напутствием Гамзат пришел на базар.

Вскоре он нашел продавца метел и стал торговаться. Все ли знают, что на всяком восточном базаре первый запрос ничего не значит? За вещь, которая стоит пять копеек, могут запросить сто рублей.

Отец выбрал метлу получше, покрепче и спросил:

— Продаешь?

— Зачем же я здесь стою?

— Почему?

— Сорок копеек.

— Метла ведь не лошадь, чтобы начинать торговаться с большого, говори сразу действительную цену — и по рукам.

— Сорок копеек.

— А кроме шуток?

— Сорок копеек.

— Отдай за двугривенный.

— Сорок копеек.

— Но у меня только двугривенный.

— Сорок копеек.

— Но у меня правда нет больше денег.

— Приходи, когда будут.

Поняв, что метлу не купишь, отец пошел бродить по базару и вскоре увидел на некотором возвышении, не-вдалеке от торговых рядов толпу народа. Он подошел, протолкался и понял, что народ слушает певца Махмуда.

Махмуд сидел в середине толпы с пандуром в руках. Он то играл на пандуре, то вдруг клал на струны ладонь и пел. Все слушали, затаив дыхание. Пчелу, пролетавшую над базаром по своим пчелиным делам, было слышно. Один юноша кашлянул во время пения, и седовласый горец, как видно, отец кашлянувшего, тотчас прогнал сына подальше от песни.

В этой-то тишине, когда, кроме песни Махмуда, не слышалось ни одного звука, некий джалатуруинец начал переговариваться со своим соседом. Вообще-то намерение у джалатуруинца было благое: своему соседу, не понимавшему по-аварски, он пересказывал по ходу дела все, что поет Махмуд. Но вот беда, его беспрерывная болтовня мешала всем остальным людям слушать песню и наслаждаться ею.

Молодой Гамзат, мой будущий отец, возмущился поведением джалатуруинца. Он дернул его за рукав, но это не помогло, он сказал ему на ухо, чтобы замолчал, но тот и на это не обратил внимания. В растерянности Гамзат оглянулся вокруг и увидел, что продавец метел тоже подошел слушать. Отец подбежал, схватил самую большую метлу и начал колотить ею назойливого джалатуруинца.

Джалатуруинец, отступая, грозил Гамзату, но отец так разъярился, что не слушал угроз и в конце концов прогнал мешавшего слушать песню. Потом отец подошел к торговцу, чтобы возвратить метлу.

— Оставь ее себе.

— Но у меня ведь только двадцать копеек, а ты просишь сорок.

— Возьми задаром. Твой поступок стоит дороже, чем весь мой товар.

Джалатуруинцев, портящих песни, много теперь развелось на земле. Жалко, что не находится на них метлы и человека, который бы этой метлой воспользовался.

О хорошем, метком и остром слове в горах говорят: «Оно стоит оседланного коня».

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Али Алиев, мой сосед по дому в Махачкале,— прекрасный борец, четы-

рехкратный чемпион мира. Однажды в Стамбуле он встретился в поединке с сильнейшим турецким борцом. Турок действительно был силен и ловок. Но Али Алиев, хладнокровный и храбрый горец, бросил турка на ковер, словно моток веревки. Вставая, турок буркнул себе под нос горское проклятие. Велико было удивление Али Алиева, услышавшего аварскую речь. Еще больше удивился турок, когда победитель сказал ему тоже по-аварски: «Зачем ругаться, земляк, спорт есть спорт».

И все же больше их обоих удивились судьи и зрители, когда противники ни с того ни с сего бросились в объятия друг другу, словно брат нашел давно пропавшего брата.

Оказывается, турок происходил из аварской семьи, которая после пленения Шамиля ушла в Турцию. Борцы и сейчас, когда приходится, встречаются как друзья.

**ВОСПОМИНАНИЕ МОЕГО ОТЦА.** В 1939 году мой отец ездил в Москву получать орден. В то время это было большим событием. Когда он с орденом на груди возвратился в аул, то джамаат, то есть всеобщий сбор аула, попросил его рассказать о Москве, о Кремле, о Михаиле Ивановиче Калининe, который тогда вручал ордена, а также о самом сильном своем впечатлении.

Отец рассказывал по порядку, как было дело, и говорил:

— А самое главное в том, что Михаил Иванович Калинин мое имя произнес не по-русски, а по-аварски. Он назвал меня Ц'адаса Хамсатом, а не просто Гамзатом Цадаса.

Старейшины аула удивлялись и одобрительно кивали головами.

— Вот видите,— сказал отец,— когда вы слышите это от меня, и то вам приятно, каково же было мне услышать это самому в самом Кремле от самого Калинина. Скажу вам по чести: так обрадовался, что забыл обрадоваться и ордену.

Чувства отца мне очень понятны.

Несколько лет назад в составе делегации советских писателей я был в Польше. Однажды в Кракове ко мне в номер гостиницы постучали. Я открыл дверь. Незнакомый человек на чистом аварском языке спросил:

— Здесь живет Гамзатил Расул?

Я растерялся и обрадовался:



— Чтобы не сгорел и не обрушился дом твоего отца! Как же ты, аварец, оказался в Кракове?

Я чуть не бросился обнимать своего гостя, затащил его в номер, мы проговорили до конца дня и целый вечер.

Но гость не был аварцем. Это был польский ученый, занимающийся языками и литературами Дагестана. Аварскую речь он впервые услышал в концлагере от двух узников-аварцев. Язык понравился ему, а еще больше понравились сами аварцы. Поляк начал изучать наш язык. Впоследствии один аварец умер, а другой перенес заключение, был освобожден Советской Армией и жив до сих пор.

Мы говорили с поляком только по-аварски. Это было для меня удивительно и непривычно. В конце концов, я пригласил ученого в Дагестан в гости.

Да, мы оба говорили с ним в тот день на аварском языке. Но все же между моей речью и его была огромная разница. Он говорил, как подобает ученому, на очень чистом, очень правильном, но слишком правильном, даже равнодушном языке. Он думал больше о грамматике, а не о красках речи, о схеме, о конструкции фразы, а не о живой плоти каждого слова.

Я хочу написать книгу, в которой не язык подчинялся бы грамматике, а грамматика языку.

**ИНАЧЕ** грамматику уподоблю путнику, идущему по дороге, а литературу уподоблю путнику, едущему на муле. Пешеход попросил подвезти его, и путник, едущий на муле, посадил пешехода сзади себя. Постепенно пешеход осмелел, вытеснил ездока с седла, стал прогонять его, крича: «Мул этот мой, и все имущество, привязанное к седлу, тоже мое!»

Мой родной аварский язык! Ты мое богатство, сокровище, хранящееся про черный день, лекарство от всех недугов. Если человек родился с сердцем певца, но немым, то лучше бы ему не родиться. У меня в сердце много песен, у меня есть голос. Этот голос — ты, мой родной аварской язык. Ты за руку, как мальчика, вывел меня из аула в большой мир, к людям, и я рассказываю им о своей земле. Ты подвел меня к великану, имя которому — великий русский язык. Он тоже стал для меня родным, он, взяв за другую руку, повел меня во все страны мира, и я благодарен ему, как благодарен

и своей кормилице — женщине из аула Арадерих. Но все-таки я хорошо знаю, что у меня есть родная мать.

И БО можно сходить за спичками к соседу, чтобы разжечь огонь в своем очаге. Но нельзя идти к друзьям за теми спичками, которыми зажигается огонь в сердце.

Языки у людей могут быть разные, были бы едины сердца. Я знаю, что иные мои друзья, покинув свои аулы, уехали жить в большие города. В этом нет большой беды. Птенцы тоже сидят в своем гнезде только до тех пор, пока у них не вырастут крылья. Но как отнестись к тому, что кое-кто из моих друзей, живущих в больших городах, пишет теперь на другом языке? Конечно, это их дело, и мне не хотелось бы их поучать. Но все же они похожи на людей, пытающихся удержать в одной руке два арбуза.

Я говорил с беднягами и нашел, что язык, на котором они теперь пишут, уже не аварский, но еще и не русский. Он напоминает мне лес, в котором хозяйничали нерадивые лесорубы.

Да, я видел таких людей, для которых родной язык беден и мал, и вот они отправились искать себе другой, богатый и большой язык. А вышло, как у козы из аварской сказки — коза пошла в лес, чтобы отрастить себе волчий хвост, но вернулась даже и без рогов.

ИЛИ они похожи на домашних гусей, которые умеют плавать и нырять, но все же не как рыба, немножко умеют и летать, но все же не как вольные птицы, немного умеют даже петь, но все же не соловьи. Ничего они не умеют делать как следует.

— Как дела? — спросил я однажды у Абуталиба.

— Так себе. Не как у волка, но и не как у зайца. Серединка на половинку. — Абуталиб помолчал и добавил: — Самое плохое состояние для писателя — серединка на половинку. Он должен чувствовать себя или волком, заевшим зайца, или уж зайцем, убежавшим от волка.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Однажды юноши из соседнего аула пришли к моему отцу и рассказали, что они поколотили певца.

— За что вы его поколотили? — спросил отец.

— Он кривлялся, когда пел, — нарочно кашлял, перевирали слова, то вдруг взвизгивал, то вдруг лаял по-собачьи. Он испортил песню, вот мы его и поколотили.

— Чем вы колотили его?

— Кто ремнем, а кто кулаком.

— Надо было еще и плетью. Но хочу вас спросить, по каким местам вы его колотили?

— Все больше по мягким. Но попадало, конечно, и по шее.

— А ведь виноватее всего была его голова.

**ВОСПОМИНАНИЕ.** Почему бы не рассказать здесь еще одну историю, если она все равно уж вспомнилась? Есть в Махачкале один аварский певец... Имя его не хочу называть: сам он все равно догадается, а нам с вами не все ли равно? Бывало, этот певец часто приходил к моему отцу и просил написать слова к его мелодии. Отец соглашался, и получались песни.

Однажды мы пили чай, когда по радио объявили, что известный певец сейчас будет петь песню на слова Гамзата Цадаса. Мы все стали слушать, и отец тоже. Но чем больше мы слушали, тем больше и больше удивлялись. Певец пел так, что нельзя было разобрать ни одного слова. Слышны были только какие-то выкрики, певец проглатывал слова, будто петух, который сначала расшвырял весь корм по сторонам, а потом склевывает по зернышку.

При встрече отец спросил у певца, зачем он так небрежно поступает с его словами.

— Я делаю так для того, — ответил певец, — чтобы другие ничего не поняли и не запомнили. Если другие певцы в горах запомнят песню, они тоже будут ее петь, а мне хочется петь одному.

Через некоторое время отец устроил вечеринку для друзей, среди которых был и певец. В конце вечеринки отец снял со стены кумуз с оборванными струнами и, кое-как брэнча на единственной, да и то ослабленной струне, начал петь песню, мелодия которой была сочинена певцом. Слова отец произносил очень вятно, но от мелодии, исполняемой на расстроенном инструменте, не осталось ничего похожего. Певец возмутился, стал говорить, что его песню нельзя играть на ободранном и расстроенном кумузе, что такой кумуз не в силах передать всю красоту его мелодии. Отец спокойно ответил:

— Это я нарочно играю и пою так, чтобы другие не могли запомнить и уловить твоей мелодии. Уж если годится песня, в которой нельзя разобрать слов, то поче-

му же не годится песня, в которой нельзя разобрать музыки?

На десяти языках пишут дагестанцы свои произведения, на девяти языках они их издают. Но что же в таком случае делают те, которые пишут на десятом? И что это за язык?

На десятом языке пишут те, кто успел забыть свой родной язык — будь то аварский, лакский или татский, — но еще не успел познать чужой язык. Они оказались ни тут, ни там.

Пиши на чужом языке, если ты знаешь его лучше, чем свой родной. Или пиши на родном, если не знаешь как следует никакого другого. Но не пиши на языке десятом.

Да, я враг десятого языка. Язык должен быть древним, тысячелетним, только тогда он годится в дело.

Язык, конечно, изменяется, я не буду против этого спорить. Ведь и листья у дерева тоже сменяются каждый год, одни отживают и падают, а другие вырастают на их месте. Но само дерево остается. Оно делается с каждым годом все пышнее, ветвистее, крепче. На нем в конце концов вырастают плоды.

Я отдаю вам свои песни, свои книги, я преподношу вам плоды, выросшие на маленьком, но древнем дереве аварского языка.

## РОДНОЙ ЯЗЫК

Всегда во сне нелепо все и странно.  
Приснилась мне сегодня смерть моя.  
В полдневный жар в долине Дагестана  
С свинцом в груди лежал недвижим я.

Звенит река, бежит неукротимо.  
Забытый и не нужный некому,  
Я распластался на земле родимой  
Пред тем, как стать землею самому.

Я умираю, но никто про это  
Не знает и не явится ко мне,  
Лишь в вышине орлы клеочут где-то,  
И стонут лани где-то в стороне.

И, чтобы плакать над моей могилой  
О том, что я погиб во цвете лет,  
Ни матери, ни друга нет, ни милой,  
Чего уж там — и плакальщицы нет.

Так я лежал и умирал в бессилье  
И вдруг услышал, как невдалеке  
Два человека шли и говорили  
На мне родном аварском языке.

В полдневный жар в долине Дагестана  
Я умирал, а люди речь вели  
О хитрости какого-то Гасана,  
О выходах какого-то Али.

И, смутно слыша звук родимой речи,  
Я оживал, и наступил тот миг,  
Когда я понял, что меня излечит  
Не врач, не знахарь, а родной язык.

Кого-то исцеляет от болезней  
Другой язык, но мне на нем не петь,  
И если завтра мой язык исчезнет,  
То я готов сегодня умереть.

Я за него всегда душой болею,  
Пусть говорят, что беден мой язык,  
Пусть не звучит с трибуны ассамблеи,  
Но, мне родной, он для меня велик,

И чтоб понять Махмуда, мой наследник  
Ужели прочитает перевод?  
Ужели я писатель из последних,  
Кто по-аварски пишет и поет?

Я жизнь люблю, люблю я всю планету,  
В ней каждый, даже малый уголок,  
А более всего Страну Советов,  
О ней я по-аварски пел, как мог.

Мне дорог край цветущий и свободный  
От Балтики до Сахалина — весь.  
Я за него погибну где угодно,  
Но пусть меня зароют в землю здесь!

Чтоб у плиты могильной близ аула  
Аварцы вспоминали иногда  
Аварским словом земляка Расула —  
Преемника Гамзата из Цада.

*Перевел Н. Гребнев*

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Родители молодого горца были против его брака с русской девушкой. Но она, видимо, очень любила своего аварца. Однажды он получил от нее письмо, написанное на аварском языке. Жених тотчас показал письмо родителям. Те читали его, не веря своим глазам. Они так растерялись, что тут

же, держа необыкновенное письмо в руках, разрешили сыну привести эту девушку в свой дом.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Язык для писателя — все равно что для крестьянина урожай в поле. Много зерен в каждом колоске, много колосьев — не сосчитать. Но если бы крестьянин сидел сложа руки и смотрел на свой урожай, то, в конце концов, он не взял бы ни одного зерна. Рожь нужно жать, потом молотить. Однако и молотьба еще только половина дела. Предстоит очистить умолот, отделить чистые зерна от плевела, от сорняков. Потом надо молоть муку, месить тесто, печь хлеб. Но самое главное, пожалуй, — помнить, что, как бы ни велика была нужда в хлебе, нельзя израсходовать все зерно. Самое лучшее зерно крестьянин оставляет на семена.

Писатель, работающий над языком, больше всего похож на крестьянина.

**ГОВОРЯТ:** дети срубили дерево, на котором водилась сорока, и разорили ее гнездо.

— Дерево, почему тебя срубили?

— Потому что я ничего не могло им сказать.

— Сорока, почему твое гнездо разорили?

— Потому что я очень много трещала.

**ГОВОРЯТ:** слова как дождь: один раз — великая благодать, второй раз — хорошо, третий раз — терпимо, четвертый раз — бедствие и напасть.

## ● ТЕМА

Не ломай дверь — она легко открывается ключом.

*Надпись на дверях*

Не говори: «Дайте мне тему».

Говори: «Дайте мне глаза».

*Совет молодому писателю*

«Дорогие товарищи, у меня есть большое желание писать. Но я не знаю о чем. Дайте мне нужную злободневную тему, и я напишу замечательную книгу».

Нередко с такой просьбой обращаются молодые люди в Союз писателей, в редакции журналов или в газеты,

лично к писателю. Получаю такие письма и я. Получал их и мой отец. Он, бывало, качал головой и говорил:

— Молодой человек хочет жениться, — но вот беда — не знает на ком. Нет на примете ни одной девушки, неизвестно к кому посылать сватов.

**ВОСПОМИНАНИЕ.** Однажды в Союз писателей Дагестана поступило письмо от Абуталиба. Поэт просил творческую командировку на месяц в далекие горные аулы. На заседании правления Абуталиба спросили, о чем же именно он хочет писать, на какую тему. Старый поэт рассердился:

— Разве знает охотник, что попадется ему — заяц, гусь, волк или красная лиса? Разве известно бойцу заранее, какой подвиг он совершит в бою?

Я был на том заседании. Слова Абуталиба запали мне в сердце.

Меня всегда удивляют люди, которые докучают писателю просьбами рассказать о его творческих планах на ближайшие годы. Конечно, общее направление своей работы писатель держит в уме. Наверное, может запланировать написание романа или трилогии, но стихи... Стихи приходят неожиданно, как подарок. Хозяйство поэта не подчиняется жестким планам. Нельзя запланировать для себя: сегодня в десять часов утра я люблю девушку, встретившуюся мне на улице. Или: завтра к пяти часам вечера я возненавижу какого-нибудь подлеца.

Стихи не похожи на цветы в розарии или на клумбах — там они все перед тобой, их не нужно искать, — но похожи на цветы в поле, на альпийском лугу, где каждый шаг обещает новый, еще более прекрасный цветок.

Чувства рожают музыку, музыка рождает чувства. Что же поставить на первое место? До сих пор не решен вопрос, что появилось сначала — яйцо или курица. Точно так же: писатель порождает тему или тема порождает писателя? Тема — это весь писательский мир, это весь писатель. Без темы его не существует. У каждого писателя она своя.

Мысли и чувства — птицы, а тема — небо; мысли и чувства — олени, а тема — лес; мысли и чувства — серны, а тема — горы; мысли и чувства — дороги, а тема тот город, куда дороги ведут и где они сходятся.

Моя тема — родина. Мне не надо ее искать и выбирать. Не мы выбираем себе родину, но родина с самого

начала выбрала нас. Не может быть орла без неба, горного тура без скалы, форели без быстрой и чистой реки, самолета без аэродрома. Так же не может быть писателя без родины.

Орел, ходящий лениво меж кур на дворе,— уже не орел. Тур, пасущийся в колхозном стаде,— уже не тур. Форель, плавающая в аквариуме,— уже не форель. Самолет, стоящий в музее,— уже не самолет.

Точно так же не может быть и соловья без соловьиной песни.

**ЕЩЕ О Т Е М Е.** С детства мне дорога одна картина. Если откроешь, бывало, маленькое окно отцовской сакли, сразу увидишь широкое зеленое плато, расстелившееся, словно скатерть, у ног аула. Скалы со всех сторон наклонились над ним. В скалах извиваются тропинки, которые в детстве мне напоминали змей, а отверстия входы в пещеры всегда были похожи для меня на пасти зверей. За первым рядом гор виднеется второй ряд. Горы округлы, темны и как будто мохнаты, словно верблюжьим спинам.

Теперь я понимаю, что где-нибудь в Швейцарии или Неаполе есть места и покрасивее, но где бы я ни был, на какую бы земную красоту ни смотрели мои глаза, все же я сравниваю увиденное с далекой картиной моего детства, с картиной, вставленной в маленькую рамочку окошка сакли, и вот перед ней бледнеют все остальные красоты мира. Если бы не было у меня почему-либо родного аула и его окрестностей, если бы не жили они в моей памяти, то весь мир был бы для меня грудью, но без сердца, ртом, но без языка, глазами, но без зрачков, птичьим гнездом, но без птиц.

Это вовсе не значит, что я свою тему замыкаю в тесные пределы своего аула и своей сакли, это не значит, что я возвожу вокруг своей заповедной темы высокие крепостные стены.

Бывает поле, на котором срезает плугом толстый пласт земли, но под срезанной землей виднеется новая мягкая земля. Бывает поле, на котором срезает плугом тонкий пласт земли, но под срезанной землей — жесткие камни. Бывает поле, на котором не срезает еще и тонкого пласта, а камни видны. Я не намерен пахать и разрабатывать такое поле, ибо я знаю — доброго урожая на нем не будет.



Свою любовь к родной земле я не хочу держать на привязи или стреноженной, как коня, который хорошо потрудились, а теперь должен пастись на зеленом приволье. Я снимаю с коня уздечку и похлопываю его по влажной горячей шее: иди пасись, набирайся сил. В моем чувстве родины есть что-то доброе и спокойное, как в коне, пасущемся на свободе.

Я не хочу все явления мира искать в моей сакле, в моем ауле, в моем Дагестане, в моем чувстве родины. Наоборот, чувство родины я нахожу во всех явлениях мира и во всех его уголках. И в этом смысле моя тема — весь мир.

Помню, в далеком и сказочном Сантьяго меня разбудили петухи. Я проснулся, и несколько мгновений мне казалось, что я нахожусь в маленьком каменном ауле. Так сантьягские петухи оказались моей темой.

В Японии, в еще более сказочном городе Камакуре, я присутствовал, когда выбирали королеву красоты. Японские красавицы проходили чередой перед нами. Я невольно сравнивал их с той, с моей единственной, оставшейся в аварских горах, и не находил в них того, что есть в моей королеве. Так японские красавицы и даже японская королева красоты оказались моей темой.

В Непале, вдоволь налюбовавшись на буддийские храмы, на королевские дворцы, на двадцать два источника, отгоняющих все болезни, все чары и вообще все зло мира, я в конце концов поднялся на крутые высоты Катамандских гор. И вот эти горы напомнили мне родной Дагестан, и сердцу при виде их стало теплее, чем при виде важных и пышных дворцов и храмов. Обыкновенные горы оказались для меня дороже причудливых архитектурных сооружений. Я подумал, что не волшебные источники, но эти горы могут прогнать все болезни, а из сердца — все зло. Так буддийские храмы и горы Непала оказались вдруг моей темой.

После больших и шумных индийских городов меня привезли в небольшую деревеньку близ Калькутты. На просторном гумне шла молотба, быки кружили по золотым пшеничным снопам. Ни один музей, ни один театр в мире не доставил столько радости моему сердцу, как эти медленные быки, мнущие, молотящие своими копытами золотые пшеничные снопы. Словно я побывал и в род-

ном ауле, и в детстве. Так индийская деревенька близ Калькутты оказалась моей темой.

**Я ВИДЕЛ:** в горах Индонезии бьют в барабаны так же, как у нас в горах; по улицам Нью-Йорка ходил кавказец в черкеске; в Стамбуле и Париже живут печальные горцы-самоизгнанники, самые несчастные люди на земле; в Лондоне на выставке демонстрировалась керамика — изделия балхарцев, прославленных гончаров; в Венеции поражали зрителей канатоходцы из лакского аула Цовкра; у букиниста в Питтсбурге я наткнулся на книгу о Шамиле.

Отовсюду, от любого места, куда бы я ни уехал, протягиваются ниточки к Дагестану.

Плохо воину, когда с саблями нападает на него сразу несколько человек. Он не может защитить себя одновременно и со спины и спереди. Но если найдется скала, о которую можно опереться спиной, дела не так еще плохи: ловкий и сильный боец может сразить и двух, и трех врагов, если он опирается спиной о скалу.

Дагестан и есть для меня такая скала. Он помогает мне выстоять в самые трудные минуты.

Путешественники привозят домой песни тех стран, где они побывали. И только со мной беда — куда бы я ни поехал, я отовсюду привожу песни о Дагестане. С каждым новым стихотворением я словно узнаю его заново, понимаю заново и люблю заново.

Неисчерпаем и бесконечен для меня родной Дагестан.

### ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.

- Орел, о чем твоя самая любимая песня?
- О крутых горах.
- Чайка, о чем твоя самая любимая песня?
- О синем море.
- Ворон, о чем твоя самая любимая песня?
- О лакомых мертвецах на поле брани.

В литературе тоже свои птицы: орлы и чайки. Один воспеваает горы, другой воспеваает море. У каждого своя родина, своя тема. Но есть и вороны. Эти больше всего любят самих себя. Ворон, когда выклевывает глаза у мертвых на поле боя, не задумывается — то ли это глаза героя, то ли это глаза труса. Я знаю литераторов, которые сегодня делают то, что выгодно делать сегодня, а завтра будут делать то, что будет выгодно делать завтра.

**ЕЩЕ О ТЕМЕ.** Тема — сундук с добром. Слово — ключ от этого сундука. Но добро в сундуке должно быть свое, а не чужое.

Иные литераторы прыгают от одной темы к другой, не успевая разработать ни одну из них. Они приоткрывают крышку сундука, ворошат верхнее тряпье и поспешно бросаются дальше. Хозяин же сундука знал бы, что если бережно вынуть одну вещь за другой, то на дне окажется шкатулка с заветными драгоценностями.

Порхающие от одной темы к другой похожи на известного в горах многоженца Далаголова. Он ухитрился жениться двадцать восемь раз, но в конце концов остался совсем без жены.

Однако нельзя тему сравнить и с единственной законной женой. Ни с единственной матерью, ни с единственным ребенком. Потому что нельзя сказать: это моя тема, не смейте никто до нее дотрагиваться.

Тема моя, но она открыта и для всех других. Я слышал, как один писатель клял другого за то, что тот «украл» его тему. Он говорил: «Кто дал тебе право писать об Ирчи Казаке? <sup>1</sup> Ты же знаешь, что это моя тема, что об Ирчи Казаке пишу я. Это самое явное воровство!» И этот писатель волновался так, словно только что похитили его возлюбленную.

Ответ был достоин горца:

— Имамом становится тот, у кого злее и отважнее сабля. Невеста принадлежит не тому, кто послал к ней в дом сватов, а тому, кто сделал ее своей женой. Пусть тема об Ирчи, как и всякая тема, останется за тем, кто лучше напишет.

Да, разные писатели самостоятельно друг от друга могут разрабатывать одну тему. В литературе не может быть колхозов. У каждого писателя свое поле, своя полоса, как бы узка она ни была. Но я никому не запрещаю подходить к моему полю только на том основании, что сам я уже к делянкам не подхожу. На моей меже вы не увидите ни собаки, ни сторожа с ружьем. Да и где она, моя межа, как ее провести и чем оградить? Моя тема не запретный луг и не запретное место в мечети, куда не должна ступать нога постороннего человека.

<sup>1</sup> Ирчи Казак — кумыкский поэт прошлого века, зачинатель кумыкской литературы.

Был съезд писателей Дагестана, а на съезде был спор. Один оратор сказал:

— Зачем дагестанцам писать о других землях и о других народах? Пусть об Испании пишут испанцы, а об Японии — японцы, об уральской индустрии пусть пишут писатели, живущие на Урале. Если у птицы гнездо в саду, разве она полетит в другой сад, чтобы там петь свои песни? Надо ли с каменистых гор носить землю в долину, где и без того много прекрасной плодородной земли? Курдюк, состоящий из жира, надо ли мазать еще и маслом, если захочешь его поджарить?

На съезде присутствовал гость из другой республики. Он ответил оратору так:

— У зверя есть логово, так же как у птицы гнездо. Но солнце освещает всех зверей и дождь поливает все деревья. Радуга одинаково сияет для всех глаз. Молния сверкает и высоко в горах, и в глубоких ущельях. Так же гремит и гром. Прекрасный плов можно приготовить из риса, который привезли из чужой страны. Я приехал на ваш съезд издалека. Я приехал только затем, чтобы вас поздравить. Но теперь я чувствую, что полюбил ваши горы, ваше море, ваших благородных мужчин и полных достоинства красивых женщин. Если напишу о вас, то мои земляки скажут мне спасибо. Если же вы напишете о моей земле, тоже не будет вреда. Выбор писателя свободен, как выбор любви. Разве любовь спрашивает позволения поселиться в чьем-либо сердце?

Съезд аплодировал гостю, его слова были точны и остры, как стрелы, и все же, когда я тоже аплодировал и почти полностью соглашался с ним, раздумья не оставляли меня.

Хорошо писать о других странах и о других народах, но только после того, как ты утвердился в своей теме.

Мой маленький Дагестан и мой огромный мир. Два ручья, которые сливаются в один поток, достигнув долины. Две слезинки, которые вытекают из двух глаз и текут по двум щекам, но рождены одним горем или одной радостью.

Капли на щеки поэта упали,  
На правой щеке его и на левой.  
То капля радости — капля печали,  
Слезинка любви — и слезинка гнева.

Две маленьких капли, чисты и тихи,  
 Две капли бессильны, пока не сольются,  
 Но, слившись, они превратятся в стихи,  
 И молнией вспыхнут, и ливнем прольются.

*Перевел Н. Гребнев*

Мой маленький Дагестан и мой огромный мир. Вот моя жизнь, моя симфония, моя книга, вот моя тема.

Орел, который не улетает от высоких скал на широкие просторы долины,— плохой орел.

Орел, который не возвращается с широких просторов долины на высокие скалы,— плохой орел.

Но орлу легко. Он родился орлом и не может, если даже захочет, превратиться ни в чайку, ни в ворона. Трудно писателю стать орлом, если он не родился с качествами этой благородной и мужественной птицы.

О человеке, который не научился играть на кумузе, у нас утешительно говорят: ничего, он научится играть на том свете.

Сколько писателей берутся за перо и садятся за бумагу, руководствуясь не чувствами любви или ненависти, но единственно чувством обоняния!

Ведь и гость, пришедший в аул и думающий, в какую бы саклю зайти, выбирает себе наконец саклю по запаху дыма из трубы. Одни дымок пахнет кукурузной лепешкой, а другой — вареной бараниной.

Ведь и жених иногда из двух девушек, из которых одна пуста, а другая умна, выбирает пустую только за то, что у нее больше денег.

Ведь есть и писатели, которым безразлично, о чем или о какой стране писать. Они похожи на тех спекулянтов, которые думают, что, чем дальше они уедут, тем дороже продадут свой товар.

Они напоминают мне также некую Пархалше, которая считала, что в родном ауле нет для нее подходящего парня, надеялась на женихов из другого аула, но в конце концов, как нетрудно догадаться, осталась старой девой.

**ПРИТЧА О ДВУХ ГОРЦАХ, ХОДИВШИХ В ЛЕС.** Два горца пошли из аула в лес, чтобы найти и срезать палки для ярма. Старые, как видно, износились.

Первый горец сразу же нашел подходящее дерево, срезал два великолепных сухих сучка. Однако его това-

рищу все казалось, что следующее дерево будет лучше, а следующее — еще лучше. Так целый день он бродил по лесу, не имея сил остановиться и выбрать то, что нужно. В конце концов он срезал два сучка гораздо хуже тех, что попадались вначале. Домой он вернулся к вечеру, когда первый горец ехал с поля, вспахав его при помощи нового ярма.

Эту притчу мне рассказал Абуталиб по случаю того, что один дагестанский поэт вернулся из далекой командировки и привез два плохих стихотворения.

— Песне, которой не научился в родном доме, не научишься вдалеке от родного дома, — заключил старый поэт свое поучение, а потом добавил: — Поэты иногда подобны горцу, который целый день искал папаху, в то время как она спокойно пребывала на его дурной голове.

**ЕЩЕ О ТЕМЕ.** Был день, когда я впервые покидал родную саклю, отправляясь в путь. Мать поставила на окно зажженную лампу. Я шел, оборачивался, снова шел, но огонек родной сакли мигал мне сквозь туман и мглу.

Огонек на маленьком окне мигал мне сквозь многие годы, пока я колесил по свету. Когда же я вернулся в родной дом и посмотрел в это окно изнутри дома, я увидел весь огромный мир, который мне удалось исколесить за свою жизнь.

Кто же даст писателю тему? Легче дать ему голову, глаза, уши, сердце. Писатели, которые ищут тему не по любви или ненависти, но по запаху, а еще точнее, по нюху, не могут сделаться сыновьями своего времени. Они дети не времени, а дня. А еще они похожи на глухую невесту.

**ПРИТЧА О ГЛУХОЙ НЕВЕСТЕ.** Жила, как говорят, в одном ауле глухая девушка. Жених из другого аула, ничего не зная о ее глухоте, прислал сватов. Дело сладилось, началась свадьба. Народу собралось видимо-невидимо. Невесте не хотелось, чтобы все пришедшие на свадьбу узнали о ее глухоте. Она попросила свою подругу, чтобы та все время сидела с ней рядом. И если будут рассказывать веселое, такое, чтобы смеяться, то подруга должна была ущипнуть ее за левое плечо. Если начнется печальный, грустный рассказ, то подруга шипала справа.

Говорить самой невесте на свадьбе вовсе не обязательно, даже лучше ей ничего не говорить. Поэтому некоторое время все шло хорошо. Невеста смеялась там, где

нужно было смеяться, и становилась печальной, когда печалились все вокруг.

Но потом подруга забыла условие, перепутала и начала щипать справа, когда требовалось щипать слева, и наоборот. Невеста хохотала в минуты печали и задумчивой тишины и горестно стонала и вздыхала, когда всем было весело.

Жених начал приглядываться к невесте, пригляделся и решил, что она совсем глупа. И тотчас отправил ее по той дороге, по которой она приехала.

Итак, настоящий писатель не должен нуждаться в щипках то справа, то слева, подобно глухой невесте. Только боль собственного сердца, только собственная радость заставляет его браться за перо. Он смеется не потому, что другие смеются и нужно подлаживаться к другим, не потому, что другие горюют и нужно горевать заодно со всеми. Нет, он сам должен задавать тон на свадьбе. Пусть будет весело всем вокруг, когда засмеется поэт. Пусть боль сожмет сердце, когда поэт поделится болью своего сердца.

Если же кто не согласен со мной и до сих пор считает, что легче писать по подсказке, пусть ему будет поучением следующее событие, которое произошло со мной.

**ВОСПОМИНАНИЕ.** Тогда я учился во втором классе в начальной школе Хунзахской крепости. За одной партой со мной сидела синеглазая девочка, дочка русской учительницы, Нина. Она мне очень нравилась, но я не осмеливался сказать ей об этом. Наконец я решил написать записку. Но и это было не просто, потому что в то время я еще не умел написать по-русски ни одного слова. Я обратился со своей заветной просьбой к приятелю. Он говорил мне какие-то непонятные русские слова, а я записывал их русскими буквами. Я думал, что пишу прекрасные слова о любви, какие мне хотелось бы сказать Нине. Дрожащими руками я передал записку своей соседке, дрожащими руками она развернула ее и вдруг покраснела, и убежала из класса, и больше не хотела сидеть со мной за одной партой. Оказывается, вся моя записка состояла из мерзких, отвратительных непристойностей.

Вспоминаю еще один случай. Я учился уже в Литературном институте, а Нина — в Педагогическом имени Ленина. Однажды в декабре она пригласила меня в го-

сти. Я знал, что этот день — день ее рождения. Конечно, я позаботился о подарках, но лучшим подарком, мне казалось, будет, если я напишу стихи об имениннице и прочту их вслух, а потом торжественно преподнесу.

Итак, я написал поздравительное стихотворение, уговорил моего однокурсника, тоже молодого поэта, перевести его на русский язык. Целую ночь мой товарищ трудился над переводом. Когда же он прочитал мне его, я не узнал стихотворения. Там были сентиментальные излияния, порывы роковой страсти, но не было ничего из того, что я хотел сказать Нине.

Теперь меня трудно было провести. Я уже был стреляный воробей, я сказал:

— Ладно, это стихотворение ты прочтешь своей любимой, когда у нее будет день рождения, потому что это твое стихотворение, а не мое.

**ЕЩЕ О ТЕМЕ.** Тема не плавает на поверхности брюхом кверху, как уже уснувшая рыба. Она в глубине, на быстрине, в самой светлой и упругой струе. Сумей поймать ее там, сумей выхватить ее из водоворота, из-под водопада. Разве одна цена деньгам, заработанным долгим, тяжелым трудом и случайно подобранным на тротуаре.

Горцы говорят: можно много зверей поймать, но все это будут шакалы или зайцы. Лучше одного зверя поймать, но чтобы это была лиса. Неизвестно, где ее поймаешь. Не обязательно самый хороший зверь живет в самом дальнем ущелье.

Один охотник всю жизнь мечтал поймать черно-бурую лису. Всю жизнь он охотился за ней, исходил все горы вдоль и поперек. Под старость ему тяжело стало делать большие переходы, и он стал охотиться в ближнем ущелье, почти около сакли. И вот ему попалась черно-бурая красавица. Охотник спросил у лисы:

— Где же ты пряталась до сих пор, я искал тебя всю жизнь?

— А я всю жизнь живу в этом ущелье,— ответила лиса,— но разве ты не знаешь, что, если даже на поиски потратить всю жизнь, все равно для находки нужен один день и даже одно мгновение?

Да, у каждого писателя бывает один день, когда он открывает самого себя, находит свою главную тему. Такой теме писатель не должен потом изменять. Если же



он изменит, то с ним может случиться то же, что случилось с одним моим знакомым.

**ИТАК, О ПЬЕСЕ МОЕГО ЗНАКОМОГО.** Один дагестанский писатель написал пьесу из колхозной жизни. Но как ни важна была тема, театр все же не принял пьесу, объясняя отказ самой неуважительной причиной: пьеса, мол, попросту не понравилась.

Может, для кого другого эта причина и могла показаться уважительной, но только не для самого драматурга. Драматург обиделся и написал заявление куда следует. Тотчас была создана комиссия для изучения вопроса и принятия мер. При изучении обнаружилось следующее содержание пьесы: распевая веселые песни, две бригады соревнуются одна с другой на уборке богатого урожая пшеницы.

Такое содержание вполне устроило бы комиссию, и пьеса пошла бы как по маслу, но тут привмешалось дополнительное обстоятельство: к этому времени было принято решение сеять в кумыкских степях (а именно там веселые бригады, соревнуясь, собирали урожай) вместо пшеницы хлопок. В этих «хлопковых» условиях ставить «пшеничную» пьесу было никак нельзя. Драматург не долго думая уселся за переработку своего произведения. Не успел вновь посеянный хлопок зацвести, как все было сделано в лучшем виде. Пьесу снова начали читать в театре. А пока ее читали, было принято новое решение. В нем говорилось, что хлопок в кумыкских степях еще невыгоднее, чем пшеница, и что нужно выращивать кукурузу.

Работоспособный драматург вновь принялся за переделку пьесы. Не знаю, чем кончилось бы дело, но в это время сгорел театр. Мой знакомый разозлился на свою неудачу, пошел на крутой берег реки и в досаде швырнул свою пьесу в бурные воды. Теперь он о пьесе не жалеет.

Расскажу, пожалуй, еще и о другой пьесе. Написал ее один русский литератор, а называлась она «Кипучие люди». Это была уже не «хлопково-пшеничная» пьеса, а «рыбацкая». И даже не «рыбацкая», а вот о чем.

Существует стремление переселить всех горцев из их вековых аулов вниз, на ровное место, к морю. Называется это — переселить на «плоскость». Не будем разбирать сейчас всей этой сложной проблемы, скажем только, что



горцы, занимавшиеся испокон веков разведением овец, становятся на плоскости иногда рыбаками. Чем плохой рыбак лучше хорошего чабана — тоже не просто выяснить, но в пьесе «Кипучие люди» как раз и говорилось о том, как горцы из дальнего аула стали рыбаками Каспия.



Действующие лица пьесы все были аварцами, и поэтому драматург показал свое новое произведение аварскому театру. Но аварский театр забраковал пьесу.

Что оставалось делать драматургу? Другой на его месте, вероятно, растерялся бы и упал духом. Но бывает

ведь в шахматной партии: черные, например, так стеснены, так загнаны в угол, что некуда деваться, даже нельзя вздохнуть; вдруг в этот момент черные делают ход конем, очень неожиданный простенький ход,— и вся партия неожиданно меняется: теперь уж белым нужно переходить в оборону, уносить ноги, пока не поздно.

Такой-то простенький ход и сделал тогда автор «Кипучих людей». Неожиданно он поменял в пьесе все аварские имена на кумыкские и предложил пьесу кумыкскому театру. Однако и ход конем не улучшил положения. Кумыкский театр отказался ставить пьесу о чабанах, превращающихся в рыбаков.

У нас в Дагестане много народностей. Герои пьесы побывали и в даргинцах, и в лезгинах, но, кажется, хорошими рыбаками так и не сделались. Словно голодную собаку, которую нечем прокормить дома, выпустил драматург свою пьесу в люди. Собака обегала много чужих дворов, но нигде не нашла ни одной кости.

Спустя несколько лет драматург уехал учиться в Москву на Высшие литературные курсы. И вот до Махачкалы дошли слухи, что его рыбаки превратились в цыган. Пьеса заинтересовала цыганский театр «Ромэн». Наконец-то хромая невеста нашла себе мужа. Впрочем, и этот брак оказался недолгим...

Ну вот, раскритиковал я сразу две пьесы знакомых мне писателей. Если бы я стоял сейчас на трибуне на писательском собрании, уже давно бы услышал крики: «Расскажи про себя! Самокритику давай!»

Что же про себя говорить? Я был бы, наверное, счастлив, если бы мог сейчас повиниться только вот в таких писательских прегрешениях, о которых только что рассказал. Но я ношу в себе такой грех, перед которым все «хлопковые», «рыбачьи» и прочие на многие годы вперед грехи — детская забава, безделушки, ничто. В молодости я совершил поступок, о котором мне тяжело вспоминать.

Меня потом много и долго ругали мои друзья, и это было для меня наказанием. Но главное мое наказание я ношу в себе самом, и уж никто никогда не накажет меня больше.

**ОТЕЦ ГОВОРИЛ:** если совершишь недостойный, позорный поступок, сколько бы потом ни молился, сделанного назад не воротишь.

**ОТЕЦ ЕЩЕ ГОВОРИЛ:** человек, совершивший

позорный поступок, а потом через несколько лет начавший раскаиваться, подобен тому, кто хочет погасить долг старыми дореформенными деньгами.

**И ЕЩЕ ОТЕЦ ГОВОРИЛ:** если ты позволил сделать злу все, что оно хотело, и выпустил его из сакли на волю, что толку бить то место, где это зло сидело?

Зачем запирают двери на тяжелый замок после того, как быков уже угнали?

Все это так. И я знаю, что после драки кулаками не машут. Но читатели мои нет-нет да и напишут снова, напомнят, разбередят рану. Они как бы кидают камешки в мое окно и как бы говорят:

— Выгляни, покажись, Расул Гамзатов. Расскажи нам, своим читателям, как и почему все случилось.

— О чем я должен вам рассказать?

Вопрос вопросов. Стрелу, попавшую в тело, можно выдернуть. Но можно ли выдернуть стрелу, попавшую в сердце?

— Да вот. В тысяча девятьсот пятьдесят первом году ты написал стихи, очерняющие Шамиля, а в тысяча девятьсот шестьдесят первом году написал стихи, восхваляющие Шамиля. Над теми и над другими стихами стоит имя: Расул Гамзатов. Теперь мы хотим узнать — один и тот же это Расул или два разных. И какому Расулу верить.

Мой дорогой читатель, я не знаю твоего возраста, может быть, ты совсем еще юн. Были ли у тебя в жизни рубежи, границы, которые приходилось преодолевать? Мне пришлось перейти одну границу — я любил, не пытаясь серьезно разобраться в своем чувстве. Потом мне пришлось раскаиваться в этом.

Бывает, что окна соседей разделяет узкая улочка. В каждом окне по соседу друг против друга. И вот они ругаются, стараются обвинить в дурных поступках старший младшего или младший старшего... Я похож на этих бранящихся соседей, но и в том и в другом окне — я сам. Только в одном окне молодой, а в другом такой, как сейчас.

Блеск времени ослепил меня, как красивая девушка ослепляет глупого парня. Я смотрел на все, как жених на невесту, не замечая ни малейших изъянов.

Если говорить серьезно, я был тенью времени. Известно же: какова палка, такова от нее и тень. Было офици-

ально решено, что Шамиль английский и турецкий агент и что главная его цель — разжигание вражды между народами. Я верил тому дому, в котором это было утверждено, я верил и хозяину того дома. Тогда-то я и написал стихи, разоблачающие нашего Шамиля.

Теперь мне говорят иногда, чтобы утешить:

— Мы слышали, будто ты написал эти стихи по специальному заказу, что тебя заставили их написать.

Неправда! Меня никто не насилдовал, не принуждал. Я сам, добровольно, написал стихи о Шамиле и сам отнес их в редакцию. Просто я был похож тогда на иных горцев, которые листают коран, не зная ни одной буквы по-арабски, и, значит, совершенно ничего не понимая, и все-таки испытывают сладкий восторг.

Я был тенью времени. Я не знал тогда, что поэт не может быть тенью, что он всегда огонь, источник света, независимо от того слабенький ли это огонек или большое солнце. Свет не отбрасывает тени, от света — только свет.

Может быть, я понял это несколько поздно. Что ж, даже яблоки бывают разных сортов. Одни созревают быстро, другие наливаются только к осени. Я, как видно, отношусь к осеннему сорту.

Так вот и было дело. Что касается моей раны, то она со мной.

Снова рана давнишняя, не заживая,  
Раздирает мне сердце и жалит огнем.  
...Был он дедовской сказкой. Я сызмальства знаю  
Все, что сложено в наших аулах о нем.

Был он сказкой, что тесно сплетается с былью,  
В детстве жадно внимал я преданьям живым,  
А над саклями тучи закатные плыли,  
Словно храброе войско, ведомое им.

Был он песнею гор. Эту песню, бывало,  
Пела мать. Я доселе забыть не могу.  
Как слеза, что в глазах ее чистых блистала,  
Становилась росой на вечернем лугу.

Старый воин в черкеске оглядывал саклю,  
Стоя в раме настенной. Левшою он был,  
Левой сильной рукой он придерживал саблю  
И оружие с правого боку носил.

Помню, седобородый, взирая с портрета,  
Братьев двух моих старших он в бой проводил.

А сестра свои бусы сняла и браслеты,  
Чтобы танк его имени выстроен был.

И отец мой до смерти своей незадолго  
О герое поэму сложил...

Но, увы,  
Был в ту пору Шамиль недостойно оболган,  
Стал безвинною жертвою темной молвы.

Может, если б не это внезапное горе,  
Жил бы дольше отец...

Провинился и я:  
Я поверил всему, и в порочащем хоре  
Прозвучала поспешная песня моя.

Саблю предка, что четверть столетья в сраженьях  
Неустанно разила врагов наповал,  
Сбитый с толку, в мальчишеском стихотвореньи  
Я оружием изменника грубо назвал.

Ночью шаг его тяжкий разносится гулко.  
Только свет погашу — он маячит в окне.  
То суровый защитник аула Ахулго,  
То старик из Гуниба, он входит ко мне.

Говорит он: «В боях и в пожарищах дымных  
Много крови я пролил и мук перенес.  
Девятнадцать пылающих ран нанесли мне.  
Ты нанес мне двадцатую, молокосос.

Были раны кинжальные и пулевые,  
Но тобой причиненная, трижды больней,  
Ибо рану от горца я принял впервые.  
Нет обиды, что силой сравнилась бы с ней.

Газават мой, быть может, сегодня не нужен,  
Но когда-то он горы твои защищал.  
Видно, ныне мое устарело оружие,  
Но свободе служил этот острый кинжал.

Я сражался без усталости, с горским упорством,  
Не до песен мне было и не до пиров.  
Я, случалось, плетью избивал стихотворцев,  
Я бывал со сказителями суров.

Может, их притесняя, ошибся тогда я,  
Может, зря не взнуздывал я свой вспыльчивый нрав,  
Но, подобных тебе пустозвонов встречая,  
Вижу, был я в крутой нетерпимости прав».

До утра он с укором стоит надо мною,  
Различаю, хоть в доме полночная тьма,—  
Борода его пышная крашена хною,  
На папахе тугая белеет чалма.

Что сказать мне в ответ? Перед ним, пред тобою,  
 Мой народ, непростительно я виноват.  
 Был наиб у имама — испытанный воин,  
 Но покинул правителя Хаджи-Мурат.

Он вернуться решил, о свершенном жалея,  
 Но, в болото попав, был наказан сполна.  
 ...Мне вернуться к имаму? Смешная затея.  
 Путь не тот у меня и не те времена.

За свое опрометчивое творенье  
 Я стыдом и бессонницей трудной плачу.  
 Я хочу попросить у имама прощенья,  
 Но в болото при этом попасть не хочу.

Да и он извинений не примет, пожалуй,  
 Мною обманутый, он никогда не простит  
 Клевету, что в незрелых стихах прозвучала.  
 Саблей пишущий не забывает обид.

Пусть... Но ты, мой народ, прегрешение это  
 Мне прости. Ты без памяти мною любим.  
 Ты, родная земля, не гляди на поэта,  
 Словно мать, огорченная сыном своим.

*Перевел Я. Хелемский*

Не знаю, простили ли меня за те старые мои стихи  
 дагестанцы, не знаю, простила ли за них тень Шамиля,  
 но сам себе я их никогда не прощу.

Мой отец говорил мне:

— Не трогай Шамиля. Если тронешь, до самой смерти  
 не будет тебе покоя.

Прав оказался мой отец.

Сын горца, я с детства воспитан не хлипким:  
 Терпел я упреки, побои сносил.  
 Отец за проступки мои и ошибки  
 Не в шутку, бывало, мне уши крутил.

Мне, взрослому, время наносит удары  
 И уши мне крутит порой докрасна,  
 Как крутит играющий уши дутара,  
 Когда, ослабев, зафальшивит струна.

*Перевел Н. Гребнев*

Время! Из дней складываются годы, из лет — века.  
 Но что же такое эпоха? Складывается ли она из веков?  
 Или из лет? Или может стать эпохой и один день? Пять  
 месяцев стоит дерево, покрытое зеленью, но одного дня,



одной ночи хватает, чтобы все листья сделались желтыми. И наоборот. Пять месяцев стоит дерево, голое и черное, как уголь. И одного теплого светлого утра хватает, чтобы оно покрылось зеленью. Одного радостного утра хватает, чтобы оно зацвело.

Есть деревья, которые от месяца к месяцу меняют свой цвет, и есть деревья, которые никогда не меняют цвета.

Есть перелетные птицы, которые мечутся по земному шару в зависимости от времени года, и есть орлы, никогда не изменяющие своим горам.

Птицы любят лететь против ветра. Хорошая рыба плывет против течения. Настоящий поэт, когда ему велит сердце, восстает «против мнений света».

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Есть у меня один друг — аварский поэт. В прошлом году вышла новая книга его стихотворений. Все стихи в книге он распределил по разделам, словно по комнатам в своей городской квартире. Вот политические или, скажем, гражданские стихи — кабинет; вот интимные, любовные стихи — спальня; вот разные, общие стихи — гостиная; вот стихи о сельском хозяйстве, о хлебе, о чабанах... — не знаю, куда отнести эти стихи — разве что к кухне?

И разве не прав оказался певец, приехавший с гор в Махачкалу на состязание дагестанских певцов? Наш поэт, раскладывая стихи по полочкам, попросил певца спеть по одному стихотворению из каждого раздела. Певец настроил кумуз, несколько минут помолчал, как бы собираясь с мыслями, и запел. Пел он долго. Все испугались: если это из одного раздела, а их всего четыре, то когда же он кончит петь? Но вот певец замолчал и остановил ладонью звучание струн. Продолжения не последовало. Оказывается, он в одну песню собрал главные мысли и главные чувства поэта. Поэт спросил у певца, зачем же он так сделал.

— Друг, — ответил певец, — вот мой кумуз и вот на нем три струны. Я не могу сначала играть на одной струне, потом на второй, потом на третьей.

**ЕЩЕ О ТЕМЕ.** Может быть, не все знают, что жил горец, который носил новые сапоги и очень боялся их запачкать. Он ходил только на носках. А однажды он попал в самую грязь, где ему было бы по колено. Бедняге пришлось встать на голову.

**ТАК БЫВАЕТ.** Поэты подчас словно не искусство создают, а участвуют в воскресных скачках. Ради того, чтобы шею коня на пять минут украсили призовым платком, они готовы до крови исхлестать коню бока. Платок придется все равно снять в этот же день, а раны не заживут долго. Они, как Алибулат из Телетля, всегда готовы... Впрочем, вы ведь не знаете, как было дело с Алибулатом?

Однажды хунзахский наиб сказал своему нукеру Алибулату:

— Приготовься, завтра утром тебе нужно будет съездить в аул Телетль.

— Я готов, — ответил исполнительный нукер.

Еще не прояснились вершины горы, как Алибулат оседлал коня и выехал в путь. К обеду он уже возвращался в Хунзах. Когда он подъезжал к Хунзаху, ему повстречались знакомые горцы. Они спросили:

— Да сохранил тебя аллах, Алибулат, далеко ли ездил?

— Успел обернуться из Телетля.

— Какие дела водили тебя в Телетль?

— Я не знаю. О делах знает наиб. Он сказал мне вчера, что нужно съездить, вот я и съездил.

Есть такие алибулаты и в нашей литературной среде.

## СТИХИ О ТЕМЕ.

Подростком я на свадьбе был веселой,  
Вино лилось из рогов через край,  
Мне в руки дали тросточку, которой  
Любую девушку на танец выбирай.  
Смушенно я стоял средь свадьбы шумной:  
Чью предпочесть девичью красоту?  
Но поучали взрослые разумно:  
Не ту бери, а ту. Вон, видишь, ту.  
Стал взрослым я. Кумуз мне дали звонок,  
Чтоб воспевал я край мой золотой,  
Но учат вновь, как будто я ребенок:  
Ты не о том, а ты об этом пой!

**ЕЩЕ О ТЕМЕ.** Видел я многих молодых людей, которые, прежде чем жениться, советуются не с самими собой, а со своими родственниками, с дядюшками и тетушками. У писателя же в его творчестве не может быть брака не по любви. В жизни от брака по совету тетушек все-таки рождаются живые дети. Правда, говорят, чем сильнее любовь, тем дети красивее. У писателя от брака без

любви рождаются только мертвые книги. Писатель, прежде чем вступить в союз со своей темой, должен прислушаться к своему сердцу.

У стихотворения, созданного по совету тетушек и дядюшек, будет такая же судьба, как у книги одного моего приятеля.

**О КНИГЕ МОЕГО ПРИЯТЕЛЯ.** Не помню точно, в котором году, но вдруг заговорили о том, что стране нужны Гоголи и Щедрины. Появилась вдруг нужда в советской сатире.

Мой приятель — немного поэт, немного прозаик, немного редактор. Одним словом, литератор. Он живо откликнулся на призыв и написал книгу сатирических стихотворений, обрушив свою сатиру на клеветников, на подхалимов, тунеядцев, на многоженцев и на другие отрицательные явления положительной в целом советской действительности.

Не успела книга появиться на прилавках магазинов, как один критик написал резкую статью. Он писал: «Лозунг о том, что нам нужны Гоголи и Щедрины, автор понял слишком прямолинейно и упрощенно. Теперь мы видим, какой мелкий и злобный человек жил рядом с нами. Теперь мы видим, какое у него крохотное и черное сердце. Где мог найти он тех людей, которых вывел в своей книге? Неужели такие люди есть в нашей Советской стране? Нет, в Советской стране таких людей быть не может. Они порождены мрачной фантазией мрачного человека, который своей клеветнической книгой льет воду на мельницу наших врагов».

Крупный начальник Мухтарбеков воскликнул, ударяя кулаком по столу.

— Ну где, где ты увидел, например, такого ленивого, нерадивого бригадира и к тому же пьяницу?!

— В нашем ауле видел, — смиренно отвечал автор.

— Это клевета. Я знаю, что в вашем ауле передовой колхоз. В передовом колхозе не может быть такого бригадира.

Короче говоря, сатира посыпалась на голову самого сатирика. Получилось, как на карикатуре в польском журнале. Там были нарисованы два балкона: один на первом этаже, другой на четвертом. На каждом балконе по человечку. Нижний человечек кидает в верхнего кирпичи, но кирпичи не долетают до четвертого этажа и,

возвращаясь, ударяют по голове того, кто их кинул. Верхний же человек спокойно кидает кирпичи вниз, и они тоже падают на бедную голову стоящего на нижнем балконе. Под карикатурой подпись: «Критика снизу и критика сверху».

Кто-то посоветовал неудавшемуся сатирику, что самое лучшее — признать себя виновным, и хорошо бы не один раз, а несколько, где только можно: и в газете, и в журнале, и на каждом собрании. Автор злополучной книги начал каяться, бить себя в грудь. Но этого оказалось мало. Большой начальник Мухтарбеков сказал:

— После твоих клеветнических стихов мы тебе не верим. Ты должен делом, пером своим доказать, что ты исправился.

Моему приятелю было все равно, что делать. Критиковать так критиковать, исправляться так исправляться. Он засел за работу и написал поэму «Трудолюбивая Маржанат». Героиня поэмы, передовая девушка, активистка, мигом сделала передовым весь колхоз, перевыполнила все планы и даже в конце концов заняла первое место в самодеятельности, спев песню собственного сочинения. Поэму немедленно напечатали в журнале, а также издали отдельной книгой. Но время немного переменилось. И вдруг те же самые газеты, которые называли сатирика клеветником и очернителем, заявили, что он самый настоящий лакировщик. Большой начальник Мухтарбеков опять ударил кулаком по столу:

— Где это ты видел, чтобы у колхоза не было никаких недостатков? Где это ты нашел такой идеальный колхоз?!

Виновный на этот раз ничего не отвечал. Бывают такие узлы, что руками не развяжешь — туго, а зубами развязывать нельзя, потому что узел в каком-нибудь дерьме. Мой приятель понял, что перед ним как раз такой узелок, и только сидел, понунив голову.

Молчал он ни много ни мало десять лет. Ни разу за все эти годы не пришел даже в Союз писателей. Один раз только пришел, когда распределяли квартиры. Тут уж, согласитесь, не прийти было никак нельзя.

Большого же начальника Мухтарбекова вскоре сняли с его высокого поста за очковительство. Никто о нем не жалел.

Кстати, он очень любил купаться. Бывало, утром и

вечером приезжал в большом черном «ЗИМе» на особый пляж и там в одиночестве погружал свои тела в прохладные соленые воды Каспия. Дом его стоял у самого берега моря. Но никто не видел теперь Мухтарбекова купающимся. На общий пляж он ходить не хотел. Не мог он, видимо, переломить себя и свою собственную гордыню.

**ЕЩЕ О ТЕМЕ.** Когда выйдешь на улицу, окажется, что вокруг: по земле, в кустарнике, на деревьях — порхает много птиц. Летают они и в небе, одни повыше, другие пониже: ласточки, галки, вороны, воробьи, грачи. Среди этих птиц на все небо один орел. Он выше всех, дальше всех от глаз, но все-таки, если он есть в небе, то человек, вышедший из сакли на волю, в первую очередь увидит орла. Он выделяется и бросается в глаза именно тем, что он дальше всех и выше всех. А потом уж разглядишь и воробья, что сидит на кусте в пяти шагах от двери.

Но оттого, что увидел орла, не сделаешься орлом. Писатель, написавший о герое, не превращается в героя сам. Я знаю немало трусов, прославившихся героическими стихами.

Ведь если бы поднялся из могилы отважный сын гор Махач Дахадаев, что бы он сказал некоему «ученому», пишущему диссертацию о нем?

— Как же ты можешь рассказывать о моей героической жизни, если не можешь отстоять перед редактором ни одной фразы из написанных тобой? Каждый редактор изменяет твои суждения обо мне, как он хочет, и ты ничего не смеешь возразить. Нет, ты не достоин писать диссертацию о таком человеке, как Махач Дахадаев, — вот что сказал бы отважный сын гор, если бы он встал из могилы.

Иным кажется, стоит взяться за великую тему — и сам тотчас станешь великим. Но самым великим является самое простое. В одной капле дождя спит потоп. Разница между великим человеком и ничтожным в том, что ничтожество умеет видеть только большие предметы и явления, не замечая ничего у себя под носом, а великий человек умеет видеть и большое и малое, и даже в самом малом умеет найти и показать людям самое большое.

**ВОСПОМИНАНИЕ.** Бывает иногда так: талант-

ливые писатели печалются, а неталантливые ходят, подняв голову. Это происходит тогда, когда ценятся лишь благие намерения автора, а как написана его книга, каков талант написавшего ее, какова она по мастерству — не ценится всерьез. В таких случаях поучающих разводится больше, чем поучаемых, оценщиков больше, чем товара, болтунов больше, чем писателей.

Именно в такое-то время моего отца угораздило написать большую поэму о Шамиле. Поэма вот-вот должна была выйти в свет, как вдруг пришло предписание впредь и на все времена считать Шамиля англо-турецким агентом. Выходило, что двадцать пять лет Шамиль воевал не за свободу народов Дагестана, но ради обмана этих народов.

Каково же было моему отцу с его героической поэмой! Ему намекнули, что нехорошо в наше солнечное время копать в древней истории и было бы лучше, если бы он написал новую поэму о чем-нибудь другом, более современном и более близком для читателя.

В те дни к отцу часто приходил друг нашего дома веселый поэт Абуталиб. Почти всегда он приходил со своей неразлучной зурной либо со свирелью.

— Гамзат,— говорил Абуталиб, устраиваясь поудобнее и налаживая зурну.— Не расстраивайся так сильно. Когда я был мальчиком и не писал стихов, я всегда играл на этой зурне. Не один год она кормила меня и мою семью. Любую мелодию, какую только попросят, умела играть она. Давай вспомним молодость, оставим на время наше стихотворство и займемся музыкой. Я буду играть на зурне, а ты, Гамзат, на барабане. Оно и легче.

— Что ты, Абуталиб. Если бы мы стали барабанщиками и зурначами, было бы полбеды. Все-таки зурнач играет, а под его музыку танцует танцор либо канатоходец. Зурнач стоит на земле, а канатоходец танцует на веревке. Ну, скажи, кому из них хуже, Абуталиб? Канатоходцы — это мы с тобой. Из нас хотят сделать канатоходцев и танцоров.

Веселый Абуталиб погрустнел, и вместе с ним погрустнела его зурна. Долго играл он молча, потом поднял голову и сказал:

— Трудное дело — писать стихи.

Вершина далекая кажется близкою.  
С подножья посмотришь — рукою подать,

Но снегом глубоким, тропой каменистою  
Идешь и идешь, а конца не видеть.

И наша работа нехитрою кажется,  
А станешь над словом сидеть-ворожить,  
Не свяжется строчка, и легче окажется  
Взойти на вершину, чем песню сложить.

*Перевел Н. Гребнев*

**ПРИТЧА О ПТИЧКЕ, ПОЖЕЛАВШЕЙ  
СРАВНИТЬСЯ С ОРЛОМ.** Отара овец спуска-  
лась с гор в долину. Неожиданно с неба налетел орел,  
схватил и утащил ягненка. Все это видела маленькая  
птичка. Она решила: а почему бы и мне не поступить,  
как орлу. Да и что ягненок, унесу-ка я целого барана.  
Птичка взлетела повыше, сложила крылышки и броси-  
лась вниз. Но дело кончилось тем, что она ударилась о  
бараний рог и убилась насмерть.

— Тоже и муха однажды хотела перекатить ка-  
мень,— сказал чабан, держа на ладони мертвую птичку.

Так птичка, пожелавшая сравниться с орлом, доби-  
лась того, что ее сравнили с мухой.

**ЕЩЕ О ТЕМЕ.** Тема — любовь и тема — клятва,  
тема — мольба и тема — молитва. На Востоке говорят:  
молитва от повторения не портится; молитва от повто-  
рения делается еще ценнее.

Про тему этого сказать нельзя. Если будешь повто-  
рять все время одну и ту же тему, она измельчится и  
обесценится. Алмаз чем крупнее, тем дороже. Кому  
нужна алмазная пыль?

Однажды я написал стихи о русской учительнице  
Вере Васильевне. Увидел, что стихи понравились и чита-  
телям и даже критикам. Я обрадовался и зачастил на  
ту же тему.

Мои стихи уподобились не тому вину, которое было  
в бочонке сначала, а тому вину, которое получилось после  
того, как бочонок сполоснули.

А можно под маркой старого вина подавать на стол  
вино, которое не перебродило.

Расскажу еще, как делали мы иногда, угощая моск-  
вичей нашим вином.

Я и мои друзья-кавказцы, все мы каждый раз, воз-  
вращаясь в Москву из родных мест, привозили с собой

вино. Соберешь друзей, откроешь бочонок — и начнется пир. Вино в бочонке старое, выдержанное, высокой марки. Друзья, выпив вина, похвалят, расскажут друг-им своим друзьям. Охотников до хорошего вина находилось много. Бочонок же, как известно, имеет дно. Иногда мы, грешным делом, покупали в буфете обыкновенное бутылочное вино, выливали его в бочонок и говорили, что это настоящее, крестьянское, из собственных погребов. Таких знатоков, которые могли бы нас разоблачить, не находилось. Только один гость попробовал, посмотрел на меня и покачал головой. Остальные же, чем больше пили, тем больше пьянели, а чем больше пьянели, тем больше хвалили.

Так и мои стихи, с которыми я зачастил. Только отдельные, самые понимающие и строгие читатели качали головами и говорили:

— Э, брат, по этому же делу приходил и Далаголов. Или еще они говорили:

— Для одного аула вполне достаточно одного дурака.

И тогда я понял, что делаю то же самое, что и мастера-деревообрабочники делали со своими тростями.

Сейчас я расскажу все эти истории по порядку.

Когда я был еще мальчиком, в наш аул каждый день приходил с ворохом писем и газет почтальон Курбанали. Это был балагур из аула Эбута. Разнося почту, Курбанали обязательно заходил к моему отцу посидеть, выкурить трубку, поговорить. Не знаю, почему для таких бесед он выбрал моего отца. Ведь тема его разговоров была одна и та же — о женитьбе. Вернее, о новой своей женитьбе, ибо он был из тех, кто женится через неделю, а разводится через месяц.

Как раз был период, когда он только что развелся и подыскивал себе молодую вдову. И, кажется, уже подыскал, потому что каждый день только и разговоров было о том, какая она красивая, какая молодая, какая приветливая.

Но вдруг разговоры о молодой вдовушке прекратились. Курбанали по-прежнему приходил каждый день, но рассказывал то о погоде, то о колхозных делах, о чем угодно, только не о предстоящей женитьбе.

— Да уж не женился ли ты, на ком думал? — догадался отец.



— Что ты, Гамзат, это я думал, а она-то, оказывается, вовсе не думала. А теперь мне нужно объездить весь Дагестан, чтобы найти молодую вдову.

Долгое время Курбанали не появлялся — знать, и правда ходил по аулам и искал. Почту в это время разносил его сын. Когда же незадачливый жених снова появился у нас в сакле, мы с нетерпением спросили:

— Ну как дела? Короткой, прямой была твоя дорога?

— Может быть, она и была бы прямой, но ее скривил Далаголов.

— Как так?

— Очень просто. Куда бы я ни пришел по своему делу, мне отвечали: опоздал. По этому же делу приходил Далаголов.

Дарбиш Далаголов был известный аварский Дон-Жуан. В 1938 году Дарбиш женился в восемнадцатый раз.

С легкой руки почтальона Курбанали пошла по Дагестану поговорка: «А по этому же делу приходил Далаголов».

Вторая история — насчет одного дурака. Известно, что в каждом ауле живет по одному дураку. Это и хорошо. Когда много дураков — плохо, когда нет ни одного — тоже чего-то не хватает. Дураки друг друга хорошо знают и даже ходят в гости. По этому обычаю однажды к дураку из аула Хунзах пришел в гости дурак из аула Гортаколы.

— Салам алейкум, дурак!

— Ваалейкум салам, дурак!

Дальше все шло, как у двух кунаков. Сели около печки, пили, ели. На третий день дурак из Гортаколы собрался идти домой. Дурак-хозяин проводил гостя как и полагается, с почетом, одарил гостинцами, вывел из аула. Дураки попрощались.

Обычай гостеприимства был соблюден. С первым шагом бывшего гостя с ним можно делать что захочешь, ибо он уж больше не гость. Тогда-то хунзахский дурак подскочил к гортакольскому и ни с того ни с сего ударил его.

— За что же ты меня бьешь?

— Не ходи ко мне в гости. Разве ты не знаешь, что для одного аула достаточно одного дурака?

Иногда я думаю над этой притчей, и мне приходит в голову мысль, что, пожалуй, для одного аула достаточно и одного мудреца.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Богатый хан спросил бедняка:

— Что самое вкусное у утки? Если дашь правильный совет, награжу.

— Задок,— не задумываясь ответил бедняк.

Когда приготовили утку, хан попробовал, и ему очень понравилось. Он спросил у другого бедняка:

— Что самое вкусное у буйвола?

Второй бедняк тоже хотел получить награду, поэтому он ответил, как и первый:

— Задок.

Хан попробовал и дал советчику горячих плетей.

Жалко, что нет плетей на писателей, которые, не задумываясь, повторяют друг за другом одно и то же по разным поводам.

**А ТЕПЕРЬ О НАДПИСИ НА УНЦУКУЛЬСКОЙ ПАЛКЕ.** Московский литератор Владлен Бахнов прихрамывает и ходит с палкой. Уезжая в Дагестан на каникулы, я обещал привезти ему красивую палку работы прославленных унцукульских мастеров. Приехав домой, я первым делом написал знакомому резчику в Унцукуль о своей просьбе. Резчик был старый мастер, кунак моего отца, и можно было надеяться, что палка будет что надо. Не знал я только, какую надпись сделать на этой палке.

В это время в центральной газете появилась большая статья на литературные темы. Называлась она «Дубинка вместо критики».

«Ага,— подумал я,— вот какая надпись будет кстати на палке, подаренной московскому литератору».

Через две недели палка была готова. Это была лучшая из всех унцукульских палок. На нужном месте красовались следующие слова: «Вл. Бахнову. Дубинка вместо критики. От Расула Гамзатова».

Вообще-то унцукульские палки продаются в магазинах сувениров в Махачкале, Кисловодске, Пятигорске, а то и в горных аулах на базарах.

Спустя несколько месяцев во всех этих местах появились вдруг палки с одинаковой надписью: «Вл. Бахнову. Дубинка вместо критики. От Расула Гамзатова».

Вероятно, удивлялись курортники, покупая сувениры с такой надписью. Но всех больше удивился я сам.

Оказывается, старый мастер, который делал самую первую палку, не знал ни слова по-русски. Он механически перевел на свое изделие то, что я ему написал на бумажке. Он подумал, что, если поэт пожелал иметь на палке именно эти слова, значит, в них заключена какая-нибудь большая мудрость. Тогда почему же этим словам не красоваться и на всех других палках?

Старого мастера винить нельзя. Он наивно доверился поэту и был в своей доверчивости добрым и искренним. Но не бываем ли иногда на него похожи и мы, опытные литераторы?

**ПОСЛЕДНЕЕ, ЧТО Я ХОЧУ СКАЗАТЬ О ТЕМЕ.** Есть одна тема, которая, подобно молитве, чем больше повторяется, тем становится драгоценнее, возвышеннее, богаче. Тема — молитва, тема — родина.

Когда наказывают ребенка за какую-нибудь шалость, разрешается по горскому обычаю ударить его по любому месту, но не разрешается бить по лицу. Лицо человеческое неприкосновенно, и это закон для любого горца.

Дагестан — ты мое лицо. Я запрещаю трогать тебя.

Горцы бывают очень терпеливы в ссоре. Много недобрых слов наговорят они друг другу, и каждый терпит и отвечает на обидные слова своими обидными словами. Но так происходит до той поры, пока недобрые обидные слова касаются только самих поссорившихся. Горе, если нечаянным, неосторожным словом будет задета честь матери или честь сестры, — в дело идут кинжалы.

Дагестан — ты мать для меня. Пусть помнят об этом все, кому придется со мной ссориться. Можно обидеть меня любым обидным словом — все стерплю. Но не трогайте моего Дагестана.

Дагестан — моя любовь и моя клятва, моя мольба и моя молитва. Ты один — главная тема всех моих книг, всей моей жизни.

Иногда просят рассказать только о твоём вчерашнем дне, о старинных обрядах и обычаях, о легендах и песнях, о свадьбах и саблях, о битвах и дружбе, о железных мюридах и верных девах, о благородстве и мужестве, о крови юношей и о слезах матерей.

Иногда просят рассказать только о твоём тепереш-

нем дне. О совхозах и колхозах, о бригадирах и звеньевых, о библиотеках и театрах, о твоих трудовых подвигах.

Ни о том, ни о другом, ни о вчерашнем, ни о сегодняшнем я не могу рассказать. Для меня есть один Дагестан, который прожил тысячелетие. Его прошлое, настоящее и будущее слились для меня воедино. Не могу дробить его на разные времена.

История других государств и земель давно уж написана не только кровью, но и чернилами, пером по бумаге. Не только солдатами и полководцами, но и писателями, историками. Историю Дагестана писали сабли. И только двадцатый век вручил Дагестану еще и перо.

Дагестан! Я прошел по следам твоих древних битв, я побывал на бесчисленных полях сражений, засеянных костями твоих сынов. Пусть колхозные поля, засеянные пшеницей или кукурузой, не обижаются на меня за это. Ведь когда я говорю в стихах о современном Дагестане, прошлое не упрекает меня.

Когда я приезжаю из далеких зарубежных стран, горцы окружают меня и просят рассказать, что я видел. Они усаживаются в кружок и начинают слушать. На три часа хватает меня, и я рассказываю то о Франции, то об Индии, то о Японии, то о Турции. Но после трех часов разговор сам собой незаметно переходит на Дагестан. Я рассказываю горцам о Дагестане, и они слушают меня, точно слышат впервые. Хотя они-то сами и есть Дагестан.

Махмуд был большой поэт. У него была главная тема — любовь к Мариам. Самый большой друг попросил Махмуда сочинить колыбельную песню, потому что родился сын. Махмуд попробовал, но ничего у него не вышло. Ребенок плакал в колыбели под песню Махмуда, хотя ему полагалось засыпать. Другой друг попросил Махмуда сочинить плач по умершей жене. Махмуд попробовал, но у него ничего не вышло. Люди не плакали, слушая сочиненный Махмудом плач. А некоторые даже улыбались.

Но до сих пор плачут люди, когда поют песни Махмуда о несчастной любви к Мариам.

Мариам была главной темой Махмуда. А у меня — Дагестан. Велика любовь моя или очень мала, мелка моя правда или глубока, стары или современные мои

чувства, но я пишу о тебе, Дагестан. Когда я пишу, перо невольно дрожит в моей руке.

**ОТЕЦ ГОВОРИЛ:** если бахча у самой дороги, каждый, кто пройдет мимо, сорвет еще незрелый арбуз.

**ГОВОРЯТ:** не берись за камень, который не сумеешь поднять. Не заплывай туда, откуда не сумеешь приплыть.

**ГОВОРЯТ:** если вода в ручье по щиколотку, не подымай штаны выше колен.

## ● ЖАНР

Глупец поражает криком, мудрец — поговоркой, приведенной к месту.

Весна настала — пой песню. Зима настала — сказки рассказывай.

**В**от стою я перед горой, которую нужно перевалить. Добрый конь перевезет меня через любой перевал. Гора — моя тема, конь — мой язык. Но нужно теперь мне выбрать тропу, по которой я буду преодолевать крутую гору.

Все мои предки-горцы любили тропу напрямик. Она труднее, опаснее, но короче... Она может погубить, но зато и к цели приведет скорее.

Или вот я стою перед крепостью, которую нужно взять. У меня есть прекрасное оружие, которое не подведет в бою. Крепость — моя тема, оружие — мой язык. Но нужно выбрать способ, которым легче взять неприступную крепость. То ли неожиданно штурмовать, то ли предпочесть медленную осаду.

Есть поле, засеянное просом, и есть вода в горном ручье. Но как эту воду провести на поле?

Есть дрова в очаге, есть кастрюля и кое-что из того, что в кастрюлю кладут. Но все же какое блюдо варить на обед?

Редактор в своем письме разрешил выбрать мне любой жанр: рассказ или повесть, стихотворение или статью. Чем больше возможностей, тем труднее выбрать.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** У нас в Литературном институте было так. На первом курсе — двадцать поэтов, четыре прозаика и один драматург. На втором курсе — пятнадцать поэтов, восемь прозаиков, один дра-

матург и один критик. На третьем курсе — восемь поэтов, десять прозаиков, один драматург и шесть критиков. К концу пятого курса — один поэт, один прозаик, один драматург, а все остальные — критики.

Это, конечно, преувеличение и анекдот. Но ведь и правда многие начинают со стихов, потом переходят на прозу, потом на пьесы, потом на статьи. Впрочем, теперь стало модно переходить на киносценарии.

Иные короли и шахи меняют своих королев и шахинь, потому что те бездетны. Но именно после смены нескольких жен убеждаются, что виноваты в бездетности вовсе не королевы и не шахини. В то время как иной крестьянин живет всю жизнь с одной женой, и, глядишь, у них человек двенадцать детей.

Я считаю так: пей вино и не чуждайся хлеба. Пой песни, но слушай и сказки. Пиши стихи, но не гони от себя и простой рассказ.

**ПРОЗА.** Было время, когда я лежал в колыбели и мать пела мне колыбельную песню. У нее была одна только песня, других не знала она. И хотя отец у нас был известный поэт, он не написал для своих сынов ни одной песни. Он любил рассказывать нам разные истории, случаи, притчи. Это была его проза.

О своих стихах отец не любил говорить. По-моему, он считал стихотворство несерьезным делом. Его серьезные дела были: пахать землю, чинить гумно, ухаживать за коровой и лошадью, очищать крышу от снега, а позже — принимать посильное участие в делах аула и даже района.

Написав стихотворение, отец не очень заботился, где оно будет напечатано. Ему было все равно — центральная газета или стенная газета аульских пионеров. Я замечал, что стенной газете он радовался даже больше.

Он часто вспоминал, что сказал Анасил Магомет своему сыну, прославленному певцу любви поэту Махмуду. Когда Махмуд, вроде блудного сына, истерзанный любовью и песнями о любви, бледный и голодный, пришел домой и попросил есть, отец спокойно сказал ему:

— Ешь стихи, запивай любовью. Я устал пахать поле за тебя.

Конечно, и песня птице нужна, но все же основная работа птицы — строительство гнезда, добывание пищи, выкармливание птенцов.

На свои стихи отец смотрел точь-в-точь как на птичью песню. Красиво, приятно, но необязательно. Он смотрел на них как на «здравствуйте», которое говорят утром, как на «спокойной ночи», которое говорят, уходя спать, как на поздравление с праздником, как на выражение соболезнования во время горя.

Есть мнение, что поэты в чем-то не от мира сего — у каждого свой особенный нрав. Отец же был по характеру и по складу своему обыкновенный горец. Больше всего он любил неторопливую беседу, когда сидящие в кружке рассказывают, не перебивая друг друга, разные истории и события, то есть опять же прозу.

Свои стихи отец показал славному Махмуду. Поэт удивился стихам отца и сказал, что они ему непонятны и что вообще он не понимает, как это можно сочинять стихи о корове, о собаке, о тропинке в аул Хунзах.

— О чем же сочинять? — смиренно спросил отец.

— О любви и только о любви! Надо строить дворец любви.

#### СТИХИ МАХМУДА:

Чертоги любви я воздвиг на земле,  
А сам под забором лежу я в ненастье,  
Построил я царственный мост нашей страсти,  
Но рухнул мой мост, я один на скале.

*Перевел С. Липкин*

Отец не строил дворца любви. Да у него и не было заботы его строить. Его заботой, его дворцом, тем, что наполняло его стихи, были сакля, семья, дети, аул, конь, страна, мир и земля, небо, дождик, солнце, трава.

Правда, однажды он написал стихотворение о любви, о любимой женщине. Но чтобы никто не мог прочитать этого стихотворения, он написал его по-арабски. Это было стихотворение только для нее и для себя.

Да, отец любил неторопливый мудрый рассказ. Перед вечером в сумерки он брал меня на колени, закрывал полый теплого душистого тулупа и рассказывал, рассказывал. Он говорил о тех, кто уехал далеко в чужие земли, и о тех, кто остался здесь на родной земле. Он говорил о дорогах, о реках, о том, как распускаются цветы и зачем на них прилетают пчелы. Он говорил о том, как восходит солнце и как оно заходит. Он рас-

сказывал о нравах, обычаях старины, о молитвах, творимых перед битвой.

Стоило ему поглядеть на небо, как он уж знал, будет ли завтра дождь или будет ведро. Он знал, что если кругом идет дождь, а над аулом Телетль светит солнце, значит, на Хунзахское плато выпадет град.

Он рассказывал мне, сколько зерен в одном ржаном колосе и отчего появляется красивая радуга.

Если вдали показывался путник, шедший из аула в аул, отец мог подробно рассказать, кто этот путник, по какому делу он вышел в путь, у кого остановится ночевать...

Ах, зачем отец все это рассказывал мне? Лучше бы записывал на бумагу. Это была бы его проза, проза поэта Гамзата Цадаса.

Рассказ и жизнь для него были одно и то же. Мысль он считал рассказом, а рассказ мыслью. Стихи же он сравнивал со своенравным сердцем.

Лучше бы записал на бумагу все свои рассказы отец. Потому что все равно, когда я вырос, сердце у меня оказалось на первом месте. Когда мимо пролетает птица, я не задумываюсь, куда и зачем она летит, я хочу схватить ее на лету. Как ни старался отец, но все же одну-единственную колыбельную песню матери я любил в детстве больше, чем все рассказы.

С песней прошло мое детство, с песней я прошел через юность, с песней возмужал, с песней же поседел.

Но теперь я понимаю, что, где б я ни скитался, какие бы песни ни пел, все время была скала, которая ожидала, когда прилетит орел, все время было дерево, которое ожидало, когда на нем птицы сошьют гнездо, все время был дом, который ожидал, когда постучатся в дверь, была проза, которая ждала, когда к ней придет поэт.

И вот я опускаюсь на скалу, которая ждет меня, я стучусь в дверь, чтобы мне открыли и приняли меня в дом. Я понял, что не могу высказать в стихах всего, что увидел на земле, всего, что думаю и чувствую.

Я понимаю, что проза не песня, которую можно пропеть и стоя. Нужно садиться за стол, нужно закатывать рукава, нужно заводить будильник на ранний час, нужно заваривать крепкий чай, чтобы не уснуть ночью.

Что ж, если правильно заложить фундамент и пра-



вильно возвести леса, то строительство дома пойдет и дальше. Что это будет: рассказ, повесть, сказка, предание, легенда, раздумье или просто статья — я не знаю.

Одни редакторы и критики скажут мне, что я написал не роман, не сказку, не повесть и вообще неизвестно что. Другие редакторы и критики скажут, что это и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое.

А я не возражаю. Называйте потом, как хотите, то, что выйдет из-под пера. Я пишу не по книжным законам, но по велению собственного сердца. У сердца же нет законов. Вернее, у него свои, не годящиеся для всех законы.

Про себя я думаю: не испорчу ли я вкус обеда, если высыплю в один котел и мясо, и рис, и фрукты, и перец, если одновременно добавлю и соли и меда? Или, напротив, это будет вкусное, необыкновенное блюдо? Пусть скажут те, кто будет сидеть за обедом.

Мой рассказ, мои раздумья, моя сказка! Бывало, в детстве в зимнюю ночь я не мог уснуть потому, что с нетерпением ожидал возвращения в саклю либо братьев, либо отца. Я прислушивался к скрипам и шорохам у дверей, и минуты превращались в часы.

В такие ночи дедушка садился около меня и начинал потихоньку рассказывать. То сказка, то песня, то мудрость, то прибаутка, то смешно, то страшно, Минуты и часы исчезали для меня, оставался только дедушкин голос и картины, которые рождало воображение. Отец или братья появлялись, перебивая дедушкину речь, и было жалко, что они своим приходом прерывали интересную сказку.

Потом, когда я сам стал большим и начал ездить по свету и спешил, как некогда отец или братья, к родной сакле, и, чем ближе была она, тем чаще, тем нетерпеливее билось сердце, и я считал ущелья, которые оставались еще на пути, тогда кто-нибудь из спутников принимался рассказывать занятную историю, случай из жизни, сказку или быль, я заслушивался, но наступал конец дороги, и было немного жалко, что дорога кончилась и рассказчик не успел досказать своего рассказа.

Отец спрашивал:

— Ну, как вы перевалили через гору, как вам было в ущелье, не занесено ли оно снегом?



А я и не помнил ни горы, ни ущелья, ни снега. Я помнил то, что мне рассказывал словоохотливый спутник; его рассказы превращали для меня крутые горы в ровную долину, а холодный снег — в теплую вату.

Мои рассказы, мои раздумья! Сумеете ли вы для ко-



го-нибудь скоротать долгую зимнюю ночь в ожидании близких или долгий зимний путь к родному тоскующему очагу?

В мои пресноватые рассказы для аромата, словно душистые травы в суп, я опускаю где одну, где две поговорки и пословицы.

Девушки из аула Таилух ставят на подбородке, ближе к краешкам губ, две маленькие яркие точки. Пусть поговорки будут в моей прозе, как эти точки на девичьем лице.

Словно в гладкую стенку угловатый тесаный камень, я вмазываю в мои рассказы воспоминания, строки из записной книжки. Не каждый камень годится в стену. Когда я вставлял некоторые из них и шел в своем рассказе дальше, у меня появлялось чувство, которое, наверное, знакомо религиозным людям, — когда молитва продолжается, хотя молитвенное состояние уже нарушено. Неподходящий камень приходилось вынимать из стены.

Итак, от бурных стихов и песен я перехожу к спокойному рассказу, к прозе. Но если я решил на время расстаться с песней, то она не хочет расставаться со мной. Подобно ласковому котенку, она залезает ко мне под одеяло, когда я сплю. Подобно утреннему лучу солнца, брызнувшего из-за горы, она приходит ко мне в окно, едва я его открою утром. Она дожидается меня на дне бокала вместе с последними, самыми сладкими капельками вина. Она подкарауливает меня повсюду, словно женщина, которой неожиданно изменили, а подкараулив и заступив дорогу, говорит:

— Ты что, серьезно решил порвать со мной? Но подумай, сможешь ли ты прожить без меня. Ты тур, привыкший пастись в прохладном лесу. Ты лосось, привыкший к ледяной летящей струе. Неужели ты думаешь, что тебе понравится в тихом и теплом озере? Ну что ж, если ты решил уходить, давай хоть посидим напоследок.

ПОЭЗИЯ, разве ты не знаешь, что я никогда не смогу расстаться с тобой? Могу ли я расстаться со всеми радостями, которые возникают во мне, со всеми слезами, которые родятся во мне?

Ты похожа на девочку, которая родилась, когда все ожидали сына. Ты похожа на девочку, которая родилась и как бы самым рождением своим говорит: «Я знаю, вы не ждали меня и никто из вас пока что меня не любит. Ну что же, дайте мне вырасти и расцвести, дайте мне расплести косу и спеть песню. Посмотрим, найдется ли тогда человек на земле, который посмел бы не полюбить меня».

## ПОЭЗИЯ,

Бывает работа, после работы — отдых,  
Бывает поход и привал на десять минут.  
Ты для меня и поход и привал во время похода,  
Ты для меня и отдых и каторжный труд.

Песней была колыбельной, дремала в моем изголовье,  
Была ты мечтою о подвиге и о весне.  
Ты для меня родилась вместе с моей любовью,  
Но вместе со мною любовь родилась во мне.

Был я мальчишкою — матерью ты мне казалась,  
Любимой мне кажешься нынче, я стану седым —  
Дочерью будешь беречь мою старость,  
Сгину — ты памятью станешь над прахом моим.

Порою ты кажешься мне неприступной горою,  
Порой ты мне кажешься птицей, послушной, ручной,

Ты — крылья в полете моем,  
Ты — оружие в борьбе,  
Все для меня ты, поэзия, кроме покоя.  
Хорошо ли — не знаю, но верно служу я тебе!

Где же кончается труд и начинается отдых?  
Где же поход, где привал на десять минут?..  
Ты для меня и поход и привал во время похода,  
Ты для меня и мой отдых и каторжный труд.

*Перевел Н. Гребнев*

**МОЙ ОТЕЦ ГОВОРИЛ:** чтобы остановить надоедливового болтуна, нужно, чтобы слово взял почтенный старик либо гость. Если и после этого болтун не остановит своего пустого красноречия, нужно запеть песню. Если же и песня не подействует на него, тогда смело можно брать за воротник и выводить из сакли. Всякому, кто своей болтовней мешает песне, можно также дать хорошего тумака.

**ПОЭЗИЯ,** ты сама знаешь лучше других, что разговоры о тебе не делают тебя ни лучше, ни выше. Можно ли разговорами возвеличить песню? Можно ли из чайника усилить горный поток? Можно ли дуновением рта усилить летящий ветер? Можно ли кучей снега усилить величавость заоблачной горы? Можно ли покроем одежды либо фасоном усов усилить любовь матери к сыну?

**ПОЭЗИЯ,** я был бы без тебя сиротой.

**ПОЭЗИЯ,**

Мир был бы без тебя пещерой, что темна,  
О солнце не имеющей понятия.

Иль небом, где звезда не светит ни одна,  
Любовью, не слыхавшей про объятья.

Мир был бы морем, но без синевы,  
Без этой вечно блещущей прохлады,  
Иль садом без цветов и без травы,  
Без пенья соловья или цикады.

Деревья стали б голы и черны,  
Сплошной ноябрь: ни лет, ни зим, ни весен,  
А люди б стали дики и бедны.  
А песни... Песен не было бы вовсе.

**АВАРЦЫ ГОВОРЯТ:** «Поэт родился за сто лет до сотворения мира». Этим они, видимо, хотят сказать, что если бы поэт не участвовал в сотворении мира, то мир не мог бы быть сотворен таким прекрасным.

Нас было четыре брата и одна сестра. Сестра среди всех — старшая. На ее долю, как на долю всякой горянки, выпало много работы, печали, слез. Отец не раз говорил нам:

— Вас четверо, а сестра у вас одна. Берегите ее, заботьтесь о ней. На земле у вас нет никого роднее сестры.

Это правда, сестра — самый родной для меня человек. Но у меня есть и вторая сестра, и я не знаю, которая из них мне роднее. Вторая моя сестра — Поэзия. Жить без нее нельзя.

Иногда я спрашиваю, что могло бы ее заменить. Конечно, есть у меня еще горы, есть снег и ручьи, дождь и звезды, солнце и хлеб... Но разве горы и дождь, и цветы, и солнце могут обойтись без поэзии, а поэзия — без них? Без поэзии горы превратятся просто в нагромождение камней, дождь превратится в неприятную воду и лужи, солнце превратится в небесное тело, излучающее тепловую энергию.

И снова я спрашиваю: что могло бы ее заменить? Конечно, есть дальние земли, пение птиц, биение сердца. Но без поэзии ничто не могло бы быть самим собой. Остались бы географические понятия вместо дальних заманчивых стран, нелепое вместилище воды вместо океана, необходимые призывы самок самцами вместо пения птиц, смесь некоторых газов вместо синего неба и кровообращение вместо трепетания сердца.

Конечно, есть также нежность, доброта, жалость,

любовь, красота, отвага, ненависть, гордость... Но все эти понятия рождены поэзией, так же как поэзия рождена ими. Они не живут без нее, она не живет без них.

Моя поэзия создает меня, а я создаю мою поэзию. Друг без друга мы мертвы — больше того, нас просто нет. У меня есть мышцы, и у меня есть кости. Постороннему взгляду не дано заглянуть и определить, какие кости у меня целы и крепки, а которые были сломаны, но потом срослись. Однако лучи рентгена просвечивают меня насквозь, и все, что есть во мне скрытого и тайного, открывается взгляду посторонних.

Моя душа скрыта еще глубже и надежнее, чем мои ребра, мой позвоночник, мои легкие. Но лучи поэзии просвечивают меня, и каждое движение моей души становится доступным для людей. Душа моя как на ладони, открытая и прозрачная, просвеченная волшебными лучами поэзии, и люди видят меня насквозь.

Тысячи проводочков и ячеек у современной вычислительной машины. Ей задают сложнейшие программы из многих цифр. Электрический ток бежит по бесчисленным ячейкам и проводам. Никакому глазу, никакому мозгу не охватить всех процессов, которые происходят в этой сложной машине. Но потом появляется число — как последний ответ, как результат.

Никто не может знать, какие впечатления, какие токи любви и ненависти бегут по бесчисленным проводам моего организма. Но потом получается стихотворение — самое конечное и самое высшее, что может породить или произвести моя душа из тех жизненных впечатлений, которые протекают сквозь меня.

Я немало поездил по земле. То я ходил пешком, то ехал в седле, то летел в самолете, откинувшись в кресле и как будто бы задремав, то лежал в поезде, забравшись на верхнюю полку, то мчался в автомобиле.

Увидев меня на пешеходной тропе или на коне, люди могли бы сказать: вон Расул Гамзатов. Он один идет (или едет), наверное, скучно ему одному. Но я никогда не бываю один. Всегда со мной моя сестра — Поэзия. Ни на минуту мы не разлучаемся с ней. Даже во сне я иногда сочиняю стихи, или вспоминаю свои уже написанные стихи, или читаю стихи других поэтов.

Раньше я думал, поэтов на земле очень мало. Наверное, поэтам очень скучно среди других людей.

У каждого в жизни свой интерес — то, о чем можно поговорить с товарищем или соседом: работа, жена, зарплата, выходной день, родимый дом, рыбная ловля, кино, болезни... Конечно, о всех этих вещах поэт может, думал я, говорить с людьми, но кто разделит его поэтическое восприятие мира, его поэзию?

Потом я понял, что людей-непоэтов нет. Каждый человек в душе немного поэт. И уж во всяком случае поэзия приходит в гости к каждому, как кунак приходит в саклю к своему кунаку.

У нас в народе любовь к песне так же естественна и понятна, как любовь к детям. Да, мы все поэты. Разница между нами только та, что одни пишут стихи, потому что они умеют их писать. Другие пишут стихи, потому что им кажется, что они умеют их писать. Ну а третьи не пишут стихов совсем. Может быть, они-то, эти третьи, и есть настоящие поэты?

Было время, когда я не писал стихов. Разве я не был тогда поэтом? Разве мое сердце билось реже, а кровь была холоднее? Разве печали терзали меня слабее, а радость была менее радостна? Разве жажда все узнать была во мне меньше? Разве глаза мои видели землю не такой же прекрасной, как они видят ее теперь? Разве меньше волнения испытывал я, увидев синюю крупную звезду в разрыве между черными облаками? Разве журчанье ручья не казалось мне мелодичным? Разве не тревожили меня крик журавлей или конское ржанье? Разве слеза не набегала на мои глаза, когда я слушал старую песню и предание о делах отцов?

ВСПОМИНАЮ, когда я был маленьким, то нарядился к соседу пасти коня. За три дня пастьбы сосед должен был рассказывать мне одну сказку.

ВСПОМИНАЮ, тогда же я ходил в горы к чабанам. Полдня идти туда, полдня обратно. А ходил я, чтобы услышать одно стихотворение.

Унцукульские груши, имринский виноград, буцринский мед, аварские песни.

ВСПОМИНАЮ, когда я учился во втором классе, я пошел из родного аула Цада по крутым горным тропинкам в аул Буцра, до которого двадцать километров. Там жил старик, кунак моего отца, который знал много старинных песен, стихов, легенд. Четыре дня с утра до вечера старик читал мне и пел, а я старался, как мог,



записать его песни. Возвращался я радостный, с хурджуном, набитым стихами и песнями.

Над аулом Буцра нависает гора. Когда я поднялся на эту гору, на меня откуда ни возьмись ринулись огромные злые овчарки. Их было не меньше дюжины. Они мчались по зеленой траве, как нацеленные торпеды мчатся по волнам к черному борту корабля. Я уж видел раскрытые пасти овчарок с желтыми мокрыми клыками. Еще минута — и они меня растерзали бы, но тут я услышал крик чабана:

— Ложись! Не двигайся!

Я лег, прижался к земле и замер. Я боялся пошевелиться, кажется, я даже перестал дышать. Только сердце мое гулко било в землю, и мне казалось, что удары его слышны далеко окрест. Собаки в недоумении остановились около меня, обнюхали и меня, и мой хурджун, набитый поэзией. Подумав, что обознались, собаки недоуменно поглядели друг на дружку и помчались дальше, догонять меня, который стоял в их воображении. Вскоре они исчезли за поворотом горы.

Я лежал до тех пор, пока не подошел с отарой чабан.

— Ты чей?

— Я Расул, сын Гамзата из Цада.— Я нарочно назвал имя своего отца, надеясь, что, услышав его, чабан отнесется ко мне внимательнее и не даст в обиду.

— А что ты делаешь здесь, на горе?

— Я ходил в Буцру за стихами, вот они в сумке.

Чабан достал стихи и пересмотрел их.

— Значит, ты тоже хочешь быть поэтом? Тогда почему же ты испугался собак? Разве такие собаки будут набрасываться на тебя на твоём пути? И они уж не отбегут, понюхав стихи, как отбежали мои овчарки. Но ты не бойся, не надо ничего бояться. Ты знаешь, что это за гора. С этой горы прыгнул Хаджи-Мурат, обманув своих конвоиров. Конвоиры остались ни с чем, а Хаджи-Мурат спасся. В родном краю помогают даже горы.

Раньше я думал, что поэтическое волнение, которое овладевало мной, что тревога, которая постоянно жила в моей душе, что любовь, поселившаяся в моем сердце, и что само кипение крови — все это временное и очень скоро пройдет. Но вот уж голова моя поседела, вот уж подрастают мои дети и старятся мои книги, но ни одно

из чувств не покидает меня. Вернее же других сопутствует мне моя Поэзия.

Теперь я обращаюсь к ней.

ПОЭЗИЯ, ты не оставляла меня в далеких путешествиях по земле и жизни, не оставляешь и теперь, когда я выхожу в широкое ровное море прозы. Я знаю, что рассказ бессмысленно рифмовать. Самый хороший рассказ тем самым можно превратить в очень плохие стихи. Но поэзия в рассказе может быть, как соль в пище. Ведь и для всей моей жизни поэзия — соль. Моя жизнь была бы без нее пресна и безвкусна. У нас в горах, подавая гостю на стол еду, никогда не забывают поставить и солонку.

Проза летает дальше, но поэзия взлетает выше. Проза похожа на большой самолет, который может спокойно облететь вокруг земного шара. Поэзия же — как истребитель и перехватчик, она свечой взмывает с места в зенит и в мгновение ока настигает большой самолет прозы, как бы высоко он ни летел.

Разные жанры хочу я смешать в моей книге и отправить эту книгу за пределы Аварии. Почему бы нет? Наши стихи давно уж торят тропинки и дороги в читательских сердцах далеко за пределами Дагестана. Некоторые рассказы тоже получили визы на выезд. Правда, наша драматургия все еще сидит дома. То ли проверяют анкеты, то ли нужно подучиться хорошему поведению, хорошим манерам.

Если бы я задумал написать драму, то местом ее действия был бы весь Дагестан, аулы, города, а также все страны и весь мир. Декорациями были бы горы, небо, живые реки, море, земля. Временем действия — прошедшие века, настоящий день и все будущее; тысячелетия я перемешивал бы с мгновениями. Действующими лицами были бы и я сам, и мой отец, и мои дети, и мои друзья, и люди, давно умершие, и люди, которые еще не родились.

Эта драма была бы моей главной книгой — моя «Война и мир», мой «Дон-Кихот», моя «Божественная комедия», — но я не рискую не только написать драму, но и вложить в стены моей будущей книги хотя бы один «драматический» камень. Драму оставляю я для другого времени, а скорее всего для других писателей. Буду пробаиваться стихами и прозой, буду перемежать их. Сти-

хи — полет на коне, проза — хождение пешком. Пешком уйдешь дальше. На коне доедешь быстрее. Буду то спешиваться, то вскакивать в седло. О чем сумею — расскажу, о чем не сумею рассказать — спою. Во мне есть и задор молодости, и мудрость старости. Молодость пусть поет, а мудрость пусть говорит прозой.

Во мне живут разные люди: то я чинно обедаю, пользуясь крахмальной салфеткой, держа вилку в левой руке, то двумя руками беру баранью лопатку и ем, сидя с земляками на траве, и запиваю баранину бузой.

Отправляясь из города в горы, я на городской манер беру с собой тонкие вина и фрукты. Возвращаясь в город от простодушно-гостеприимных чабанов, я везу баранью тушу, перекинутую поперек седла.

Ведь и море бывает то ласковое, то сердитое, то вкрадчивое, то разгневанное. Точно так же разные характеры живут во мне.

Я видел, на краю пропасти сидели, обнявшись, юноша и девушка. Был виден их общий силуэт, и нельзя было отличить их друг от друга — так крепко они обнялись, так слились воедино.

Точно так же живут во мне нераздельно радость и скорбь, слезы и веселье, сила и слабость.

...И на дыбы скакун не поднимался,  
Не грыз от нетерпения удила,  
Он только белозубо улыбался  
И голову тяжелую клонил.

Почти земли его касалась грива,  
Гнедая, походила на огонь,  
Вначале мне подумалось: вот диво —  
Как человек, смеется этот конь.

Подобное кого не озадачит.  
Решил взглянуть поближе на коня,  
И вижу: не смеется конь, а плачет,  
По-человечьи голову клоня.

Глаза продолговаты, словно листья,  
И две слезы туманятся внутри...  
Когда смеюсь, ты, милый мой, приблизишься  
И повнимательнее посмотри.

*Перевел Я. Козловский*

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Один горец из аула Сиюх увидел у подножия скалы белое облако, по-

думал, что это навалена мягкая пушистая шерсть, и прыгнул. Как бы ни было похоже пушистое облако на грудку шерсти или на вату, все же ватой оно никогда не станет.

Как бы ни была красива по форме книга, написанная только ради формы, все же никогда она не затронет человеческого сердца.

Нельзя смотреть только на форму. Один рыбак, всю жизнь проведенный на море, увидел, оказавшись в лесу, кучу муравьев и подумал, что это куча черной икры. Один горец, никогда не бывавший на море, увидел кучу черной икры и подумал, что это муравьи.

### ЕЩЕ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.

И пуля и орден стремятся к одной груди,  
И улыбка и слезы на одном лице, погляди.  
Яд и мед одни и те же уста таят,  
Сокол и голубь в одном и том же небе летят.  
И огонь и вода в черной туче — в одном гнезде,  
И кумуз и кинжал висят на одном гвозде.

ЕЩЕ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Молодая горянка, впервые познавшая любовь, посмотрела утром в окно и воскликнула:

— Ой, как красиво расцвели эти деревья!

— Где ты видишь цветущие деревья? — возразила старая мать. — Это снег, на дворе ведь поздняя осень, зима.

Так одно и то же утро для двух женщин показалось и весенним и зимним. А во мне в одном живут эти двое: молодое и старое, цветенье и снега, весна и осень. Не удивляйтесь же, что в моей книге вы встретите то стихи, то прозу.

— Но не хочешь ли ты удержать одной рукой два арбуза?

— Нет, — отвечаю я, — не хочу.

Когда я смешиваю разные жанры в одном, это не значит, что я беру разные фрукты и режу их, чтобы перемешать и получить некий фруктовый винегрет. Но я хочу смешать их живыми, скрестить их, как это делают мудрые садоводы, и таким образом вырастить новый сорт.

Не знаю, что из этого в конце концов выйдет. Но ведь то же самое бывает и в каждом деле. Разжигая

огонь, нельзя представить себе всех последствий. Но это не значит, что каждый раз нужно бояться разжигать огонь. И вот я зажигаю спичку, подношу ее к сухой ветке, загораживаю ладонью от ветра. Огонь начинает жить. Я не боюсь, что он, пока что такой робкий, слабый, вдруг превратится в зверя, с которым невозможно справиться. Я не думаю об этом, я разжигаю огонь.

У Шамяля на сабле было высечено его же собственное изречение: «Тот не храбрец, кто, идя на битву, думает о последствиях».

ГОВОРЯТ: полезен и яд змеи, если он в умелых руках. Вреден и пчелиный мед, если он в руках дурака.

ГОВОРЯТ: если не умеешь рассказывать — спой, не умеешь спеть — расскажи.

## ● СТИЛЬ

Узнаешь ты по голосу певца,  
А по узору — златокузнеца,

*Надпись на кубачинском  
изделии*

— Что ты на меня кричишь?  
— Я не кричу, у меня такая манера разговаривать.

*Из разговора жены и мужа*

— Что-то твои стихи не похожи на стихи.  
— У меня такая манера писать.

*Из разговора читателя  
и поэта*

**Н**ас, мальчиков, не пускали на годекан аула, туда, где беседовали между собой старшие. Устроившись на большом камне, мы смотрели иногда издали на их беседы.

Однажды мы увидели, как гость из аула Анди говорил на годекане целый час и как весь джамаат слушал его, не перебивая. Мы обсуждали меж собой: наверное, какие-нибудь важные новости принес андиец, если его слушают столько времени и с таким вниманием.

Дома я спросил у отца:

— Какие новости рассказывал вам гость из Анди?

— А, цадинцы уже двадцать раз слышали то, что он говорил сегодня, но рассказывает он так, что и не хо-

чешь слушать, да будешь. Молодец андиец, да продлит аллах его дни!

**ЕЩЕ О МАНЕРЕ.** У каждого зверя свои уловки, своя манера уходить от охотника. У каждого охотника своя манера настигать и добывать зверя. Точно так же у каждого писателя есть своя манера, свой стиль работы, свой характер, свой почерк.

Когда я, будучи молодым поэтом, приехал учиться в Литературный институт, я попал в новую, непривычную для меня обстановку. Меня учило все — и сама Москва, и семинары, и крупные поэты на семинарах, и профессора, и мои друзья по курсу и по общежитию. Уроки сыпались на меня со всех сторон, и я на некоторое время растерялся, сбился с толку и начал писать как-то по-новому, в каком-то странном стиле, не существовавшем доселе в аварской литературе.

Не скрою, мне очень хотелось тогда видеть свои стихи переведенными на русский язык. Я рвался к русскому читателю, и мне казалось, что моя новая манера для русского читателя будет понятней и ближе. Я совсем перестал обращать внимание на музыку родной аварской речи, на музыку стихотворения. На первое место выходили конструкции, голая мысль. Я думал, что обретаю нужную манеру письма, в действительности же — теперь понимаю это — я делал маневры.

К счастью, я вовремя понял, что поэзия и хитрость несовместимы. Но еще раньше понял меня мой мудрый отец. Когда он прочитал мои новые стихи, ему сразу стало ясно, что ради курдюка я хочу пожертвовать самым бараном, что я пытаюсь вспахать и засеять голое каменное поле, на котором никогда ничего не вырастет, как его ни поливай, что я хочу иметь дождь, не имея неба.

Отец все это понял сразу, но он был очень внимательным и осторожным человеком. Однажды в разговоре он заметил:

— Расул, меня беспокоит, что твой почерк начал меняться.

— Отец, я уже взрослый человек, а на почерк обращают внимание только в школе. Со взрослого спрашивают не только то, как он написал, но и то, что он написал.

— Для милиционера и секретаря сельсовета, выдающего справки, может быть, это и так. Для поэта же его

почерк, его стиль — ровно половина дела. Стихотворение, какую бы оригинальную мысль оно ни выражало, обязательно должно быть красивым. Не просто красивым, но по-своему красивым. Для поэта найти свой стиль и найти себя — это и значит стать поэтом.

Ты спешишь, но торопливый бойкий ручеек никогда не добегают до моря, он поглощается другим, более плавным, более спокойным потоком.

Птица, которая меняет много гнезд и все не знает, какое выбрать, остается в конце концов совсем без гнезда. Не проще ли свить свое собственное гнездо — тогда выбрать не придется.

Сейчас, когда мне за сорок, я сижу над сорока своими книгами, перелистываю их и вижу, что на поле, засеянном моей пшеницей, попали растения с чужих полей, те, которые я не сеял.

Пусть это не сорняки, пусть это добрые растения — ячмень, овес или рожь, — но они чужие на поле моей пшеницы.

В своей отаре я вижу чужих овец. Им никогда не привыкнуть к высоте и к воздуху гор.

В самом себе я замечаю иногда других людей. Но в этой книге я хочу быть самим собой. Хорош ли я, плох ли — принимайте таким, каков есть.

Горец, приходящий в горах на свадьбу, спрашивает у собравшихся раньше его:

— Вас хватает самих или можно войти еще и мне?

Горцы на свадьбе отвечают гостю:

— Входи, если ты на самом деле есть ты.

Вот моя книга, которой я должен доказать, что я — это я. Хочу быть писателем, а не исполнителем роли писателя. Смотрите, как актер на сцене пьет коньяк. И вот уж он захмелел, язык заплетается, голова клонится на грудь.

Но в бутылке на сцене не коньяк, а чай. От чая не захмелеешь. Я думаю, с этим согласятся даже те, кто никогда не пробовал коньяка.

Оказывается, если в драме есть роль поэта, то самое трудное для драматурга — написать за этого поэта стихи. Поэтому чаще всего если в спектакле и действует поэт, то он не читает своих стихов. А какой же поэт без сти-

хов? Чем он отличается от манекена из папье-маше, что красуется в витрине магазина?

Я не должен быть похожим на кого-то — даже на Омара, на Пушкина, на Байрона.

Иные воры, когда украдут буйвола, отшибают у него рога или обрезают хвост. Иные воры, когда украдут автомобиль, перекрашивают его в другой цвет. Однако, несмотря на все хитрости, воровство остается воровством.

Всего радостнее мне было бы услышать в разговоре читателей, что Расул написал книгу, как Расул.

Поющих птиц я люблю больше, чем чирикающих. Птицу во время полета я люблю больше, чем птицу, копошащуюся на помойке. Корабль в синем море я люблю больше, чем корабль, стоящий в тесном порту.

Посмотрите на легковесные лодки, как они подсаживают на всякой волне. Посмотрите на большие тяжелые корабли, как они устойчивы даже во время шторма.

Глупцы, если даже не выпьют и капли вина, шумят и ссорятся, точно пьяные. Мудрецы, если даже и выпьют по большому кубку, беседуют тихо, мирно и трезво.

Книга Расула, ведай себя среди людей так, как подобает вести себя книге Расула.

Если незнакомый гость пришел в саклю горца, у него не спрашивают имени и откуда он, пока не пройдет три дня.

Принимайте и вы мою книгу, не спрашивая, кто такая, откуда, чья. Пусть она сама говорит за себя.

Я не хочу быть ни хуже и ни лучше, чем я есть. В двадцать лет силы нет — не жди, не будет. В тридцать лет ума нет — не жди, не будет. В сорок лет денег нет — не жди, не будет. Так говорит русская пословица. В горах же у нас говорят: если человек в сорок лет не орел — ему уже не летать. Пусть моя арба катится по моей дороге.

В нашем ауле, когда идет дождь, с горы, что поднимается над аулом, стекают многочисленные ручейки. Внизу все они сливаются, образуя временное дождевое озеро. Из этого озера вытекает уже только один большой ручей.

С окрестных гор много узких тропинок спускается к нашему аулу. Все они, как ручейки, вливаются в наш аул. Если же нужно уйти или уехать из аула в райцентр,



в город, в большой мир, есть только одна широкая торговая дорога.

Я не знаю, с чем мне себя сравнить — с дорогой или с рекой. Но я знаю, что мысли многих моих земляков, слова многих моих земляков, чувства многих моих земляков слились во мне, как горные ручейки или извилистые горные тропинки. Моя же собственная тропа, моя дорога увела меня из аула в поэзию.

Побывал я в разных концах земли, в разных странах, встречался я с разными людьми. Приходилось мне бывать на высоких торжественных приемах — то у президентов и королей, то у премьер-министров, то просто у министров, то у послов. Как блещут на таких приемах туфли и лысины, как повязаны галстуки, как белоснежны манишки, как вежливы поклоны и улыбки, как продуманы каждое слово и каждый жест! На таких приемах артисты похожи на премьеров, а премьеры похожи на артистов.

Я на таких приемах никогда не бываю самим собой. Я делаю жесты, которые мне не хочется делать, и говорю слова, которые мне не хочется говорить. Сквозь блеск таких приемов я вижу вдруг родной очаг Цада и моих родных, сидящих вокруг него, или вижу своих веселых друзей, собравшихся где-нибудь в номере гостиницы, и вместо заморских кушаний мне хочется тогда хинкалов с чесноком. О, какое блаженство засучить рукава рубашки и пожирать хинкалы у родного очага, среди друзей, так, чтобы жир стекал по рукам.

Когда я читаю некоторые книги, мне кажется, что они на дипломатическом приеме. В них нет свободы жестов, свободы поведения, свободы речи.

Книга моя, не будь гостем на дипломатическом приеме. Пусть у тебя будут только те слова, которые соответствуют твоему истинному характеру, а не те, которые нужно говорить из приличия.

Я видел людей, которые люди как люди, пока они у себя дома, в кругу семьи, с женой, с детишками, или с друзьями. Но вот они в канцелярском своем кресле — сухи, черствы, злы, как будто их подменили. С каждым новым чином, с каждым новым креслом меняется их характер, их поведение, их лицо.

Будь постоянной, моя книга, не изменяй своего характера, как я не изменяю себе. Люби друзей и дым

очага, а не торжественные приемы, люби поля, а не концерты, слушай голоса земли, а не шум собраний. Ведь бывает так, что на собраниях говорят одно, а после собраний совсем другое.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Кто из дагестанцев не знал огромной папахы Сулеймана Стальского, его тяжелого тулупа из душистых овечьих шкур, его легких чарыков, сшитых из телячьей кожи! Я думаю, не только дагестанцы не могли бы представить себе Сулеймана без чарыков и без папахы.

И вот Сулеймана Стальского наградили орденом, и Максим Горький назвал его Гомером XX века. И Сулеймана вызвали в Москву, и в Москве встретился с ним один дагестанский министр.

— Ай-ай, дорогой Сулейман,— сказал министр поэту.— Нельзя вести себя в Москве, как в ауле. Эту форму тебе придется сменить.

По поручению дагестанского правительства был сшит для Сулеймана бостоновый костюм, ему принесли также новые туфли, шапку-ушанку и зимнее пальто с каракулевым воротником. Сулейман пересмотрел каждую вещь в отдельности. Пальто, распахнув, подержал на весу, туфлями постучал подошву о подошву, затем все кое-как свернул и уложил в чемодан.

— Спасибо. Хорошие, новые вещи. Как раз впору моему сыну, Мусаibu. Я же хочу остаться Сулейманом. Свое имя не хочу променять ни на костюм, ни на туфли. Мои чарыки обидятся на меня.

Эту приверженность даже к внешнему проявлению самобытности очень ценил в Сулеймане мой отец.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Сыновья Сулеймана много раз пробовали научить своего отца грамоте. Сулейман всякий раз начинал со старанием, но потом он откладывал бумагу и говорил:

— Нет, дети. Как только я возьму карандаш в руки, стихи сразу от меня убегают, потому что я думаю не о стихах, а о том, как нужно держать этот проклятый карандаш.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Эффенди Капиев был другом Сулеймана Стальского. Он же переводил его на русский язык. Эта дружба вызывала зависть мелких и никчемных людей. Они старались унижить Ка-

пиева в глазах прославленного поэта или даже оклеветать его. Они говорили Сулейману:

— Ты не умеешь читать по-русски, а мы знаем, что Эффенди Капиев, когда переводит, портит твои стихи. Где хочет, он добавляет, где хочет, сокращает, а многие строки переделывает по-своему.

Однажды во время неторопливой беседы Сулейман завел разговор.

— Друг,— сказал он,— я слышал, ты бьешь моих детей.

Эффенди сразу понял, о чем идет речь.

— Твои стихи — не дети твои, Сулейман. Они — это ты сам, Сулейман Стальский.

— В таком случае я, старик, заслуживаю еще большего уважения, чем дети.

— Но что для тебя важнее, Сулейман, количество строк в стихах или стиль и дух? Вот перед нами стоит вино. Если оно выдохнется, то его почти не убудет, но оно не будет уж тем вином, которое мы пьем и которым наслаждаемся. Дело не в количестве вина, но в его аромате, во вкусе и крепости.

— Ты прав, это важнее всего.

Так в действительности и получилось, что Сулеймана Стальского русскому читателю дал Эффенди Капиев.

### ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.

— Никак не подберу ключ к стихам твоего отца,— жаловался мне Эффенди: Гамзата Цадаса он тоже переводил на русский язык.— Твой отец — со своим замком. Думаешь, что он смеется, а на самом деле грустит. Думаешь, он расхваливает, а на самом деле иронизирует, даже издевается. Думаешь, он бранит, а на самом деле хвалит. Все это я понимаю, но передать по-русски еще не могу. Я могу передать его поэтические приемы и смысл его стихотворений, но мне нужен сам Гамзат, живой, каким мы его знаем. Ведь именно таким его должны узнать все читающие по-русски. Как будто бы он похож на всех остальных людей, но все же его не спутаешь ни с одним человеком.

Такими же должны быть и стихи поэта.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ. Теперь меня знают в ауле как поэта Расула Гамзатова. А было время, знали как растяпу и неряху. Я делал одно, а думал в это время о чем-нибудь другом. И получалось, что рубашку я

надевал задом наперед, пуговицы у пальто застегивал неправильно, да так и выходил на улицу. Шнурки у ботинок не завязывал, а если завязывал, то так, что они тотчас развязывались. В то время про меня говорили:

— Как могло получиться, что у такого опрятного, аккуратного и спокойного отца мог родиться такой суетливый и неорганизованный сын? Кто из них стар и кто молод: тот ли, кто забывает завязать шнурки, или тот, кто ничего никогда не забывает?

— Да,— отвечал я на эти досужие рассуждения.— Я взял себе старость отца и отдал ему свою молодость.

В самом деле, мой отец до конца был подтянут и легок, как юноша. И внешне и внутренне он был всегда собранным, дисциплинированным, точным. Все в ауле знали тот час и ту минуту, когда мой отец, надев тулуп, подымался на крышу сакли. По этим выходам отца на крышу можно было проверять часы. Один молодой аулец писал из армии своим родителям: «Мы встаем рано. Нас будят в то самое время, когда Гамзат подымается на крышу».

Если кто-нибудь хотел встретиться с Гамзатом утром, то знал, в какой час и в какую минуту нужно быть на дороге, ведущей в Хунзах. Гамзат, идя на работу, выходил из дому всегда в одно и то же время.

Люди знали про него все: знали, до какого места он поведет коня в поводу, а потом уж сядет в седло; знали его простую черную рубашку, его брюки-галифе, его сапоги, которые он сшил сам и собственноручно чистил каждое утро. Они знали его пояс, его аккуратно подстриженную, но ни разу не бритую бороду; знали его папаху, которую он носил как-то очень строго. Каракуль на папaxe был не очень круто завит, но, с другой стороны, не очень космат.

Был образ отца, и все, что отец носил, все, что он делал, удивительно шло к этому образу. И трудно было представить себе что-нибудь другое в одежде, в поведении Гамзата.

Он и сам не любил никаких перемен. Когда одежда изнашивалась и нужно было обзаводиться новой, он искал точно такую же. И хотя новая одежда шилась по той же мерке, по той же выкройке, все же в первые дни отец чувствовал себя в ней неловко и стесненно.

Однажды у него перетерся и оборвался ремень. Ни-

чего не стоило купить новый, но Гамзат тщательно сшил привычный пояс и носил его еще некоторое время. Он не был жадным, и деньги у него водились, но ему жаль было расставаться с тем, к чему он привык. В конце концов ремень оборвался снова, и отцу пришлось купить новый. Все же и к новому ремню он пришел пряжку от старого.

Свою папаху он всегда гладил, как живого ягненка. Если уж он дорожил своим привычным ремнем, то как же он дорожил папахой!

Летом 1941 года, когда началась война, правительство Дагестана настояло, чтобы отец переселился с гор в Махачкалу. После прохладного высокогорья в городе ему показалось душно и жарко. Одежда, пригодная для высокогорья, стала обременительной в разогретом городском воздухе. Особенно не по климату оказалась папаха. Отец пробовал примерять разные шапки и шляпы, но они сразу настолько меняли весь облик Гамзата, что он отбрасывал их в сторону, несмотря на то, что мы, дети, очень уговаривали отца.

Так и ходил Гамзат по Махачкале с папахой в руке. Иногда надевал, иногда снимал, но не расставался с ней ни на минуту.

Даже такое бедствие, как война, может сделаться привычным, и жизнь входит в свою — пусть новую, пусть военную — колею. Отец снова стал временами уезжать в горы. Как свободно ему там дышалось, с каким наслаждением носил он там свою неизменную папаху! Был в эти дни похож на человека, который долго мучился оттого, что нечего закурить или строго запрещено, и вдруг есть возможность неторопливо свернуть самокрутку из крепкого душистого табака, неторопливо и с чувством прикурить, неторопливо и с чувством глубоко затянуться.

Отец мой никогда не курил, но такое же или даже еще большее наслаждение он находил в других мелочах жизни, не говоря уж, конечно, о главных радостях — о радости творчества, о радости любви к родному краю.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ОТЦА.** «Хотя Раджаб мой друг, но поступил он со мной хуже врага. А в союзники против меня взял бритву» — вот что записал однажды мой отец у себя в блокноте. А дело было так. В 1934 году отец поехал в Москву на Первый съезд

писателей. Тогда был жив еще аварский писатель Раджаб Динмагомаев. Он затащил отца в парикмахерскую, дабы немного подправить отцу волосы на бороде и на голове. Нарочно ли все подстроил Раджаб, парикмахер ли не понял, что от него требовалось, только отцу начисто сбрили его седую, еще ни разу не бритую бороду. Отец спохватился поздно. Увидев в зеркале совершенно чужое, незнакомое даже лицо, он закричал, загородил лицо руками и бросился вон из парикмахерской. Он не появлялся больше на заседаниях съезда, не осмеливался показаться на глаза людям.

— Я не мог изменить своему лицу в жизни,— говорил впоследствии отец,— каково же изменять своему лицу в стихах?

Не любил отец вычурности как в жизни, так и в стихах, хотя однажды он чуть не привык к чужой, вычурной позе.

**ВОСПОМИНАНИЕ.** К отцу в гости в Махачкалу приехали земляки из аула. Они заметили, что, разговаривая с ними, Гамзат Цадаса сидит в какой-то неестественной, непривычной позе, а именно: свой подбородок он поддерживает тремя пальцами. Один из горцев спросил у Гамзата:

— Раньше мы не замечали, чтобы ты держался за свой подбородок тремя пальцами. Давно ли ты привык к этому и зачем? Эта привычка тебе не идет. Это, Гамзат, не твоя привычка.

— Ты прав,— ответил отец.— Надо бы отучиться. Во всем виноват художник Муэтдин Джемал. Дело в том, что он целых три месяца писал с меня портрет. Три месяца я сидел перед ним неподвижно, держась за подбородок тремя пальцами. Так он мне велел, и я должен был подчиниться художнику.

— Тяжело это было?

— Сидеть было не тяжело, но эта поза! Иногда мне начинало казаться, что три чужих пальца поддерживают мой собственный подбородок. Иногда мне казалось, что три моих пальца держатся за чей-то чужой подбородок. Так сидел я три месяца изо дня в день и постепенно привык. Сеансы давно кончились, картина готова и висит, а я, как видите, все еще продолжаю держаться за подбородок тремя пальцами. Бывает, что человек с больным сердцем хватается за сердце и в те

минуты, когда оно у него не болит. Но не беспокойтесь, я постараюсь отучиться.

В ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ ОТЦА есть запись о том, как ему вставляли новые зубы.

Врач спросил у Гамзата, какие зубы ему лучше вставить: золотые, серебряные или стальные? Гамзат растерялся, ища поддержки, он посмотрел на друзей, бывших тогда около него.

— Ставь золотые,— подсказал один друг,— золото — благородный металл.

— Ставь стальные,— советовал другой.— Сталь крепка, никогда не изнашивается.

— Ну что же получится,— возразил Гамзат.— Если я вернусь в аул с золотыми или стальными зубами, люди будут глядеть на меня, как будто у меня во рту не зубы, а фонари. Люди будут смотреть не на меня, а только на мои зубы. Зубы затмят мое лицо. Нельзя ли вставить костяные, такие, чтобы никто и не заметил, будто у меня новые зубы. На такие, незаметные зубы я согласен.

Врач выполнил просьбу Гамзата и вставил ему зубы, похожие на те, что были у него до сих пор.

Впоследствии, замечая в стихах поэта чужеродные или заимствованные строчки, отец говорил:

— В этих стихах сверкают вставные зубы.

Конечно, и золотыми зубами можно надкусить яблоко, но сдается, что хрупнет оно не так сочно и не так вкусно, как если бы надкусил его своими собственными зубами.

ВОСПОМИНАНИЕ. В 1947 году в Махачкале в театре был большой торжественный вечер: чествовали моего отца, поэта Гамзата Цадаса, которому исполнилось тогда семьдесят лет. Много было речей и поздравлений, много читалось стихов, много подарили подарков. В конце концов слово дали самому юбиляру, моему отцу: Гамзат вышел на трибуну, спокойно вынул из нагрудного кармана лист бумаги с переписанными стихами, сочиненными специально к этому дню, спокойно полез в другой карман за очками... Но тут движения отца из спокойных превратились в беспокойные. Он поискал в одном кармане, в другом. Все поняли, что виновник торжества забыл дома очки.

За очками тотчас послали. Но Гамзат уже стоял на трибуне, и делать ему было нечего. Тогда друг Гамзата

Абуталиб дал ему свои очки, которые как будто подходили. Отец надел очки Абуталиба и действительно начал читать. Он читал свои стихи, но в голосе, во всей позе его была какая-то неуверенность, робость, и всем казалось, что отец читает не свои стихи, а какие-то другие, случайные, которые он сам видит впервые.

Когда отец начал уже читать следующее стихотворение, юноша, которого посылали за очками, вбежал в зал. Гамзат снял очки Абуталиба, надел свои, и сразу у него изменилась осанка, сразу голос его зазвучал тверже, и весь зал заплодировал отцу, как будто только сейчас настоящий Гамзат Цадаса вышел на трибуну, а до этого там стоял его двойник.

— Очки чуть не испортили мне юбилей,— улыбаясь, сказал Гамзат.

— Разве мои были хуже? — громко спросил Абуталиб.

— Они очень хороши, но все-таки это твои очки. У каждого человека свои глаза, и очки тоже должны быть свои.

Мой отец не любил ослепительно-яркого, не любил непроглядно-темного. Он не любил слишком густого и слишком жидкого, слишком холодного и слишком горячего, слишком дорогого и слишком дешевого, слишком отсталого, но и слишком передового.

Он не любил свирепости волка и слабости зайца. Деспотизма власти и рабского подчинения. Он говорил:

— Не будь столь сухим, чтобы хрупнуть и сломаться, но и не будь столь мокрым, чтобы тебя выжимали, как тряпку.

Мой отец был не из тех, кто размокает от капли дождя или высыхает от легкого дуновения. Мой отец был простым работником, в нем жили все привычки и все качества нашего народа, и он с достоинством носил их в себе.

**ВОСПОМИНАНИЕ.** Однажды мы с отцом должны были поехать из Махачкалы в аул, чтобы навестить больного родственника. Во главе правительства Дагестана стоял тогда Абдурахман Даниялов. Узнав о том, что мы собираемся в горы, он дал нам черную правительственную машину. Кажется, это был «ЗИМ».

Пока мы ехали по городским улицам, отец чувствовал себя превосходно. Но как только на загородной до-



роге стали мы перегонять горцев, едущих на осликах, мулах, конях или бредущих пешком, отец начал беспорочно ерзать на удобном мягком сиденье. В то время как я по молодости старался высунуться из окна, чтобы все видели, в какой машине я еду, отец отодвигался как можно дальше в глубину, в тень.

Шел дождь. Подъехав к гоцатлинской речке, мы увидели, что старик, ехавший на арбе, застрял посредине потока. Отец тотчас остановил машину, вошел в реку и начал помогать старику. Вместе со стариком они понукали волов, упирались в колеса. Скоро арба очутилась на ровной дороге. Мы поехали дальше. Через несколько километров на пути попала еще одна река. Отец снова остановил машину и стал дожидаться старика с арбой.

— Старик обязательно здесь застрянет. А я знаю, как перевести волов через эту речку. Я подожду старика и помогу ему.

Действительно, мы дождались, когда арба доскрипела до этой второй речки, и отец умело перевел волов.

— Много раз я попадал в такое же положение, когда возил, бывало, разные грузы из Буйнакса в горы,— говорил нам отец, возвращаясь к машине и вытирая руки о полы своей одежды. Он печально улыбался вслед арбе, как будто вместе с ней уезжало все его прошлое, вся его жизнь.

При подъеме на Хунзахское плато нашу машину задел грузовик. Сломалось колесо. Отец, казалось, обрадовался этому обстоятельству и пошел в аул пешком. Как мы ни уговаривали его подождать, пока поставим запаску, отец ждать не захотел.

— Даже на свадьбу мне было бы совестно приезжать на такой машине, тем более не нужен весь этот парад, когда навещаешь больного друга. Нет, я очень рад, что машина испортилась, я пойду пешком.

Мой отец ушел по тропинке, знакомой с детства, по той тропинке, которой ходили в наш аул бесчисленные поколения горцев. Мы починили колесо и поехали по большой дороге. В аул мы прибыли одновременно с отцом.

Потом в Махачкале Абдурахман Даниялов с тревогой спрашивал отца о дорожной аварии.

Отец ответил шутя:

— Уж очень хороша была машина. Если бы была чуть-чуть похуже, ничего бы с ней не случилось.

**ВОСПОМИНАНИЕ.** В последние годы своей жизни отец тяжело болел. Болезнь неожиданно настигла его во время поездки в горы, куда он ездил на встречу с избирателями. Приближались очередные выборы в Верховный Совет СССР, а Гамзат Цадаса был выдвинут в кандидаты.

До районного центра он доехал на машине, но дальше в горные аулы нужно было ехать на лошадях. Отец любил тихих, смирных лошадей. Обычно он ездил шажком, но чаще всего вел коня в поводу. Пешая ходьба была больше всего по душе Гамзату.

Местные власти постарались. Они подвели будущему депутату молодого резвого скакуна. Корить их нельзя, они хотели сделать как лучше. Они считали, что такому дорогому гостю нужно дать лучшего коня из всего района.

Семидесятидвухлетний старец не захотел обидеть хозяев и, вспомнив былые годы, молодецки вскочил в седло. Окруженный молодыми людьми на конях, седобородый поэт походил на имама в окружении наивов.

Молодые люди ударили своих лошадей плетью и поскакали по разным дорогам в разные аулы, чтобы сообщить о скором прибытии Гамзата. Поддавшись общему азарту, конь под Гамзатом тоже понес. Старик не сумел его удержать, и началась бешеная скачка. Гамзата потрясло, укачало в седле, он чувствовал себя все хуже и наконец совсем вылетел из седла. В Махачкалу он вернулся больным, и эта болезнь не оставляла уж его до самой смерти.

— Так получается со стихами,— говорил отец, кашляя.— Поэт должен ездить на своем привычном коне, а не садиться на чужого, неизвестного скакуна. Чужой скакун как раз и выбросит из седла.

Долго я мог бы рассказывать о своем отце, но теперь мне хочется рассказать немного о его друге Абуталибе. Весь вчерашний день я как раз провел вместе с ним.

**ДЕНЬ, ПРОВЕДЕННЫЙ С АБУТАЛИБОМ.** Труднее всего мне бывает сесть за стихи, которые почему-либо не дописал, не закончил в свое время и вот нужно снова садиться и заканчивать. Горцы гово-

рят, что лягушка только потому до сих пор без хвоста, что приклеить его оставила на завтра.

С утра я решил дописать длинное стихотворение, которое начал две недели назад. Работа предстояла трудная, и я сказал нашей няне Фросе:

— Если кто будет спрашивать, говори, что меня нет дома. Кому нужно, пусть приходит после обеда.

Распорядившись таким образом, я пошел в свою верхнюю комнату и спокойно принялся за работу. Но все же уличные звуки доносились до меня, и вот я услышал, как скрипнули входные ворота. Через некоторое время прозвенел звонок у дверей дома. Я не слышал голоса Фроси, но зато донесся до меня голос Абуталиба. Стул подо мной тотчас же превратился в раскаленную сковородку либо в терновый куст. Не было случая, чтобы в доме Гамзата Цадаса, или теперь вот — Расула Гамзатова, хоть раз отказали Абуталибу, чтобы он повернул от порога дома и ушел. Такого не было и быть не могло. Но я оказался в затруднительном положении: с одной стороны, Абуталиба отпустить нельзя, с другой стороны, неудобно подвести Фросю, которая честно исполнила мою просьбу и уже сказала Абуталибу, что меня нет и что я буду только после обеда.

Я поступил по совету сердца, а не рассудка. Я высунулся из окна и крикнул старому другу моего отца:

— Заходи, Абуталиб, я здесь!

— А, милостивый аллах! Неужели сын Гамзата из Цада скрывается от кредиторов? — Абуталиб быстро снял папаху и, проходя мимо Фроси, покосился на нее. — Скажи этой женщине, Расул, что, когда в дом приходит Абуталиб, двери раскрываются сами собой и что ты, Расул, в это время всегда дома. А если тебя и нет, то всегда в этом доме есть для Абуталиба попить и поесть, а если понадобится — поспать.

— Фрося не виновата. Патимат, уходя на работу, поручила ей говорить всем, что меня нет дома. Жена заботится обо мне.

— Хорошо, когда есть жена и есть на кого свалить все свои грехи. Но разве Патимат забыла, что сегодня четверг, — говорил Абуталиб, отряхивая свою мохнатую мокрую папаху.

— Но чем знаменит четверг?

— Это мой банный день. Разве ты не заметил, что

каждый четверг я хожу в баню, а так как баня рядом с твоим домом, то всегда можно ждать, что я зайду и к тебе — посидеть, побеседовать, покурить.

— Зачем тебе баня, Абуталиб? У тебя в квартире есть ванна и даже горячая вода.

— Ванна и душ — это кусок черного хлеба. А баня — свадебный пир, У меня есть сад и есть ручей, который тысячелетиями течет с гор, и я пускаю его под каждое дерево, и он орошает их. Разве я сумел бы полить все деревья при помощи черпака и лейки? Баню я сравню с обильным горным ручьем, а твой душ и твою ванну — с лейкой и черпаком. Нет, Расул, оставь эти игрушки для детского поэта Нуратдина Юсупова. Говорят, он пишет теперь кукольный сценарий. Так вот, для его кукол это будет как раз.

— После бани хорошо бы попить чайку, — предложил я Абуталибу, когда мы вошли из коридора в комнату.

— Валлах — годится и чай, биллах — неплохо и суп, таллах — не помешает и вино. А лучше всего после бани чистая водочка.

— Суп-то у нас есть, только вчерашний. Теперь утро, мы не сварили еще свежего супа.

— Мы начнем с вчерашнего, а там, глядишь, подспеет и свежий.

Пока Фрося хлопотала вокруг стола, я хвастался своей заграничной винотекой. Из разных заморских стран я навез в красивых разноцветных бутылках то ром, то коньяк, то джин, то виски, то кальвадос, то абсент, то вермут, то сливовицу, то венгерский уникум... И коньяки тоже были разных сортов: то мартини, то камю, то плиска.

— Выбирай, Абуталиб, что ты хочешь пить.

— Всю эту белиберду ты, Расул, убери. Угости, если хочешь, меня обыкновенной белой головкой. Белоголовая водка хороша не только тем, что мы знаем ее, но и тем, что она знает нас. То, что ты мне показываешь, может быть, очень вкусно, но все эти бутылки приехали издалека, они говорят на других, неизвестных мне языках, а я говорю на языке, который будет понятен для них. А привычка, а характер? Нет, мы совсем не знаем друг друга. Эти бутылки похожи на незнакомых гостей, с которыми нужно сначала разговориться, познакомиться,

съесть пуд соли. Я боюсь, что мы не поймем друг друга. Оставь их для своих друзей — московских писателей. Оставь их и для тех, кто забыл вкус пищи, приготовленной родной матерью на родном очаге.

В моей коллекции не оказалось ни одной бутылки водки. Я сделал вид, что сейчас пойду в магазин, надеясь, что Абуталиб начнет меня отговаривать: ведь на улице дождь с холодным ветром, а спиртного в доме полно. В конце концов это прихоть — требовать водки, когда на столе стоят лучшие французские коньяки.

А Абуталиб действительно начал меня отговаривать:

— Нет, Расул, сразу видно, что ты еще молод, хотя и поседел. Разве ты должен сам ходить за водкой, разве нет людей помоложе тебя? Выйди во двор, попроси соседского парня, он и сходит. А я никуда не тороплюсь, я с удовольствием подожду его возвращения.

Пришлось сделать так, как сказал Абуталиб. Я дал денег соседскому парню, и тот побежал в магазин. А Абуталиб между тем оглядывался по сторонам.

— Что-то не видно в твоём доме гостей с гор. Неужели нет ни одного гостя?

— Сегодня нет никого.

— Когда был жив мой друг, а твой отец Гамзат, в этом доме всегда жили гости. А гости тем хороши, что у них всегда при себе табак.

— Курево у меня тоже есть, — и я достал из ящика набор сигарет и папирос.

— Эти гладкие белые трубочки не для меня. Это ваше московское курево, а мне по душе только наш крепкий горский табак. Придется доставать свой кисет.

Абуталиб вытащил из-за пазухи большой кисет и, вывернув его, наскреб на донышке и в швах табаку на одну самокрутку. Мастерски он свернул ее, склеил языком.

— Разве можно сравнить с этой самокруткой твои ровные табачные палочки? У моей самокрутки есть свое лицо, она похожа только на себя, а твои сигареты все как одна похожи друг на дружку. Теперь скажи мне, в чем больше удовольствия — достать из пачки готовую сигарету или скрутить самому такую вот замечательную самокрутку? Ведь когда я ее скручиваю, я уже получаю удовольствие, зачем же я буду этого удовольствия лишаться?

Я чиркнул не то швейцарской, не то бельгийской газовой зажигалкой, но Абуталиб отвел мою руку с огнем. Он вытащил из кармана кресало, обломок кремня и трут. Трут он приставил к кремню и ударом кресала высек искры. Потом он помахал трутом, заставляя его разгореться, и прикурил. Горящий трут он поднес мне к ноздрям.

— Понюхай, как пахнет. Хорошо? То-то. А чем пахнет от твоей зажигалки?

На некоторое время Абуталиб исчез в облаках табачного дыма. Потом дым рассеялся, и Абуталиб спросил:

— Скажи мне, Расул, почему твоя голова уже поседела?

— Не знаю, Абуталиб.

— А я вот знаю, почему я седой.

— Расскажи.

— Моя голова поседела оттого, что мне всегда приходилось долго ждать, пока эти проклятые мальчишки сбегают в магазин за водкой. Да, Расул, дети не понимают родительских переживаний, пока у них не родятся свои дети. Точно так же нас не могут понять те, кто не пьет. За водкой нужно посылать того, кто сам любит выпить, тогда не будет задержки.

Между тем Фрося накрыла на стол. С некоторым запозданием на середине стола появилась и бутылка водки.

— Уф,— сказал Абуталиб.— Точно сурхинский председатель появился среди рядовых колхозников.— Он взял бутылку водки и покачал ее, как ребеночка: — Ай-ай-ай, какая хорошая бутылка! Наверно, очень хорошим человеком будет тот парень, который ее принес!

В это время Абуталиб обратил внимание на маленькие рюмочки, расставленные на столе. Лоб его сморщился, как от сильной горечи во рту или зубной боли. Он повертел рюмочку и так и сяк, заглянул в нее — по моему, ему очень хотелось сунуть в нее окурочек, дабы тем самым выразить окончательное презрение к предмету, ничего, кроме презрения, не заслуживающему.

Я взял большой рог, подаренный мне грузинами, передал Абуталибу.

Старый поэт долго разглядывал его с разных сторон и наконец оценил:

— Хороший рог, но он выглядел бы еще лучше, если бы на нем не было серебра. Словно пояс на женихе, это чеканное серебро на роге. А зачем оно? Разве водка от серебра станет крепче или вкуснее? Нет, Расул, дай-ка ты мне простой граненый стакан, который всю жизнь держала моя рука. Я знаю, сколько в стакане глотков, знаю, когда остановиться, когда продолжить.

Я исполнил и это желание Абуталиба. Он налил, бросил в стакан небольшой кусочек хлеба и сказал по-даргински:

— Дерхаб! — затем выпил залпом до дна, перевел дух и добавил: — Слово «дерхаб» всегда нужно произносить перед тем, как выпить. Конечно, смысл его объяснить трудно, может быть, у него и нет никакого особенного смысла, но разве не понятно и так — «дерхаб»!

Выпив, Абуталиб пододвинул к себе тарелку с супом, вынул на отдельную тарелку мясо, а в суп стал крошить хлеб. Он ел неторопливо, с удовольствием, прочувствуя каждую ложку горячей и вкусной пищи. Время от времени он так же неторопливо отрезал от мяса небольшой кусочек и отправлял его в рот. Я думаю, что мясо для него не было бы таким вкусным, если бы он ел по-другому или резал другим, а не своим карманным ножом.

Покончив с супом и мясом, Абуталиб собрал со стола все хлебные крошки и положил их в рот. Затем выпил еще немного и разгладил усы.

— Может, теперь хочешь чаю?

— Теперь мой чай — снова табак. Скажи мне, Расул, чем отличается папироска от всякой вещи?

— Не знаю.

— Всякая вещь, когда ее тянешь, делается длиннее, а эта, наоборот, укорачивается, — и он засмеялся, довольный своей немудреной загадкой.

— Много ты куришь, Абуталиб, не вредно ли для здоровья?

— Говорят, после сытного обеда закуривает даже сам аллах.

Накурившись, Абуталиб неожиданно спросил:

— Когда будет заседание правления?

— Завтра.

— Не знаешь, заявление Зайнуddина в Литфонд не будет разбираться на этот раз?

— Не знаю, да тебе зачем?

— Расскажу тебе притчу. Когда я был подростком, я пас телят. Телята у меня были смирные. Я свободно лежал на зеленой траве, на солнышке, а они паслись вокруг, и все были довольны: и я, и телята, и хозяйка моих телят. Но потом случилась беда — один бойкий теленок проведаль дорогу в овсяное поле. За ним потянулись и остальные. Моя спокойная жизнь на этом и кончилась. Не мог я отвадить телят от овса, и пришлось не отходить от них ни на шаг. Так получилось и с Литфондом для наших поэтов. Жили они спокойно, писали свои книжки, пока не разнюхали про Литфонд. Не знаю, кто из них был самый первый, но теперь-то все они пасутся в Литфонде, как мои телята в овсе. Про стихи они думают меньше, чем про Литфонд. Утром, вставая с постели, они пишут не стихи, а разные заявления о пособиях. Вот и я хочу написать одно заявление, а вы его на правлении обсудите.

— О чем же, Абуталиб, в чем твоя нужда?

— Ты знаешь, что мое тело не видел еще ни один врач. Но все же я теперь решил взять путевку в санаторий.

— Можешь считать, что путевка уже у тебя в кармане. Но не лучше ли вместо Союза писателей тебе обратиться в Верховный Совет Дагестана? Ты ведь член Президиума Верховного Совета. Правительственный санаторий лучше, чем писательский.

Абуталиб покачал головой и начал цокать языком. Это цоканье у него могло выражать самые разные чувства — и восторг, и досаду, и удивление, и, как вот теперь, отрицание.

— Нет, Расул, во-первых, в Верховный Совет меня избрали временно, на четыре года, а писатель я на всю жизнь. А во-вторых, и в том и в другом санатории все равно будут недостатки. Теперь скажи, кого мне сподручнее будет ругать — тебя с Хаппалаевым или сам Верховный Совет?

— Тогда пиши заявление, завтра разберем.

— Заявление-то мне напишет Мирза, сам я никогда не писал, а вы уж подготовьте путевку, — с этими словами Абуталиб встал, собираясь уходить.

— Куда ты теперь пойдешь, Абуталиб?



— Хочу сходить в издательство. Говорят, вышла моя новая книга. Надо посмотреть, сынок или дочка.

— Приходи вечером в Педагогический институт. Будет встреча писателей со студентами.

— Хорошо, приду. А зурну захватить?

— Ах, Абуталиб, ты ведь не зурнач, а поэт. Захвати лучше сборник стихотворений.

— Увидимся,— сказал Абуталиб и ушел.

Литературный вечер в женском Педагогическом институте был назначен на семь часов. Собрались поэты многонационального Дагестана. Ровно семь. Я посматриваю по сторонам. Абуталиба не видно. Пришлось начать вечер без него. На трибуне один поэт сменял другого. Они читали стихи каждый на своем языке. Кто по-лакски, кто по-кумыкски, кто по-лезгински, кто по-аварски. В то время как один молодой поэт читал свою поэму, раздались неурочные аплодисменты. Оказывается, из-за кулис на сцену вышел Абуталиб Гафуров. Девушки аплодировали ему,

Прослушав еще двух поэтов, я дал знак Абуталибу, чтобы он готовился выступать. Абуталиб сразу сделал серьезное лицо, уселся, как перед фотоаппаратом, и начал крутить усы. «Как видишь, готовлюсь»,— хотел мне сказать тем самым старый поэт.

Выступая, Абуталиб поговорил немного с девушками то на русском, то на аварском, то на лакском, ибо он все дагестанские языки знает каждый понемножку. Прочитал по-лакски два стихотворения.

Но всю эту свою, так сказать, литературную часть он вел торопливо, как нечто предварительное, как предисловие, как бы оставляя время для главного. Остановив жестом руки аплодисменты, Абуталиб спросил у зала:

— Хотите, я вам сыграю на своей зурне?

— Хотим, хотим, сыграйте! — закричали девушки.

Абуталиб принес из-за кулис зурну, свирель и начал потихоньку играть то на одном инструменте, то на другом. Но все понимали, что это лишь подготовка, лишь настройка инструмента, проба голоса. Убедившись, что инструменты налажены, Абуталиб неожиданно взял со стола стакан с водой и вылил воду в зурну.

— Прежде чем напиться самому, напои коня,— говорят горцы.— Прежде чем напьешься сам, напои зурну,— говорят в горах зурначи.

Абуталиб начал играть на зурне, поворачиваясь вместе с ней то в одну, то в другую сторону. Перед целым залом молодых девушек Абуталиб был в ударе. Наверно, на всю Махачкалу разносилась в ту ночь зурна Абуталиба.

Садясь на свое место в президиуме, Абуталиб просто душно спросил у меня:

— Ну как я играл, хорошо?

— Хорошо.

— Тогда почему же так вяло аплодировал? Сейчас же аплодируй еще.

Эти слова Абуталиба были встречены дружным смехом зала.

Мне, как ведущему вечер, действительно не очень понравилось, что Абуталиб — замечательный поэт — выступил в роли зурнача. Это все равно, что, например, русский поэт Есенин, вместо того чтобы читать стихи, пустился бы на сцене в пляс. Плясать-то, наверно, Есенин умел. Но ведь всему свое время. Должно быть, я нахмурился, сидя в президиуме, и мало хлопал, чем и вызвал веселую, насмешлившую зал реплику Абуталиба.

Провожаемые гурьбой девушек, мы спустились по широкой лестнице к гардеробу. Я надел свое пальто и посмотрел в зеркало. В те годы были модны пальто с высокими прямоугольными подложными плечами. На мне было как раз такое пальто. Абуталиб увидел меня и покачал головой:

— Раньше плечи делались широкими от курдюка, то есть от жирной, здоровой пищи, а теперь — от ваты. Раньше песни пели, подыгрывая на кумузе, а теперь читают их по бумажке. Большие изменения произошли в мире. Не нравятся мне они.

— Почему опоздал на вечер, Абуталиб?

— Я совсем был готов и уже собирался выйти из дома, как вдруг прибегает из аварского театра артист...

— Зачем ты понадобился аварскому театру?

— У них, видишь ли, в спектакле должна быть свадьба. Теперь ведь без свадьбы не бывает ни одного спектакля. А зурнач заболел. Какая же свадьба без зурнача? Вот они и позвали меня поиграть на зурне. Всего на десять минут. Но пока мы дошли до театра, пока началась свадьба — время-то и прошло. Я им сыграл две такие песни, что зрители забыли про спектакль, слушали

только меня. Если бы я играл им весь вечер, они бы сидели и слушали.

— На месте Абуталиба Гафурова, знаменитого поэта и члена Президиума Верховного Совета республики, я не пошел бы исполнять роли зурнача.

— Абуталиб лучше тебя знает, что ему делать, а что не делать.

— Был ли ты в издательстве и как твоя книга?

— Слава аллаху, книга вышла. Слава аллаху, денег немного получил. Слава аллаху, отдал долги. Слава аллаху, купил гуся.

— Будешь устраивать магарыч?

— Кому?

— Редактору, художнику, бухгалтеру. Всем, кто участвовал в издании книги.

— Редактору магарыч?! — Абуталиб даже остановился от возмущения. — Ему нужно устроить не магарыч, а могогорч!

«Могороч» по-аварски значит что-то вроде «скрутить, надавать колотушек». Абуталиб долго смеялся своей удачной игре слов, затем он продолжал:

— Послушай, Расул, я слышал, что дагестанцев, которые делают своим сыновьям обрезание, могут чуть ли не снять с работы, а то даже исключить из партии. Почему же не снимают редакторов, которые кромсают мои стихи, режут их на части? По отредактированной книге я сразу скажу тебе, из какого аула редактор. У нас, лакцев, в каждом ауле свой диалект. Так вот, редактор стремится перевести меня на язык своего аула, — Абуталиб вдруг замолчал и улыбнулся. — А вот женщина, которая дает подписывать договор, там хорошая. Ай, какая хорошая женщина! Этой женщине я сказал большое спасибо.

— А еще что ты ей сказал? Может быть, преподнес какой-нибудь подарок?

— Я ей сказал, что если у нее есть какая-нибудь худая, протершаяся, помятая и сломанная посуда, чтобы она приносила ее ко мне, а я починю, запаяю, исправлю, и будет как новая.

Эта выходка Абуталиба мне не понравилась еще больше, чем его игра на зурне в аварском театре. Увидев около забора кучу медного лома, я назло старику спросил:



— Раньше, когда ты был лудильщиком, эта старая посуда, наверно, здесь не валялась бы. Ты бы ее подобрал и отнес домой?

— Нет, мне не удалось бы ее взять, Расул,— добродушно ответил Абуталиб.— Ее подобрали бы до меня. Навстречу нам попался запоздалый пешеход. Абу-та-



либ, недолго думая, остановил его, попросил табачку, спичек и закурил.

Что говорить, не нравилось мне поведение Абуталиба. Народный поэт Дагестана, прославленный на весь родной край человек, член правительства, то играет на сцене как зурнач, то собирается чинить посуду секре-

тарше в издательстве, то просит табачку у случайного прохожего на вечерней улице Махачкалы. Но я не стал выговаривать старику. Я боялся его обидеть. Вместо этого я сказал ему:

— Ты человек уже старый, Абуталиб. Не лучше ли будет для твоего здоровья, если ты бросишь курить?

— Ну вот, сегодня бросай курить, завтра бросай лудить, послезавтра бросай играть на зурне. А стихи в таком случае перестанешь писать поневоле, они сами убегут от меня. Они знают и любят Абуталиба, того, который лудильщик, курильщик и зурнач. Если же я перестану быть Абуталибом, то зачем я буду нужен моим стихам? Я — Абуталиб Гафуров, а не Расул Гамзатов, который не хочет курить и не умеет лудить, а умеет зато руководить Союзом писателей. Я также не Юсуп Хаппалаев, не Нуратдин Юсупов, не Максим Горький и даже не Зощенко...

(В то время зугали Зощенко, вот его имя и запало Абуталибу.)

— Где прятаться туру, кроме гор? Куда течь ручью, кроме ущелья? Ты не надевай на меня чужую папаху. И что ты все придираешься к моему прошлому? Ну да, я в прошлом зурнач, пастух и лудильщик. Но разве я стыжусь своих прошлых лет? Это ведь тоже был я, Абуталиб. Запомни, Расул, что я тебе сейчас скажу: если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки. Я оставлял жен, и жены оставляли меня. Но дело, которое я умею делать, не может от меня уйти, и я не могу уйти от него.

Да, это был он, старый поэт Абуталиб, друг моего отца! Таким он был, и таким нужно его принимать. Если бы он стал другим, он одновременно перестал бы быть и Абуталибом и поэтом.

Расскажу еще одну историю, которую можно назвать:

**НОВАЯ КВАРТИРА АБУТАЛИБА.** Это было в то время, когда меня только что выбрали председателем правления Союза писателей Дагестана. Должность эта содержит больше прав, чем обязанностей, и если самому не искать себе работы, то можно спокойно заниматься своим основным делом, то есть писать стихи. Но я тогда еще был горячим молодым человеком. Я на-

чал проявлять активность. Я начал искать себе всяческого дела, связанного с моей новой должностью.

Я думаю, что если человек хочет оценить крепость и устойчивость своего дома, то он начинает с осмотра балок, угловых столбов и вообще всяких опор. Я пригляделся и увидел, что опорой Союза писателей Дагестана являются четыре народных поэта четырех дагестанских народностей: лезгин Тагир Хрюгский, кумык Али Казияв, аварец Загид Гаджиев и лакец Абуталиб Гафуров. Усвоив это, я задумал мероприятие. Я решил, что будет неплохо, если эти четыре старца встретятся с правительством Дагестана. Поэты выскажут правительству свои нужды, правительство выскажет поэтам свои пожелания.

И вот мы беседуем с секретарем обкома Абдурахманом Данияловым. Беседа непринужденная, за чашкой чая, по душам. Мои поэты на седьмом небе от радости и в четыре голоса говорят, какой хороший наш новый председатель Союза Расул Гамзатов. Товарищу Даниялову хорошо с народными поэтами, и он в душе похвалит Расула, а я при сем присутствую как ни в чем не бывало.

Говорим о Дагестане, о жизни, о стихах. Наконец секретарь обкома сказал, чтобы каждый поэт в отдельности высказал какую-нибудь свою просьбу. Первым начал Тагир Хрюгский:

— Очень мне обидно, товарищ Даниялов. Когда приходят холода, на кутанах погибают овцы. Разве нельзя летом послать туда много-много людей, чтобы они заготовили корма на всю зиму?

Товарищ Даниялов записал слова поэта и спросил:

— Больше просьб нет?

— А еще нельзя ли выдать одну автомашину для нашего колхоза в ауле Хрюг?

Слово перешло к Казияву Али. Казияв открыл рот и показал нам всем, и секретарю в том числе, свои старые, больные зубы.

— Вот нельзя ли мне вставить новые, хорошие зубы, а то трудно жевать. Да и петь беззубому не так хорошо. Когда читаешь стихи, приходится шепелявить.

Тотчас же Казияв показал нам на деле, как неудобно читать стихи без зубов. Он прочитал стихотворное послание председателю Хасавюртского горисполкома.

В послании содержалась трогательная просьба дать старому поэту угля для отопления дома.

— Ну и что же, дали вам уголь?— спросил Даниялов.

— Дело тянется с прошлого года.

Секретарь снова пометил у себя на бумаге, и мы приготавились слушать Загида Гаджиева.

— Молодые люди на концерте, вместо того чтобы петь, кричат. Своим криком они портят хорошие народные песни. А новые песни такие, что заставляют певцов кричать поневоле. Это все надо остановить. По радио слишком много поют о любви. А иные даже воспевают гурий из старинных сказаний. Скажите им, товарищ Даниялов, чтобы не воспевали гурий, а воспевали бы наших передовиков сельского хозяйства.

Окончив свою речь, Гаджиев повернулся ко мне и шепнул:

— Кроме того, оказывается, вчера Шахтаманов и Сулейманов в ресторане пили вино. Надо запретить писателям выпивать. По этому поводу я к тебе зайду отдельно.

Очередь дошла до Абуталиба.

— Дорогой Абдурахман,— обратился Абуталиб к первому секретарю.— Моя последняя жена родила мне сына.

— То есть как это так «последняя»?

— У меня было много жен. А что ж делать — ведь мои фотографии печатаются в газетах, обо мне говорят по радио, называют меня во всеуслышание народным поэтом Дагестана, депутатом, орденоносцем. Легковерные женщины идут на эту приманку, обманываются, думают, что если я такой знаменитый, то у меня дворец, сундуки добра и мешки денег. И вот они выходят за меня замуж. Но потом они видят бедного Абуталиба, сидящего в подвале. Это им не нравится, и они покидают меня. Вот почему я был женат много раз. Да, дорогой Абдурахман, песни мои улетают в небо, как жаворонки, а сам я продолжаю сидеть в подвале. Из жалкого подвала выпускаю я в небо мои золотые песни. Теперь вот моя новая жена, родившая мне сына, грозитя уйти от меня, если я не получу новую, хорошую квартиру. Она пойдет, прижав ребенка к груди... Слушай, Абдурахман, она еще не ушла, а мне ее уже жалко, не раз-



рушай мою семью, дай мне очаг, где я мог бы оседлать кастрюлю. Мне уже за семьдесят, моя арба катится не вверх, а под гору, под уклон. Кроме того, если ты дашь мне квартиру, то я приглашу тебя в гости.

Не прошло и недели, как Абуталиб получил ордер. Прощай, веселый подвал! Наш Абуталиб переехал в трехкомнатную квартиру на третьем этаже нового дома по улице Пушкина.

Однажды на улице мне повстречался Абуталиб. Увидев меня, он сделал вид, что чего-то ищет в куче железного лома.

— Здравствуй, Абуталиб, как живешь на новом месте, нравится ли квартира?

— Да вот который день все ищущу колокол, чтобы повесить около дома и звонить, зазывая тебя в гости, сын Гамзата из аула Цада, Трижды я открывал окно в сторону моря и играл на зурне, надеясь, что ты услышишь мою зурну и придешь на ее зов. Но, видно, не обойтись без большого колокола. Пойду искать.

Тотчас мы отправились посмотреть новое жилище Абуталиба. В новом его жилище были одни лишь стены. На полу там и сям лежал скарб Абуталиба, перенесенный из подвала: старая зурна, кумуз, старые кузнечные мехи (бог знает зачем они ему в новой квартире), старые керосинки, тазы, ведра, кувшины, сапоги, тулуп. Старые гости приходили к Абуталибу с гор. У них были старые хурджуны. Люди с гор приезжали не только в гости, но хлопотать о каких-нибудь своих делах. Держа пустой хурджун такого гостя, Абуталиб говорил:

— Проклятый хурджун, почему ты пуст? Если бы ты был наполнен чем-нибудь тяжелым вроде баранины, дело моего гостя сладилось бы гораздо быстрее. Сколько раз из-за того, что ты пуст, людям приходится напрасно преодолевать гору Чанх!

Так ругал Абуталиб пустой хурджун, ища глазами место, куда бы посадить меня. Наконец, не найдя ничего подходящего, он дал мне в руки большой нож и, подойдя к окну, показал на сарайчик во дворе:

— Там сидит гусь, иди и зарежь его.

Я приоткрыл дверь сарая, кое-как поймал гуся. Гусь отчаянно трепыхался в моих руках, когда я приступил к делу. Сверху донесся голос Абуталиба:

— Кто же так режет? Поверни гуся головой в дру-

гую сторону. Ты что, не знаешь, в какой стороне находится Мекка?

Но вообще-то я со своей задачей справился неплохо и даже в конце концов заслужил одобрение Абуталиба.

Абуталиб, как у нас говорится, оседлал кастрюлю и долго возился с обедом. Я между тем осматривал его квартиру. Хотя старый поэт и переселился из подвала, но всю свою подвальную жизнь, начиная со старой кастрюли и кончая привычками, он перенес сюда. В квартире не было ни одного стула, ни стола, ни шкафа, ни кровати, никакой мебели вообще.

— Где же ты пишешь стихи, Абуталиб?

— В этих комнатах я не написал еще ни одного путного стихотворения. Сначала я ходил писать в старый подвал, но теперь его передали художнику под мастерскую. Аллах свидетель, даже спится мне здесь хуже, чем в том подвале. У меня там и денег шло меньше, и времени было больше. Люди тоже надоедали не так сильно. Редко кто забредет ко мне в тот подвал. Ну, правда, не было видно моря. А теперь вот оно, всегда перед глазами старого Абуталиба.

Абуталиб долго смотрел на Каспий, кипящий в это время сине-белым порывистым штормом. Я не мешал ему, мы молчали. Потом Абуталиб снова заговорил:

— Расскажу тебе, Расул, о двух днях моей жизни: о самом радостном и о самом печальном дне.

— Расскажи.

— Видишь ли, Расул, радостных дней у меня, конечно, было немало. Орден дали — я радовался; ордер дали — я радовался; когда в двадцатом году красные дали мне боевого коня — я радовался. И я ездил с красными, и был зурначом отряда, и на боевых дорогах мой конь касался мордой крупы коня нашего командира. И это тоже для меня была радость. Но все же самая первая и самая большая радость была не та. Я был тогда одиннадцатилетним мальчиком и пас телят. И вот отец подарил мне первые в жизни чарыки. Не найдется слов, чтобы передать гордость, которая поднималась в моем сердце от этих новых чарыков. Я смело ходил по ущельям, по тем тропинкам, где еще вчера ранил ноги об острые холодные камни. Теперь же я твердо наступал на эти камни, не чувствуя ни боли, ни холода. Моя радость длилась ровно три дня, а вслед за ней пришли и

самые горькие минуты моей жизни. На четвертый день мой отец сказал: «Ну вот, Абуталиб, теперь у тебя есть новые, крепкие чарыки, у тебя есть палка, у тебя есть за плечами одиннадцать лет, прожитых на земле. Пора тебе отправляться в путь, чтобы самому кормить и одевать себя». Отец сказал, чтобы я шел по аулам и собирал милостыню. В этот час я пережил больше душевных мук, чем за всю остальную жизнь. Слезы и потом падали из моих глаз, но это уж были не такие горькие слезы. Один писатель сказал про меня: «Абуталиб получил новую квартиру. Посмотрим, какие стихи он в ней напишет». Как будто я не знаю, что стихи не зависят от квартир. Поэт — сам квартира для своих стихов. Сердце поэта — вот где жилище его поэзии. Во мне живут все, и радостные, и горестные мгновения моей жизни. А где живу я сам, не имеет значения.

Квартира Абуталиба произвела на меня сильное впечатление. Я рассказал о ней руководителям Дагестанской республики, и было решено использовать часть гонорара Абуталиба за его книгу «Ласточки летят на юг», чтобы купить для новой квартиры поэта новую, хорошую мебель. Была создана «оперативная тройка»: директор Дагестанского книжного издательства, министр торговли и я. Мы должны были найти всю необходимую мебель, купить ее и перевезти на квартиру Абуталиба. Все переговоры с ним, которые могли возникнуть по ходу дела, было поручено вести мне.

Мы втроем объездили все склады Махачкалы и подбирали, что нужно; спальню — пусть отдыхает с удовольствием наш народный поэт, кабинет — пусть он пишет свои замечательные стихи, столовую — пусть вкусно ест и сладко пьет.

Мы думали, что, получив всю нашу мебель и расставив ее, Абуталиб прибежит, чтобы рассыпаться в благодарностях. Но от него не прилетело к нам и простого спасибо или хотя бы подтверждения, что мебель уже на месте. Тогда мы сами решили пойти провести Абуталиба и посмотреть, как он распорядился нашими покупками.

Стучаться нам не пришлось, так как дверь в квартиру была открыта. Мы вошли в комнату... Рядом с обе-

денным столом, на полу, на ковре, сидел Абуталиб со своей семьей. Они сидели на корточках кружком. Перед ними на газете лежала еда. Абуталиб хлебал кефир из тарелки. Абуталиб поглядывал на полированный обеденный стол, как на девушку, которая хочет объятий, но обнимать которую он, Абуталиб, не имеет никакого желания.

В другой комнате мы увидели прекрасный письменный стол. На нем лежали нетронутыми бумага, ручка, стояла чернильница. Эти предметы, как, впрочем, и сам стол, походили скорей на музейные экспонаты, нежели на предметы обихода. В противоположном конце комнаты на полу лежали листочки бумаги, исписанные арабским шрифтом.

— Что ж, Абуталиб, разве ты не умеешь пользоваться современным алфавитом?

— Умею, но привык писать по-старому. Сначала напишу арабским шрифтом, а потом для редактора переписываю по-нашему, вроде бы как перевожу сам себя.

— И на кровати еще ни разу не спал,— сообщила нам жена.— Напрасно только вы покупали такие дорогие вещи.

— А, что кровать?! В первое время, в первый год моей жизни в городе, я вместо подушки клал горный камень и спал крепче, чем на подушке. Спать на камне я привык, когда пас телят.

— Так, значит, ты недоволен обстановкой, которую мы тебе подобрали? Этим кабинетом, этими стульями, столом, шкафом?

— Мебель очень хороша. Но она больше подошла бы для моего соседа Готфрида Гасанова.

— Хороший сосед Готфрид Гасанов?

— Может быть, он и хороший человек, но мы с ним не ладим.

— Почему же?

— Слишком уж он культурен. Кроме того, я слишком деревенский, а он слишком городской. Я слишком горный, а он слишком равнинный. Папахи у нас тоже разные. Наверное, не одинаковые и головы. Я сын своей земли, а он сын своего ремесла. Он терпеть не может мою зурну и ее песни, а я терпеть не могу его пианино и его симфонии. Стараюсь получить удовольствие от его музыки и не могу. И он тоже — только я возьму в

руки зурну, он уже стучит: «Абуталиб, мешаешь работать». Я ему нарочно говорю, что это, мол, не я, а радио. И правда, были случаи, он стучался ко мне, когда по радио играла зурна. Выходит, он запрещает мне не только самому играть на зурне, но и слушать игру зурны по радио. Одним словом, не похожи мы друг на друга. Ко мне приезжают гости с гор, из аулов с хурджунами, а к нему из Москвы с портфелями. У меня для гостей — буза и хинкалы с чесноком, а у него — коньяк и кофе. Я хожу на базар, а он в магазин. Когда я сплю, он пишет, когда он спит, я пишу. Он любит цветы, которые растут на городской клумбе, а я люблю цветущие травы на высокогорных лугах. Слышите, он и сейчас играет какую-то свою симфонию.

Абуталибова соседка мы хорошо знали. Это был заслуженный деятель искусств Дагестана и Российской Федерации Готфрид Алиевич Гасанов. В то время он работал над своим концертом для фортепьяно. Я с наслаждением слушал его тонкую, вдохновенную музыку. Я думал: «Какая воистину великолепная симфония получилась бы, если бы слить в один эти два больших и сильных таланта: простой народный талант Абуталиба и профессиональный, образованный талант Гасанова».

А еще я подумал, что было бы большой удачей, если бы в своих стихах, книгах я смог соединить эти две струи: простодушный характер моего народа, его непосредственную открытую душу — с отточенным мастерством профессионала. Я хочу, чтобы Абуталиб и Готфрид соединились в моих стихах. Я хочу, чтобы их соседство в моем творчестве было мирным, не таким, как соседство по дому.

Да, я надеюсь на содружество этих двух начал. Но все же, если бы его не могло быть и если бы меня заставили выбирать... Пожалуй, в конце концов самому тонкому цивилизованному напитку я предпочел бы ледяную хрустальную струю горного родника. И то сказать, культура, цивилизация, тонкости профессии — дело наживное. Если их нет, их можно приобрести, в то время как чувства национального, народного даны человеку от рождения. Народный поэт и зурнач Абуталиб в других условиях мог бы стать профессиональным музыкантом и даже композитором, но профессиональный композитор и музыкант Готфрид, я думаю, никогда не сможет стать простым народным певцом.

Когда мы прощались, Абуталиб вдруг спросил:

— Нельзя ли, Расул, провести ко мне телефон?

— Зачем тебе телефон, если ты отказываешься даже от письменного стола и кровати?

— По телефону я буду играть на своей зурне. Иногда Николаю Тихонову в Москву, иногда председателю нашего колхоза. Должен же председатель знать, что я еще жив, что моя зурна поет все те же самые песни. Послушав мою зурну по телефону, председатель поймет, что в моей городской квартире живут звуки и запахи наших гор.

— Полно, Абуталиб, твои мелодии, напоенные ароматами гор, и без телефона долетают и до Москвы, и до родного аула, и до всех дагестанских аулов. Они летят выше гор — во все стороны белого света.

Теперь я попрощаюсь с Абуталибом и расскажу вам случай, который произошел со мной и моим отцом.

**ВОСПОМИНАНИЕ.** У нас почему-то не было заведено читать стихи друг другу и даже разговаривать о них. Я узнавал о новых стихах отца, когда они уже были опубликованы или читались по радио. Или когда друзья, слышавшие эти стихи, говорили о них. Точно так же и отец не знал моих новых стихов, пока они не были напечатаны.

В 1949 году аварская газета опубликовала мою поэму «Год моего рождения». Газета, естественно, побывала в руках отца, и вот я обнаружил экземпляр этой газеты с карандашными пометками. Оказывается, отец внимательно прочитал мою поэму и очень многие строки переделал на свой лад. Легко было заметить, что отец заменял мои наиболее витиеватые строки, ему не нравились мои наиболее сложные метафоры, наиболее броские сравнения. В строках, написанных поверх моих строк, отец старался выразиться проще, яснее, доходчивее.

Я жалею и до сих пор, что не сохранилось этой газеты с исправлениями Гамзата. У меня привычка: как только стихи опубликованы, я сжигаю все черновики и все рукописные варианты.

Большинству исправлений я был рад. Я увидел, что поэма стала лучше, но со многими поправками я не согласился. Я говорил отцу:

— Конечно, ты мудрее, талантливее, крупнее меня. Но я ведь поэт другого времени. У меня другая школа,

другие литературные пристрастия, другой стиль — все другое. В этих поправках сразу виден поэтический почерк Гамзата Цадаса. Но я ведь не сам Гамзат, а всего лишь Расул Гамзатов. Позволь мне иметь свой стиль, свою манеру.

— Ты не совсем прав. Твой стиль, твоя манера, то есть твои нрав и характер, должны стоять в стихах на втором месте. На первое же место нужно поставить нрав и характер своего народа. Сначала ты горец, аварец, а потом уж Расул Гамзатов. Ты высказываешься в своих стихах так, как никогда не высказался бы ни один горец. Если же твои стихи будут чужды духу горцев, их характеру, то твоя манера обернется манерничеством, твои стихи превратятся в красивые, хотя, может быть, даже и интересные игрушки. Откуда возьмется дождь, если не будет тучи? Откуда возьмется снег, если не будет неба? Откуда возьмется Расул Гамзатов, если не будет Аварии и аварского народа? Откуда возьмутся твои собственные законы, если не будет общих для народа законов, вырабатанных веками?

Вот какой разговор произошел однажды между мной и моим отцом. Все мои остальные годы, все мои остальные дороги подтвердили потом правоту отца.

**ПРИТЧА О ТРЕТЬЕЙ ЖЕНЕ.** Молодой дагестанский поэт поехал учиться в Москву в Литературный институт. Прошел год, и вдруг появилось объявление, что наш студент разводится со своей женой, женщиной из далекого горного аула.

— Почему ты разводишься? — спросили мы у него. — Женился ты недавно, женился, как видно, по любви, что же произошло?

— Между нами нет теперь общего языка. Она не знает Шекспира, она не читала «Евгения Онегина», она не знает, что такое «Озерная школа», она никогда не слышала о Мериме.

Вскоре молодой поэт приехал в Махачкалу с женой-москвичкой, как видно, слыхавшей и о Мериме, и о Шекспире. Один только год прожила она в нашем городе, и пришлось ей снова возвращаться в Москву, ибо муж объявил развод.

— Почему ты разводишься? — спросили мы у него. — Женился ты недавно, женился, как видно, по любви, что же произошло?

— Между нами, как оказалось, нет общего языка. Она не знает ни слова по-аварски, не знает наших аварских обычаев, не понимает характера горцев, моих земляков, не хочет видеть их у себя гостями. Она не знает ни одной аварской пословицы, ни одной аварской загадки, ни одной песни.

— Что же ты будешь делать?

— Придется, наверно, жениться в третий раз.

Мне кажется, что, прежде чем искать третью жену, молодому поэту нужно найти себя.

Пусть моей книге будут сродни и горы Аварии, и сонеты Шекспира. Я хочу, чтобы моя книга была той самой третьей женой, которую до сих пор ищет молодой дагестанский поэт.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** В Махачкале построили сорокаквартирный писательский дом. Началось распределение. Одни требовали, чтобы квартиры распределялись соответственно таланту, другие говорили, чтобы учитывалось количество детей.

Нужно сказать, что распределение квартир среди писателей — трудное дело. Но кое-как утряслось. Сорок писательских семей въехало, справило новоселье, а на другой день двадцать писательских жен дружно укатали в Москву. Возвратились они через несколько дней усталые, исхудавшие, как после войны. Несколько позже, багажом, начала прибывать новая московская мебель.

Оказывается, сначала они очень долго искали и выбирали. Потом одна осмелилась, купила. Другие не хотели, чтобы у них мебель оказалась хуже. На несчастье, первая жена купила самую дорогую мебель. И перешеголять ее покупку было нельзя. В результате все двадцать квартир похожи одна на другую, как похожи зубья одной расчески. Придя в такую квартиру, нельзя сказать, что в ней живут аварцы.

В других квартирах, едва вы переступаете порог, вам в нос бросается крепкий запах вяленого мяса, сушеной домашней колбасы, бузы, овчины, жареного бараньего сала. Да, здесь видно, что живут аварцы, но не видно, что живут писатели, которые имеют понятие о духе и стиле времени.

Пусть каждый, кто будет читать мою книгу, сразу



поймет, что здесь живут аварцы, но пусть он сразу поймет и то, что здесь живет его современник, человек XX века.

Я не хочу ни только тени, ни только солнца. Пусть в моей квартире будут большие солнечные окна, но пусть в ней будут и тенистые укромные уголки. Я хочу, чтобы каждый гость чувствовал себя в моей квартире легко, свободно, непринужденно, чтобы ему не хотелось из нее уходить, вернее (если говорить о гостях), чтобы они уходили из нее с сожалением и с желанием вернуться вновь.

Однажды в Японии мы, представители разных стран, стали делиться своими впечатлениями. Мы стояли у фонтана, который был выложен, казалось, нашими дагестанскими камнями, теми самыми, которыми в ауле выложено место, где собираются горцы, годекан.

— Удивительная страна,— первым сказал американский композитор.— Мне кажется, в лице Японии я узнаю лик индустриальной Америки.

— Что вы,— возразил журналист с Гаити.— Я только что вернулся из японской деревни — больше всего Япония похожа на наш небольшой остров.

— Не спорьте, господа, все веселье и вся грусть Парижа сосредоточены здесь,— возразил им обоим французский архитектор.

А я смотрел на камни японского фонтана, которые, казалось, привезены из аварского аула, и думал: «Удивительная страна Япония. В ней есть все, что есть в других странах мира, но в то же время она не похожа ни на одну другую страну. Она — Я п о н и я».

Пусть и в тебе, моя книга, каждый найдет свое, но все же останься моей книгой, будь сама собой, будь непохожей на все другие книги. Ты мой аварский, мой дагестанский дом. Пусть в этом доме рядом с тем, что лежит века, лежит и то, что в нем еще никогда не лежало.

**ОТЕЦ ГОВОРИЛ:** литературное произведение, если в нем не видно автора, все равно что конь, бегущий по дороге без всадника.

**ГОВОРЯТ:** у одного горца рождались все время дочери, а он мечтал иметь сына. Каждый считал своим долгом дать неудачливому отцу какой-нибудь совет.

Столько ему насовествовали, что он наконец рассердился и сказал:

— Перестаньте, наслушавшись ваших советов, я разочился и тому, что умел.

## ● ЗДАНИЕ ЭТОЙ КНИГИ. СЮЖЕТ

Мы камни. Скоро в стену ляжем мы  
Дворца, сарая, храма или тюрьмы.

### *Надпись на камне*

На драгоценный камень смотрят в  
оправе, на человека — в доме.

Свадьба сыграна — надо строить  
жилье.

**П**росторные дворцы моих мыслей, тяжелые башни размышлений, дома рассказов, возвышенные шпили стихов... Вот я навозил камня, приготавливал бревен, выбрал место для возведения нового здания. Теперь мне надо быть всем понемногу: зодчим, инженером, математиком, каменщиком, плановиком.

Какое здание воздвигнуть мне? Какие очертания придать ему, чтобы радовало глаз? Чтобы оно было стройное и красивое, чтобы оно было невиданным до сих пор и казалось знакомым. Не такое, чтоб головами задевать за потолок, как в теперешних малогабаритных квартирах, но и не такое, чтобы на потолок смотреть, задирая голову. Не такое, чтобы в дверь не протащить обыкновенного стола, но и не такое, чтобы в двери проезжать на верблюде. Не такое, чтобы оно было проходным двором или клубом, где послушают концерт и уйдут, но и не такое, чтобы оно было мечетью, куда приходят только помолиться. Чтобы оно не годилось под контору, набитую справками, заявлениями, и чтобы оно не было похоже на вечно крутящуюся мельницу Али.

Прочитав поэму молодого горца, отец сказал:

— Слишком красивы стены у этой поэмы. Она похожа на курятник, который построил Аликебед. Курятник не должен напоминать дворец, а дворец не должно употреблять под курятник.

Когда же отец прочитал слишком длинный рассказ

другого писателя, рассказ, который писатель, казалось, не может никак закончить, он сказал писателю:

— Ты открыл дверь, которую тебе не закрыть. Ты отвернул кран, который тебе не завернуть. Ты слишком размочил веревку, когда затягивал узел.

В детстве, я помню, в наш аул приходили певцы. Я лежал на краю крыши, смотрел вниз на улицу и слушал певцов. Они подыгрывали себе: кто на бубне, кто на скрипке, кто на чонгуре, а чаще всего на кумузе. Они приходили из разных мест и в разное время. Они пели разные песни и ни разу не повторяли одну песню дважды. Особенно мне нравилось, когда два-три певца начинали соревноваться между собой.

Песни были длинные, и я их все перезабыл. Но все же из каждой почти песни остались в памяти где четыре, где восемь строк, где две строки. Наверно, эти запомнившиеся строки были самыми поэтичными, либо самыми умными, либо самыми острыми, либо самыми веселыми, либо самыми печальными.

Не знаю, почему мне запомнились именно эти строки, а не другие, но я ношу их в себе до сих пор и твержу иногда как самое заветное, самое близкое, как имя любимой.

Впрочем, и в других аварских песнях, которые я знаю наизусть с начала до конца, у меня все равно есть избранные строки, которые я люблю больше, чем всю остальную песню.

Да что песня?! В своих собственных стихотворениях я тоже выделяю и тоже люблю некоторые строки — они кажутся мне удачнее, сильнее, поэтичнее остальных. Признаюсь вам по секрету, у меня есть длинные стихотворения, которые я написал ради нескольких дорогих мне строк.

Эти строки: если стихотворение — ремень, то они кинжал на ремне; если стихотворение — поле, то они колосья в поле; если стихотворение — птица, то они крылья птицы; если стихотворение — олень, стоящий на краю скалы, то они глаза оленя, смотрящие вдаль.

Однажды я подумал: если в стихотворении мне особенно дороги, скажем, восемь строчек, то зачем я пишу еще восемьдесят? Нельзя ли сразу так и писать эти восемь самых лучших строк? Вот почему я написал целую книгу восьмистиший.

Обрадовавшись приходу гостя, горец хватает нож и режет быка. Но гостю нужен был всего лишь небольшой кусок мяса. Никакой гость быка съесть не может.

«Зачем же и мне,— подумал я,— резать большого быка, если мне хватит и одной курицы?»

Вот почему из книги, которую я когда-нибудь напишу, мне хотелось бы убрать все лишнее и оставить только те места, которые мне все равно были бы дороги, если бы даже книга была в двадцать раз длиннее.

Однажды в моем присутствии молодой лакский поэт читал Абуталибу свои стихи. Он прочитал десять стихотворений. Когда поэт ушел, Абуталиб сказал мне:

— А все-таки он молодец, из него выйдет толк.

— Тебе понравились его стихи?

— Все стихи у него слабые. Но было восемь строк, за которые можно отдать крепость, только что завоеванную в бою. Такого восьмистишия еще никто по-лакски не написал.

Но если в стихотворениях и песнях существуют незабываемые строки — четверостишия, восьмистишия, — то точно так же существуют встречи и дни, а для страны — события и подвиги, которые остаются в памяти. Я хотел бы включить их, вмазать, вмонтировать в стены моего нового здания — моей новой книги. Мне не хотелось бы подменять их красивыми разъяснительными словами, пусть они говорят сами.

Март на побережье моря всегда бурный месяц. Однажды в марте над Махачкалой пролетел ураган. Столкнулись два ветра: один — прилетевший с Каспия, другой — спустившийся с гор. Один врезался в город, разогнавшись на морском просторе, другой обрушился, свалившись с большой высоты. Ветры сцепились в жестокой схватке, переплелись, и пошла борьба. Когда борются два великана, опасно путаться у них под ногами. На этот раз под ногами у борющихся оказалась Махачкала.

Все, что плохо лежало, все, что плохо держалось за землю, тотчас полетело по ветру. Летели тощие деревца, пустые ящики, крыши хибарок, фанерные ларьки, всякий мусор.

Но прочно и гордо стояли, крепко вцепившись в землю, старые деревья и большие дома. Все легковесное и непрочное было унесено, а основательное и устойчивое осталось.

ТОЧНО ТАК ЖЕ события, чувства, мысли человека бывают такими, что их уносит даже легким ветерком времени, но они бывают и такими, что даже могучим житейским ураганам не под силу развеять и сдуть их.

Из этих устойчивых событий, из этих мыслей, из этих чувств мне и нужно строить здание книги. Оно должно быть построено в традиционном аварском стиле, но в то же время должно быть и современным. Дом нужен такой, чтобы и семья была рада в нем жить, но чтобы и гость был доволен. Дом должен быть такой, чтобы дети находили в нем свое счастье, молодые — свою любовь, старые — свой покой.

Моя книга — мой Дагестан. В каких очертаниях я вижу тебя? С чем сравню? С парящим орлом? Но орел не дело рук человеческих, его творила природа, и от нашей мысли в нем нет ничего. Тогда, может быть, с самолетом? Но самолет летает слишком высоко над землей, а когда катится по земле, то вокруг него только пейзаж аэродрома. Не люблю, когда на землю взирают с высоты и говорят о ней с высоты.

Нет, я вижу очертания такого аппарата, который летает, как самолет, ездит, как поезд, и плавает, как корабль. Я на нем и летчик, и машинист, и кормчий. Наша отправная станция — наш аэродром, наша пристань, наше депо — тысячелетний бессмертный Дагестан. Отсюда мы можем мчаться по воздуху, по суше и по воде в любые края земли. Туда, где я уже побывал, или туда, где побывала хотя бы моя мечта. Мы едем, летим, плывем. В окнах видны белоснежные горы, изумрудные сочные луга, широкие реки, безбрежные океаны. Бурная весна, кроткая осень, жестокая зима и знойное лето проплывают мимо наших окон. А сколько пассажиров вокруг меня! Тут и мюриды Шамиля с повязками, сквозь которые проступает кровь, и горцы-партизаны, и мои современники — люди разных профессий. Вокруг меня все, кого я когда-либо видел, встречал, с кем разговаривал и кого запомнил.

Да, в мою книгу-поезд, книгу-самолет, книгу-пароход нужен единственный билет или пропуск: чтобы я запомнил. Чтобы люди и события были, как те восьмистишия и строки, которые запали в мою память из длинных песен, исполнявшихся бродячими певцами. Чтобы они были, как те восемь строк, которые отметил Абуталиб, прослушав

десять длинных стихотворений поэта. Чтобы они были, как те деревья и те дома, которые устояли под ураганом, в то время как все легковесное и неустойчивое унесено наподобие осенних листьев.

Иначе я уподобился бы Муслиму из аула Казанище. Расскажу вам теперь, что с ним случилось.

В мае, когда овец из душной, пыльной степи угоняют в зеленые прохладные горы, Муслим из аула Казанище попросил у Союза писателей командировку, чтобы написать очерки о перегоне овец. Впрочем, может быть, это было в сентябре, когда овец, наоборот, с холодных уже к этому времени гор перегоняют на зимовку в более теплые степи. Командировку мы Муслиму дали. Муслим уехал и добросовестно прошел весь путь вместе с чабанами и отарами. Когда он возвратился, то блокноты, исписанные им, везли на отдельной лошади. Оказывается, он изо дня в день записывал все, что видел. Ничто, никакая мелочь не ускользнула из-под его карандаша. Увидев коня, записывал про коня, увидев чабана, записывал про чабана, увидев овцу, записывал про овцу. А ведь сколько там было чабанов и овец! Писал он и о том, что увидел, и о том, что услышал. И опять-таки не пропустил ни одного рассказа. Писал он и о тех, кто забегал вперед и кого приходилось удерживать, и о тех, кто отставал и кого приходилось подталкивать. Книга о дороге получилась длиннее, чем сама дорога. Получилась книга, на чтение которой нужно потратить столько же времени, сколько потратил Муслим на само путешествие. Чабаны рассказывали нам потом, что, когда поднимались на Гимринский хребет, им повстречался мул. Мало того, что Муслим, увидев этого мула, тут же взял беднягу на карандаш,—ему захотелось поглядеть на каждое из четырех копыт. Муслим бросился к нему, схватил его за заднюю ногу и хотел поднять ее. Но мул не мог знать благих намерений писателя и всей важности события, он нетактично лягнул досужего Муслима и попал как раз в нос.

Чабаны смеялись вокруг:

— И это должен записать Муслим.

Конечно, мул — животное капризное и с дурным нравом, но в этом случае он, пожалуй, был прав. Излишняя назойливость должна быть наказана.

Потом обсуждали труды Муслима в Союзе писателей. Шутя, мы спросили у него:

— Скажи, Муслим, в твоей книге написано обо всем, начиная с осленка из аула Хариколо и кончая копытом мула. Почему же ты пропустил безрогого козла?

— Что вы, как можно пропустить! Безрогий козел у меня тоже есть, но только я сказал о нем на местном диалекте. Он у меня называется «ханква».

Мы все посмеялись, но потом все же попытались вразумить Муслима: писатель не должен писать обо всем, что увидит, он должен выбирать из всего только то, что ему нужно. Одна фраза может выразить большую мысль. Одно слово может выразить большое чувство. Один эпизод может выразить все событие.

Не так давно у нас проводились всевозможные реорганизации. И сейчас мы нет-нет да что-нибудь реорганизуем. Я тоже заразился этим. Я реорганизую жанр, которым владею. Я собираю все жанры в одну книгу, осуществляю общее над ними руководство. В одном случае я сокращаю штаты, в другом увеличиваю. Меняю жанры местами, сливаю два в один, а один разделяю на два. Если очень много реорганизовывать, то одна какая-нибудь реорганизация, хотя бы случайно, получится удачной.

**ПРИТЧА О ГОРЦЕ, ПРИЕХАВШЕМ В МАХАЧКАЛУ.** Горец приехал в Махачкалу в командировку. У него было много денег, к тому же они были не свои, а командировочные. Обедал и ужинал он в ресторане. В день приезда он кричал на весь ресторан:

— Официант, еще коньяку!

Все слышали, оборачивались в его сторону и дивились, кто это такой, кто так много пьет и не жалеет денег на дорогой коньяк.

В последний день командировки наш горец тихонько, шепотом спрашивал у того же официанта:

— А почему у вас в ресторане лапша?

Итак, быка узнают не в начале пашни, а в конце, не по тому, как он брыкается на лугу, а по тому, как он ходит в ярме. Не тогда говорят о коне, когда на него садятся, а когда с него слезают.

Не раздуваю ли я свою книгу, как ансалтинцы трубу? Не делаю ли я деревянную печь наподобие сивухцев? Не убиваю ли я собаку вместо волка, как это сделали однажды мои земляки цадинцы?

Когда начинаешь путь к цели, цель далека. Хватит ли у меня смелости, любви и терпения, чтобы ее достичь? Или придется в конце пути почесывать себе затылок и думать, почему лапша?

**ВОСПОМИНАНИЕ.** Однажды в Дагестан пришла лютая зима. Неожиданно выпал снег, который покрыл землю чуть ли не на метр. Овцы и ягнята остались без корма. Они начали гибнуть. Меня вызвали в обком партии и говорят:

— Поезжай, Расул, на кутаны, нужно спасти овец.

— Какую же помощь я им окажу?

— На месте увидишь. Придумаешь. Надо найти пути для их спасения.

Дороги к овцам я не знал как следует и в хорошую погоду, каково же мне было искать ее в пургу! Но партийная дисциплина превыше всего, и я брел сквозь снег и ветер. Наконец я набрел на одну кошару. Меня встретили печальные чабаны. Слезы на их щеках и усах превратились в ледяные мутные бусинки. Окровавленными мордами овцы пытались сквозь обледелый снег добрать до травы. Но прогрызть ледяную кору они не могли и погибали. Собаки спрятались от ветра в укромные места, не думая ни о волках, ни о ворах. Одним словом, бедствие и беспомощность — вот что я нашел здесь. Увидев меня, чабаны горько засмеялись:

— Чего нам не хватает сейчас, так это стихов и песен. Ведь ты пришел, чтобы читать нам стихи или спеть нам песню, о сын Гамзата из аула Цада? Ты лучше изобрази нам плач, а мы тебе будем подвывать.

Три дня я просидел в шалаше чабанов, а потом, увидев, что никакой пользы от меня нет и не может быть, показал чабанам свою спину. Путь мой лежал в Махачкалу.

— Ну как, спас овец? — спросили меня в обкоме.

— Трех баранов я спас.

— Каким образом, расскажи?

— Очень просто, чабаны зарезали трех баранов, и мы их съели. Считаю, что этих баранов я спас.

— Ладно, — рассердились в обкоме, — иди занимайся своими стихами, а спасать овец мы будем, как видно, без тебя. А чтобы лучше писались стихи, объявляем тебе строгий выговор.

Не случилось бы подобного и с моей книгой. Выхожу



спасать отары, но с чем вернуться? День, начинающийся на рассвете, не всегда бывает таким, как нам бы того хотелось.

**ВОСПОМИНАНИЕ.** Помню первый день учебы в Литературном институте в Москве. Только мы начали учиться, а у меня день рождения. Конечно, меня не поздравляли, потому что никто еще не знал, что я в этот день родился. У меня были отложены деньги на покупку пальто, мне их дал отец.

«Давай-ка, бедный Расул,— сказал я,— сделаем в день рождения подарок самому себе — купим пальто». Взял я деньги и пошел на Тишинский рынок.

В те первые послевоенные годы что за рынки были в Москве! Свои законы, свои спекулянты, свои милиционеры. Наверно, там можно было купить все, за исключением разве осла или ослицы.

Больше всего Тишинский рынок походил на растрепанный муравейник. Целый час я толкался среди людей, трясущих перед самым моим носом разным барахлом: костюмами, сапогами, кителями, шинелями, фуражками, платьями, кофтами, туфлями, костылями.

В то время мне хотелось походить на министра. Среди толчеи я искал такое пальто, чтобы как надеть — так сразу и сделаться министром. Наконец я увидел нечто подходящее, перекинутое через плечо одного спекулянта. Вдобавок ко всему была еще и фуражка — под цвет пальто, из того же материала.

Начал я, конечно, с фуражки. Примерил, посмотрелся в зеркальце — настоящий министр. Давай торговаться. Пока я громко и внятно называл маленькую цену, продавец будто меня не слышал. Когда же я тихонько, шепотом назвал ему настоящую цену, он услышал. Ударили по рукам. Чтобы удобнее было считать все мои трешки и пятерки, я отдал пальто спекулянту подержать. Насчитал две тысячи двести пятьдесят рублей. Вручил деньги. Торжественно, с видом министра, пришел в общежитие. И только тогда вспомнил, что пальто осталось в руках у спекулянта. За две тысячи двести пятьдесят рублей купил я одну фуражку.

Итак, мечтая походить на министра, я остался без пальто и без денег. Не получилось бы то же самое и с моей книгой!

Все знают, что им нужно, но не все имеют. Все видят

свою цель, но не каждый ее достигает. Есть люди, которым кажется, что они знают, как нужно писать книгу, но они не умеют ее написать.

ГОВОРЯТ: одна и та же игла шьет и свадебное платье и саван.

ГОВОРЯТ: не открывай дверь, которую не сумеешь потом закрыть.

## ● ТАЛАНТ

Гореть, чтобы было светло.

*Надпись на лампаде*

**ПРИТЧА О ПОЭТЕ И ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ.** Рассказывают, что один незадачливый доселе поэт поймал в Каспийском море золотую рыбку.

— Поэт, поэт, отпусти меня в море, — взмолилась золотая рыбка.

— А что ты мне за это дашь?

— Все твои тайные желания будут исполняться.

Поэт обрадовался и отпустил золотую рыбку. Откуда ни возьмись посыпались на поэта удачи. Одна за другой вышли книги его стихотворений. У него появились дом в городе и великолепная дача за городом. Поэт сделался знаменитым, его имя узнали все люди. Весь мир лежал перед ним, как готовый, уже и поджаренный, и посыпанный луком, и обрызганный лимоном шашлык. Протяни руку, бери, наслаждайся.

И вот однажды, когда он был уже академиком, депутатом и лауреатом, жена ненароком обронила:

— Ах, зачем же ко всему этому ты не попросил у золотой рыбки еще и таланта?

Поэта словно осенило, словно он понял, что ему не хватало все эти годы. Побежал он к морю, обратился к золотой рыбе:

— Рыбка, рыбка, дай хоть немного таланта.

Отвечала золотая рыбка:

— Все я тебе дала, что ты сам пожелал. Все и впредь я могу тебе дать, что пожелаешь. А вот таланта дать не могу. У меня у самой его нет, поэтического таланта.

Итак, талант либо есть, либо нет. Его никто не может дать и никто не может отнять. Талантливым нужно родиться.

Поэт наш, всячески облагодетельствованный золотой рыбкой, вскоре почувствовал себя вороной, наряженной в павлиньи перья. Вся радужная красота искусственного оперения вскоре отпала, да к тому же за эти годы и собственные перья частично выпали, и стал поэт хуже, чем был.

Молитва от повторения не портится, повторяю и я еще раз. Чтобы писать, нужен талант, а где же его возьмешь, если его нет даже у золотой рыбки.

**МОЙ ОТЕЦ РАССКАЗАЛ:** один горец из далекого аула пришел к отцу и стал читать свои стихи. Отец внимательно выслушал новоявленного поэта, затем отметил наиболее слабые и беспомощные места. Затем он объяснил горцу, как он сам, Гамзат из Цада, написал бы эти стихи.

— Но, дорогой Гамзат,— воскликнул горец,— чтобы написать так, нужен талант!

— Пожалуй, ты прав, немного таланта тебе не помешало бы.

— А где его взять, посоветуйте,— обрадовался горец, не поняв иронии в ответе Гамзата.

— В магазинах я сегодня был, там его нет, разве что поискать на базаре.

Неизвестно, откуда берется в человеке талант. Неизвестно, земля или небо его дают. Или, может быть, он сын земли и неба? Неизвестно также, где он помещается в человеке: в сердце, в крови, в мозгу? С самого рождения он уже гнездится в маленьком человеческом сердце или человек находит его потом, совершая свой нелегкий путь по земле? Что больше питает его: любовь или ненависть, радость или печаль, смех или слезы? Или нужно все это — и одно, и другое, и третье,— чтобы талант рос и креп? Передается ли он по наследству или человек накапливает его в себе в результате всего, что он увидел, услышал, прочитал, пережил, познал?

Результат труда или игра природы? Цвет глаз, с которыми человек родился, или мускулы, которые он нарастил себе ежедневной тренировкой? Яблоня, возвращенная кропотливыми усилиями садовода, или яблоко, упавшее с дерева прямо в ладони мальчика?

Талант — нечто настолько таинственное, что когда все будут знать про Землю, про ее прошлое и будущее, когда все будут знать про Солнце и звезды, про огонь и цветы, когда все будут знать даже про человека, — в последнюю очередь все-таки узнают, что такое талант, откуда он берется, где помещается и почему он достается этому человеку, а не тому.

Таланты двух талантливых людей не похожи друг на друга, ибо похожие таланты — это уже не таланты. Тем более талант не зависит от внешнего сходства людей, его носящих. Я встречал много лиц, похожих на лицо моего отца, но отцовский талант я не встречал нигде.

Талант не передается по наследству, иначе в искусстве царили бы династии. Нередко от мудреца рождается глупец, а сын глупца вырастает мудрым человеком.

Талант, вселяясь в человека, не спрашивает ни о величине государства, в котором человек живет, ни о численности народа. Приход его всегда редок, неожидан и поэтому удивителен, как блеск молнии, как радуга в небе или как дождь в омертвевшей от зноя и уже не ждущей дождя пустыне.

**КАК Я ПОТЕРЯЛ КУНАКА.** Однажды, когда я сидел за своим столом, к моему дому подъехал молодой всадник.

— Салам алейкум!

— Ваалейкум салам!

— Я приехал к тебе, Расул, с одной небольшой просьбой.

— Заходи в дом, клади просьбу на стол.

Молодой человек вынул из кармана и действительно положил на стол несколько бумажек. Первая из них оказалась письмом большого отцовского кунака, да и моего частого гостя. Друг нашего дома и нашей семьи писал: «Дорогой Расул, этот парень — наш близкий родственник и хороший человек. Помоги ему стать таким же известным поэтом, как ты сам».

Остальные бумажки оказались: справкой из сельсовета, справкой из колхоза, справкой от парторганизации и характеристикой.

В справке из сельсовета говорилось, что такой-то действительно является племянником знаменитого поэта Махмуда из Кахаб-Росо и что сельсовет считает его достойной кандидатурой в известные дагестанские поэты.

В других справках указывалось, что племяннику Махмуда исполнилось двадцать пять лет, что он окончил девять классов и что он совершенно здоров.

— Ну, прекрасно,— сказал я.— Давай посмотрим твои произведения, может быть, ты действительно талантлив и станешь со временем известным поэтом. Я был бы рад помочь тебе, чем смогу, и тем самым выполнить просьбу нашего общего друга.

— Как! Но меня и послали к тебе, чтобы ты научил меня писать стихи. Я еще никогда не пробовал.

— А что ты делаешь?

— Работаю в колхозе. Но толку от этой работы мало. Пишут трудодни, а потом на них ничего не дают. А семья у нас большая. Вот и надумали послать меня в поэты. Я знаю, что мой дядя Махмуд зарабатывал немало, больше, чем я в колхозе. Да и ты, Расул, говорят, получаешь большие деньги.

— Боюсь, что при всем моем желании я не смогу сделать из тебя поэта.

— Как? Я же племянник Махмуда! В справке все сказано. И сельсовет выдвигает, и парторганизация.

— Будь ты даже сыном Махмуда. Как известно, у самого Махмуда отец был обжигателем древесного угля, а вовсе не поэтом.

— Но где же справедливость? Здесь, в Махачкале, вы, поэты и писатели, делите между собой жирную тушу литературы, неужели мне не достанется хотя бы немного потрохов? Я согласен на потроха. Что же мне теперь делать? Помоги мне устроиться куда-нибудь. Справки у меня в порядке.

Как племяннику Махмуда мы выдали ему из Литфонда небольшое денежное пособие, а затем по моей просьбе его взял на работу директор завода Дагэлектромаш. Но, как оказалось, претендент в популярные поэты остался недоволен своей судьбой. Вскоре его отец, наш кунак, прислал мне рассерженное письмо:

«Все мои просьбы твой отец Гамзат всегда выполнял. Никогда он мне ни в чем не отказывал. А ты, сын Гамзата, отказался выполнить такую маленькую просьбу — устроить моего сына в поэты. Видно, зазнался ты, Расул, не в отца пошел. Никогда я не менял своих кунаков, а теперь вот приходится. Прощай».

Таким-то вот образом из-за таланта, вернее, из-за от-

сутствия его, я потерял хорошего кунака. Кунак мой и правда был хорошим человеком, он только не понимал, что никто — ни председатель Союза писателей, ни секретарь парторганизации, ни глава правительства — не может раздавать таланты, как куски баранины, когда горцы усядутся вокруг стола, а курящаяся горячим паром баранья туша уже взгромождена на стол.

Или видишь, когда идешь по дорогам Дагестана, как в гору поднимается нагруженная арба. Один человек помогает тянуть ее вверх, другой толкает сзади;

или видишь, как большой грузовик тросом вытягивает из снежного заноса маленький «Москвич»;

или видишь, как быстrophодной легковой машине не дает ехать вперед тихоходный громоздкий самосвал — горная дорога узка, и никак легковой машине не обогнать тихоход.

И вот — талант не арба, которую можно толкать или тянуть вдвоем; талант не «Москвич», который нужно вытаскивать тросом; талант не машина, которая не может обогнать и вырваться вперед.

Талант не нужно подталкивать сзади и не нужно тянуть за руку. Он сам находит себе дорогу и сам оказывается впереди всех.

А ведь много еще людей, которые надеются, что их либо подтолкнут, либо подтянут. Вот маленькая история, которую можно было бы назвать так:

**ПУСТЬ БУДЕТ СТАРАЯ, НО ТАЛАНТЛИВАЯ.** Когда я учился в Литературном институте в Москве, я подружился со многими русскими поэтами, тоже студентами института. Они начали переводить мои стихи. Переводы стали появляться в разных газетах и журналах. Благодаря русским переводам мои стихи читали другие народности Дагестана.

В те годы нашлись досужие языки, которые злословили: мол, Расул Гамзатов вовсе не умеет писать стихи по-аварски, его стараются вывести в люди талантливые русские переводчики и что он сразу пишет так, чтобы приспособиться ко вкусам русских читателей.

В связи с этим я вспоминаю каждый раз об одном дагестанском поэте.

Существует небольшая народность — таты. Их всего не больше пятнадцати тысяч. Однако есть пять-шесть хороших татских писателей, известных всему Дагестану. Их

книги издаются и на родном языке в Махачкале, и в переводах на русский. Об одном татском поэте я хочу рассказать. Имя его называть необязательно.

Моя учеба в Литературном институте окончилась, и я вернулся в родную Махачкалу. В первые же дни меня пригласил в гости татский поэт. Он угощал меня на открытом воздухе. Перед нами — широкий Каспий, сзади нас — высокие горы. Поэт читал мне стихи по-татски, а потом слово за словом переводил на русский язык, чтобы я уразумел смысл его стихотворений.

Учитывая то, что я гость, а он хозяин; учитывая то, что он может подумать, будто я хочу блеснуть своими знаниями, приобретенными в Москве; учитывая то, что все поэты больше любят похвалу, чем критику; учитывая то, что никакая критика ему все равно не поможет, и учитывая, наконец, то, что он сам до небес превозносил каждое мое стихотворение и каждую мою строчку, — учитывая все это, я безбожно хвалил все, что он мне читал.

Правда, некоторые стихи мне нравились, и я говорил о них от души, но другие мне не нравились, и я говорил о них, кривя душой. Тотчас я мысленно протягивал руки к волнам Каспия, даже становился перед ними на колени и говорил: «Простите мне эту ложь». Потом я мысленно поворачивался к горам, протягивал руки к их белым вершинам, становился перед ними на колени и говорил: «Простите мне эту ложь».

Начитавшись друг другу стихотворений и нахвалив друг друга, мы некоторое время молчали. Я просто слушал море, а друг, как оказалось, был занят своими мыслями. Наконец он завел такой разговор.

— Расул, мне хотелось бы поделиться с тобой одной важной мыслью. Но обещаю, что никому не расскажешь. Я обещал.

— Ты знаешь, — продолжал мой друг, — мы, таты, народность малочисленная. Мне со своими стихами тесно. Ты правильно делаешь, что ищешь читателей в Москве. Я хочу последовать твоему примеру, хочу переехать жить в Москву. Но у меня ведь нет там ни родных, ни друзей, ни знакомых. Нет и крова. Как думаешь, если я с гоно-раром, полученным за новую книгу, поеду в Москву, найду я там подходящее пристанище?

— Почему же не найдешь? Если будут деньги, снимешь комнату.

— Я не про то. Найду ли я там себе жену? Пусть она будет старой, уродливой, какой угодно, лишь бы она была талантлива, лишь бы она переводила меня на русский язык, лишь бы она вывела меня в люди. Потом-то уж, встав на ноги, я нашел бы свою дорогу. А без этого я захохну в национальной скорлупе.

Я еще раз присмотрелся к его внешности. Двадцатипятилетний, мускулистый, напоенный огнем кавказец. Большие руки и даже пальцы поросли волосами. Волосы на груди жестки, как гвозди, забитые в стену. На смуглом, почти коричневом лице толстые губы и синие, как озера, глаза. Его голову можно принять за ежа. Зубы белые, крупные. Ноги, как сваи. Бугры мышц по всему телу. Первозданное дитя природы. Ему ли не найти жены в многомиллионном городе на третий год после войны. Я сказал:

— Тебе стоит только остановиться посреди улицы и свистнуть, как прибегут жены, каких ты только захочешь.

Мой друг обрадовался, как ребенок. Он встал на руки и на руках пошел в воду, в море. Перед тем как уплыть, он еще спросил:

— Как ты советуешь добираться до Москвы — самолетом или поездом?

Прошло полгода. Отряхивая мокрый снег с шапки, я поднимался на четвертый этаж в издательство «Молодая гвардия». Мне навстречу с большим портфелем под мышкой спускался татский поэт, угощавший меня на берегу Каспия. В первую очередь я обратил внимание на то, что портфель он нес не за ручку, как носят обыкновенные писатели, а под мышкой, как носят бухгалтеры и кассиры. Еще я заметил, что он сильно изменился за эти полгода. Волосы, похожие на ежа, отросли и теперь разделены аккуратным пробором. На щеках бакенбарды, словно у декабриста. Ноготь мизинца длинен и отточен, торчит, как штык. На пальце перстень с камнем. Вместо галстука к воротнику прикреплено нечто вроде крыльев майского жука. Изящен, галантен. После взаимных приветствий он поправил на мне галстук, очевидно сбившийся на сторону. Я, разумеется, поблагодарил.

Ахмет представил мне свою жену, а меня ей.

— Очень приятно, — сказала она и протянула мне три пальца.



У нас в Дагестане не принято целовать руку женщине, поэтому я попросту ограничился легким рукопожатием, но она так закричала от боли, будто я перемешал все косточки ее пальцев.

— Простите меня, темного горца... я не хотел...

— Пора привыкать к культуре,— бросила мне она, отошла к зеркалу и начала кривляться перед ним, как будто зеркало что-нибудь могло изменить в ее внешности.

Да, она была и старая, и уродливая, и пудры на ней было столько, что хватило бы на штукатурку для комнаты средней величины. Больше всего я жалел, что не было здесь Абуталиба, уж он бы, верно, сказал про нее меткое словечко.

Говорят, нет никого хитрее лисы и ее хвоста. Но как же могла опростоволоситься черно-бурая, если угодила на воротник этой старой кляче. Женщина отошла к журнальному киоску, и мы с Ахметом на некоторое время остались одни.

— Как живешь, как себя чувствуешь, друг Ахмет?

— О, я чувствую себя, как вол, которого запрягли, чтобы молотить чечевицу. Жена руководит мной в моей работе. Если бы ты знал, какая она образованная. Светлая голова. Лично знала Блока и Маяковского. Была другом Сергея Есенина. Бывала в Париже. Превосходно говорит по-английски. У нас четырехкомнатная квартира, и мы одни. Детей у нас нет. Есть только собачка Тошик. Японская собачка, меньше кошки.

— Да, как видно, повезло тебе в жизни. Куда же теперь идешь?

— Да вот приносил стихи в «Мурзилку». Говорят, слишком глубоки для детей. Думаю отдать в журнал для юных колхозников. Там стихи понравились, только нужно дописать строфу, чтобы упоминалось слово «колхоз». Сегодня вечером допишу, а завтра принесу снова... Да, Расул, вот, оказывается, как нужно работать и жить. Моя жена говорит мне: дети, прежде чем научатся ходить, тоже ползают. Потом я напишу и настоящие произведения.

— Алеша,— нежно и требовательно сказала подошедшая жена.— Пойдем накормим Тошика, а потом сходим еще в «Крокодил» и в «Работницу».

После этой встречи мы с Ахметом долго не виделись.

Однажды я получил от него письмо. Он просил меня заказать в Балхарах кувшин с надписью «Моей дорогой жене». Я заказал кувшин и подумал: «Должно быть, и правда она для него много делает». Его стихи в переводах жены мелькали иногда то в «Мурзилке», то в «Пионере», то в «Крокодиле». Не появлялось его стихов только у нас в Махачкале на родном ему татском языке.

Несколько раз мы просили его прислать что-нибудь, но не получали ответа.

Увиделись мы спустя пятнадцать лет после первой встречи. В Москве проходила декада дагестанского искусства. Сорок поэтов приехали из Дагестана в Москву. На разных языках мы читали свои стихи в Колонном зале, в Кремлевском театре, на автомобильном заводе, в гвардейской Кантемировской дивизии.

На заключительном вечере декады к нам за кулисы пробрался сторонкой наш Ахмет.

— Расул,— взмолился он,— возьми меня из Москвы в Дагестан. Хотел я отрастить курдюк, но потерял и последний хвост.

Итак, Ахмет возвратился в Дагестан. Но никак не настраивается его пандур, никак он не может взять верную ноту. Он похож на сосуд, который дал трещину, и вот вытекло все вино. Как ни заклеивай потом кувшин, а вино все равно сочится, утекает.

Итак, переводчик не может прибавить таланта тому, у кого его нет. Одни говорят, что Эффенди Капиев создал Сулеймана Стальского. А другие говорят, что Сулейман создал Эффенди Капиева. На самом же деле они были оба талантливы. Талант Эффенди создал Эффенди, а талант Сулеймана создал Сулеймана.

Я СКАЖУ ИЗЕ. Так можно было бы озаглавить следующую историю, вспоминающуюся мне.

В Дагестанском педагогическом институте со мной вместе учился известный ныне дагестанский писатель Магомед Сулиманов. Он с детства был разносторонне талантливым человеком: неплохо рисовал, танцевал пародные танцы, сочинял стихи. Он страстно любил «Евгения Онегина». С этой книгой он не расставался и знал ее почти всю наизусть. Уже тогда у него была мечта перевести «Евгения Онегина» на аварский язык. Эту книгу он даже брал с собой на войну.

В конце войны, изрешеченный пулями и осколками,

Магомед очутился в московском госпитале. Там он познакомился с молодой москвичкой Марией. Когда раны зажили, он женился на Марии и остался в Москве.

Приехав в Москву учиться, я через адресный стол нашел своего друга. Я соскучился по нему, он по мне. Мария не мешала нашей дружеской пылкой беседе. Мы долго сидели вдвоем за бутылкой крепкого вина. Магомед рассказывал о войне, я о Дагестане, о родных горах, о родном ауле. Я читал им стихи, свои и своих товарищей, молодых аварских поэтов. Потом я спросил у Магомеда, чему же он хочет посвятить свою жизнь.

— Я долго думал, чем бы мне заняться. Но у Марии есть тетя, а у тети есть Изя, очень влиятельный в Москве человек... Тетя увидела, что я мучаюсь раздумьем, и говорит: «Ну что ты мучаешься, Магомед. Я скажу Изе, и он все устроит». Действительно, Изя подобрал мне хорошую должность при Академии наук. Там я сейчас и работаю.

— А твое рисование?

— А, хватит того, что меня разрисовали пули.

— А стихи?

— Это было детство, Расул. Теперь я взрослый серьезный человек, и дело нужно искать серьезное.

— А «Евгений Онегин»?

Мой друг задумался. Как видно, я попал в больное место.

— Почему не хочешь возвратиться в Дагестан?

— А как быть с Марией?

— Возьми с собой.

— У меня нет дома, кроме как в ауле. В аул же с Марией я заявиться не могу. Ведь она даже не сможет разговаривать с моей матерью. Не брать же мне еще переводчика, чтобы Мария понимала маму, а мама понимала ее.

Чтобы прервать трудный для Магомеда разговор, я поднял тост за него, за Марию, за «Евгения Онегина».

Когда я в следующий раз зашел к своему другу, Мария сказала мне, что Магомеда словно подменили. Целыми днями и ночами, каждую свободную минуту, за счет еды, сна и отдыха он что-то пишет, рвет и снова пишет, и снова рвет.

Тетя Марии понаблюдала за Магомедом и наконец спросила, что он пишет и почему рвет написанное.

— Я хочу стать поэтом,— ответил ей Магомед.— Я хочу перевести «Евгения Онегина».

— Так о чем разговор и зачем так мучиться? Я скажу Изе, и он все устроит.

— Нет, дорогая тетя, ни сам Изя, ни его начальник, ни даже его жена не помогут мне сделаться поэтом. Я могу им стать только сам.

Вскоре Магомед прочитал мне перевод первой главы «Евгения Онегина» на аварский язык. А через три года и все аварцы получили возможность читать этот роман на своем родном языке.

**ЧЬЮ ФОТОГРАФИЮ ПОМЕЩАТЬ?** Говорят, что энергичная жена немало может способствовать успеху мужа. Да, встречали и мы таких энергичных жен. Была такая жена у одного небезызвестного дагестанского поэта. Весь Союз писателей, все издательства и газеты бросало в дрожь при упоминании ее имени. Я тоже ее побаивался и даже, чтобы задобрить ее, повесил у себя в кабинете портрет ее мужа. Я думал, она будет довольна и будет обходиться со мной помягче. Но это на нее мало подействовало. Ведь она не получала ни копейки за то, что портрет ее мужа висел в моем кабинете.

Однажды она потребовала от издательства, чтобы немедленно был издан сборник стихотворений ее мужа. Директор робко возражал, что планы на этот год утверждены, мало бумаги и что они могли бы издать в следующем году...

— Ты бессовестный человек! — кричала разъяренная женщина. — Ты просто боишься, что люди увидят, насколько стихи моего мужа лучше твоих. Вот для чего ты рассказываешь мне сказки о бумаге и планах. О, я тебя вижу насквозь. Я не дам себя провести. Я заставлю тебя издать сборник моего мужа.

С этими словами женщина хлопнула дверью издательства.

Через два часа на директорском столе зазвонил телефон. В трубке послышался голос секретаря обкома.

— Ради бога, сделай как-нибудь так,— умолял секретарь,— чтобы эта женщина больше ко мне не приходила. Я не успеваю менять стекла на своем столе: она разбивает их, стуча кулаком по столу.

Что же получилось в итоге? Выкинули из плана по-

весть Льва Толстого «Хаджи-Мурат», а также детскую книгу Гамзата Цадаса. За счет этих двух книг поставили в план сборник стихотворений мужа воинственной женщины.

Казалось бы, должен наступить мир. Но вскоре разразился новый скандал. Оказывается, в сборник не поместили фотографии поэта.

— Бессовестные люди! — кричала разгневанная жена. — Вы боитесь, что люди увидят, насколько мой муж красивей вас всех! Вот почему вы не поместили фотографии.

— О нет, — ответил директор издательства. — Просто мы не знали, чью фотографию помещать в этой книге: твою или твоего мужа.

— А что, — ухмыльнулась женщина, — еще неизвестно, стал ли бы он поэтом, если бы не я.

Абуталиб, встретив того поэта, ему сказал:

— Послушай, Куса, уступи мне на неделю свою жену — я сразу же стану лауреатом Сталинской премии.

— Что ты, Абуталиб, я уже десять лет живу с ней, но не получил и премии Хаджи Хасума.

— Так попроси у нее немного таланта.

**ПРИТЧА ОБ АБУТАЛИБЕ И ХАТИМАТ.**

Абуталиб сначала пас овец. Потом он полюбил ремесло лудильщика, но свою пастушью свирель носил с собой и в свободные минуты на ней играл. Ремесло водило его из одного аула в другой, и вот однажды, кто говорит — в Кули, кто говорит — в Кумухе, к Абуталибу подошла с худым кувшином девушка по имени Хатимат.

Долго чинил Абуталиб этот кувшин. То он откладывал его в сторону и неторопливо закуривал, то он откладывал его в сторону и начинал играть на свирели, то он откладывал его в сторону и начинал рассказывать Хатимат разные были и небылицы.

Хатимат торопила лудильщика и кричала:

— Хоть бы сворачивал самокрутки покороче!

— Что ты, милая Хатимат, теперь я буду сворачивать их длиной по аршину, чтобы они подольше курились.

Наконец девушка рассердилась вовсе, и Абуталиб вынужден был вернуть ей кувшин. Кувшин весь сиял, как новый: так постарался Абуталиб. Однако не успела девушка набрать в кувшин воды, как он потек. Рассержен-



ная, чуть не плача от обиды, она снова пришла к Абуталибу.

— Сколько времени ты чишил мой кувшин, а он течет сильнее прежнего.

— Чтобы каждый день в твой кувшин кидали ка-



мешки смелые, красивые парни! Зачем ты сердишься, Хатимат, я ведь парочно оставил дырочку, чтобы ты пришла ко мне еще раз и чтобы я мог посмотреть на тебя.

— Пусть парни кидают камни в твою голову, а не в мой кувшин! — выпалила Хатимат и ушла навсегда.

Абуталиб сильно тосковал. Любовь его к Хатимат разгоралась все сильнее. И чем сильнее разгоралась она, тем крепче становилась тоска. Тоскующий Абуталиб написал песню, в которой воспел Хатимат и свою любовь к ней. Потом он написал вторую песню, потом десятую, потом двадцатую, а потом он из лудильщика превратился в знаменитого поэта.

Хатимат тем временем вышла замуж за человека по имени Гаджи. А потом развелась с ним и вышла замуж за человека по имени Муса.

Однажды, когда знаменитый поэт Абуталиб шел через базар, его окликнули:

— Эй, Абуталиб, не починишь ли кувшин?

Поэт оглянулся и видит Хатимат, старую, сгорбленную, больную.

— Наверно, ты зазнался, Абуталиб. Еще бы! И депутат, и орден на груди. Видно, забыл ты свою лудильную мастерскую. А ведь если разобраться, то я, Абуталиб, сделала тебя поэтом. Не принеси я тогда чинить кувшин, так бы и сидел ты до сих пор лудильщиком на базаре.

— Если на самом деле столь велика твоя власть, о Хатимат, если на самом деле ты умеешь делать из людей поэтов, то почему же ты не сделала поэтом своего первого мужа — Гаджи? Да и песен твоего второго мужа Мусы пока не слышно...

Абуталиб уже ушел, а Хатимат все еще стояла с открытым ртом, не зная, что ответить. Накапывающий дождь привел ее в чувство.

Итак, никто не властен сделать человека поэтом, если он сам не станет им.

**МОЙ ОТЕЦ РАССКАЗАЛ**, что когда я написал первые свои стихи, то один человек, очень известный и уважаемый в Дагестане, старый друг отца, говорил:

— Было бы хорошо, если бы Расул теперь сильно влюбился. Неважно, счастливая или несчастная, ответная или безответная была бы эта любовь. Пожалуй, даже лучше, если бы он влюбился без взаимности, если бы любовь принесла ему одни страдания. Вот тогда бы он сразу стал большим поэтом.

Друг моего отца даже подыскал девушку, юную и



прекрасную, которая могла бы сделать меня несчастным человеком, но зато поэтом.

Отец ответил своему другу:

— Посмотри, сколько на свете влюбленных, но разве каждый из них поэт? Красиво любить тоже нужен талант. Может быть, любви талант нужен больше, чем любовь таланту. Слов нет, любовь сопутствует таланту, но не заменит его. То же самое скажу о чувстве, противоположном любви,— о ненависти.

— Но возьми Махмуда, певца любви...

— Правильно. Таким поэтом, каким мы его знаем, Махмуд во многом стал благодаря своей возлюбленной. Но только я думаю, что если бы этой возлюбленной вовсе не было на свете, все равно бы Махмуд стал большим поэтом.

Его беспокойные, мятежные силы все равно нашли бы себе дорогу, как в сырой, тяжелой, темной земле находит дорогу к солнцу нежный росток травы. Ведь иногда трава пробивается даже из-под камня.

Да, легко согласиться с тем, что подобно тому, как огонь питается сухими дровами, талант питается сильными человеческими чувствами — любовью и ненавистью, что стихотворение рождается от светлой улыбки или соленой слезы. Но я хочу привести вам два примера.

Какое горе, какие страдания могут сравниться с горем матери, потерявшей сына? И вот его хоронят, и вот собрался народ. Но мать безмолвна, она просто плачет, она не способна выразить свое горе в словах, в таких словах, чтобы все заплакали, как плачет она сама.

Тогда приходят умелые плакальщицы. Слез нет у них на глазах, ибо тут не их, а чужое горе. Однако, когда они пускают в ход свое ужасное искусство, все вокруг начинают рыдать.

Я назвал это искусство ужасным. Оно и на самом деле ужасное, жестокое. Не зря мусульманская религия утверждает, что плакальщицам на том свете уготованы вечные муки — наравне с лицемерами, притворщиками, клеветниками. Но с искусством, которое заставляет плакать людей, ничего не поделаешь.

Теперь противоположный пример. Кто может быть счастливей отца и матери, у которых сын вырос, окреп, стал мужчиной и теперь женится? Свадьба — радостный праздник. На свадьбах танцуют и поют песни. И, конеч-

но, больше всех радуются отец и мать жениха. Но каждый ли из них может выразить свою радость словами, песней, такой песней, чтобы возликовали все вокруг и чтобы для всех эта чужая радость свадьбы стала как бы своей?

Нет, родители заранее идут по аулам и приглашают умелых певцов. Певцы приходят. Вчера они пели на другой свадьбе, завтра споют на третьей. Им все равно. Но их талант воодушевляет людей и приносит людям настоящую радость.

Тогда, может быть, талант питается кропотливым опытом жизни? И всякое проявление таланта в искусстве есть результат обширных познаний, сложных судеб, великих дел?

Но если бы это было так, то разве мог бы четырнадцатилетний и к тому же слепой аварский паренек своей игрой на пандуре удивлять и очаровывать аварские аулы?

Другой юноша, Магомед Раджабов, с детства прикованный к постели, написал такую песню о матери, что нет в Аварии человека, который не знал бы и не пел эту песню. Музыку для этой песни сочинил Ахмед Цурмилов, человек, у которого парализованы обе ноги. О нем я однажды написал стихи:

Восемь струн у твоей мандолины,  
Восемь тысяч мелодий у них...

Талантливый слепой увидит больше, чем бездарный зрячий. Кем-то было сказано еще: умный, сидя в своем кабинете, увидит больше, чем дурак, совершивший кругосветное путешествие.

К тому же слепой Магомед, собиравший милостыню на базаре, никогда не ошибался, считая свою дневную выручку.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Если сила таланта в одном зрении, то как же пел лезгинский поэт Кочхурский, которому хан выколол оба глаза? Если сила таланта в богатстве, то как же прославился лезгинский поэт Етим Эмин, бедняк и сирота? Если сила таланта в образовании, то как же Сулейман Стальский сделался «Гомером XX века», не умея даже расписаться,— вместо своей подписи он прикладывал палец, макнув его предвзвешенно в чернила? Если сила таланта в начитанно-

сти и эрудиции, то почему же я встречал столько начитанных, очень эрудированных людей, которые не могли написать ни одной путной строчки?

Раньше в горах было принято устраивать интересные состязания. С одной стороны выступали образованные, умеющие читать и писать по-аварски муталимы, а с другой стороны — неграмотные, ничего не знающие, кроме своего ремесла, чабаны. Обе стороны выступали в поэтическом состязании. Чаще всего побеждали чабаны. Расчетливый голос образованных певцов заглушали и побеждали песни, свободные, как ветер, летающий над зелеными склонами гор.

Но все-таки тех и других побеждали поэты, которые были одновременно и муталимами и чабанами. Если в состязании участвовали Махмуд или мой отец Гамзат, то им приходилось соревноваться между собой, а не с другими певцами. Другие оставались далеко позади.

Может быть, сила таланта просто в уме? Но я встречал и в Москве, и в других странах очень умных людей. Если бы их ум воплотился вдруг в стихотворную форму или в форму романа и рассказа, это были бы бесценные произведения искусства. Но что-то мешает перейти их умным мыслям с кончика пера на бумагу, и умные мысли развеиваются по воздуху или уходят в могилу вместе с их обладателями.

В таком случае, может быть, сила таланта в упорном труде, в работе до седьмого пота? Очень часто я слышал, что талант сам по себе вовсе не существует, что он может проявиться только в результате упорного труда. Но представьте, что песня соловья, просто сидящего на ветке, мне нравится больше, чем песня осла, влекущего тяжелую ношу.

Не тот песни поет, кто арбу тянет, а тот песни поет, кто на арбе сидит.

Аллах великий, сколько же в мире противоречий! Если песни есть плод праздности человека, сидящего на арбе, то, может быть, все искусство есть результат праздности и досуга, материальной обеспеченности и беззаботности?

Но разве не поют в богатых дворцах песен, родившихся в убогих хижинах? Все сказки о ханах и богачах сочинены бедняками. Шамхал сослал в Сибирь Ирчи Казака. Сосланный в Сибирь, Ирчи Казак продолжал писать

стихи. Из стихов Ирчи Казака люди знают теперь о кумыкском шамхале.

Молодого грузинского князя Давида Гурамишвили похитили горцы. Они посадили его в яму в Унцукуле. Сидя в сырой яме и тоскуя по своей голубой и жемчужной Грузии, князь начал сочинять стихи. В некотором роде можно сказать, что горцы сделали из Гурамишвили поэта.

Дочь хунзахского хана Айшат влюбилась в молодого красивого чабана. Отец, узнав об этом, выгнал дочку за порог дома. Была зимняя холодная ночь. В стужу, по колено в снегу, под пронзительным ветром, в легком платье, сочинила Айшат свою первую песню.

Но если так, то, может быть, вся сила таланта в человеческой слабости, в бедности? Может быть, несчастья и горе рождают лучшие песни? Кто вы, стихи, и что вам нужно? Вы пришли к Батыраю, когда он, больной, старый, голодный, сидел у погасшего и остывающего очага. Вы пришли к Махмуду, когда он мерз в карпатских окопах, а его возлюбленная, та, что была ему дороже солнца, земли и жизни, вышла замуж за другого. Вы пришли к Абуталибу, когда с палкой и хурджуном он пошел побираться по деревням и когда любимая им Хатимат отвергла его, выйдя замуж за другого. Вы пришли к Эльдарилаву тогда, когда он принял чашу с ядом из рук своих убийц. Жестокий Зунти-наиб зашил нитками рот Анхил-Марин, и тогда-то Марин спела лучшую свою песню. Эта песня лишила наиба покоя и сна на всю остальную жизнь.

В чем же сила твоя, талант, Расскажи мне. Что ты — совесть, честь, мужество или, может быть, страх? Ведь боязливый человек тоже поет, отправляясь в ночную дорогу и тем самым ободряя себя.

Ты счастье или беда, ты награда или наказание? Ты красота, созданная, чтобы люди мучались из-за нее, или муки, в которых рождается красота? Или ты дитя времени и событий? Искры рождаются от ударов камня о камень. Война не прибавляет людей на земле, но она прибавляет на земле героев.

Я не знаю, что такое талант, как не могу сказать, что такое поэзия. Но иногда — то на пути к дому, то в чужой стороне, то во время сна (как бы приподняв полу моей бурки), то когда я ступаю по зеленой траве (как бы пе-

реливаясь в меня из живой зелени и разливаясь в крови), то во время еды, то во время музыки, то в кругу семьи, то в кругу шумных друзей, то когда я поднимаю на руки ребенка, как бы благословляя его на долгий путь, то когда я подпираю плечом, помогая нести, гроб с останками друга, провожая его в последний путь, то когда я смотрю в лицо своей любимой — вдруг меня посещает нечто редкое, удивительное, загадочное и могучее. Оно бывает то веселое, то печальное, но всегда побуждает к действию, всегда заставляет меня говорить. Оно приходит без приглашения и без спроса.

Оно приходит, и за ним мерещатся и Махмуд в черкеске, с пандуром в руках, с его любовной страстью, так и не выплаканной до конца в его песнях, и мой отец с нежной грустной улыбкой, и Эльдарилав с чашей яда в руках, и Марин с окрашенными кровью губами, защитными жестоким набомам; за ним мерещатся далекие образы великанов — Данте, Толстого, Шиллера, Блока, Гете, Бальзака, Достоевского... Иногда мне кажется, что брезжит сквозь пронизанный светлым лучом туман образ самого бога.

— Что ты такое? — спрашиваю я у этого нечто.

— Я твой талант, я твоя поэзия.

— Откуда ты?

— Я есть повсюду.

— Тебе столько же лет, сколько мне?

— О нет, мне одна секунда и мне тысяча веков. Во мне наивность ребенка, страсть безумного юноши, мудрость старца. У меня нет возраста. Я костер, который не может погаснуть. Я песня, которую никто не может спеть до конца. Я полет, который никто не в силах завершить. Я очень далеко от тебя, и я в тебе самом. Носить меня — радость и наслаждение, и носить меня — горькие муки. Нет ничего легче меня и нет ничего тяжелее меня.

Если я есть, то от дрожания скрипичных струн могут расколоться холодные скалы. Если я есть, то от игры на зурне будут плясать дикие туры в ущельях гор. Если я есть, то кинжал выпадает из рук убийцы, а влюбленные сливаются в поцелуе.

Когда снимали чохто с Паити из аула Анди, я был там. Когда похищали Мариам, перекинув ее через седло скакуна, я был там. Когда Жанна Д'Арк обнажала свой меч перед воодушевленным ею войском, я был там.

Когда человек, придумав себе крылья, прыгнул с колокольни, я был там. Когда Магеллан или Колумб подняли паруса, я был там. Когда писалась «Сикстинская мадонна», я был там.

Поле моей деятельности — все времена и все земли. Есть разные континенты и государства, партии и правительства, классы и нации. Но есть люди. У людей есть умы и души. На всех материках им свойственны любовь и ненависть, отвага и страх, благородство и хитрость, самоотверженность и ложь, святость и клевета. Умы и души людей — вот поле моей битвы, вот поле моих поражений и побед, вот поле моих свершений.

— Тогда скажи мне правду: на что я гожусь? Не рискую ли я уподобиться снегу, который завтра растает, не пытаюсь ли налить воду в кувшин, на дне которого трещина? Запала ли в мою душу хоть одна искра от твоего неугасающего костра, упала ли на мои губы хоть одна твоя жгучая, огненная пьянящая капля?

Из моих глаз текут слезы радости и печали. Но есть у меня и еще слезы — они затаились в глубине глаз, как таится пугливая птица, слышав шаги охотника. Но и эти затаившиеся слезы — одна от любви, другая от горя; одна от беды, другая от счастья. На голове моей волосы двух цветов — черные и седые. И сам я стою одной ногой в молодости, другой в старости. Старость и молодость всегда сражаются меж собой, и поле битвы — моя душа.

Моя любовь — чинара — два ствола,  
Один зачах, другой покрыт листвою.  
Моя любовь — орлица — два крыла,  
Одно взлетает, падает другое.

Болят две раны у меня в груди.  
В крови одна, рубцуются другая.  
И так всегда: то радость впереди,  
То вновь печаль спешит, ее сменяя.

*Перевел Н. Гребнев*

Жизнь имеет границы, она коротка, а мечты безграничны. Сам я иду по дороге, а мечта уже дома. Сам я иду к любимой, а мечта уже у нее в объятиях. Сам я живу в этот час, а мечта улетает на много лет вперед. Она летит дальше той черты, где во тьме обрывается жизнь. Она летит в века.

**ШАМИЛЮ ЗАГАДАЛИ ЗАГАДКУ.** Ему дали в руку веревку с тремя узлами. Два узла на одном

конце близко друг от друга, а третий на дальнем конце веревки. Отгадай!

Шамиль расправил веревку, поглядел и сказал:

— Один узел—это я сам. Второй узел—это моя смерть. А тот, третий, дальний,— то место, где живут сейчас мои мечты и мои помыслы, цель, которую я хотел достичь в жизни.

Поле, которое пашут мои мечты, гораздо обширнее того поля, которое я пашу в действительности. Кому же ты должен служить, талант, мне или моим далеко улетевшим от меня мечтам?

Да, ты костер, который не может погаснуть. Ты песня, которую никто не может спеть до конца. Ты полет, который никто не в силах завершить. Но сумею ли я вплести хоть одну мелодию в твою извечную песню — мою, аварскую мелодию? И тогда, может быть, вся песня станет еще богаче.

Сумею ли я зажечь на вершинах Дагестана свет небольшого костра — ответвление твоего негасимого пламени? Сумею ли я хоть немного, хоть от одной скалы до другой, продлить твой нескончаемый непрерывный полет?

Мой аул — Цада! А это значит — огонь! Однажды человек из другого аула спросил меня:

— Откуда ты, парень?

— Из Цада.

Собеседник заметил:

— Сначала прочитай свои стихи, тогда я скажу тебе, из огня они или из холодной золы.

Сомнения одолевают меня. Не надеваю ли я бурку, когда уже кончилась непогода и солнце вновь показалось из рассеивающихся туч? Не запираю ли я сарай на замок после того, как воры уже угнали быка? Не рассказываю ли я то, что все уже слышали много раз? Не зову ли я в гости людей, которые только что вышли из-за гостеприимного праздничного стола? Нужно ли мне писать мою книгу?

— Если можешь не писать, не пиши.

— Могу ли я не писать? Может ли не стонать больной, когда ему очень больно? Может ли не улыбаться счастливый? Может ли не петь соловей в молчании лунной ночи? Может ли не расти трава, когда семечко уже лопнуло в сырой и теплой земле? Могут ли не расцвести

цветы, когда бутоны уже обогревает весеннее солнце? Могут ли горные ручьи не течь вниз, к морю, когда уже тают ледники и вода кувyrкает камни и мчится с грохотом? Может ли костер не гореть, когда ветки высохли и пламя уже охватило их?

Я в детстве еще полюбил костры: ночью у чабанов на берегу реки, у подножия скал, на вершинах окрестных гор или даже в камнях домашнего очага. Я знаю, что разжечь костер — половина дела, что гораздо труднее его поддерживать и хранить в течение долгой ненастной ночи.

Я чувствую, что в сердце моем есть огонь. Но что мне сделать, как мне себя вести, чтобы мой огонь не зачих, не угас раньше времени, до того, как он успеет кого-нибудь обогреть и кому-нибудь осветить дорогу во тьме? Что я должен делать, чтобы сберечь и укрепить свой талант?

**ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОТЦА.** Один горец пришел к отцу и сказал:

— Я попробовал и убедился, что могу сочинять. Но я не знаю, что нужно, чтобы писать настоящие стихи.

Отец ответил:

— Мало уметь настроить скрипку, нужно уметь на ней играть. Мало иметь поле, нужно уметь его обработать и засеять.

— Что же мне делать, чтобы писать стихи?

— Как это что? Работать.

## ● РАБОТА

Кто думает, работа наша — мед,  
Пусть в Кубачи хоть на денек придет.

*Надпись на кубачинском изделии*

Я — негр своих стихов. Весь божий день  
Я спину гну, стирая пот устало.  
А им, моим хозяевам, все мало:  
И в час ночной меня гонять не лень.

Я рикша — и оглобли с двух сторон  
Мне кожу трут, и бесконечна тряска,  
И тяжелее с каждым днем коляска,  
В которую навек я запряжен.

*Перевел Н. Гребнев*

**Э**тот случай произошел давно, но я его и сейчас помню так же отчетливо и ясно, как будто он произошел вчера.



Я даже описал его в своей поэме, но не могу не вспомнить и здесь.

Никому не известным сыном дагестанского поэта Гамзата я покинул аул и уехал сначала в Махачкалу, а затем в Москву. Прошли годы. Я окончил Литературный институт, выпустил десять сборников стихотворений. За один из них получил Сталинскую премию. Сыграл свадьбу. Одним словом, стал поэтом — Расулом Гамзатовым. Тогда-то я надумал вновь посетить свой аул.

Целыми днями я бродил по тем местам, где бегал мальчиком, смотрел на скалы, на пещеры, говорил с людьми, слушал песни ручьев, молчаливо сидел на кладбище и вновь бродил по полям.

В Америке на заводе Форда я видел испытательную горку, на которой проверяют выпущенные автомобили. Для писателя такой проверочной горкой должно быть то место, где он родился.

Женщины возвращались домой с прополки пшеницы. Усталые и запыленные, с исколотыми и изрезанными острой травой руками, они присели отдохнуть около дороги. Я подошел к ним.

То ли они заметили меня и начали говорить обо мне, то ли у них шел давний разговор, но я вдруг услышал, как женщина, вытирая пот со лба пучком травы, сказала:

— Если бы меня спросили, чего я хочу больше всего, я сказала бы: беззаботное сердце и легкую долю Расула Гамзатова.

— А что, у Расула вместо сердца — кусок сыра, и оно никогда не болит? — вступилась за меня моя родственница.

— Может быть, и не кусок сыра, но все же ему не приходится полоть пшеницу. Колхозный колокол не зовет его на работу и не разрешает идти на обед. Он не знает, что такое трудовень, как его заработать и сколько на него дают. Пишет — себе трень-брень, трали-вали, дингир-дангарчу... О чем же ему беспокоиться? О чем может болеть его сердце? Я не пожелала бы лучшей доли!

Добрая женщина! Как расскажу я ей о своей работе, о бесперывности и тяжести своего труда?

С грустными думами шел я с поля в аул. На аульском годекане грели холодные камни седовласые старейшины аула. Они мирно беседовали между собой о земле,

о будущем урожае, о горах, о пастбищах, о болезнях и травах, о прошлых днях нашего аула. Я подошел к ним, поздоровался и тоже присел на камень.

У одного старика оказалась свежая газета, а в ней были мои стихи. Разговор перешел на них. Всаднику нравится, когда люди хвалят его коня. Я тоже надеялся, что земляки сейчас похвалят мое стихотворение. В Москве и в Махачкале я уж стал привыкать к похвалам. Старик, держащий газету, заметил:

— Отец твой Гамзат писал стихи. И ты, сын Гамзата, тоже пишешь стихи. Когда же ты будешь работать? Или ты думаешь и век прожить, не поднимая ничего тяжелее куска хлеба?

— Стихи — это моя работа, — ответил я как можно смиреннее, несколько ошарашенный таким поворотом разговора.

— Если стихи — работа, то что же тогда безделье? Если песни — труд, то что же тогда наслаждение и отдых?

— Для тех, кто песни поет, они действительно наслаждение, но для тех, кто их сочиняет, они работа. Работа без сна и отдыха, без выходных дней и отпусков. Бумага для меня — то же, что для тебя поле. Мои буквы — это мои зерна. Мои стихи — колосья.

— А, все это красивые слова. Поле не приходит ко мне на крышу сакли. Я должен ходить в поле работать. Песни же сами находят тебя, где бы ты ни был, даже в твоей постели. Каждая твоя песня — это твой гость, который стучится в дом. Значит, каждая песня — это праздник. А наше поле — ежедневная, будничная жизнь.

Так, или примерно так, выражали свои мысли старейшины с нашего годекана.

— Но песня — это и есть моя жизнь.

— Значит, жизнь у тебя — вечный праздник. Песни ведь дело таланта. У кого он есть, тому легко написать хорошую песню. Кто не наделен им, тому, конечно, приходится трудиться. Только труд в этом случае мало помогает.

— Нет, вы не правы. Тот, у кого мало таланта, смотрит на искусство как на очень легкое дело. Он порхает с песни на песню. Он, как мы говорим, халтурит. Большой же талант приходит вместе с ответственностью за него, и человек с настоящим талантом смотрит на свои

стихи как на очень важное, трудное дело. Не все то, что поется, песня, и не все то, что рассказывается, рассказ.

— Тогда расскажи, как ты работаешь и в чем трудность твоего ремесла?

Вокруг меня сидели старые пахари. Я начал им рассказывать, но вскоре понял, что мне трудно объяснить им самые простые, самые понятные для меня вещи. Я сбился, засмущался и замолчал. Старцы с годекана в тот день взяли надо мной верх. Я не мог объяснить им, почему трудно писать стихи и вообще что это за работа — писать стихи.

С того дня прошло уже много лет. Но я и сейчас, если бы меня спросили, не смог, вероятно, внятно объяснить, в чем состоит моя работа, почему она нелегка и чем она отличается от других работ.

Где мое рабочее место? За столом, конечно, за моим рабочим столом. Но оно и на горной тропе во время прогулки, когда я обдумываю свои стихотворения и слова, звуки приходят ко мне, а я их бракую и отбрасываю в сторону. Оно и в поезде, когда я еду в другую страну, ибо именно в это время может прийти ко мне замысел нового стихотворения. Оно и в самолете, и в трамвае, и на Красной площади, и на берегу ручья, и в лесу, и в приемной министра. Всюду на земле мое рабочее место, мое поле, где я паху и жну.

Когда я работаю? В утренние или вечерние часы? Сколько времени длится мой рабочий день? Восемь или шесть, или, может быть, двенадцать, или даже больше часов? Но если больше, то почему я не бастую и не веду борьбу за восьмичасовой рабочий день?

Дело в том, что я работаю всегда, пока себя помню. Во время еды и в театре; во время собраний и во время охоты; во время чаепития и на похоронах; во время езды в автомобиле и на свадьбе. Даже во сне ко мне приходят строки, образы, замыслы, а то и почти готовые стихи. Значит, даже во сне продолжается мой рабочий день. Давно бы надо было устроить забастовку!

Как я работаю? Вот на это ответить труднее всего. Иногда мне кажется, что моя работа похожа на все другие. Иногда я вижу, что она своеобразна и ее нельзя сравнивать ни с одной работой, которой заняты люди на земле.

Иногда мне кажется, что все вокруг работают, а я ту-

неядствую. Иногда мне кажется, что я один работаю, а все остальные бездельничают по сравнению со мной.

Птицам — что! Они всю жизнь поют одну и ту же песню, которой их научили родители. А речке — что! Тысячелетия она журчит одну и ту же мелодию. Я же должен стремиться за короткий срок моей жизни создать песни, которых хватило бы на много-много лет.

Нелегко, наверно, было тому человеку, который впервые вспахал небольшой участок земли. Нелегко было и тому человеку, который сочинил самую первую песню.

Но если тысяча людей уже вспахали землю, то тысяча первому пахать легче. Если же тысяча людей написали стихи, то тысяча первому писать гораздо труднее.

Да, землепашец, в чем-то и моя работа похожа на твою. Поэтому не смотри на меня, пожалуйста, как на бездельника, чья жизнь есть вечное наслаждение и вечный отдых. Длинными бессонными ночами я думаю о своем поле так же, как ты думаешь о своем. Ты выбираешь для сева лучшие семена, я выбираю лучшие слова из всех существующих слов. Из тысячи мне нужно выбрать одно. И у меня есть своя пашня, свои всходы, которые радуют меня, свои плоды труда. У меня есть своя культивация и своя прополка, ибо и на моем поле есть свои сорняки. Трудно отделить, хотя бы и при помощи машины, хорошее зерно от овсюга. Но еще труднее отделить сорные слова от полезных, здоровых, хороших слов.

Ты бережешь свое поле от града, от заморозков, от суховея. Мне нужно создавать такие песни, которые не боялись бы самого страшного их врага — времени, ибо мне хочется создать песни, которые жили бы сотни лет.

У меня тоже есть свои вредители — тля, саранча и грызуны. Они могут разворовать или совсем уничтожить мой урожай, или сделать его несъедобным, так что люди будут отворачиваться от моих плодов. Но мои грызуны покрупнее и пострашнее твоих мышей и сусликов, и бороться с ними гораздо труднее, а иной раз и вовсе бесполезно бороться.

Горит очаг, над саклей дым кривой,  
Но в стенке дома трещина — с иголку,  
И ветер с буйволиной головой  
Морозит дом, влезая в эту щелку.

Бывает сходное в стихах моих:  
 За их тепло плачу ценой жестокой,  
 Но ветер вымораживает стих,  
 Меж слов неплотных пролезая в строки.

*Перевел Н. Гребнев*

Мои плоды я должен потом раздать людям. И в Дагестане и в других землях должны вкусить их, узнать их сладость и горечь, их особенный вкус. А он не должен походить на вкус всех других плодов.

Помню, как в детстве отец учил меня вязать снопы. Когда я, опираясь коленом, изо всех сил тянул за пояс, отец внушал:

— Смотри, Расул, не задуши сноп!

— Теперь, когда не получается стихотворение, когда строка вылезает из него, как бы я ее ни заталкивал, я прилагаю усилия, чтобы стихотворение все-таки закончить. Но часто в такие минуты я вспоминаю наставление отца: «Смотри, Расул, не задуши сноп!»

Урожайи на полях в разные годы бывают разные. Один год уродится столько хлеба, что не хватает амбаров и элеваторов, а потом, бывает, три года ничего не растет. Так и у меня — работается не всегда одинаково. Кажется, удобряю, пашу, сею хорошие семена, а собственный хлеб не растет. Приходится обращаться к переводам, покупать зерно в какой-нибудь там Австралии или в Канаде. Никакая химия, ни большая, ни малая, не помогает мне, когда на время ослабевает накал поэзии, и стихи не хотят переходить из души на бумагу.

Что же поделаешь? Если бы каждый поход и каждое начинание кончались удачей, все были бы довольны и радостны. Если бы земля каждый год давала обильный урожай, все на земле были бы сыты. Если бы все написанное на бумаге становилось песней, люди давно уже не разговаривали бы на простом языке, но только пели. Но песню создать очень трудно.

Мне приходилось бывать на винных заводах Дагестана, Грузии, Армении, Болгарии, на пивоваренных заводах в Пльзене. Мне кажется, у поэтов с виноделами много общего. Есть свои тонкости, свои секреты. Стихотворение, как и вино, должно перебродить в душе, должно выдержаться. И содержится в хорошем стихотворении какой-то таинственный, радующий душу хмель. Этим вино и поэзия очень близки друг другу.

Иногда в какой-нибудь горный аул, где есть магазин, приезжает автомобиль, нагруженный бочками вина. Одну бочку в этот аул, одну бочку в другой — так развозят шоферы вино из Буйнакскa по горным аулам.

Завидев такую машину, парни тотчас, на вид неторопливо и не спеша, но на самом деле с нетерпением, идут с разных концов аула к магазину. Они окружают бочку, как овцы окружают кусок соли-лизуна, положенный чабанами.

Вино разливают по кувшинам, все начинают пробовать, и наступает общее разочарование. Слышатся возгласы:

— Разве это вино! Это же вода!

— Простая речная вода!

— Пусть продавцы сами пьют это вино.

— А я при чем,— обороняется продавец.— Вы же видели, что бочку привезли на машине. Сгружали ее при вас. Вы сами помогали ее сгружать, при чем же здесь я? Какое вино мне привезли, таким я и торгую. Не хотите — не покупайте.

Оказывается, заведующий городским складом, прежде чем отправить вино в район, отливает от бочки сколько захочет и доликает чистой воды: «Там, в районе, и такому вину будут рады!» В районном складе, прежде чем отправить вино в аулы, эту операцию повторяют в точности работники районного масштаба: «Для аулов сойдет и такое вино!» По дороге шоферы и грузчики, чтобы согреться от непогоды и чтобы скорее прошли длинные утомительные часы езды, отливают еще несколько литров, возмещая их хрустальной струей из подвернувшегося родничка или ручья, и получается в результате не то вино, испорченное водой, не то вода, испорченная вином.

Так, читая иные стихи, нельзя понять, чего в них больше — поэзии или пустословия. Такие стихи рождаются у ленивых поэтов, у которых не хватает терпения на упорный труд. Но бойкий ручей редко добежит до моря... Ленивый ходок редко достигает Мекки. Когда два всадника вынуждены ехать на одном коне, они поддерживают друг друга. Талант и работа тоже едут на одном коне.

**АБУТАЛИБ ГОВОРЯЛ:** талант и труд должны соединиться в стихотворении, как кинжал соединяется с ножнами.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Я тогда больше бывал на улице, чем дома. Я учился в школе, однако уже начинал писать стихи. У меня не хватало терпения и на стихи, и на чтение, и на домашние задания. Мне не сиделось за столом. Я вскоре начинал ерзать, потом вставал из-за стола, а потом при возможности выбегал на улицу. Я и теперь не очень-то усидчив и терпелив.

Однажды, усадив меня не то за уроки, не то за стихи, отец на минуту вышел из дома. Не успела закрыться за ним дверь, как я уже вскочил со стула и оказался на крыше сакли. Увидев меня, отец крикнул моей матери:

— Принеси мне веревку, ту, что висит на гвозде.

— Зачем тебе?

— Я хочу привязать Расула к стулу, иначе из него не выйдет никакого толку,— отец спокойно, основательно прикрутил меня к стулу, тихонько стукнул по лбу и показал на бумагу: — Все, что там, перенеси сюда!

Если бы кто-нибудь нас, писателей, и теперь хотя бы время от времени привязывал около стола!

Голова-то, может быть, и работает, но если работает голова, а руки в это время ничего не делают, это похоже на мельницу, которая крутится вхолостую, вместо того, чтобы молоть муку.

ПРИТЧА О ШАНГРЕЕ, ЕГО СЫНЕ И ПЯТИ РУБЛЯХ. Некоторое время тому назад жил в Хунзахе состоятельный и уважаемый всеми человек по имени Шангрей. У него был единственный и потому избалованный, капризный сын. Отцу хотелось, чтобы его сын работал, как и все в ауле, чтобы он вырос настоящим человеком. А сыну не хотелось работать. Родные и друзья отца баловали его. Тот подарит коня, тот черкеску, тот даст денег, а тот кинжал.

Однажды Шангрей тяжело заболел. Лекарства не помогали ему. Вся родня, все друзья, все кунаки окружили больного.

— Что же нам делать, чтобы вылечить тебя?

— Я-то знаю, что меня могло бы поставить на ноги, но вы бессильны исполнить мое желание.

— В чем же оно, мы сделаем все, что можно.

— Если сын принесет мне пять рублей, заработанные своим трудом, и скажет: «Отец, возьми их, они твои»,— тогда я поправлюсь.

Через два дня сын пришел и протянул отцу пять рублей:

— Отец, возьми эти деньги, я сплавлял лес по аварскому ущелью Койсу и заработал.

Отец посмотрел на деньги, на сына и бросил бумажку в огонь. Сын не шелохнулся. Он стал бледен, как будто ему дали пощечину.

На самом-то деле пять рублей дал ему дядя, слышавший, что пожелал больной Шангрей, и решивший выручить юношу.

Через несколько дней сын снова пришел и опять протянул отцу деньги:

— Я работал в Гунибе на строительстве новой дороги и заработал.

Отец поглядел на деньги, на сына, скомкал бумажку и выбросил ее в окно.

Сын не шелохнулся. Эти деньги ему, оказывается, дал кунак отца из Гочатли.

В третий раз пришел сын к отцу, в третий раз протянул пятерку. Отец, не глядя на сына, взял бумажку и разорвал ее на две части. Сын, как ястреб, набросился на обрывки денег, схватил их и начал склеивать. Он закричал на отца:

— Я не для того чистил конюшни в Петровске и заработал эти деньги, чтобы ты их рвал, как простую бумажку. У меня на руках мозоли.

— Вот теперь я вижу, что эти деньги заработал ты сам.

Шангрей стал весел, дело пошло на поправку, и вскоре он окончательно выздоровел.

Итак, настоящую цену имеет только то, что заработано своим трудом.

Пожалуй, не так ли и стихи. Если ты сам выстрадал стихотворение, то в нем дороги каждое слово и каждая запятая. Если же ты подобрал мысль на дороге, то из нее не получится драгоценного стихотворения.

Мне случалось видеть иногда,  
Златокузницы — мои соседи —  
С помощью казаба без труда  
Отличали золото от меди.

Мой читатель — ценностей знаток!  
Мне без твоего казаба тяжело



Распознать в хитросплетенье строк,  
Где под видом золота — медяшка.

*Перевел Н. Гребнев*

Если хочешь, чтобы рыба была вкусна, иди к озеру и сам поймай ее. Орел парит против ветра, рыба плывет против течения. Поэт пишет, идя навстречу сильным чувствам, если даже это не радость, а страдание. Нечто похожее рассказал мне однажды и Абуталиб.

**ПРИТЧА О БАЛХАРСКИХ ГОНЧАРАХ, ОБ ИХ ГОРШКАХ И О НЕГОДНЫХ ПОКУПАТЕЛЯХ.** Балхарские гончары, уложив свои изделия в большие корзины, а корзины навьючив на ослов и мулов, отправились в город сбывать товар. По дороге им попались озорные парни из ближнего аула.

— Далеко ли отправились, горшечники?

— Продавать горшки.

— Какова цена?

— Маленькие по двугривенному, большие по пятаку.

— Почему так?

— Потому что маленькие делать труднее, чем большие.

Озорники купили у балхарцев все их горшки.

— Останетесь довольны нашим товаром, — говорили гончары, прощаясь и поворачивая мулов, чтобы ехать обратно. — Товар наш сделан на совесть. И до ваших внуков доживут наши горшки.

Поднявшись на гору, горшечники расположились отдохнуть. Они оглядывали с высоты горную дорогу и вдруг заинтересовались, чем это занимаются там вдали парни, скупившие их звонкий и красивый товар. А парни расставили горшки по краю пропасти и, отойдя на двадцать шагов, кидают в горшки камнями. Очевидно, у них шло соревнование, кто больше разобьет. Горшки звонко лопались, а черепки сыпались в пропасть. Все это доставляло парням удовольствие.

Горшечники, как по команде, вскочили на ноги и, обнажив кинжалы, бросились к хулиганам.

— Что вы делаете, негодные люди! — закричали они. — Мы продали вам лучшие наши горшки, а вы... Где ваша совесть?

— Почему вы сердитесь, — недоуменно спросили парни, — вы продали нам свой товар, мы вам хорошо запла-

тили, горшки теперь наши, какое вам теперь дело, на что мы их употребили? Хотим — будем бить, хотим — повезем домой, хотим — просто оставим на дороге.

— Но эти горшки нам не чужие. Много труда мы вложили в глину, прежде чем она стала красивым горшком, чтобы им любовались люди. Мы думали, что наши изделия принесут людям радость, что они украсят чью-нибудь жизнь. Продавая их вам, мы надеялись, что вы из одного горшка будете угощать гостя бузой, а в другом будете держать родниковую воду, а в некоторых будут расти прекрасные цветы. Вы же, бесчестные люди, все превратили в черепки, весь наш труд, все наше старание, все наши мечты вы побили камнями на краю пропасти. Вы кидали камни в наши изделия точно так же, как неразумные дети кидают камни в певчих прекрасных птиц.

Горшечники решительно отобрали у парней то, что те не успели разбить, и возвратились домой.

Обиду горшечников поймет каждый, кто сам трудился, вкладывая в свой труд душу, и кто любовался результатами своего труда. Так закончил Абуталиб свой рассказ.

Этот рассказ Абуталиба почему-то мне вспомнился и тогда, когда я в далекой Японии смотрел на девушек — искательниц жемчуга. Молодые, сильные красавицы ныряли глубоко на дно моря и там, почти уже задыхаясь, успевали положить в сумку, висящую на бедре, несколько раковин. В одной из раковин может оказаться жемчужина. Но нужно перебрать тысячи раковин, пока наткнешься на эту одну, счастливую, жемчугоносную. Сколько же раз нужно нырнуть, сколько же тысяч раковин нужно перебрать, чтобы получилось настоящее жемчужное ожерелье?

Но разве легче из всех слов, которые употребляют люди в простом разговоре, создать ожерелье-песню?! Все обыкновенные слова, все события, все чувства, весь опыт жизни — это океан, в котором щедро рассыпаны ракушки. Но велик и тяжел труд искателя жемчуга, которому беспрерывно приходится нырять в затаенные глубины океана! Много нужно сноровки, терпения, здоровья и выносливости, стремления. Нужна и удача. Терпение искателей жемчуга, терпение кубачинца, рисующего чернью по серебру, — все это сродни таланту, все это есть и талант и труд одновременно.

Чтоб дальше жить могло стихотворенье,  
 Учусь, друзья, то весел, то суров,  
 Иметь я кубачинское терпенье,  
 Взыскательность аульских мастеров.

*Перевел Я. Козловский*

## ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ЗНАЕТ КАЖДЫЙ ГОРЕЦ.

Не выдавай дочь замуж, пока она не достигла совершеннолетия!

Не снимай чарыков с ног, пока не подойдешь к самой воде!

Не ставь котел на огонь, чтобы варить дичь, пока дичь еще в лесу и ты ее не убил!

Не тому принадлежит черно-бурая лиса, кто ее увидел, а тому, кто ее добыл!

## ВОСПОМИНАНИЕ.

Не хотелось бы рассказывать людям одну историю, потому что похвалиться тут нечем. Но так уж и быть, если начал рассказывать все по порядку — слова не выкинешь. Не напрасно говорят в горах: «Если уж зашел в воду до пупка, то полезай весь», «если уж развязал мешок, то вытряхивай все, что в нем содержится».

Книгу, которую я теперь пишу, я давно бы закончил, если бы не это глупое происшествие, о котором я теперь решил рассказать.

Если книга уже начата, а мне нужно куда-нибудь ехать, я забираю рукопись с собой. Мои рукописи таким образом совершали со мной длинные путешествия по разным странам. Я беру их в дорогу, конечно, не просто так: всегда ведь выберется в гостинице свободное утро, когда можно посидеть над рукописью, подумать, написать страницу. Вот и эта книга тоже побывала со мной вместе за морями, за океанами, за материками.

Однажды, возвратившись из Брюсселя, я остановился в гостинице «Москва», на восьмом этаже. Раз уж зашла об этом речь, скажу, что гостиница «Москва» для меня не просто гостиница. Это как бы мой второй дом. Я провел в ней едва ли не половину своей жизни, если брать те годы, когда я стал уже писателем и часто по разным делам бывал в столице.

Все администраторы, все дежурные по этажам, все горничные хорошо знают меня, и я знаю их. Что я останавливаюсь всегда в «Москве», известно и моим москов-

ским друзьям, среди которых, правда, есть и такие, для которых слова «Расул в Москве» равнозначны счастливому случаю зайти в гости от нечего делать.

Не успеваю я умыться с дороги, как начинаются звонки, стук в дверь, и вскоре в комнате негде сесть или даже повернуться. Ну что ж, хотя номер гостиницы и не сакля, но, по древнему обычаю, мы, горцы, только на третий день спрашиваем имя гостя. А так как все-таки никто не засиживается в гостинице на три дня, то многие побывавшие у меня в гостях так и остаются безымянными.

Итак, однажды, возвратясь из Брюсселя, я остановился, как всегда, в гостинице «Москва» и, как всегда, в номере у меня былолюдно. Одни пожаловали поздравить меня с возвращением из-за границы, другие — пожелать мне счастливого пути в Дагестан, третьи — без всякого дела. Одних я позвал сам, другие пришли без приглашения.

Шумно хвалили одних и пили по этому поводу, шумно ругали других и пили по этому поводу. Говорили и пили. Смеялись и пили. Пели песни и пили. В номере к тому же было так дымно, словно под столом или под кроватью чадил костер из сырых дров.

АБУТАЛИБ ГОВОРИЛ, что его состарили три обстоятельства.

Первое из них: когда все приглашенные собрались и ждут одного, который опаздывает.

Второе из них: когда жена уже поставила на стол обед, а сын, пошедший за водкой, не возвращается.

И, наконец, третье обстоятельство: когда все гости ушли, а один, который целый вечер молчал, вдруг останавливается у порога и начинает говорить, выговариваясь за все предыдущие часы своего молчания, и чувствует, что речам его не будет конца.

Какая бы усталость ни была, какой бы сон ни тяжел веки, приходится выслушивать все вздорные речи. Стараешься во всем соглашаться с ним, лишь бы он поскорее закончил и ушел. Но и согласие, оказывается, вдохновляет его на новые и новые излияния.

Один такой гость оказался у меня в номере в тот вечер, который так ужасно завершился и о котором я теперь хочу рассказать. Этот гость, оставшись, когда все

ушли, пьяно вис у меня на плече, тыкал окурки во всевозможные места комнаты, гасил их о штору, о спинку стула, о мой чемодан, о бумаги, разложенные у меня на столе.

Сначала он хвалил меня, и я соглашался с ним. Потом он стал хвалить себя, и я соглашался с ним. Потом он стал хвалить свою жену, и я соглашался с ним. В конце концов он начал ругать меня и молоть обо мне всякую чепуху, но я и тут соглашался с ним. «Сейчас он начнет ругать себя, потом свою жену», — с ужасом думал я. Но, дойдя до того места, где, по логике, ему надо было начинать ругать себя, мой гость неожиданно заторопился и пошел спать к себе в номер. Правда, чтобы его уход не слишком огорчил меня, он пообещал прийти завтра.

Иногда говорят: со всех сторон гость красив, но все-таки самое красивое у гостя — спина. В этот раз я понял смысл поговорки. Спина уходящего гостя показалась мне прекрасной. «Ну, — с облегчением вздохнул я, — все беды этого вечера кончились, и теперь можно спокойно выспаться». Я торопливо защелкнул дверь, воровато залез под одеяло и тотчас уснул. Спалось мне спокойно, как спится только под теплой буркой, когда на дворе шумит дождь. Мне снилось, что я и правда лежу под буркой около костра, а вокруг сидят чабаны. Они подкладывают в костер дров. Костер дымит, а дым ест мне глаза и щекочет в носу. Потом я оказался как будто в пекарне, где очень жарко и пахнет почему-то горелым. Потом сон перешел на то, что мы с друзьями выехали в воскресенье за город и жарим душистые шашлыки.

Проснулся я от нестерпимой рези в глазах. Вскочил, ничего не вижу. В комнате полно дыму, а у дверей как будто даже горит. Бросившись к огню, я увидел, что догорает мой чемодан.

Весь он у меня был в наклейках первоклассных отелей мира. Сколько стран повидали мы с ним! Сколько таможен миновали благополучно! Правда, никогда в нем не было ничего такого, но ведь и бутылка водки, которую везешь за границу друзьям в подарок, либо лишняя пачка сигарет может иногда вызвать неудовольствие таможенного чиновника. Ну, или там кофточка для жены.

И вот — ни на одной таможне не погорел мой чемодан, а в мирном номере московской гостиницы сгорел.

Я торопливо схватил горящие остатки чемодана, бро-

сил их в ванну и пустил воду. Новые клубы дыма поднялись в воздух. Я уже успел обжечь себе руки и, кажется, лицо, но нужно было тушить теперь стул, на котором раньше стоял чемодан, а также ковер, а также и штору. Я бросился звонить дежурной по этажу.

— Я — горю! — прокричал я в трубку. — Приходите меня спасать!

Но дежурная, видимо, подумала, что Расул не может гореть иначе, как огнем любви, и что в данном случае я сгораю от любви к ней. Спокойно, с материнскими интонациями в голосе она ответила:

— Полноте, Расул, спите. К утру все пройдет!

О женщины! Сколько раз я говорил им в шутку, что я горю, и они верили и приходили ко мне на помощь. Но когда я единственный раз в жизни попал в настоящий огонь, никто не поверил мне.

Словно бравый пожарник, я один на один воевал с огнем. В конце концов мне удалось, конечно, потушить и ковер, и стул, и штору, и начавший обугливаться паркет. Да, я одержал победу над огнем, но прежде чем я это сделал, огонь нанес мне немалый ущерб.

Должно быть, пьяный гость засунул в чемодан окурок, с которого все и началось. Сгорели мои рубашки, костюм, сгорели подарки, привезенные мной из Брюсселя. Администрация гостиницы составила акт на ковер, на стул, на штору, и получилась чудовищная сумма. Самому мне пришлось лечь в больницу. Я позвонил домой жене и сказал, что задерживаюсь по важным делам. Я еще не придумал по каким и обещал позвонить еще раз. Вот что наделал один проклятый окурочек.

Но скажу вам, что все это оказалось мелочью по сравнению с главным моим ущербом. На дне чемодана лежала рукопись, над которой я работал уже два года...

Говорят, что самая большая рыба та, которая сорвалась; самый богатый тур тот, по которому промахнулся; самая красивая женщина та, которая ушла от тебя.

Многие страницы моей рукописи сгорели! Теперь мне кажется, что это были лучшие страницы.

Кроме того, сорвавшаяся рыба все равно была не моя. Тур, по которому промахнулся, был не мой. И женщина, которая ушла, тоже не моя. Но сгоревшие страницы были мои. Я их сам придумал, сам пережил и выстрадал. Я провел над ними немало бессонных ночей и

дней в терпеливом труде. Вот отчего я страдал, утратив свою рукопись. Вот отчего я думаю, что это была моя самая лучшая книга.

Я сразу осиротел, как поле, с которого увезли снопы, или как последний сноп, который забыли увезти с поля.

Каждая буква сгоревших страниц стала представляться мне жемчужиной. Строки сияли в моем воображении, как драгоценное ожерелье.

Я был так потрясен, что два года не мог сесть за восстановление утраченного. А когда успокоился и сел, то понял, что я могу, конечно, написать заново и примерно о том же, но восстановить те прежние страницы — невозможно.

Точно так же, если у мужа и жены умрет любимый ребенок, они со временем народят другого и будут любить его не меньше, но все же это будет другой человек, а не тот, которого они потеряли.

Говорят, стихи боятся воды. Стихи — это огонь, а творчество поэта — горение. Да, конечно, стихи не должны быть водянистыми. Но пусть их хранит аллах и от такого огня, с которым встретилась моя рукопись в гостиничном номере.

**КАК У АБУТАЛИБА ОБОКРАЛИ КВАРТИРУ.** Не знаю уж, как получилось, и кто изловчился, и как вышло, что никого не было дома, но однажды у Абуталиба обокрали квартиру. Бросились проверять: нет золотых часов дочери, нет золотого кольца, нет серег и других украшений. Нет шубы, нет платьев, нет туфель, нет денег... Жена Абуталиба едва не упала в обморок, дочь бросилась на тахту и зарыдала. Абуталиб же прошел в другую комнату, уселся на полу и стал играть на зурне.

Жена набросилась на Абуталиба:

— Как ты смеешь: такое несчастье, нужно бежать в милицию и к прокурору...

— Что за беда! Мои стихи на месте. Смотри, все мои бумаги лежат, как лежали. Воры их не тронули. С чего же мне огорчаться!

— Кому нужны твои стихи, написанные к тому же на лакском языке?

— О, ты ничего не знаешь. Есть люди, даже называющиеся поэтами, которые только и делают, что воруют чужие стихи. Но мои, слава аллаху, уцелели. Целый год

я трудился над ними, и если бы они пропали, для меня было бы большое горе. К тому же уцелела зурна. Так отчего ж на радостях не сыграть на ней?!

И Абуталиб, не обращая больше внимания на вопли жены и дочери, продолжал играть на зурне.

**ЭФФЕНДИ КАПИЕВ МНЕ РАССКАЗАЛ.**  
Однажды погожим летним днем Сулейман Стальский лежал на крыше своей сакли и смотрел в небо. Вокруг щебетали птицы, журчали ручьи. Всякий подумал бы, что Сулейман отдыхает. Именно так подумала и жена Сулеймана. Она поднялась на крышу сакли и позвала Сулеймана домой:

— Хинкалы готовы и уже стоят на столе. Пора обедать!

Сулейман не ответил и даже не повернул головы.

Через некоторое время Айна второй раз позвала мужа:

— Хинкалы остывают, скоро их нельзя будет есть!

Сулейман не пошевелился.

Тогда жена принесла обед на крышу, чтобы Сулейман, уж раз ему так хочется, пообедал там. Она подала ему обед, говоря:

— С утра ты ничего не ел. Попробуй, какие вкусные хинкалы я тебе приготовила.

Сулейман рассердился. Он вскочил с места и закричал на свою старательную жену:

— Вечно ты мне мешаешь работать!

— Но ты же лежал и ничего не делал. Я думала...

— Нет, я работаю. И больше мне не мешай.

Оказывается, и правда, в этот день Сулейман сочинил свое новое стихотворение.

Итак, поэт работает, если даже лежит и смотрит в небо.

Писал поэт стихи жене:

«Ты свет мой, и звезда, и зорька,  
Когда ты рядом — сладко мне,  
Когда тебя не вижу — горько!»

Но вот жена — звезда и свет —  
Явилась, встала у порога.

«Опять ты здесь, — вскричал поэт, —  
Дай мне работать, ради бога!»

*Перевел Н. Гребнев*



**ОТЕЦ МНЕ РАССКАЗАЛ.** Великий певец любви Махмуд был в гостях у одного почтенного человека. Были и еще гости. До полуночи поэт услаждал всех собравшихся своими песнями. Потом разошлись спать. Махмуду отвели лучшую кунацкую комнату. Хозяин поставил таз и кувшин для омовения, пожелал спокойного сна и ушел.

Утром, боясь, как бы Махмуд не проспал часы утренней молитвы, хозяин робко заглянул в комнату Махмуда. Он увидел, что поэт и не думал ложиться спать. Сидя на корточках на ковре, он писал стихи, бормоча их вслух:

Райский сад не стану славить,  
От него меня избавь.  
Можешь сад себе оставить,  
Мне любимую оставь.

*Перевел С. Липкин*

— Махмуд, настал час утренней молитвы, брось стихи и молись!

— Это и есть моя молитва,— отвечал Махмуд.

Итак, поэт работает даже в часы молитвы.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Теперь я сам расскажу об одном аварском поэте. Я не буду называть его имени. Я не хочу, чтобы вы потом указывали на него пальцем и смеялись над ним. Ибо есть над чем посмеяться.

Поэт женился. Сыграли свадьбу. Гости разошлись, оставив новобрачных одних в комнате, специально приготовленной для брачной ночи. Невеста возлегла на брачное ложе в ожидании жениха. Однако жених, вместо того, чтобы прийти к своей невесте, сел за стол и начал писать стихи. Всю ночь он писал стихи и к утру закончил длинное стихотворение о любви, о невесте, о брачной ночи.

Должны ли мы сделать вывод: «Итак, поэт работает даже в ночь любви?» Если бы я работал так же, как этот аварский поэт, у меня было бы книг в пятьдесят раз больше, чем сейчас. Но я думаю, что это были бы фальшивые книги.

Кто садится за стол, когда невеста открывает ему свои объятия, кто не откладывает в сторону перо и бумагу в присутствии красавицы, тот, по-моему, просто

ханжа. Пусть он напишет в десять и в двадцать раз больше, но не будет искренности в его словах.

Да, необходимо работать! Некий мудрец лег под деревом в ожидании, когда яблоко упадет ему в рот. Яблоко не упало.

Но больше работы и даже, может быть, больше таланта поэту необходима искренность — и перед всеми людьми, и перед самим собой.

ГОВОРЯТ: храбрец или в седле, или в земле.

ГОВОРЯТ:

— Что самое отвратительное и уродливое на свете?

— Мужчина, дрожащий от страха.

— Что еще уродливее и отвратительнее?

— Мужчина, дрожащий от страха.

## ● ПРАВДА. МУЖЕСТВО

«Мудрец великий должен быть имамом»,—

На сходе предлагал седой наиб.

«Храбрец великий должен быть имамом»,—

Наибу возражал другой наиб.

Наверно, проще править целым светом,

Чем быть певцом, в чьей власти только стих,

Поскольку надо обладать поэтам,

Помимо этих, сотней свойств других.

*Перевел Н. Гребнев*

**А** ВАРЦЫ РАССКАЗЫВАЮТ. Из века в век правда и кривда идут рядом. Из века в век спорят они между собой, кто из них нужнее, полезней и сильнее. Ложь говорит — я, а правда говорит — я. Нет конца спору.

Однажды они решили идти по миру и спрашивать у людей. Ложь бежала впереди по узким кривым тропинкам, в каждую щель заглянет, в каждой дыре понюхает, в каждый закоулок своротит. Правда шагала с гордо поднятой головой только по прямым, широким дорогам. Ложь беспрерывно хихикала, правда же была задумчива и печальна.

Много обошли они разных дорог, городов, аулов, побывали они у королей, у поэтов, у ханов, у судей, у торговцев, у гадалок, среди простого народа. Где появлялась ложь, там люди чувствовали себя свободней и легче.

Они смотрели в глаза друг другу, смеясь, хотя в эту самую минуту обманывали друг друга. И знали, что обманывают друг друга. Но все равно им было беззаботно и легко, и они не стеснялись обманывать друг друга и говорить неправду.

Когда же появлялась правда, то люди мрачнели, они отводили друг от друга взгляды, опускали глаза. Люди хватались за кинжалы (во имя правды), обиженный поднимался на обидчика, покупатель нападал на торговца, простолюдин — на хана, хан — на шаха, муж убивал жену и ее любовника. Лилась кровь.

Поэтому большинство людей говорили лжи:

— Не уходи от нас! Ты нам лучший друг. С тобой нам проще и легче жить! А ты, правда, приносишь нам одно беспокойство. Нужно думать, нужно болеть душой, нужно страдать, нужно бороться. Разве мало погибло из-за тебя молодых бойцов, поэтов, рыцарей?

— Ну что,— говорила ложь правде,— видишь, что я нужнее и полезнее. Сколько домов мы обошли, и везде приветствовали меня, а не тебя.

— Да, много мы обошли обжитых мест. Пойдем теперь на вершины! Пойдем спросим у чистых холодных родников, у цветов, растущих на высокогорных лугах, у снегов, сияющих вечной незапятнанной белизной.

На вершинах живут тысячелетия. Там живут вечные и праведные деяния героев, богатырей, поэтов, мудрецов, святых, их мысли, их песни, их заветы. На вершинах живет то, что бессмертно и не боится уже ничтожной земной суеты.

— Нет, я туда не пойду,— ответила ложь.

— Ты что же, боишься высоты? Но ведь только вороны ютятся в низинах, орлы же парят выше самых высоких гор. Неужели ты считаешь, что вороной быть достойней, чем орлом? Да, я знаю, ты просто трусишь. Ты вообще трусишка! Ты споришь за свадебным столом, где льется вино, но боишься выйти во двор, где звенят не стаканы, а кинжалы.

— Нет, я не боюсь твоих высот. Но мне там нечего делать, потому что там нет людей. Мое царство внизу, где люди. Я безраздельно господствую над ними. Все они — мои подданные. Только некоторые смельчаки отваживаются противостоять мне и становятся на твой путь, на путь правды. Но таких людей — единицы.



— Да, единицы. Но зато этих людей зовут героями.  
И поэты слагают о них свои лучшие песни.

**ПРИТЧА О ЕДИНСТВЕННОМ ПОЭТЕ.**  
Эту притчу мне рассказал Абуталиб. В некоем ханстве

жило очень много поэтов. Они бродили по аулам и пели свои песни. Кто из них играл на скрипке, кто на бубне, кто на чонгуре, кто на зурне. Хан любил слушать песни в свободное от своих дел или от своих жен время.

Однажды он услышал песню, в которой пелось о жестокости хана, о его несправедливости и жадности. Хан разгневался. Он приказал найти поэта, сочинившего крамольную песню, и доставить его в ханский дворец.

Сочинителя песни обнаружить не удалось. Тогда был дан приказ визирям и нукерам переловить всех поэтов. Как гончие псы бросились стражники хана по аулам, дорогам, горным тропинкам, глухим ущельям. Они поймали всех, кто сочинял и пел, и всех посадили в дворцовую темницу. Утром хан вышел к арестованным поэтам:

— Ну, пусть теперь каждый споет мне одну свою песню.

Все поэты по очереди стали петь песни, восхваляя хана, его светлый ум, его доброе сердце, его красивейших жен, его могущество, его величие, его славу. Они пели о том, что никогда еще на земле не бывало такого великого и справедливого хана.

Хан отпускал одного поэта за другим. Наконец в темнице осталось только три поэта, которые не спели ни одной песни. Этих троих снова заперли на замок, и все думали, что хан забыл о них.

Однако через три месяца хан пришел к узникам:

— Ну, пусть теперь каждый из вас споет мне какую-нибудь свою песню.

Один из троих тотчас запел песню, восхваляющую хана, его светлый ум, доброе сердце, его красивейших жен, его могущество, его величие, его славу. Он пел о том, что никогда еще на земле не бывало такого великого хана.

Певца отпустили на волю. Двоих же, не захотевших петь, подвели к костру, заранее приготовленному на площади.

— Сейчас вы будете преданы огню,— сказал хан.— В последний раз говорю, спойте мне какую-нибудь свою песню.

Один из двух не выдержал и запел песню, прославляющую хана, его светлый ум, его доброе сердце, его красивейших жен, его могущество, его величие, его славу. Он пел о том, что никогда еще на земле не было такого великого и справедливого хана.

Освободили и этого певца. Остался только один, последний упрямец, не захотевший петь.

— Привяжите его к столбу и разожгите огонь,— приказал хан.

Вдруг привязанный к столбу поэт запел ту самую песню о жестокости, несправедливости и жадности хана, с которой началась вся эта история.

— Развяжите его скорее, снимите с огня!— закричал хан.— Я не хочу лишиться единственного настоящего поэта в своей стране!

— Конечно, вряд ли где-нибудь есть такие умные, благородные ханы,— заключил Абуталиб свой рассказ, как, впрочем, не много и таких поэтов.

**МОЙ ОТЕЦ РАССКАЗАЛ.** Однажды приближенные спросили у великого Шамиля:

— Имам, скажите нам, почему вы запретили сочинять стихи и распевать их?

Шамиль ответил:

— Я хотел, чтобы остались поэтами только настоящие поэты. Ведь настоящие все равно будут сочинять стихи. А лжецы, лицемеры, именующие себя поэтами, конечно, испугаются моего запрета, смалодушничают и замолчат.

— Имам, скажите еще, зачем вы бросили в реку стихи Саида Араканского?

— Настоящие стихи нельзя бросить в реку, они живут в сердцах людей. Если же стихи равноценны той бумаге, на которой они написаны, то туда им и дорога. Вместо сочинения столь легковесных стихов, которые может унести течение реки, Саид Араканский должен заняться каким-нибудь полезным делом.

**РАССКАЗЫВАЮТ:** когда погиб великий поэт Махмуд, отец поэта, убитый горем, взял чемодан с рукописями Махмуда и бросил его в огонь.

— Горите, проклятые бумаги, это из-за вас преждевременно погиб мой сын.

Все бумаги сгорели, но стихи Махмуда остались жить. Не забыто ни одно слово из песен, сочиненных им. Эти песни живут в сердцах людей, над ними не властны ни огонь, ни вода, потому что они правдивы.

**МОЙ ОТЕЦ СМЕЯЛСЯ:**

над теми, кто, боясь дурного глаза, отправлялся в дорогу ночью, тайком;

над теми, кто набивал хурджун камнями, чтобы люди думали, будто в хурджуне лежит чурек;

над охотниками, которые с охоты приносят домой вместо куропатки ворону.

**АБУТАЛИБ МНЕ РАССКАЗАЛ:** жил на свете один бедняк, которому хотелось выглядеть богачом. Каждый день он приходил на годекан довольный, улыбающийся, а его усы блестели от жира, словно он только сейчас ел молодого, нежного барашка. Бедняк хвастался вслух:

— Ух, какого жирного ягненка я зарезал сегодня на обед! Какое у него нежное, сладкое мясо!

— Откуда он берет каждый день по ягненку? — удивлялись жители аула. — Надо проверить.

Ловкие парни забрались на крышу и через широкий дымоход заглянули в саклю. Они увидели, как бедняк вскипятил старую завалявшуюся кость, собрал сверху немного костного жира и этим жиром намазал себе усы. Потом он съел немного тмина — все, что у него было в доме съедобного.

Парни быстро спустились с крыши и зашли в саклю.

— Салам алейкум! Шли-шли и решили зайти в гости к богатому человеку.

— Немного опоздали, только сейчас пообедал жирным барашком. Собрался теперь выйти из дома.

— Ты лучше расскажи, где ты собираешь такой душистый, вкусный тмин?

Бедняк понял, что парни все знают, и повесил голову. С тех пор его усы ни разу не блестели от жира.

**ВОСПОМИНАНИЕ.** Однажды в детстве отец сильно наказал меня. Побой я давно забыл, но причину побоев до сих пор помню крепко.

Утром я вышел из дома как будто в школу, а на самом деле свернул в переулок, а потом в другой и до школы в этот день не дошел. С уличными мальчишками я до вечера играл в стукалку. Отец дал мне немного денег, чтобы купить книг, на эти-то деньги я и резался, позабыв все на свете. Деньги, конечно, вскоре кончились, я стал думать, где бы достать еще. Когда играешь в азартную игру и когда отдаешь последнюю копейку, кажется, найдись еще пятачок, и все отыграешь, все вернешь, да еще и выиграешь. Мне тоже казалось, что если я раздобуду немного мелочи, то я отыграюсь.

Я стал просить взаймы у мальчишек, с которыми играл. Но никто не захотел мне дать. Ведь есть примета: если во время игры дашь взаймы проигравшемуся игроку, проиграешь и сам.

Тогда я придумал выход. Я стал обходить все дома в ауле. Я говорил, что завтра приезжают пехлеваны и вот мне поручили собирать для них деньги.

Что зарабатывает бродячая голодная собака, бегая от ворот до ворот? Одно из двух — либо кость, либо палку. И мне тоже — одни отказывали, другие давали. Вероятно, давали мне из уважения к имени моего отца.

Обойдя аул, я подсчитал выручку и понял, что можно продолжать игру. Но и этих несчастных денег не хватило надолго. К тому же во время игры приходилось ползать по земле на коленях. За целый день мои штаны прорвались насквозь, а колени исцарапались.

Между тем дома меня хватились. Старшие братья пошли искать меня по всему аулу. Жители аула, которым я наплел насчет приезда пехлеванов, приходили один за другим к нам в дом узнать поподробней насчет их приезда. Одним словом, в то время, когда меня за ухо вели домой, о моих похождениях было известно все.

И вот я предстал перед судом отца. Больше всего на свете я боялся этого суда. Отец оглядел меня с головы до ног. Мои голые, припухшие, красные колени торчали из прорех, как торчат пуховые подушки, когда ими затыкают оконца сакли.

— Что это? — спросил отец как будто спокойно.

— Это колени, — отвечал я, стараясь загородить прорехи руками.

— Колени-то колени, но почему они на виду? Расскажи-ка, где ты порвал штаны.

Я начал разглядывать свои штаны, как будто только сейчас заметил в них изъян. Странная психология лгуна и трусишки: и понимаешь, что взрослые все знают и что бесполезно и смешно отпираться, а все-таки до последнего стараешься увиливать от прямых правдивых ответов и сочиняешь бог знает что.

В голосе отца стали появляться грозные нотки. Домашние, зная о характере главы семьи, спешили мне на выручку. Но отец жестом отстранил их всех и снова спросил:

— Ну, так как же ты порвал свои штаны?



— В школе... зацепил за гвоздь...

— Как, как, повтори...

— За гвоздь.

— Где?

— В школе.

— Когда?

— Сегодня.

Отец наотмашь ударил меня ладонью по щеке.

— Скажи теперь, как ты порвал свои штаны?

Я молчал. Отец ударил меня второй раз, по другой щеке.

— Скажи теперь.

Я заплакал.

— Замолчи! — приказал отец и потянулся за плетью.

Я перестал плакать. Отец замахнулся.

— Если сейчас же не расскажешь все, как было, ударю плетью.

Я знал, что такое эта плеть с окаменевшим узелком на конце. Страх перед плетью оказался сильнее страха перед правдой, и я рассказал свои злоключения по порядку начиная с утра.

Суд окончился. Три дня я ходил сам не свой. Жизнь в сакле и в школе шла как будто бы своим чередом. Но душа моя была не на месте. Я чувствовал, что еще предстоит разговаривать с отцом. Больше того, где-то в глубине души я теперь сам желал и даже жаждал этого разговора. Самым мучительным для меня в эти дни было то, что отец не хочет со мной говорить.

На третий день мне сказали, что отец зовет. Он усадил меня рядом, погладил по голове, расспросил, что проходим сейчас в школе, какие у меня отметки. Потом неожиданно спросил:

— Ты знаешь, за что я тебя побил?

— Знаю.

— За что же, по-твоему?

— За то, что играл на деньги.

— Нет, не за это. Кто из нас не играл на деньги в детстве? И я играл, и твои старшие братья играли.

— За то, что порвал штаны.

— Нет, и не за штаны. Кто из нас не рвал в детстве своих штанов или рубашек? Хорошо, что уцелели наши головы. Ты ведь не девчонка, чтобы ходить все время по тропочке.

— За то, что не пошел в школу.

— Конечно, это большая твоя ошибка: с нее начались все твои несчастья в этот день. За это следовало бы тебя поругать, так же, как за штаны и за игру на деньги. Ну, в крайнем случае я накрутил бы тебе уши. Побил же я тебя, мой сын, за твою ложь. Ложь — это не ошибка, не случайность, это черта характера, которая может укорениться. Это страшный сорняк на поле твоей души. Если его вовремя не вырвать с корнем, он заполонит все поле так, что нигде будет прорасти доброму семени. На свете нет ничего страшнее лжи. Ее нельзя прогнать и побить. Если ты мне солжешь еще раз, я тебя убью. С этого часа ты будешь говорить только правду. Кривую подкову ты будешь называть кривой подковой, кривую ручку кувшина — кривой ручкой кувшина, кривое дерево — кривым деревом. Ты понял это?

— Понял.

— Тогда иди.

Я пошел, мысленно дав себе клятву никогда не лгать. Кроме того, я знал, что отец в случае чего сдержит свое слово и убьет меня, как бы он мной ни дорожил.

Много лет спустя я рассказал эту историю своему другу.

— Как? — воскликнул друг. — Ты до сих пор не забыл эту свою маленькую, эту ничтожную ложь?!

Я ответил:

— Ложь есть ложь, а правда есть правда. Они не могут быть ни большими, ни маленькими. Есть жизнь и есть смерть. Когда наступает смерть — нет жизни, и, наоборот, пока теплится жизнь, смерть еще не пришла. Они не могут сосуществовать. Одна исключает другую. Так и ложь с правдой.

Ложь — это позор, грязь, помойка. Правда — это красота, белизна, чистое небо. Ложь — трусость, правда — мужество. Есть либо то, либо это, а середины здесь быть не может.

Теперь, когда мне приходится иногда читать лживые произведения лживых писателей, я всегда вспоминаю отцовскую плеть. Как она была бы нужна! Как был нужен строгий, справедливый отец, который мог бы пригрозить в нужную минуту: «Если солжешь — убью».

Да если бы только ложь оставалась безнаказанной! Разве не случалось, что наказывали за правду? Разве

мало в истории примеров, когда именно за истину страдали люди, именно за истину поднималась над ними бичующая плеть?!

Мне в детстве понадобилось немало мужества, чтобы от слов лжи перейти к словам правды. Но я почувствовал облегчение.

Еще большее мужество требуется для того, чтобы не отказаться от слов истины. Ибо, если откажешься от них, то почувствуешь не облегчение, но самые страшные муки — муки совести.

Мужественные не меняют своих убеждений. Они знают, что Земля вращается. Они знают, что не Солнце кружится вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. Они знают, что на смену ночи обязательно приходит утро, а потом и день, на смену дню — опять ночь... На смену зиме идет весна, а потом и красное лето...

И получается так, что в конце концов плеть совести, плеть чести, плеть истины поражает лжецов и лицемеров и никогда в конце концов ложь не победит правды.

**ИЗ РАЗГОВОРА НА АУЛЬСКОМ ГОДЕКАНЕ.**

— Какое расстояние между правдой и ложью?

— Один вершок.

— Почему?

— Как раз один вершок от уха до глаза. То, что видел своими глазами,—правда. То, что слышал ушами,—ложь.

Так-то так. Конечно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Но писатель должен черпать правду отовсюду: из того, что увидел, из того, что услышал, из того, что прочитал, из того, что пережил сам.

Может ли писатель полагаться только на одни глаза? На жизнь он смотрит глазами, но музыку он слушает, историю своей страны он читает. Иные же писатели на первое место ставят даже не глаза и не уши, а нюх.

Писателю нужны сильные, способные ко всякой работе руки, выносливые ноги, крепкие зубы. А для того чтобы в увиденном, услышанном или прочитанном он всегда мог отделить ложь от правды, золото от дешевых блесков, зерно от мякины, ему нужны еще ум и знания. Без ума и без знаний человек не может доверять и своим глазам.

Темные горцы из аула, которые ни разу не видели золота, но много слышали о нем, нашли тяжелый сундук. Они подумали: «Раз тяжелый, значит, золотой». Начали драться из-за добычи. Перебили друг друга. Сундук же, оказалось, был из меди.

Талант — огонь. Но огонь в руках дурака может спалить все вокруг. Ум направляет его. Ум седлает даже красоту, как опытный всадник седлает горячего коня.

У горца спросили: что выбираешь — лицо красавца или мудрость старика?

Глупый выбрал лицо красавца, но остался глупым. Невеста ушла от красивенького глупца. Умный выбрал мудрость и благодаря мудрости удержал женщину около себя. Так и в сказке: в седло морского коня посадил красавицу тот, кто выбрал мудрость. В сказках говорится также о трех братьях, о трех дорогах и трех мудрых советах. Кто послушался этих советов, тот возвратился к родному очагу, а кто не послушался, сложил голову на чужбине.

О моя золотая рыбка, дай мне талант, дай мне усердие, дай мне правдивое и горячее сердце юноши и трезвую мудрость старца! Помоги мне выбрать правильную мою дорогу!

Пусть эта дорога будет каменистой, крутой, опасной. Но не хочу извиваться на ней из стороны в сторону, как змея. «Почему змеи кривые?» — спрашивают горцы и сами же отвечают: «Потому что кривы те дырки, те щели, сквозь которые им приходится проползать». Я человек ведь, а не змея. Я люблю высоту, чистоту, я люблю прямые дороги.

Береги меня от болезни и от боязни, от тяжелой славы и от легковесных мыслей!

Береги меня от хмеля, ибо во хмелю человек все хорошее видит во сто раз лучшим!

Береги меня и от трезвости, ибо в трезвости человек все плохое видит во сто раз худшим!

Дай мне такое чувство истины, чтобы я мог называть кривое кривым, а прямое — прямым!

— Все в мире плохо, и порядка нет! —

Сказал поэт и белый свет покинул.

— Прекрасен мир, — сказал другой поэт

И белый свет в расцвете лет покинул.

Расстался третий с временем лихим,  
 Прослав великим, смерти не подвластным,—  
 Все то, что плохо, он назвал плохим,  
 А что прекрасно, он назвал прекрасным.

Некий горец подвесил корове на уши серьги, чтобы потом отличить свою корову от чужих. Некий горец навешал на шею коня бубенцов, чтобы не спутать его с конями соседей. Но плох тот джигит, который и ночью не узнает любимого коня издали.

Вот моя книга. Не хочу нацеплять на нее серьги, бубенцы, украшения. Я не спутаю ее с другими, своими или чужими книгами. Пусть и люди не путают. Пусть каждый, кто прочитает ее, если даже будет оторвана обложка, сразу скажет, что эту книгу написал Расул, сын Гамзата, того, что родом из аула Цада.

**ГОВОРЯТ:** мужество не спрашивает, высока ли скала.

## ● СОМНЕНИЯ

Книги, книги мои — это линии  
 Тех дорог, где, и робок и смел,  
 То шагал, поднимаясь к вершине, я,  
 То, споткнувшись, в ущелье летел.

Книги, книги — победы кровавыс.  
 Разве знаешь, высоты беря,  
 Ты себя покрываешь славою  
 Или кровь проливаешь зря!

*Перевел Н. Гребнев*

**М**ногоязык, многокрасочен Дагестан! Много разных обычаев сохраняют его народы. Об одном обычае мне рассказал татский писатель Хизгил Авшалумов.

Если у горцев не рождались дети, то муж опоясывал себя шерстяным поясом, чтобы аллах заметил его среди других жителей гор. В то же время горец молился:

— О аллах, не обижай своего бедного раба, пошли ему сына!

Такие же пояса надевали и те, у кого рождались одни только дочери, а также те, у кого рождались хилые, слепые, глухие, хромые, кривые, немые, горбатые, слабоумные дети. Нося такой пояс, горец верил, что аллах в следующий раз пошлет ему крепкого, здорового

сынишку, из которого вырастет настоящий храбрый джигит.

Вот меня и берут сомнения: не надеть ли и мне чудодейственный пояс, который носят таты, сомневаясь в полноценности будущего ребенка? Сыном ли, джигитом ли родится моя новая книга, или выйдет из нее нечто кривое, горбатое, глухонемое?

Впрочем, каждой матери свое дитя кажется прекрасным. Они и видят и в то же время не видят его недостатков. Не получилось бы так у меня с моей книгой.

Я боюсь. И дрожит перо. И сомнения одолевают меня. Не целюсь ли я в кошку, приняв ее за орла? Не седлаю ли я ишака, приняв его за иноходца? Не пытаюсь ли я вытянуть бревно в длину, как это захотели сделать однажды ахалчинцы, не сообразившие, что бревно-то нужно было положить не вдоль, а поперек кровли? Ну штурмую ли я крепость в Анди, как это казалось одному харикулинцу, в то время как он сидел у своего очага?

Перед окончанием книги чувствуешь себя, как мясник, который свежует барана и дошел уже до хвоста, но сломался нож. Сумею ли дописать до точки? И что из этого выйдет? Пустую раковину несу я на поверхность из морских глубин или обнаружится в раковине полноценная матовая жемчужина?

Ураган может обломать у дерева сучьи или переломить самый ствол. Но весной от корней снова пойдут молодые побеги и вырастет новое дерево. Если же в дереве заведется грибок, съедающий его изнутри, если этот грибок съест корни дерева, то ничто ему уже не поможет. Так ведь и у человека: внешняя, наружная рана, даже перелом костей залечивается быстро, в то время как болезнь, развивающаяся в глубине организма, оканчивается неизбежной смертью. Здорова ли моя книга, надежны ли, крепки ли ее корни?

Книга моя — как подросший сын. Сакля ему тесна. Пора отправлять его в люди, в дорогу, в большой мир. Как встретят его в пути: обругают или обласкают? Накормят и уложат спать или прогонят от порога? Теперь это от меня не зависит.

Поэма окончена. Соткан ковер.  
Но хвастать пока погодите:  
Расправьте углы, оглядите узор,  
Отрежьте торчащие нити.

Поэма дописана. Клинь яровой  
Запахан, но труд свой вчерашний  
Еще огляди и пройди бороздой —  
Остались огрехи на пашне.

*Перевел Н. Гребнев*

Книга моя — как ковер, который закончен и разостлан, чтобы увидели его впервые весь сразу. Я вижу на нем много неверных линий, сбивчивых рисунков, невнятных узоров, орнамент кое-где нечеток и крив, но исправить эти ошибки уже нельзя — ковер соткан. Чтобы исправить самую малую его деталь, нужно распускать весь ковер.

Книга моя — как возвращение в аул из далекого трудного пути. Два года не было меня дома. Два года ничего не слышали обо мне жители аула, соседи, кунаки, старики и юнцы. И вот я схожу с коня у крайней сакли и неторопливо веду коня в поводу. Огонь, который горянка поставила на окно, чтобы светил мне в пути, можно теперь убрать. Я возвращаюсь домой. Здравствуйте, дорогие земляки! Я возвращаюсь из двухлетнего странствия. Конь постарел за эти два года. У меня тоже прибавилось седины. Я неторопливо веду коня в поводу вдоль улочки аула и всем, кто меня встречает, говорю:

— Асалам алейкум, люди!

— Ваалейкум салам, сын Гамзата Расул! Как проходило странствие твое? Не устал ли? Какова добыча твоя? Что там топорщится в твоих хурджунах?

Мне хотелось бы сказать людям, что я привез им новую книгу. Но книга — такая вещь, что никак ее нельзя передать из рук в руки жителям аула или кому бы то ни было. Сначала она попадает в руки к издателю, и он-то будет решать ее судьбу.

**ИЗДАТЕЛЬ**, приняв от меня рукопись, взвесил ее на руках, повертел так и сяк, полистал, заглянул сначала на первую страницу, потом сразу на семидесятую, потом в самый конец и отложил рукопись в безопасную сторонку.

— Может быть, книга твоя и хороша, но у нас уже сверстаны и утверждены планы на этот и будущий годы. Твоей книги в наших планах нет.

— У меня у самого ее не было в плане. Она пришла неожиданно. Что же мне теперь с ней делать?

— Подавай творческую заявку. Разберемся, обсудим, утвердим. Поставим в план редподготовки. Приходи или позвони в будущем году в это же время.

## ПИСЬМО АБУТАЛИБА В ИЗДАТЕЛЬСТВО.

«Уважаемое издательство Дагестана! Я—ваш народный поэт, член Президиума Верховного Совета Дагестана. Персональный пенсионер. В этом году мне исполнится восемьдесят пять лет. Я знаю, что, если со мной стряется беда и я умру, вы примете решение—выпустить в свет мой двухтомник. Я прошу вас издать одну мою книгу сейчас, пока я жив, вместо тех двух томов, которые вы собираетесь издавать после моей смерти. С приветом. Абуталиб».

Это заявление—из мирных, из добрых. Но бывают заявления, в которых жалуются. Бывают заявления, в которых проклинают. Бывают заявления, в которых хващаются. Бывают заявления, в которых льстят. Бывают заявления-вопли и заявления-окрики.

Самые страшные заявления не те, которые пишут издателям, а те, которые пишут на издателей. Издателя же тоже нужно понять. Если на стуле место только для одного человека, то на него нельзя сесть троим или четверым. Двоим, заняв по половинке, и то неудобно сидеть, тем более если долго. Один говорит: «Почему вы издаете Ахмета, а меня не хотите издать? Разве я хуже?» Другой кричит: «Моя книга лучше всех книг, которые вы издали за последние годы. Почему опять не поставили меня в план?»

Но я не хочу ругаться с издателями. Я готов подождать. Я знаю, что у издателей всегда не хватает бумаги. Куда девалась бумага? Ее портят писатели, и я в том числе. Зачем же я буду ругаться! Правда, иногда вместе с порчей на бумаге создается такое, что переживает потом и писателя и издателя. О, я хотел бы, чтобы на какой-нибудь клочок бумаги попали такие мои слова, от которых бы, как от живой воды, бумага снова превратилась в то зеленое, полнокровное дерево, из которого она была некогда произведена.

Нет, я не хочу ругаться с издателем. Я ему мирно говорю:



— Вы стоите между мной и моими земляками из аула, между мной и моими читателями из Москвы, между мной и моими читателями из других городов. Ведь вы — наш посредник и связующее звено. Ну, пожалуйста, я прошу вас, содействуйте тому, чтобы наши руки встретились в дружеском рукопожатии. Пожалуйста...

Издатель уступает моим тихим просьбам, и я тотчас попадаю в руки редактора.

### РЕДАКТОР.

«Сокращать» — написано на его дверях.

Издатель говорил: «Зайди через год». Редактор назначил срок три недели. Этому сроку я даже обрадовался; успею пока что рассказать три маленькие истории.

**КАК РЕДАКТОРА В ОКНО ВЫБРОСИЛИ.** Один аварский поэт принес в редакцию газеты стихи, чтобы опубликовать их в новогоднем номере. Стихи понравились. Газета их напечатала.

Как раз собрались у счастливого поэта друзья. Поэт торжественно развернул газету и вслух стал читать стихи. Вдруг он побледнел, схватился левой рукой за сердце, как будто в сердце попала стрела. Газета выпала у него из рук. Друзья бросились, поддерживали, дали попить. Когда поэт пришел в себя, выяснилось, что же его сразило. Оказывается, в стихотворении не хватало четырех строк. Поэт побежал в редакцию.

— Кто зарезал четырех лучших моих баранов из тех, что я выпустил пастись на просторные луга вашей газеты? Кто сократил четыре моих строки?

Редактор газеты спокойно ответил:

— Я выбросил... Ну и что?

— Зачем ты их выбросил?

— Пришел срочный материал, не хватало места.

— Но если ты можешь без разрешения поэта выбрасывать из его стихотворения строки, то я тебя самого выброшу сейчас в окно.

У поэта была горячая горская кровь. Он схватил редактора за шиворот, за ноги и действительно выбросил в окно. Дело, правда, было на втором этаже, и под окном была мягкая клумба. На суде поэт говорил:

— Кровь за кровь! Зуб за зуб! Он отредактировал меня, я отредактировал его!

«Отредактированный» редактор, говорят, по-прежнему сокращает стихи (без этого, наверное, не может быть

редактора), но все же он спрашивает теперь разрешения поэтов.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Мой отец написал две пьесы: «Сапожник» и «Свадьба Кодолава». Сначала они побывали в театре, потом в отделе культуры, а потом ушли в Управление искусств Дагестана. Отец точно знал, что они туда ушли и никуда оттуда не вышли. Но в то же время и там их не оказалось.

Как чабан, несмотря на ночную непогоду, отправляется в горы искать отставших овец, так отец пошел разыскивать свои пьесы.

В Управлении сидел человек, занимавшийся только одними пьесами. Он тоже назывался редактором. Больше часа разговаривал с ним отец и вдруг почувствовал: как только заговорят о погоде, о пастбищах, об овцах, лошадях и коровах, так получается живой разговор, а как только разговор касается литературы, драматургии, так отец ничего не может понять. А между тем редактор все время пытался говорить о драматургии, давал отцу наставления, поучал его, как нужно писать хорошие пьесы. Отец не выдержал и спросил напрямик, кто этот человек, с каким образованием, кем работал до Управления искусств Дагестана.

— Образование у меня высшее,— не без гордости ответил редактор.— А по специальности я ветеринар. Назначен вот теперь на эту работу.

— Но разве мои пьесы коровы, что ты пытаешься их лечить! Почему поэт никогда не дает советов ветеринарам? А поэту дают советы все, кто захочет.

Неужели и моя книга попадет в руки редактора, который в прошлом был ветеринаром и ничего не смыслит в литературе.

**АБУТАЛИБ И РЕДАКТОР.** Рукопись Абуталиба редактор исклевал, как ворон тело воина, павшего на поле битвы. В исклеванном виде пришла к Абуталибу корректура. Абуталиб прочитал и удивился:

— Мою зеленую поляну затоптали кони. Там, где были цветы, теперь болота. Если школьник сделает несколько ошибок в диктанте, эти ошибки исправляет учитель. Кто же тот учитель, который знает, что в моей жизни было правильно, а что неправильно?

Абуталиб стал внимательно вчитываться в корректуру и вдруг воскликнул:

— А я знаю, из какого аула мой редактор! Он хочет исправить мою книгу под диалект своего аула! Но диалектов много, а язык один, а народ один! Если каждый редактор будет тянуть в сторону своего аула, мы никогда не построим аул нашей поэзии.

Мой редактор, помни, что, кроме твоего аула, есть еще на свете земля и есть, кроме тебя, другие люди. В сущности, у нас с тобой не может быть разногласий. Я учту твои замечания, если они пойдут на пользу. Но ты должен помнить, что моя песня мне так же дорога, как дорога была кровнику жажда мщенья. Это я не сейчас придумал. Так начиналось одно мое стихотворение, написанное в молодости.

В своей груди, как месть заветную,  
Я нес тепло и холод строк.  
Я песню, как любовь запретную,  
От взглядов пристальных берег.

Я, слабую, ее выхаживал,  
Ловил ее далекий крик,  
Я рифмы звонкие прилаживал,  
Как шестеренки часовщик.

Из множества одно созвучие  
Старался выбрать для строки.  
Так в кладовых для гостя лучшие  
Мы выбираем бурдюки.

Я ночью отправлялся в странствия  
И краски тасовал с утра,  
Как женщины табасаранские  
Цветную пряжу для ковра.

Могли другие петь умелее,  
Я, к сожаленью, не умел,  
Не знаю, достигал ли цели я,  
Все то сказал ли, что хотел.

Но пусть стихи, плохие самые —  
Вся жизнь моя в словах моих.  
Зачем же вы, редактора мои,  
Стараетесь ухудшить их?

С моими отпрысками справиться  
Чужим отцам не по плечу.  
Скажите, что вам в них не нравится?  
Им сам я уши накручу.

*Перевел Н. Гребнев*

В то время я написал пьесу: «Горянка». Она шла в нескольких театрах Дагестана, и вот что произошло с этой пьесой.

В конце спектакля по ходу дела герой убивает героиню. Мне было жалко мою горянку, моя рука дрожала, когда я писал сцену убийства, и сердце обливалось кровью. Но я ничего не мог изменить. Течение событий само подводило к тому, что горянка должна быть убита. Аварский театр так и поставил спектакль, и хотя зрители печалились и жалели героиню больше даже, чем я сам, все они понимали, что иначе быть не могло.

В даргинском театре пьесу подредактировали. Вместо того чтобы девушка была убита, ей отрезали косу. Конечно, это очень позорно, когда горянке отрезают косу, может быть, даже это хуже смерти, но все-таки и не смерть.

На сцене кумыкского театра решили не убивать и не резать косы, но ослепить. Конечно, это ужасно. Может быть, это ужаснее, чем убить или отрезать косу, но все-таки горянка оставалась жива и с косой, ибо так захотели в кумыкском театре.

Чеченцы в своем театре поступили всех проще. «Зачем убивать,— решили они,— зачем отрезать косу, зачем ослеплять. Пусть героиня остается, жива-здоровая».

Так каждый режиссер переделал пьесу по своему образу и подобию. Никто не подсказал им, что, жалея и спасая героиню, они тем самым убивают пьесу и не жалуют зрителей, не говоря уж о драматурге.

ОТЕЦ, когда пришла в наш аул газета, в которой были опубликованы его стихи, сказал:

— Как видно, мое стихотворение побывало в руках телетлинцев. Ни одного живого места не осталось в нем.

МАХМУД... Махмуд ничего не сказал, потому что при жизни не было издано ни одной его книги. Но если бы он увидел, как переделал его стихи такой вот редактор, он бы умер вторично.

По горной тропинке нельзя ехать на современном автомобиле. Как же я могу сказать, чтобы редакторы не трогали меня, если они, случается, трогают даже мертвых?

НО, МОЙ РЕДАКТОР, не принимай все, что я рассказал, на свой счет. Я знаю и редакторов другого

сорта, тех, что приходят к писателю как мудрые и тонкие советчики. Я знаю, что и ты такой. Работать с тобой кажется приятным отдыхом и покоем. Будь спокоен, я не оставлю без внимания ни знака восклицательного, поставленного тобой на полях моей рукописи и выражающего твой восторг, ни знака вопросительного, выражающего твое недоумение, ни «птички», выражающей твою волю исправить строку, чтобы книга сделалась лучше.

Наверно, есть в моей книге строчки, которые не укреплены как следует и качаются, подобно больному и старому зубу. Наверно, есть и повторы. Умоляю тебя, найди, заметь, подскажи. Одна голова хороша, а полторы лучше! У нас же будет, я надеюсь, две равноценных головы, четыре руки, дело у нас пойдет на лад! Лучше драка сегодня, чем ссора завтра. Лучше один раз подраться, чем всю жизнь ссориться. А главное, бойся меня перехвалить.

Один охотник похвалил зайца за то, что тот не испугался и выскочил на открытый бугор. Охотник даже не стал стрелять. Зазнавшийся заяц выскочил на бугор и перед другим охотником. Но у другого охотника был другой характер. Нетрудно догадаться, что из этого вышло.

Я знаю, что твой труд, в сущности, неблагодарен. Когда читатель берет в руки книгу, он смотрит, кто ее написал, кто нарисовал картинки, но никогда он не смотрит, кто был редактором книги. Так уж устроен человек!

Принято считать, что поэт говорит от имени народа. Но, оказывается, и редактор говорит иногда от его же имени. Однажды я принес в редакцию лирическое стихотворение о своей любимой. Редактор отложил это стихотворение в сторону и сказал, что напечатать его не может.

— Почему?

— Народ это читать не будет. Зачем народу стихи о твоей жене!

Тотчас я сочинил четверостишие:

В журнале о тебе стихов не приняли опять,  
Сказал редактор, что народ не станет их читать.  
Но, между прочим, тех стихов не возвратили мне,  
Сказал редактор, что возьмет их почитать жене.

*Перевели Е. Николаевская, И. Снегова*

МОЙ ОТЕЦ ГОВОРИЛ, что писатели и поэты похожи на шоферов, которые умеют ездить и ездят вообще-то правильно, но иногда ошибаются и «нарушают». Редакторы в этом случае похожи на милиционеров. Отец задумывался и говорил:

— Как ты думаешь, трех милиционеров на одного шофера не многовато ли?

Но и совсем без милиционеров тоже нельзя. В одной компании поднимали тосты за каждого человека в отдельности. Был там и милиционер. Тамада провозгласил тост за милиционера. Вдруг председатель потребсоюза отставил рюмку и сказал:

— При коммунизме милиционеров не будет. Это — явление отживающее. Зачем же за него пить?

Милиционер ответил:

— Сохранятся ли при коммунизме милиционеры, зависит от того, сохранится ли там потребсоюз.

Но, кроме шуток, сказать ли тебе, мой редактор, какие мгновения я больше всего люблю? Когда мы сидим с тобой уже не за рабочим столом, среди бумаг, а за обыкновенным столом, который накрыт со знанием дела. Уже позади, тоже, впрочем, приятные моменты, когда ты пишешь на моей рукописи: «В набор!». А потом — «В печать!». А потом — «В свет!». И книга по мановению твоей руки действительно идет то в набор, то в печать, то в свет. Ведь подумать только, какие слова ты пишешь: В СВЕТ! За одно это прощаются тебе все твои грехи. За одно это стоит поднять бокал. Напиши же скорей эти слова, и я подарю тебе самый первый экземпляр книжки со своим, конечно, автографом.

Конечно, я хотел бы, чтобы скорее наступило такое время, когда исчезнут в мире все тайны. Но разве поэт тот, кто не открывает людям никакой тайны, то есть того, что они до него не знали? Я, поэт, приходя в мир, приоткрываю завесу с пространства и времени точно так же, как жених откидывает покрывало с лица невесты. Один только жених имеет право сделать это на свадьбе, после чего лицо невесты видят все. Только поэт способен сделать это в жизни, и люди познают действительность, и удивляются ей, и удивляются тому, чего не ви-

дели раньше: красоте мира или красоте человеческой души, которые противостоят силам зла.

Прошу тебя, редактор, не давай болтунам выбалтывать, чего не следует, но и не закрывай того, что открою я, как поэт. Не ставь под сомнение мои узоры, орнаменты, рисунки! Если даже есть в узоре моего ковра какая-то ошибка, не делай так, чтобы ее замазали чернилами или выстригли,—получится либо клякса, либо дыра.

Кроме того, не называй какую-нибудь мысль неправильной только за то, что она не похожа на твою!

Кроме того, на весах вешают хлеб, сахар, масло, гвозди, но не любовь!

Кроме того, метром мерят ситец, высоту комнаты, ограду на могиле, но не красоту!

Кроме того, тот, кто старается быть самым умным, окажется даже глупее, чем он есть на самом деле!

Кроме того, я тоже взрослый человек, и хотя бы немного, хотя бы кое в чем доверьте мне!

Я понимаю, что у одного человека секретов больше, у другого меньше, ибо еще...

**А Б У Т А Л И Б С К А З А Л:** если вода протухнет, то не увидишь дна, хотя бы воды было не выше колена.

**И З ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Когда я был маленьким, меня считали самым болтливым из всей семьи. То, что я услышу на улице, обязательно расскажу дома. То, что я услышу дома, обязательно расскажу на улице.

К отцу время от времени приходил один старик. Он оглядывался по сторонам и важно говорил шепотом:

— Гамзат, нельзя ли на пару слов в другую комнату?

Они уходили в другую комнату и о чем-то шептались. Так случалось несколько раз. Однажды старик пришел снова.

— Гамзат, нельзя ли в другую комнату на пару слов?

— Э, полно! — ответил отец. — То, о чем ты мне шепчешь по секрету, можно рассказывать даже при нашем Расуле. Так что говори вслух и не бойся.

Да, я с детства не любил тайн. Песни поют открыто и громко, поднимаясь на высокое место, чтобы слышало песню как можно больше людей.

Кроме того, не за каждое слово отвечаю я сам. У меня ведь есть еще переводчик.

## ПЕРЕВОДЧИК.

Я аварец, таковым родился и другим мне не быть. Первые люди, которых я увидел, открыв глаза, были аварцы. Первые слова, которые я услышал, были аварские. Первая песня, которую мне пропела над колыбелью мать, была аварская песня. Аварский язык сделался моим родным языком. Это самое драгоценное, что у меня есть, да и не только у меня, но у всего аварского народа.

Аварцев не много, всего лишь триста тысяч. Но это и не мало. В Дагестане есть поэты, пишущие стихи на языке, на котором говорят две тысячи человек.

Государственная граница разделяет людей, но еще больше разделяют их языки. Границы, бывает, меняются и даже совсем отменяются или превращаются в чистую формальность.

Язык же дан народу на вечные времена, и его невозможно ни заменить, ни отменить.

Трудно представить себе то время, когда аварцы жили без Пушкина, не читали Лермонтова, ничего не слышали о Толстом, не наслаждались чтением Чехова.

**ОТЕЦ ГОВОРИЛ:** великое счастье, что и в горах выросло дерево Пушкина, на котором, сколько его ни тряси, не кончаются сладкие, сочные плоды.

**АБУТАЛИБ ГОВОРИЛ:** спасибо тем, кто привел ко мне, в полутемный подвал, дорогого Чехова! Спасибо и тем, кто мои песни из подвала вывел к стенам московского Кремля!

**А Я ГОВОРЮ:** не склонился Кавказ перед генералом, но склонился перед стихами молодого поручика.

У меня был курьезный случай. Должна была выйти в Дагестане моя книга в переводе на русский язык. Избранные произведения — стихи и поэмы. Редактор полистал рукопись и говорит:

— А почему ты не включил сюда «Полтаву»?

— Но это же не моя поэма, ее написал Пушкин, а я лишь перевел на аварский язык. Как же я могу поэму Пушкина включать в свой сборник на русском языке!

Не будем строги к редактору. Но ведь и правда, что ко многим хорошим произведениям, переведенным с другого языка, аварцы привыкли, как к родным, аварским, и уже нельзя представить себе без них нашу аварскую литературу.



Я знаю, что за глаза обо мне иногда говорят: «Ну что же — Расул, он, конечно, способный человек, но не очень. Для него много сделали московские переводчики».

А я и не буду отрицать. Действительно, если бы не переводчики, не было бы и меня.

Они, во-первых, дали мне возможность узнать Гейне, Бернса, Шекспира, Саади, Сервантеса, Гёте, Диккенса, Лонгфелло, Уитмена и всех, кого я прочитал в своей жизни и без кого я не стал бы писателем.

Они, во-вторых, открыли дорогу моим стихотворениям. Они перевели их через бурные реки, через высокие горы, через толстые стены, через пограничные посты и через самые прочные границы — через границы другого языка: через глухоту, через слепоту, через немоту.

Я спрашиваю иногда себя, что важнее — чтобы переводчик знал мой язык (но, может быть, ему чужда моя поэзия) или чтобы он знал и понимал мою поэзию своей душой, своим сердцем и считал ее как бы своей?

В 1937 году в Махачкале проводился конкурс на лучший перевод стихотворения Пушкина «Деревня». Сорок поэтов перевели это стихотворение на аварский язык. Большинство из них знало русский. Но все же первую премию получил Гамзат Цадаса, не владевший в то время русским языком.

Надо, чтобы переводчик тоже был поэтом, писателем, художником. Надо, чтобы он чувствовал себя сыном своего народа, как я чувствую себя сыном своего.

Есть русские люди, которые умеют читать по-аварски, но они, увы, не поэты. И есть русские поэты, которые, увы, не умеют читать по-аварски. Как же быть? Что делать? Приходится обращаться к подстрочнику.

Я видел, как в русских деревнях перевозят из одной деревни в другую бревенчатые дома. Избу нельзя перевезти целиком. Ее сначала разбирают по бревнышку, по планочке, а потом собирают на новом месте.

Подстрочник — это изба, разобранный для перевозки. Это — груда бревен, досок, кровельного железа, кирпича. Переводчик из этой бесформенной груды собирает новую избу. Если бревно подгнило, он его заменит, если доска потерялась в дороге, он поставит новую доску. Если обломались узоры у резного наличника, он подновит узор.

И протрут оконные стекла, и разведут в печи огонь, чтобы дымок шел из трубы, и ребятишки выбегут на крыльцо, и под застрехой заведутся ласточки.

Что такое подстрочник? Человек, у которого погасли зрачки и остановилось сердце. Но приходит врач, делает укол, переливает кровь, массирует сердечную мышцу, и в человеческое тело возвращается теплая жизнь.

Что такое подстрочник? Кумуз, у которого на время спущены струны. Очаг, в котором на время погашен огонь. Птица, у которой на время подрезаны крылья.

Что такое подстрочник? Один парикмахер подстриг, побрил меня, уложил мне волосы и сказал:

— Ну вот, пришел ты ко мне, как подстрочник, а уходишь, как перевод.

Если уж речь зашла о парикмахерской, расскажу еще один случай.

Это было на Кубе, в городе Сантьяго. С дороги я решил подстричься и побриться. Я зашел в парикмахерскую и знаками показал, что мне нужно.

На Кубе, когда бреют, тебя укладывают в кресло, как в кровать. Уложили и меня. Начали намыливать. И все шло хорошо, пока бритва кубинца не коснулась моей щеки. То ли бритва была очень тупа, то ли мастер был плох, но я едва не кричал от боли. Некоторое время я терпел, но потом понял, что все равно не вытерпеть до конца, и, говоря то по-русски, то по-аварски, начал показывать себе на щеки. Парикмахер испугался, убежал и вскоре возвратился, ведя человека в белом халате. Человек раскрыл свой чемодан и начал раскладывать инструменты, которыми выдирают зубы. Вместо кресла браздобрея я вдруг очутился в кресле дантиста. Вот что произошло из-за того, что мы с парикмахером не поняли друг друга. Еще бы немного, и я лишился бы своих здоровых зубов.

Переводчики частенько выдирают у стихотворения все зубы и пускают гулять его по свету с пустым, шепелявым ртом.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Когда уезжаешь за границу, берешь какие-нибудь национальные изделия для того, чтобы подарить кому-нибудь в благодарность за гостеприимство. В Японию я взял, например, несколько красивых кувшинов, сделанных искусными руками балхарских мастеров.

В Хиросиме ко мне в гости пришли японские художники — муж и жена. Мы долго беседовали и почувствовали себя друзьями. «Кому, как не художникам, подарить художественные балхарские изделия», — подумал я. Смело я открыл свой чемодан и ужаснулся — от моих кувшинов остались одни черепки. Было похоже, что по ним колотили молотком, на такие мелкие части они рассыпались. Может быть, мой чемодан слишком небрежно швыряли грузчики на аэродроме в Москве, или на аэродроме в Индии, или на аэродроме в Токио — я не знаю. Но я готов был провалиться сквозь землю, ибо уже пообещал подарки, и японцы сидели за столом в выжидательных позах и начали смотреть на меня с недоумением, потому что я как застыл над чемоданом, словно вкопанный, так и не мог ни пошевелиться, ни сказать слова.

Наконец мои японцы поняли, что стряслась какая-то беда. Они подошли. Увидели черепки. Покачали головами и начали меня утешать, похлопывая по плечу. Этот жест в другое время был бы недопустим для японцев, потому что они прекрасно воспитаны и не терпят фамильярности. Но, значит, очень уж я был огорчен и растерян.

Я собрал черепки в газету и хотел выбросить их в урну. Но художники не дали мне этого сделать. Они бережно завернули все до единого черепочка и унесли домой.

Через несколько дней я был приглашен к художникам в гости. Каково же было мое удивление, когда я увидел свои кувшинчики целыми и невредимыми, как будто они только сейчас с гончарного круга. Я до сих пор не могу понять, как можно было так ловко склеить разбитое вдребезги.

Говорят, треснутый кувшин целым не сделаешь, все равно из него будет вытекать вода. В кувшины, склеенные японцами, мы наливали и дагестанский коньяк, и японскую sake — не просочилось ни одной капли.

Глядя на японских художников, я вспоминал своих лучших переводчиков. Подстрочники моих стихов выглядели, как черепки от разбитого кувшина. Потом их склеивали, и они получались как новые, и аварские узоры как ни в чем не бывало украшали их.

Конечно, переводчик не должен приделывать к кув-

шину ручку, которой у кувшина не было. Или вместо одного дна делать два.

Не так давно дагестанское издательство издало «Хаджи-Мурата» в новом переводе на аварский язык. Я стал читать и вижу, что «Хаджи-Мурат» стал на две главы длиннее. Я спросил у переводчика:

— Откуда взялись две главы?

— Но ведь Толстой написал эту повесть еще до Октябрьской революции. Там есть неправильные взгляды на вещи. Кроме того, нужно было рассказать читателям о дальнейшей судьбе головы Хаджи-Мурата и потомков Хаджи-Мурата.

**ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.** Одно стихотворение отца перевели на русский язык. Переводчик, как видно, попался неопытный. Отец попросил человека, знающего и по-аварски, и по-русски, снова перевести это стихотворение, рассказать его содержание. Когда это было сделано, отец воскликнул:

— Вернулся мой сын из далекого путешествия, и я не узнал своего сына. Нет, пусть уж лучше мои дети сидят дома в горах, чем попадать в такую переделку.

Да, переводы стихотворений похожи на сыновей, которых родители отправляют из аула учиться или работать. Конечно, в любом случае сыновья возвращаются немного не теми, какими покинули родное гнездо.

Но вернуться сын может либо приобретшим, либо утратившим, либо с дипломом, либо с судимостью, либо крепким физкультурником, либо хилым, больным, либо со славой ученого, либо со славой ловеласа, либо с дорогими подарками всем родным, либо без последних штанов.

И я свою книгу посылаю в далекий путь по большим городам, в люди. Как она будет вести себя в чужих местах? Изменит ли она своему народу, своей папахе?

Я понимаю, что плохой человек («яман»), сидящий на горе, не превратится в хорошего («якши») оттого, что спустится в долину. Поэтому я прошу того, кто будет переводить мою книгу: если она «яман», пусть останется таковой. Если я хром и слеп, не уводите меня под руки из моего дома, оставьте меня сидеть у моего очага, на моем пороге. Не лудите моей медной посуды, не золотите моего серебра!

**АБУТАЛИБ РАССКАЗАЛ:**

— У меня есть дочка и сын. Дочка воспитанная, дис-

циplinированная, примерная. А сын — сорванец и озорник. О дочке говорят по радио, пишут в газетах, ибо она ударница. На сына же каждый день приходят жалобы то из школы, то из милиции. Про дочь говорят, что ее воспитала школа, пионерская дружина, комсомол, страна. Про сына говорят, что его так дурно воспитал народный поэт Дагестана Абуталиб.

Услышав этот рассказ, я подумал: то же бывает с переводами стихотворений. Если переводы хорошие, хвалят автора, забывая того, кто перевел. Если переводы плохие, ругают переводчика, а имя автора стараются не поминать.

Нет уж, друг-переводчик, и за хорошее и за плохое давай отвечать вместе. У нас теперь одна арба на двоих. Давай ее толкать в гору дружно, а не тянуть каждый в свою сторону. А то и арба и мы вместе с ней не сдвинемся с места.

Удивительное событие произошло как-то у нас. Большая гора вдруг стронулась и поползла вниз. Она остановилась недалеко от аула Мохоx, перегородив горную речку. Отары, чабаны, костры чабанов, шалаши чабанов мирно, без всякого вреда пропутешествовали вместе с горой. Теперь она стоит такая же, как была, но только около подножия ее образовалось озеро, а в озере развелась форель. Никто никогда не ездил на эту гору, пока она стояла на старом месте, а теперь вокруг нее всегда туристы, экспедиции, рыболовы, экскурсии школьников.

Пусть и моя книга пропутешествует в новый для нее язык без вреда. Пусть и она привлечет к себе потом людей, как гора невдалеке от аула Мохоx.

А впрочем, как говорят мусульмане, что на роду написано, тому и быть. Это, наверно, соответствует русской пословице: человек предполагает, а бог располагает. Или еще короче: от судьбы не уйдешь.

**КРИТИК.** О нем писать труднее всего. Будешь ругать, подумают, что недоволен его критическими замечаниями и даже стараешься свести счеты. Будешь хвалить, подумают, что задабриваешь на будущее.

**ОТЕЦ ГОВОРИЛ:** мы с критиком оба поэты. Я пишу стихи, а он пишет о моих стихах.

АБУТАЛИБ СКАЗАЛ одному дагестанскому критику:

— Я делаю вино из винограда, а ты мое вино пробуешь на вкус.

Я воздержусь от высказываний о критике, но несколько советов ему хотелось бы дать.

1. Плохое всегда называй плохим, хорошее называй хорошим.

2. Если похвалишь, то потом не ругай то же самое; если поругаешь, то потом не хвали.

3. Не старайся сделать из мухи слона, но еще менее тщишься превратить слона в муху.

4. Говори о том, что в книге есть, а не о том, чего в ней нет.

5. Не призывай авторитеты, начиная с Белинского, чтобы утвердить и подтвердить свои мысли. Если эти мысли действительно твои, старайся утвердить их собственным разумом.

6. Ясные мысли выражай ясным и понятным языком. Неясные мысли не выражай вовсе.

7. Не будь флюгером, который колеблется вместе с ветром.

8. Не старайся внушить другим то, чего не понимаешь пока что сам.

9. Если у тебя в кармане нет ста рублей, то не приворяйся, будто ты их имеешь.

10. Если ты давно не был в родном ауле и не знаешь, как там идут дела, не утверждай, будто только что возвратился из родного аула.

Эти мои пожелания не новы. Они похожи на первую строку таблицы умножения. Однако если бы каждый критик их добросовестно исполнял, у нашей критики было бы куда больше достижений.

ЧИТАТЕЛЬ. Поговорил я с редактором, с издателем, с переводчиком, с критиком. Хочу сказать теперь несколько слов главному, для кого пишется всякая книга, — читателю.

Читатель, мой друг! У тебя, конечно, есть свои любимые книги. Есть они и у нас — писателей. Говорят, что самая главная книга писателя та, которую он еще не успел написать, но которую обязательно напишет. Не

знаю, насколько это верно для всех других, но для меня — в самую точку.

Да, я давно мечтаю написать книгу о родной земле. Давно я вынашиваю замысел, но написать все никак не мог. Может быть — не хватает таланта, может быть — мешает ежедневная суета, может быть — не хватает терпения, может быть — не хватает смелости.

С годами увеличивается ответственность перед самим собой и перед читателем, и рука не так отважно хватается за перо по каждому поводу. Книга о родной земле — самая ответственная из всех книг.

Книгу эту я еще не написал, но я много думал о ней и теперь хорошо знаю, какой она должна быть. Свои раздумья об этой книге — о главной книге моей жизни — я и решил запечатлеть на бумаге.

Это еще не черкеска, но материал для черкески. Это еще не ковер, но лишь нитки для ковра. Это еще не песня, но лишь то биение сердца, от которого песня должна родиться.

ГОВОРЯТ: если ты даже не молился, но лишь подумал о том, что неплохо бы помолиться, то за одно это не попадешь в ад.

ГОВОРЯТ: кунак кунаку чем богат, тем и рад. Если в сакле у кунака одна только буза, разве гость обидится, что его не угощают заморским вином, которого нет ни в сакле и нигде поблизости?

ГОВОРЯТ: если даже ты не сделал ничего хорошего, спасибо за то, что собирался сделать.

Читатель, мой друг, каждая книга пишется для тебя. Я могу убеждать издателя, могу спорить с редактором, с критиками. Но только твой приговор — настоящий и последний. Он, как говорят судьи, обжалованию не подлежит.

Писатель живет только для встречи с тобой. Всей моей жизни сопутствуют три больших волнения. Сначала я волнуюсь перед встречей с тобой, в ожидании, в предположении, какой эта встреча будет. Потом я волнуюсь во время самой встречи, что естественно и понятно. Наконец, я волнуюсь после встречи, живя воспоминаниями о ней и стараясь себе представить, какое впечатление я произвел.

Я вижу разные лица читателей. Один наморщил лоб. Где же мне взять слова, чтобы разгладить эти морщи-

ны? У другого на лице гримаса, как будто в рот попало что-то неприятное, несъедобное. У третьего выражение скуки — самое страшное, самое безнадежное, что может быть.

**У ГОРЦЕВ СПРОСИЛИ:** зачем вы строите свои аулы далеко, в труднодоступных горах? До вас почти невозможно добраться, да и опасно: эти тропинки над пропастями, эти горные осыпи и обвалы. Горцы ответили: «Хорошие друзья доберутся до нас и по плохим дорогам, пренебрегая опасностями, а плохие друзья нам не нужны».

Читатель, мой друг, мне сорок четыре года. В этом возрасте человеку можно поручать любые ответственные дела. В этом возрасте писатель должен отвечать за каждое свое слово.

Если в моей книге ты увидишь мысль, которая ночевала уже раньше в чьей-нибудь другой книге, выбрось ее из своего сознания, как когда-то в горах выбрасывали невесту после свадебной ночи, если она не сберегла до времени своей чести.

Если в моей книге ты найдешь верную мысль, подчеркни ее. Если же найдешь неверную — подчеркни дважды.

Если же ты обнаружишь хотя бы крупицу лжи, не медли, выбрось всю книгу целиком — она никуда не годится.

Расскажу на прощание еще одну притчу.

**ПРИТЧА О БОГАТОМ ХАНЕ, О ЕГО СЫНЕ И О ХИНКАЛАХ ИЗ КУРДЮКА С ЧЕСНОКОМ.** Некогда жил в Аваристане богатый хан. Трижды женился он в стремлении иметь сына, но ни одна жена не родила ему не только наследника, но даже дочери. Пришлось хану жениться в четвертый раз.

Скоро ли, долго ли, родился у хана сын. Радости не было конца. Били в барабаны, трубили в бубны, плясали, пели. Пировали три дня и три ночи.

Но недолго прожила радость в роскошном ханском дворце. Вскоре сын заболел, и никто не мог определить, что за болезнь. Какие бы колыбельные песни ему ни пели, он не спал. Какие бы яства ему ни давали, он не ел. И все видели, что дни его сочтены. Ни доктора из заморских стран, ни индийские талисманы, ни тибетские



травы не могли излечить единственного наследника. А хан, наверно, не пережил бы его.

И вот пришел к хану простой бедняк из ближнего аула, которого никто не считал за человека. Он заявил, что знает средство и может спасти наследника. Приближенные хана хотели вытолкнуть бедняка, но хан их остановил. «Так и так сын умрет,—подумал хан,—отчего же не попробовать последнего средства».

— Что тебе нужно для того, чтобы спасти моего сына?

— Мне нужно побыть с твоей женой наедине.

— Как? Наедине?! С моей женой! Да ты с ума сошел! Вон с моих глаз!

Бедняк повернулся и пошел, а хан подумал: «Так и так сын умрет. Какой мне будет вред, если он поговорит с моей женой с глазу на глаз».

— Эй, бедняк, воротись, мы передумали. Тебе разрешается говорить с моей женой.

Когда бедняк и ханша остались вдвоем, бедняк спросил:

— Ты хочешь, чтобы твой сын был жив и здоров?

Ханша вместо ответа упала на колени.

— Тогда скажи: кто его настоящий отец?

Глаза ханши забежали из стороны в сторону.

— Не стесняйся, Наш разговор мы унесем в могилу. А иначе сын не выживет.

— Хан очень хотел сына. Я знала, что если не рожу, то меня прогонят, как прогнали уже других. И вот я поехала в горы и спала там с простым молодым чабаном, и после этого родился наследник...

— О высокий хан,—возвестил лекарь после этой беседы.—Я знаю средство, которое спасет твоего сына. С этой минуты его колыбель должна стоять около костра, подобного тому, какой разводят чабаны в горах. Постлать ему в колыбель нужно овечью шкуру, а кормить его нужно только пищей, которую едят твои чабаны.

— Но... они едят хинкалы из жирного курдюка с чесноком. Как же может мой наследник... годовалый ребенок...

Бедняк повернулся и пошел. «Так и так сын умрет»,—подумал хан и велел принести блюдо с хинкалами.

Ханша сама взялась готовить еду. Она готовила хинкалы так, как готовила их тогда в горах молодому бога-

тырю перед той ночью, лучшей из всех ее ночей. Она поставила деревянное блюдо перед сыном так же, как поставила тогда блюдо перед чабаном.

Хинкалы были большие и круглые, как булыжники. Вареные курдюки источали жир. Отдельно в кувшине была подана родниковая горная вода.

Как только запах чеснока и вареного жира коснулся ноздрей наследника, он открыл глаза и поднялся, воспрянул и вдруг обеими ручонками схватил самый большой хинкал. С этого мгновения сила отца начала переливаться в ребенка. Он пожирал хинкалы, как оголодавший лев. Он рос не по дням, а по часам и вскоре превратился в стройного здорового молодца. От болезни, конечно, не осталось и следа.

Может быть, и не было такого случая на самом деле, но я знаю одно: когда литература перестанет питаться пищей своих отцов, а перейдет на иные, изысканные заморские блюда, когда она переменит нравы и обычаи, язык и характер своего народа, когда она изменит им, она захиреет и зачахнет, и не помогут ей никакие лекарства.

На этом, пожалуй, я закончу. Начал в теплое летнее время, а теперь уж зябкая осень. Начал в горном ауле, а точку ставлю в большом многолюдном городе. Ранним утром вывел первую строку, а теперь близится полночь и даже в городе гаснут все огни.

Я возвращаюсь из далекого странствия. Я спешил на краю аула. Я провел коня в поводу по длинной изогнутой улице. Теперь лучше всего расседлать коня и хлопнуть его по шее, отпустить на широкую поляну.

А сам я, пожалуй, присяду у огонька. Пожалуй, достану сигарету и закурю. Говорят, что сам аллах закуривает, когда кончит рассказывать своим приближенным какую-нибудь забавную историю или выскажет очередное нравоучение. Он закурит, затянется и подумает.

Подумаем и мы тоже. Не каждая дорога оканчивается счастливо. Не каждая новая книга выходит удачной. На новом рассвете начну новую книгу, соберусь и в новый путь.

А пока что я устал в пути. Я заворачиваюсь в бурку и ложусь спать. Спокойной ночи, добрые люди! С миром начал, с миром и кончил. Васалам, вакалам. Аминь!

Малым народам нужны  
большие кинжалы.

*Так сказал Шамиль  
в 1841 году*

Малым народам нужны  
большие друзья.

*Так сказал Абуталиб  
в 1941 году*



**книга вторая**







**М**аленьким ключом можно открыть большой сундук — так говорил иногда мой отец. А мать рассказывала разные сказки: «Море большое? Большое. А откуда оно взялось? Маленькая птичка постучала о землю еще более маленьким клювиком — и пробился родник. Из родника натекло огромное море».

А еще моя мать говорила мне, когда набегаясь: «Нужна передышка хотя бы на то время, пока упадет брошенная вверх папаха. Посиди, отдохни».

И народ тоже знает, что, если вспахал одно поле, как бы мало оно ни было, и собираешься пахать другое поле, нужно присесть на меже и посидеть.

Промежуток между двумя книгами — не такая ли межа? Я и прилег на ней, и все ходили мимо, смотрели на меня и говорили: наработался пахарь, уснул.

Межа моя была похожа на долину между двумя аулами или на аул, стоящий на холме между двух долин.

Межа моя была границей между Дагестаном и всем остальным миром. Лежал я на своей меже, но не спал.

Я лежал, как лежит старый лис с седой остью, когда неподалеку пасется выводок куропаток. Один мой глаз был наполовину прикрыт, а другой наполовину открыт. Одно мое ухо лежало на лапе, а на другое я положил лапу. Эту лапу я временами незаметно приподымал и прислушивался. Дошла ли моя первая книга до людей? Прочитали они ее? Говорят они о ней? Что говорят?



Аульский глашатай, что выкрикивает с высокой крыши разные объявления, не прокричит нового объявления, пока не убедится, что предыдущее было услышано людьми.

Если горец, идя по улице, увидит, что из какого-ни-



будь дома гость вышел хмурый, сердитый, злой, разве он пойдет в этот дом?

Лежал я на меже между книгами и слышал, что первую книгу люди приняли по-разному.

Да оно и понятно: один любит яблоки, другой лю-

бит орехи. С яблока во время еды срезают кожу, а орех приходится расколоть. Из арбуза и дыни надо вычислить семечки. Так и к разным книгам нужен разный подход. Нельзя подступаться со столовым ножом к ореху, для которого требуется колотушка. И нельзя подступаться с колотушкой к нежному, душистому яблоку.

Каждый, читая книгу, находит в ней свои недостатки. Что ж, недостатков не лишена, говорят, даже дочь муллы, а уж про мою книгу и говорить нечего.

Тем не менее кончилась моя передышка, начинаю писать вторую книгу. Для скольких читателей я ее пишу, я не знаю. Тираж ни о чем ведь не говорит. Есть книги, выпущенные тиражом в сто тысяч, а никто их не читает, и они лежат на полках в магазинах и библиотеках. В другом случае один экземпляр книги переходит из рук в руки и прочитывается многими людьми. Не надо мне ни того, ни другого. Пусть мою книгу прочитает хотя бы один человек, и я буду рад. Я хочу рассказать этому человеку о моей маленькой, простой и гордой стране. Где она находится, на каком языке говорят ее жители, о чем они говорят, какие песни они поют.

Всего я не смогу рассказать. Старики нас учили: «Обо всем могут рассказать только все. А ты расскажи о своем, тогда и получится все. Каждый построил только свой дом, а в результате получился аул. Каждый вспахал только свое поле, а в результате вспаханной оказалась вся земля».

И вот я встал рано утром. Сегодня день моей первой борозды. Новой борозды нового поля. В такой день, по древнему обычаю, должно находиться на столе семь предметов, начинающихся с одной и той же буквы. Я оглядываю свой стол и нахожу эти семь предметов. Вот они:

1. Кагъат — бумага (чистая).
2. Карандаш (остро заточенный).
3. Карточка (моей матери).
4. Карта (моей страны).
5. Кофе (черный, крепкий).
6. Коньяк (дагестанский, пять звездочек).
7. «Казбек» (папиросы).

Если теперь не напишу книгу, когда же напишу?

Очаг разгорелся. Котел, подвешенный над огнем, закипает. На улице сквозь мелкий, редкий дождичек за-



светилось солнце. Говорят, в такой день все звери в горах танцуют на семицветной радуге, словно канатоходцы. Когда выпадали такие дни, мать говорила, что небо сшито из дождевых ниток, а иголками были солнечные лучи.

Сегодня в горах весна, первый день весны. Она, как и я, начинает первую борозду.

— Скажи, дагестанская весна, какие семь подарков есть у тебя, чтобы все они начинались с одной буквы?

— Есть у меня такие подарки,— отвечает весна,— преподнес их мне Дагестан. Я буду называть, а ты считай, загибая пальцы.

1. Ца — огонь. Для жизни. Для любви и ненависти.

2. Цар — имя. Для чести. Для отваги. Для того, чтобы позвать человека.

3. Цам — соль. Для вкуса жизни, для меры жизни.

4. Цва — звезда. Для высоких стремлений и надежд. Для светлых целей и прямого пути.

5. Цум — орел. Для примера, для образца.

6. Цімур — звонок, колокол. Чтобы собрать всех в одно место.

7. Цалкы — сито, решето. Чтобы отделить и отсеять полновесные зерна от никчемной и легкой шелухи.

Дагестан! Эти семь вещей — семь ветвей на твоём коренастом дереве. Раздай все своим сыновьям, подари и мне. Хочу быть огнем и солью, орлом и звездой, колоколом и ситом. Хочу иметь честное имя.

Смотрю вверх и вижу небо, сотканное из солнца и дождя, из огня и воды. Мать всегда рассказывала, что из огня и воды был сотворен во время сна сам Дагестан.

## ● ОТЕЦ И МАТЬ. ОГОНЬ И ВОДА

— С огнем не шути! — говорил мой отец.

— В воду камни не бросай,— просила мама.

Разные люди по-разному вспоминают своих матерей. Я ее помню утром, днем и вечером.

Утром она с кувшином, полным воды, возвращается с родника. Несет она воду как что-то самое драгоценное. Поднялась по каменным ступенькам, опустила

кувшин на землю, начинает разжигать огонь в очаге. Разжигает она его как что-то самое драгоценное. Глядит на него не то с опаской, не то с восхищением. Пока огонь разгорается как следует, мать качает люльку. Качает она ее как что-то самое драгоценное. Днем мать берет пустой кувшин и идет к роднику за водой. Потом разжигает огонь, потом качает люльку. Вечером мать приносит воду в кувшине, качает люльку, разжигает огонь.

Так делала она каждый день весной, летом, осенью и зимой. Делала неторопливо, важно, как что-то самое нужное, драгоценное. Идет за водой, качает люльку, разжигает огонь. Разжигает огонь, идет за водой, качает люльку. Качает люльку, разжигает огонь, идет за водой. Так я вспоминаю свою маму. Идя за водой, она всегда говорила мне: «Посмотри за огнем». Хлопоча с огнем, наказывала: «Не опрокинь, не пролей воду». А еще говорила, убаюкивая меня: «Отец у Дагестана — огонь, а мать — вода».

Наши горы и правда похожи на окаменевший огонь. Итак, поговорим об огне.

О камень камнем ударь — вспыхнет искра огня.  
 Скалу со скалой столкни — вспыхнет искра огня.  
 Ладонь о ладонь ударь — вспыхнет искра огня.  
 Слово со словом столкни — вспыхнет искра огня.  
 Пальцами на зурне сыграй — вспыхнут искры огня.  
 В глаза зурнача и певца погляди — увидишь искры огня.

Даже папаха горца, сшитая из шкурки ягненочка, отливает искрами огня, особенно если ее погладишь.

Когда горец в такой папaxe выходит на свою крышу, на соседней горе начинают таять снега.

И сам снег искрится огнем. И рога тура, остановившегося на рассветном гребне горы, отсвечивают огнем. И закатные скалы плавятся в красном огне.

Огонь и в словах горской пословицы, и в слезе горянки. На конце винтовочного ствола и на лезвии кинжала, выхватываемого из ножен. Но самый добрый и самый теплый огонь — в сердце матери и в очаге каждой сакли.

Когда горец хочет сказать о себе хорошее или попросту похвалиться, он говорит: «Ни к кому еще не приходилось мне ходить за огнем».

Когда горец хочет сказать о каком-нибудь нехорошем, неприятном человеке, он говорит: «Дым, выходящий из трубы, не больше крысиного хвоста».

Когда ссорятся две пожилые горянки, одна кричит: «Да не загорится огонь в твоём очаге». «Да потухнет у тебя в очаге и тот огонь, который уже горит»,— отвечает другая.

Желая сказать о храбрце, говорят: «Это не человек, а огонь!»

Выслушав холодные и скучные стихи одного молодого человека, мой отец сказал: «Все в стихах как будто бы есть. Может же так быть, что есть сакля, есть очаг, есть дрова, есть котел, есть даже мясо в котле. Но огня нет. В сакле холодно, в котле не кипит, мясо невкусно. Нет огня—нет и жизни! Итак, твоим стихам нужен огонь!»

У Шамиля однажды спросили: «Скажи, имам, как могло случиться, что маленький полуголодный Дагестан веками мог сопротивляться могущественным государствам и устоял против них? Как мог он целых тридцать лет бороться с всесильным белым царем?»

Шамиль ответил: «Дагестан никогда бы не выдержал такой борьбы, если бы в груди его не горело пламя любви и ненависти. Этот огонь и творил чудеса и совершал подвиги. Этот огонь и есть душа Дагестана, то есть сам Дагестан.

Я сам кто такой,—продолжал Шамиль.—Сын садовника из далекого аула Гимры. Я не выше ростом и не шире в плечах, чем другие люди. В детстве я и вовсе был хилым и слабым мальчиком. Глядя на меня, взрослые качали головами и говорили, что долго не протяну. Сначала я носил имя Али. Но когда я хворал, это имя заменили Шамилем, надеясь, что вместе со старым именем уйдет и моя болезнь. Я не видел большого мира. Я не воспитывался в больших городах. Я не был обладателем большого добра и богатства. Учился я в медресе в своем ауле. Родители, навьючив осла, послали меня на темир-хан-шуринский базар продать гимринские персики. Долго я ходил вместе с ослом по каменистым горным тропинкам. И вот что однажды произошло. Давно это было, но я не забываю, да и не хочу забывать. Поэтому что в эту минуту проснулся мой дух—мой огонь. В эту минуту я и стал Шамилем.

Неподалеку от Темир-Хан-Шуры, на краю одного аула, меня встретили юноши-озорники, которым вздумалось посмеяться надо мной. Один схватил папаху с моей головы и отбежал с ней. Другие, пока я догонял обидчика, начали развешивать моего осла, снимать с него корзины с фруктами. Все они хохотали и развлекались моим беспомощным и растерянным видом. Не понравились мне их шутки, и незнакомый доселе огонь вспыхнул во мне. Я выхватил из ножен мой кинжал с белой костяной рукояткой. Того, кто убежал с моей папхой, я догнал у ворот аула. Свалив его в грязную канаву, я приставил острие кинжала к его горлу, и он запросил пощады.

— А ты не шути с огнем.

Оставив шутника в грязной канаве, я оглянулся. Те, что рассыпали мои персики, разбежались в разные стороны. Тогда я поднялся на крышу и крикнул:

— Эй, вы! Если не хотите обжечь свои животы об огонь моего кинжала, сделайте все как было.

Шутники не заставили меня дважды повторять мои слова.

В тот же день на базаре я слышал, как старики говорили: «Об этом юноше мы еще услышим».

А я надвинул на брови свою папаху и, понукая моего доброго ослика, отправился дальше. Разве я хотел шума и драки? Они сами вывели меня из терпения, высекли из сердца огонь.

Потом прошли годы. Однажды утром я работал в саду. Засучив рукава, таскал снизу на скалу чернозем и рассыпал его вокруг каждого деревца. Таскал землю я старой папхой. К этому времени уже несколько раз было на моем теле. Я их получил в разных схватках. И вот приходят ко мне люди, наши горцы из других аулов, даже очень дальних, и говорят, чтобы я седлал коня и надевал оружие. Мне не хотелось вооружаться, я отказывался, потому что садоводство любил больше, чем войну.

Тогда посланцы аулов мне сказали.

— Шамиль! Чужие кони пьют из наших родников, чужие люди задувают наши светильники. Сам сядешь на коня или мы поможем тебе?

И загорелся в моей груди огонь, как в тот раз, когда меня обидели юноши, сорвав папаху с моей головы и

рассыпав персики. Подобный тому и даже жарче. Я забыл про свой сад, я забыл про все. Ни дождь, ни ветер, ни стужа не могут погасить огонь, который вот уже двадцать пять лет носит меня по горам. Пылают аулы, дымятся леса, огонь сверкает сквозь дым во время сражений, пылает весь Кавказ. Вот что такое огонь!»

Рассказывают, что в давние времена, если враги пересекали границу Дагестана, то на самой высокой горе разжигали огонь высотой с башню. Увидев его, все аулы разжигали свои костры. Это и был тот стремительный клич, который заставлял горцев садиться на боевых коней. Из каждого дома выезжали всадники, из каждого аула выезжал готовый отряд... Конные и пешие выходили на зов огня. Пока пылали костры на горах, старики, женщины и дети, оставшиеся в аулах, знали, что враг все еще находится в пределах Дагестана. Костры затухали — тогда, значит, миновала опасность и мирные дни снова приходили на землю отцов. За долгую историю много раз приходилось горцам разжигать сигнальные огни на вершинах гор.

Эти огни были и боевыми знаменами и приказами. Они заменяли горцам современную технику: радио, телеграф, телефон. На склонах гор и сейчас видны безлесые места, словно там лежат гигантские буйволы.

Горцы говорят, что самое надежное место для кинжала — ножны, для огня — очаг, для мужчины — дом. Но если огонь вырвется из очага и запылает на вершине горы, то кинжал, покоящийся в ножнах, — не кинжал и мужчина, сидящий у домашнего очага, — не мужчина.

У дагестанских чабанов обязанности распределены очень строго. Одни пасут овец днем, другие занимают их место ночью и берегут отару от волков. Но есть среди них человек, который не занимается ни овцами, ни волками. Он обязан хранить и поддерживать огонь, он — хранитель огня. Еще его называют огнехранителем, огнедержателем. Нельзя сказать, что это специальность, что один человек только и делает что бережет огонь. Но перед наступлением ночи чабаны обязательно выбирали такого человека и поручали и доверяли ему огонь.

Нужное и трудное дело! От огня зависит и приготовление пищи, и тепло, и сухая одежда, и свет, и беседа, и курение, столь необходимое при степенной мужской беседе.

В чабанских шалашах нет очагов. Огонь живет на улице и требует особенных хлопот и забот. Ладонями, папашой, полрой бурки приходится загоразивать огонь от непогоды: от дождя, от снега, а то и от снежной бури.

Но разве нельзя назвать хранителями огня и храбрецов, поэтов, песельников, сказителей, танцоров и музыкантов? Их много у нас, кто носит в своем сердце, бережет и передает другим извечный огонь, огонь поэзии, огонь преданий, огонь любви к Отчизне.

Чувствую и в своем сердце искру этого вечного огня. Вижу и свой долг в том, чтобы не дать потухнуть этой искре. Разжечь ее, заставить светить и греть, и чтобы идущий вслед за мной принял ее от меня и понес дальше.

Огонь в своей груди надо беречь так же, как самого себя бережешь от внешнего, обыкновенного буквально огня.

Во время праздника в ауле после песни всегда идет шутка, после музыки и танца — разговор. После возвышенных слов об огне расскажем о том, как искали у нас в Дагестане снежного человека.

Я сам свидетель той огромной потехи, которую доставили горцам некие научные работники, приехавшие искать каптара, то есть снежного человека.

Аварцы им сказали: «Поезжайте к даргинцам, может быть, у даргинцев живет тот, кого вы ищете».

Даргинцы, в свою очередь, послали их к лакцам, лакцы — к лезгинам, лезгины — к кумыкам, кумыки — к ногойцам, в степь, ногойцы — к табасаранцам, закружились ученые по всему Дагестану. Измученные, остановились они в ауле Кикунь, где живет, между прочим, наш великан Осман Абдурахманов. Возможно, некоторые из читающих эти строки видели Османа в фильме «Остров сокровищ». Там он хватает сразу трех человек и швыряет их с палубы в океан.

Случилось, что автомобиль с учеными застрял в маленькой речке близ аула Кикунь. Ученые толкали машину взад и вперед, но ничего не получалось.

Осман в это время сидел на крыше своей сакли. Увидел он, как беспомощны люди, копошащиеся около машины, спустился на землю и медленной великаньей походкой подошел к ним. Он взял машину, поднял ее, как таракана, не умеющего выбраться из глиняной миски, обмазанной скользким салом, и перенес на сухое место.

Ученые зашептались, зашушукались между собой, как видно, начали сомневаться: не снежный ли человек пришел к ним на выручку? Но Осман понял их разговор и сказал:

— Напрасно вы ищете. Мы, горцы, сделаны не из снега, а из огня. Если бы не огонь был во мне, как бы я вытащил из грязи вашу машину?

После этого он спокойно скрутил папиросу, неторопливо достал огниво, разжег трут, прикурил и выпустил изо рта целое облако дыма. Только тогда вместе с дымом вылетел из широкой груди Османа громоподобный смех. Так грохочет обвал в горах, так гремит вода, ворочая камни, так сотрясает горы землетрясение.

Абуталиб, услышав эту историю, добавил: «Не могут не застрять в грязи машины людей, занимающихся таким пустым делом».

В Индии я побывал на празднике огня. Как хорошо, что бывают у людей такие праздники! Мне подарили там зажженный светильник, и я увез его в Дагестан как привет далекой страны моему каменистому краю. Мы ведь часто говорим: пламенный привет! Передайте им пламенный привет! Может быть, были времена, когда люди вместо приветов, выраженного в слове, посылали огонь, пламя. Мирное пламя. Не пламя пожара и войны, но пламя очага, пламя тепла и света.

У нас есть обычай: вечером первого зимнего дня (а иногда также вечером первого весеннего дня) горные аулы разжигают на скалах приветственные костры. По одному костру на аул. Костры далеко видны. Через ущелья, через пропасти и скалы аулы поздравляют друг друга с наступлением зимы или весны. Огненные приветов, огненные пожелания! Я сам много раз разжигал такой костер на утесе Хамирхо, что склонился над аулом Цада.

Не случайно первый завод в Дагестане называли «Дагестанские огни». Теперь к кострам прибавилось много нового света. Птицы сидят на столбах, несущих электри-

чество так же просто, как на деревьях. Голуби не боятся электрических лампочек, горящих над скалами.

Однажды я видел, как горело Каспийское море. Целую неделю волны не могли потушить его. Это было недалеко от города Избербаша. Когда же огонь начал затухать и постепенно потух, это напоминало картину тонущего корабля.

Море может погаснуть, но огонь, горящий в груди Дагестана,— никогда. Разве огонь, горящий в груди человека, боится воды? Он даже ищет воды, он даже просит воды. Иссохшие, истрескавшиеся, опаленные сожженные внутренним огнем губы разве не шепчут: «Воды, воды?!»

Значит, вода и огонь сопутствуют друг другу.

Моя мама любила говорить: очаг — это сердце дома, а родник — сердце аула.

Горы просят огня, а долины просят воды. Дагестан — это и горы, и долины, он просит и огня и воды.

Если человек, выходя в путь или возвращаясь домой, глядится, словно в зеркало, в родник на краю аула, значит, этот человек в сердце носит любовь, огонь. Так говорит поверье.

Но весь Дагестан не глядится ли в светлое зеркало Каспийского моря? Не похож ли он на статного горячего юношу, только что вышедшего из воды?

Склонился мой Дагестан над Каспием, будто горец над родником, и поправляет свой наряд, подкручивает усы.

Горское проклятье гласит: «Пусть подохнет конь у того человека, который опоганил родник». И еще: «Пусть высохнут все родники вокруг твоего дома». А вот похвала горцев: «Должно быть, хороший народ в этом ауле: родник и кладбище держат в порядке, в чистоте».

Много родников и колодцев вырыто у нас в честь павших людей, они даже носят их имена: родник Али, родник Омара, колодец Хаджимурата, родник Махмуда.

Когда утром и вечером с кувшинами на плечах девушки идут к родникам, юноши тоже приходят сюда, чтобы выглянуть и выбрать себе невесту. Сколько любовных чувств загорелось около родников, сколько будущих семейных уз завязалось здесь!

Ты не знаешь, о ком песня моя сложена?

Подойди к роднику, сам увидишь, о ком она.



Так написал наш поэт Махмуд.

Однажды по дороге в горы я остановился у Гоцатлинского родника. Вижу, путник наклонился и горстями пьет светлую воду, приговаривая:

— Ах, благодать!

— Возьмите кружку,— предложил я ему.

— Я в перчатках не ем,— ответил путник.

Отец любил говорить: нет музыки слаще шума дождя и шума реки. Никогда не устанешь слушать и глядеть на текущую воду.

Весной, когда в горах начинают таять снега, моя мать могла часами глядеть на мчащиеся в долину ручьи. Еще зимой начинала готовить она кадушки, чтобы летом ставить их под желоба и собирать дождь.

И у меня самым любимым занятием было шлепать босиком по дождевым лужам. Не боясь дождя, мы делали запруды, преграждая ручьям дорогу и заставляя их собираться в прудики.

Представляю, какое наслаждение испытывают птицы, когда пьют дождевую воду из каменных чаш.

Шамиль говорил своим бойцам: «Пусть враг взял уже весь аул, захватил все наши поля. Но родник еще у нас, мы победим».

Суровый имам при нападении вражеского отряда приказывал прежде всего защищать аульский родник. Нападая на противника, он приказывал захватить в первую очередь родник.

Раньше, если кровник обнаружит своего кровника купающимся в реке, он не тронет его до тех пор, пока тот не выйдет из воды, не наденет оружия.

Но чаще я вспоминаю другой, совсем мирный обычай, связанный тоже с водой. Называется этот обычай «дождевой ослик».

«В полдневный жар в долине Дагестана» — это написано не зря. Жесток и иссушающ бывает у нас полдневный жар. Трескается земля, от скал пышет, как от раскаленных печей. Никнут деревья, засыхают поля. Все тоскуют по небесной воде, по дождю: растения, птицы, овцы и, конечно, люди. Тогда берут аульского мальчика и наряжают его, словно какого-нибудь индейца, в одежду из разных поблекших на солнце трав. Это и есть «дождевой ослик». На веревке водят его по аулу такие же дети, как и он сам, распевая песню-молитву:

Господи, господи, дождик нам пошли,  
 Пусть вода польется от неба до земли!  
 Заурчит, забулькает в наших желобах,  
 Дождика, дождика нам пошли, аллах!  
 Выходите в небо, тучи, облака,  
 Лейся, лейся с неба, дождик, как река!  
 Вымоется чисто добрая земля,  
 Вновь зазеленеют добрые поля!

Взрослые жители аула высыпают на улицу, подбегают к «дождевому ослику», обливают его водой, кто из кувшина, кто из таза и, вторя детской песенке, говорят «Аминь, аминь!»

Один раз и я был «дождевым осликом». На меня вылили столько воды, что, право, хватило бы на половину дождя.

Но небеса редко внимали нашим песенкам. Солнце продолжало палить. Оно утюжило наш Дагестан, словно горячим утюгом. Солнце порождало печаль. Мы так и звали его — печальное солнце. И лежала земля под печальным солнцем сотни, тысячи лет. Если взять Европу, то больше всего солнечных дней падает на дагестанский аул Гуниб. И мой аул Цада тоже не уступает ему. Да и другие аулы. Не зря их называют «жаждущими воды».

Вспоминаю усталое лицо матери, когда она возвращалась с кувшином воды на спине и с кувшинчиком воды в руке. В трех километрах от аула была вода.

Вспоминаю радостное лицо матери, когда шел дождь, когда земля становилась мокрой, а по желобам урчала вода и кадки, стоящие под желобами, были полны — вода из них переливалась через край.

Вспоминаю старую, согбенную аульчанку Хабибат. Каждое утро с киркой на плече уходила она за пределы аула и то тут, то там начинала ковырять землю. У нее была мания найти воду, и она постоянно искала ее.

Все знали, что она старается напрасно, но никто ничего ей не говорил, только я, несмышленный мальчишка, однажды сказал:

— Напрасно ты стараешься, тетушка Хабибат, напрасно работаешь, здесь нет никакой воды.

Мой отец сильно на меня рассердился.

— Но там и правда нет никакой воды.

— Бывает, что у людей нет хлеба. Но разве можно

над этим смеяться? Запомни, сын мой: нельзя смеяться над бедностью и над теми, кто ищет воду.

— Но ты и сам написал веселые стихи о том, как инквачулинцы пытались увеличить мост, чтобы к ним больше притекало воды.

— Это смех сквозь слезы. Молодым этого не понять. Ты еще не знаешь, что такое для Дагестана вода. Какой должна быть мечта у тетушки Хабибат, чтобы искать воду там, где ее нет. Но лучше помолчи — идет дождь.

В это время действительно шел мелкий, шуршащий дождь.

— Птицы, что молчите вы с рассвета?

— Дождь идет, мы слушаем его!

— Почему молчите вы, поэты?

— Дождь идет, мы слушаем его!

*Перевел Н. Гребнев*

Отец всегда говорил, что самым радостным днем в его жизни был день, когда в аул пришла вода по трубам с далекой горы. До этого каждый день вместе со всеми отец работал киркой, строя водопровод. Я хорошо помню этот день воды. Когда вода потекла, отец запретил бросать в нее даже цветы.

Аульцы выбрали столетнюю женщину для того, чтобы она наполнила первый кувшин. Старая горянка набрала воды и первую кружку из своего кувшина поднесла моему отцу.

Награжденный орденами и премиями, отец сказал, что такой драгоценной награды он не получал никогда. В тот же день он написал стихи о воде. Он обращался к птицам, чтобы они больше не хвалились, что и мы, горцы, теперь пьем воду не хуже их. Он говорил, что на всех свадьбах и праздниках не слышал мелодии чище и слаще, чем журчанье воды. Он уверял, что ни один иноходец, ни одна молодая кобылица не обладают такой плавной походкой, как женщина, идущая теперь за водой. Он благодарил кирку и лопату, водопроводные трубы и революцию. Он вспоминал время, когда зимой около очагов растапливали снег, чтобы сделать запас воды; тогда от постоянных тяжелых кувшинов преждевременно горбились наши горянки. Да, это был для отца великий день!

Вспоминаю также июльскую жару в Махачкале. Отец тяжело болен, окружен докторами и лекарствами. Он говорит: «Тяжело мне. Десятки щипцов и клещей тянут мое тело в разные стороны».

Лекарства он уже не пил, считая, что пить их и поздно и бесполезно. Даже подушку не давал нам поправить, не видя в этом никакой пользы. Когда же ему стало совсем плохо, он подозвал меня и сказал:

— Есть одно лекарство. От него мне станет лучше.

— Какое?

— В ущелье Буцраб маленький колодец... Родник... Я сам открыл... Оттуда глоток воды...

На другой день горянка в кувшине привезла воду из этого родника. Отец отпил, закрыв глаза.

— Спасибо тебе, мой доктор.

Мы не стали переспрашивать, кого он имел в виду: воду, горянку, родник в далеком ущелье или всю родную землю, породившую этот родник.

Мама говорила мне: каждый должен иметь свой заветный родник. Она говорила также, что жница никогда не устанет, если вблизи поля журчит холодный родник.

Живет в преданиях молва, что еще в молодости Шамиль и его учитель Кази-Магомед были окружены врагами в Гимринском ущелье, в боевой башне. Шамиль прыгнул вниз на вражеские штыки и кинжалом расчистил себе дорогу. Девятнадцать ран получил он тогда, но все-таки ушел, убежал в горы. Горцы считали, что он погиб. И когда он появился в ауле, его мать, успевшая уже одеться в траур, спросила с удивлением и радостью:

— Шамиль, сын мой, как же ты выжил?

— Набрел в горах на родник, — ответил Шамиль.

А когда горцы услышали, что их имам, их старый Шамиль, умер в Аравийской пустыне, упав с верблюда, то они говорили, сидя в аулах на своих порогах:

— Не оказалось поблизости дагестанского родника.

В Нухе я был на могиле Хаджи-Мурата, видел надгробный камень и надпись на нем: «Здесь похоронен лев Дагестана». Видел я и отсеченную голову этого льва.

— Как же ты, голова, лишилась тела?

— Запуталась, заплуталась на дороге к Дагестану, к родине, роднику.

Мой аул расположился у подножия горы. Перед ним ровное плато, на котором вдали виднеется крепость Хунзах. Со всех сторон на почтительном расстоянии окружают крепость аулы. Во все стороны ощерилась она амбразами и бойницами: угрожает, сдерживает, глядит. Из амбразур частенько вылетали пули в беспокойных и непокорных горцев. Не раз вспархивали и тревожно кружились от ее выстрелов голуби в моем ауле Цада. «У кого самый опасный взгляд и самый громкий голос? — спрашивали горцы. — У Хунзахской крепости».

Но к моим временам грозность Хунзаха осталась только в легендах да пересказах. Через ее амбразуры мы, школьники, кидали друг в друга яблочными огрызками либо снежками. А то еще трубили в пионерские трубы (горны), заставляя, впрочем, тоже вспархивать голубей в окрестных скалах. Да в Хунзахе помещалась школа, в которой я учился семь лет.

Куда бы я ни ездил теперь, где бы ни находился, сквозь гремящие симфонии, сквозь танцевальные ритмы я слышу серебристую музыку моего детства, веселый звон школьного колокольчика, особенно веселый, когда он оповещал окончание урока. Он и сейчас слышится мне и зовет уже не в коридор, не на улицу, не вон из школы, а, напротив, в школу, в класс, в общежитие.

В нашем классе нас было тридцать. Один раз в месяц каждый из нас освобождался от уроков и становился водносом. За провинность могли поставить на эту работу и на два дня. Впрочем, я и без провинности всегда таскал воду два дня подряд, потому что мой друг и сменщик Абдулгапур Юсупов всегда заболел, как только подходила его очередь. Помнится, мои дни падали на 7—8 число каждого месяца.

Родник находился за пределами крепости. Туда идти было легко: во-первых, пустое ведро, во-вторых, по тропе, круто сбегавшей вниз. Нетрудно догадаться, что на обратном пути все резко менялось. К тому же, орава школьников ждала меня в узком закоулке, вооруженная алюминиевыми кружками. Им хотелось пить. Они бросались к моему ведру, половину вычерпывали, половину расплескивали: легко ли было от них отбиться. А я обязан был донести воду до школы.

Много легенд существует об этом роднике. Вот одна из них, как мне рассказал ее мой отец.

Стены крепости испещрены пулями. На ее башнях много раз сменяли друг друга то зеленые, то красные знамена. В дни гражданской войны крепость то и дело переходила из рук в руки: то белые захватят, то красные отобьют, то в ней засядет Гоцинский, то партизаны Муслима Атаева. Партизаны шесть месяцев защищали крепость от врагов. Но каждый день на два часа прекращалась стрельба. В эти часы жены защитников крепости уходили за ее стены по воду. Однажды полковник Алиханов сказал полковнику Джафарову:

— Давай не пустим женщин к роднику. Пусть отряд Атаева подохнет от жажды.

Полковник Джафаров ответил:

— Если мы будем стрелять в женщин, идущих за водой, то весь Дагестан отвернется от нас.

Так, пока женщины не возвращались с родника, обе стороны соблюдали негласное перемирие...

Когда моей, больной тогда, матери сказали, что ее сыну присудили Ленинскую премию, она вздохнула и ответила: «Хорошая весть. Но я бы обрадовалась больше, если бы услышала, что сын помог бедному человеку или сироте. Пусть отдаст эти деньги для проведения воды в какой-нибудь жаждущий аул. И люди похвалят. Его отец, когда получил премию, отдал все деньги на то, чтобы искали новые родники. Где родник, там и тропинка, где тропинка, там дорога. А дорога нужна всем и каждому. Без дороги человек не найдет свой дом, скатится в пропасть».

Мой отец всегда повторял, что я родился в тот год, когда в Дагестане прорывали первый канал. Его прорыли от Сулака до Махачкалы. «Без воды нет жизни» — этот лозунг, написанный на фанерном листе, несли с собой строители канала.

Вода! Вот сочатся скалы, словно их выжимает чья-то могучая рука. Вот потоки стремительно мчатся с гор, прыгают через камни, бросаются со скал, ревут в теснинах, словно раненные звери, резвятся на зеленых долинах, словно ягнята.

Четырьмя серебряными поясами опоясан мой Дагестан, четырьмя Койсу. Как родных сестер встречают их

Сулак и Самур. А потом все они — дагестанские реки — обнимают море.

Огонь и вода — судьба народов, огонь и вода — отец и мать Дагестана, огонь и вода — хурджун, в котором лежит все наше добро.

К престарелым и одиноким людям у нас в Дагестане приходят юноши и девушки, чтобы помочь сделать что-нибудь по дому, по хозяйству. Что же они делают в первую очередь? Рубят дрова для огня и приносят в кувшинах воду. Черные вороны каким-то чутьем знают, в которой сакле потух очаг, они тотчас слетаются и начинают каркать.

Огонь и вода — вот две подписи, два символа, которые стоят под соглашением о сотворении Дагестана.

Половина дагестанских сказок — о смелом юноше, который убил дракона и принес огонь, чтобы в ауле было тепло и светло.

Вторая половина дагестанских сказок — о мудрой девушке, которая хитростью усыпила дракона и принесла воду, чтобы в ауле напились люди и чтобы оросились поля.

Драконы, умерщвленные смелым юношей и мудрой девушкой, превратились в горы, в коричневые каменные горные хребты.

Даг — означает гора, стан — означает страна. Дагестан — стран гор, страна-гора, горная страна, гордая страна — Дагестан.

Как ребенок, что учится читать по складам,  
Лепетать, повторять, говорить не устану:  
Да-ге-стан, Да-ге-стан,

Кто и что? Дагестан.  
А о ком? Все о нем.  
А кому? Дагестану.

Немало драконов пришлось победить маленькому народу, чтобы всегда иметь огонь и воду. Реки теперь дают свет, вода превращается в огонь. Два изначальных символа сливаются в один.

Очаг и родник — самые дорогие для горца слова. О смелом человеке скажут: «Не человек, а огонь». О бездарном, никчемном человеке скажут: «Потухшая лампа». О плохом человеке скажут: «Он из тех, кто способен плюнуть в родник».

Поднимая чашу с вином, скажем и мы:

Слава тем, кто воспеть по достоинству смог  
И очаг и родник — два великих начала.  
Трижды слава, кто сам хоть лучинку зажег,  
У кого под лопатой вода зажурчала.

Старый горец спрашивал молодого:

— Видел ли ты в своей жизни огонь, прошел ли через него?

— Я бросался в него как в воду.

— Да приходилось ли тебе знать, что такое ледяная вода, приходилось ли бросаться в нее?

— Как в огонь.

— Ну тогда ты уже взрослый горец. Седлай коня, беру тебя в горы.

Поссорившись, один горец говорил другому:

— Разве дым над моей крышей тоньше, чем над твоей? Разве я ходил к кому-нибудь занимать воду? Если ты так считаешь, пойдем вон за ту скалу, там поговорим с глазу на глаз.

А на дверях я видел надпись: «Огонь в очаге горит, входите, гости». Как жалко, что нет у Дагестана таких ворот, на которых можно было бы написать эти слова: «Огонь в очаге горит, входите, гости».

Огонь и правда горит. Не ради шутки, не ради красного словца приглашаем вас: не стесняйтесь, входите, горит огонь в очаге и светла вода в родниках, милости просим!

## ● дом

**А**варское слово «ригъ» имеет два разных значения: «возраст» и «дом». Эти два значения для меня сливаются в одно. Возраст — дом. Достиг возраста, должен иметь свой дом. Если произнести эту пословицу по-аварски (а у нас есть такая пословица), получается непереводаемая игра слов: «ригъ — ригъ», возраст — дом.

Ну что ж, Дагестан давно уж, надо полагать, достиг зрелого возраста, поэтому у него есть законное и твердое место под солнцем.

Я часто спрашивал у матери:

— Где Дагестан?



— У тебя в колыбели,— отвечала мудрая мать.

— Где твой Дагестан? — спросили у одного андийца. Андиец растерянно оглянулся вокруг.

Этот холм — Дагестан, эта трава — Дагестан, эта река — Дагестан, этот снег на горе — Дагестан, это облако над головой, разве оно не Дагестан? Тогда и солнце над головой разве не Дагестан?

— Мой Дагестан — везде! — ответил андиец.

В 1921 году, после гражданской войны, аулы наши были разорены, люди голодали и не знали, что будет дальше. Тогда-то делегация горцев и отправилась к Ленину. В кабинете у Ленина посланники Дагестана, ничего не говоря, начали разворачивать большую карту мира.

— Зачем вы принесли эту карту? — удивился Ленин.

— У вас много забот о разных народах, вы не можете запомнить кто где живет, а мы хотим показать, где находится Дагестан.

Но сколько ни искали горцы, не могли найти родной край, заплутались на большой карте, потеряли маленький уголок земли. Тогда Ленин сразу, не задумываясь, показал горцам на карте то, что они искали.

— Вот это и есть ваш Дагестан,— и весело рассмеялся.

«Да, голова»,— подумали горцы и рассказали Владимиру Ильичу, как до этого они были у наркома и тот все допытывался у них: где же находится Дагестан? Сотрудники наркома строили разные предположения. Один говорил, что это где-то в Грузии, другой — в Туркестане. Один даже утверждал, что именно в Дагестане воевал с басмачами.

Ленин рассмеялся еще больше:

— Где, где, в Туркестане? Поразительно. Бесподобно.

Тотчас он снял трубку и разъяснил этому наркому, где находится Туркестан, а где Дагестан, где басмачи, а где мюриды.

В комнате Ленина, в Кремле, и до сих пор висит большая карта Кавказа.

Теперь Дагестан — республика. Мал он или велик, не имеет значения. Такой как нужно. У нас-то в стране теперь, пожалуй, никто не скажет, что Дагестан находится в Туркестане, но в какой-нибудь далекой стране приходилось мне вести разъяснительные разговоры вроде этого:

- Откуда вы к нам приехали?
- Из Дагестана.
- Дагестан... Дагестан... Это где же такое?
- На Кавказе.
- На востоке или на западе?
- На берегу Каспийского моря.
- А, Баку!
- Да нет, не Баку. Немного северней.
- Кто же ваши соседи?
- Россия, Грузия, Азербайджан...

— Но разве не черкесы живут в этом месте? Мы думали, что черкесы.

— Черкесы живут в Черкесии, а дагестанцы живут в Дагестане. Толстой... Хаджи-Мурат... Толстого читали? Бестужев-Марлинский... Лермонтов, наконец: «В полдневный жар в долине Дагестана...»

— Это где Эльбрус?

— Эльбрус в Кабардино-Балкарии, Казбек — в Грузии, а у нас... у нас аул Гуниб... Ну и Цада.

Так порой приходится говорить мне в какой-нибудь далекой стране. Но ведь известно: для того, чтобы поняла невестка, ругают кошку. Может найтись и у нас какой-нибудь верхогляд, который до сих пор думает, что в Дагестане живут черкесы, или, вернее, совсем ничего не думает.

Приходилось мне уезжать далеко, участвовать в разных конференциях, конгрессах, симпозиумах.

Собираются люди с разных континентов: из Азии, из Европы, из Африки, из Америки, из Австралии. Там, где все меряется на континенты, я все равно говорю, что я из Дагестана.

— Вы представитель Азии или Европы, уточните, пожалуйста,— просят меня.— На каком континенте расположен ваш Дагестан?

— Одна моя нога стоит в Азии, а другая в Европе. Бывает, что на шею коня положат руки сразу двое мужчин — с одной стороны и с другой стороны. Точно так на хребет дагестанских гор положили с двух сторон руки два континента. Руки их соединились на моей земле, и я рад.

Птицы и реки, туры и лисы, все прочие звери принадлежат одновременно и Европе и Азии. Мне кажется, они

создали комитет единства Европы и Азии. Я со своими стихами охотно сделался бы членом такого комитета.

Однако иные люди как бы назло мне говорят: «Что с тобой сделаешь, ты — азиат». Или, напротив, где-нибудь в глубине Азии скажут: «Что с тебя спрашивать, ты — европеец». Я не опровергаю ни тех, ни других. Все правы.

Другой раз начнешь объясняться в любви, а женщина покачает головой и скажет:

— Ах, этот лукавый, коварный Восток!

А другой раз придут дагестанские гости, заметят что-нибудь в твоём поведении, покачают головами:

— Ах, эти европейские штучки!

Ну что ж, Дагестан любит Восток, но и Запад не чужд ему. Он, как дерево, которое пустило корни в землю двух континентов.

На Кубе я подарил Фиделю Кастро нашу бурку.

— Почему нет пуговиц? — спросил удивленно Фидель.

— Чтобы в случае нужды быстрее сбросить с плеч и схватиться за саблю.

— Настоящая партизанская одежда, — согласился партизан Фидель Кастро.

Нет смысла сравнивать Дагестан с другими странами. Ему хорошо на своем месте. Крыша не течет, стены не покровились, двери не скрипят, в окна не дует. В горах тесно, зато в сердце широко.

— Ты говоришь, что моя земля маленькая, а твоя большая? — спрашивал андиец у одного человека. — Тогда давай поспорим: чью землю скорее обойдем пешком, я твою или ты мою? Погляжу я, как ты будешь взбираться на наши вершины, как будешь карабкаться на наши скалы, как будешь ползать по нашим ущельям, как будешь кувиркаться в наши пропасти!

Я поднялся на самую высокую вершину Дагестана и смотрю во все стороны. Разбегаются вдаль дороги, мерцают вдали огни, где-то еще дальше звонят колокола, земля скрывается в синей дымке. Хорошо мне смотреть на мир, чувствуя под ногами родную землю.

Когда человек рождается, он не выбирает себе родину — какая достанется. У меня тоже никто не спрашивал, хочу ли я быть дагестанцем. Может статься, если бы родился в другом месте земного шара, от других мате-

ри и отца, не было бы мне земли дороже той земли, где я мог бы родиться. У меня не спрашивали. Но если спросят теперь, что я должен ответить?

Слышу, вдали играет пандур. Знакомая мелодия, знакомы мне и слова.

Ручьи всегда тоскуют по морям,  
Но и моря тоскуют по ручьям.  
В ладонях сердце можно уместить,  
Но в сердце целый мир не уместить.  
Другие страны очень хороши,  
Но Дагестан дороже для души.

Не пандурист, а сам Дагестан гласит его устами.

Кто увидел и недоволен мной,  
Пускай к себе воротится домой.

Старинный обычай: в долгие зимние ночи собираются молодые люди в чьей-нибудь сакле, какая попросторнее, и заводят разные игры. Посадят, например, на стул парня. Вокруг него ходит девушка и поет. А он должен ей отвечать. Потом девушку посадят на стул, а парень ходит и поет. Эти песни не совсем похожи на частушки, но есть что-то общее. Получается своеобразный диалог между поющими. На острое словцо надо ответить еще более острым словцом, меткий вопрос требует меткого ответа. Кто выиграет в состязании, тому дают полный рог вина.

Такие игры происходили и в нашем доме, в нижнем этаже. Я был маленький и не участвовал в играх, только слушал. Помню, что около очага стояло пенистое вино и лежала жареная домашняя колбаса. Посредине комнаты ставили стул на трех ножках. Девушки и юноши сменяли друг друга. Разные велись между ними песенные разговоры. Но под конец диалог посвящался Дагестану. На эти вопросы отвечали хором все, кто был в комнате.

- Ты где, Дагестан?
- На высокой скале, у реки Койсу.
- Что ты делаешь, Дагестан?
- Закручиваю усы.
- Ты где, Дагестан?
- В долине ищи меня.
- Что ты делаешь, Дагестан?
- Стою снопом ячменя.

- Ты кто, Дагестан?
- Я — мясо, поддетое на кинжал.
- Ты кто, Дагестан?
- Кинжал, что мясо собой пронзал.
- Ты кто, Дагестан?
- Олень, что пьет речную струю.
- Ты кто, Дагестан?
- Я река, я оленя пою.
- Ты какой, Дагестан?
- Я маленький, весь умещусь в горсти.
- Ты куда отправился, Дагестан?
- Что-нибудь больше хочу найти.

Так распевали молодые люди, отвечая друг другу. Иногда мне кажется, что во всех моих книгах такие же вопросы-ответы. Только нет девушки на стуле, вокруг которой я бы ходил. Сам себя спрашиваю, сам себе отвечаю. Никто не поднесет и рога с вином, если получается удачный ответ.

- Ты где, Дагестан?
- Я там, где все мои горцы.
- Где же находятся твои горцы?
- А! Где их теперь только нет!
- Мир — большое блюдо, а ты лишь маленькая ложка. Не слишком ли она мала для такого блюда?

Говорила же моя мать, что и маленький рот может сказать большое слово.

Говорил же мой отец, что и маленькое деревце украшает большой сад.

Говорил же Шамиль, что маленькая пуля пробивает большой корабль. Да ты и сам говорил в стихах о том, что маленькое сердце вмещает огромный мир и большую любовь.

— Почему всегда, поднимая бокал, ты говоришь: «За добро?!»

— Потому что сам ищу добро.

— Зачем ты строишь дома на камнях и скалах?

— Жалко мягкую землю. Там я выращиваю немного хлеба. Даже на плоских крышах я выращиваю свой хлеб. Таскаю землю на скалы и там выращиваю свой хлеб. Такой уж у меня хлеб.

## ● ТРИ СОКРОВИЩА ДАГЕСТАНА

Горцы — вечные путники. Одни отправляются в путь за богатством, другие — за славой, третьи — за правдой.

И вот те, что вышли за богатством, вернулись, добыв его, и теперь наслаждаются результатами своего похода.

И вот те, что вышли за славой, добыли ее и теперь живут, поняв, что она ничего не стоит и что напрасно были употреблены такие усилия.

Но у тех, кто вышел за правдой, оказалась самая длинная, бесконечная дорога. Кто вышел на поиски правды, тот обрек себя на вечное пребывание в пути.

Когда горец отправляется куда-нибудь, он, конечно, берет с собой и осла. На спине этого доброго животного всегда видишь привязанными три вещи: наполненный чем-то большой мешок, тут же, рядом, небольшой бурдючок и тут же, рядом, еще кувшинчик.

Сотни лет находится горец в пути, переходит из аула в аул, из округа в округ. Перед ним шагает его неизменный осел, а на спине у осла мешок, бурдючок и кувшинчик.

В одном богатом краю, когда горец отошел от осла, сытые бездельники начали мучить бедное животное. Кололи его острой палкой, колючками, заставляли взбрыкивать. Негодяям казалось, что осел пляшет от их укулов.

Горец увидел, что над его верным другом издеваются, и обнажил кинжал.

— Лучше бы вы раздражали медведя, чем горца, — сказал он.

Но молодые лоботрясы испугались, попросили прощения и кое-как разными добрыми словами добились того, что горец спрятал свой кинжал. Когда начался мирный разговор, молодые люди спросили:

— Что это навьючено на твоём осле? Продай нам.

— У вас не хватит ни золота, ни серебра, чтобы купить это.

— Назначь свою цену, а там посмотрим.

— Этому не может быть цены.

— Что же такое в твоих мешках, чему нет никакой цены?

— Моя родина, мой Дагестан.

— Родина навьючена на осла!— расхохотались молодые люди.— Ну-ка, ну-ка, покажи свою родину.

Горец развязал мешок, и люди увидели в нем обыкновенную землю.

Впрочем, земля была не обыкновенная. На три четверти она состояла из камней.

— И это все?! Это и есть твое сокровище?

— Да, это земля моих гор. Первая молитва моего отца, первая слеза моей матери, первая моя клятва, последнее, что оставил мой дед, последнее, что я оставлю своему внуку.

— А это еще что?

— Сперва завяжу мешок.

Завязав и уладив мешок на спине осла, горец открыл кувшин, и все увидели, что там простая вода. Впрочем, эта вода оказалась несколько солоноватой на вкус.

— Ты возишь воду, которую нельзя даже пить!

— Это вода из Каспия. Как в зеркало смотрится Дагестан в это море.

— Ну, а что в бурдючке?

— Дагестан состоит из трех частей: первая — земля, вторая — море, а третья — все остальное.

— Значит, в бурдючке у тебя все остальное?

— Да, это так.

— Ну и зачем ты возишь с собой этот груз?

— Чтобы родина всегда была со мной. Если умру в пути, могилу посыплют землей, надгробный камень омоют морской водой.

Горец взял щепотку родной земли, растер ее в пальцах и потом сполоснул пальцы водой из кувшина.

— Зачем ты так делаешь?

— Руки, которые прикасались к рукам бездельников, нужно мыть только так.

Горец отправился дальше. Он и сейчас в пути.

Итак, три сокровища Дагестана: горы, море и все остальное.

И три песни у горца. И три молитвы у молящегося. И три цели у путника: богатство, слава и правда.

Мама внушала в детстве: Дагестан — это птица и три драгоценных пера у нее в крыле.

Отец говорил: из трех драгоценностей три мастера сшили наш Дагестан.



Конечно, на самом деле вещей и предметов, из которых состоит Дагестан, гораздо больше. Я убедился в этом на горьком опыте.

Лет двадцать пять тому назад мне поручили написать киносценарий о Дагестане, и я его написал. Началось обсуждение сценария. Много речей было произнесено тогда.





Одни говорили — не хватает цветов, другие говорили — не хватает пчел, третьи говорили — не хватает деревьев. Каждому чего-нибудь не хватало. То мало показано прошлое, то слабо показано настоящее. В конце концов выяснилось, что нет в сценарии ослицы с осликом, а без этого какой же Дагестан!

Если бы показать все, о чем тогда говорилось, фильм снимался бы до сих пор.

И все-таки Дагестан состоит из трех частей: горы (земля), море (Каспий) и все остальное.

Да, земля — это горы, ущелья, горные тропинки, скалы. И все же это родная земля, орошенная потом и кровью предков. Неизвестно, чего больше, пота или крови, пролилось здесь. Длинные войны, короткие стычки, кровавая месть... Кинжалы у горцев висели на протяжении столетий не только ради красоты.

В народной песне поется:

Там, где высеешь сах<sup>1</sup> зерна,  
Десяти джигитов кровь пролита.  
А где высеешь кали<sup>2</sup> зерна,  
Тех джигитов считай до ста.

Мой отец писал о нашей земле:

Много мертвых тут похоронено,  
Но убитых больше, чем умерших.

В учебнике географии дана короткая справка о том, что треть нашей земли занята неплодородными скалами.

Я тоже написал об этом:

Там уже поблекшие долины,  
Там деревья голы, как рога,  
Там высоких гор верблюжьи спины  
И потоков горных берега.  
Там, как волки, вгрызшиеся в стадо,  
Злятся волны бешеной реки,  
Там со львиной гривой водопады,  
С птичьими глазами родники.  
Там дорога между скал отвесных  
Словно вытекает из камней.  
Там из-за бугра выходит песня,  
На версту опередив людей,

Утром радио сообщает, что в Хунзахе снегопад, в Ахтах идет дождь, в Дербенте цветут абрикосовые деревья, в Кумухе стоит жара.

Одновременно зима, осень, весна и лето в маленьком Дагестане. Отделяя эти «времена года» друг от друга, стоят горы, кремнистые, тихие, громыхающие, орлиные.

<sup>1</sup> Сах — мера веса, около трех килограммов.

<sup>2</sup> Кали — мера веса, около пятнадцати килограммов.

Аварское слово «меэр» имеет два значения: меэр — гора и меэр — нос.

Отец каламбурил: горы принимают к миру, к каждому событию, к каждой перемене погоды.

Равнины вздыбились, чтобы видеть, кто к ним идет. Так возникли горы. Это говорил Хаджи-Мурат.

Мать шептала над колыбелью: расти большой, как гора.

Горной речки глупая вода,  
Здесь без влаги трескаются скалы,  
Почему же ты спешишь туда,  
Где и без тебя воды немало?  
Сердце, сердце, мне с тобой беда,  
Что ты любящих любить не хочешь,  
Почему ж ты тянешься туда,  
Где с тобой мы нужны не очень?

*Перевел Н. Гребнев*

А еще моя мама всегда говорила, когда видела балхарцев, продающих кувшины, горшки и плошки: «Как им не жалко было истратить столько земли? Глаза бы не глядели на тех, кто продает землю!»

Конечно, балхарцы — искусные мастера, но в горах, где так мало земли, всегда считали, что сама земля дороже, чем их кувшины.

В давние времена гонец ворвался в аул. Мужчины все находились в это время в мечети, совершали намаз. Всадник, как был в чарыках (он был чабан), вбежал в мечеть.

— Эй, глупец, вероотступник, — закричал мулла, — ты что, не знаешь, что, прежде чем войти в мечеть, надо разуться?

— На моих чарыках земля, пыль родного ущелья. Она дороже этих ковров, потому что на нее напал враг.

Горцы выбежали из мечети и повскакали на коней.

«Дальний гость дороже», — любит говорить Абуталиб. Издалека гостя приводит большая радость, большая любовь или большое горе. Равнодушный человек издалека не придет.

Есть и обычай: если гостю понравилось что-нибудь в твоём доме и он похвалил — плачь, а дари. Говорят же, что один юноша подарил своему кунаку даже невесту, которому та приглянулась у аульского родника. Но тот юноша был горцем, должно быть, на двести процентов, он был свехгорцем.

Нахальный гость всегда может воспользоваться нашим древним обычаем. Но и горцы стали умнее: красивые вещи убирают подальше от глаз гостей.

Так вот, давно еще приехал в аул гость из Кумуха и стал хвалить все подряд. Ему подарили все, на что позарились его глаза. Но все же, прежде чем проводить, заставили очистить сапоги от земли.

«Землю не дарят,— сказали горцы при этом,— земли нам самим не хватает. Разнесут всю землю на сапогах, на чем будем сеять хлеб?»

Один чужестранец назвал нашу землю каменным мешком.

Да, в ней маловато нежности. Не часто попадают деревья в горах. Горы похожи на бритые головы мюридов, на покатые, гладкие плечи слонов. Мало земли для пашни, скуден и урожай, вырастающий на ней.

Говорили раньше: «Урожая у этого бедняка не хватит, чтобы набить ноздри соседа».

Правда, и носы у горцев выдающиеся, грандиозные носы. Неприятель издали по храпу узнавал, что горцы спят, и по этому признаку иногда нападал врасплох.

Абуталиб сказал, увидев изъеденное оспой лицо: все зерна с поля моего отца вьелись в лицо бедняги, чтобы оставить на нем свои следы.

Бедна и мала земля горцев. Об этом есть и рассказ, может быть, уже слышанный не однажды, потому что давно он гуляет по свету с одного языка на другой язык, с одной плоской крыши на другую плоскую крышу. Но не могу не рассказать его и я. Пусть ругают меня, кто слышал.

Горец решил вспахать свое поле. Оно было далеко-далеко от аула, и он отправился туда с вечера, чтобы рано на рассвете взяться за работу. Пришел горец на место, расстелил бурку и лег спать. Утром встает, надо бы пахать, а поля нет. Туда-сюда, а поля нет как нет. Аллах ли его отнял, чтобы наказать горца за грехи, сатана ли спрятал, чтобы поглумиться над честным человеком.

Делать нечего. Погоревал горец и решил идти домой. Поднял бурку с земли, и — господи! — да вот же оно, его поле, под буркой!

Расскажу и еще один случай, только уж не притчу, а быль.

Как и везде в стране, в горах стали организовывать колхозы. Много было тогда колебаний, сомнений, раздумий и разговоров. Много перерезали скота, рассуждая: лучше сами съедем, нежели отдавать непонятному колхозу. Особенно упрямылись и спорили горцы в далеких горах. «Твое — тебе, а мое — мне, что же еще вы от нас хотите: чтобы и мое было тебе?» В одном маленьком ауле побывали двести уполномоченных — и все без толку. Одни попрятались и не показывались на глаза, другие вступали в рассуждения. «Разве мало на свете общего, — говорили они. — Небо — общее, солнце — общее, дождь, снег, весна, река, дорога, кладбище. Хватит общего. Остальное пусть будет у каждого свое».

Когда горцам говорили, что колхозу дадут машины, они и тут качали головами, вспоминая притчу о лисе.

Бежит лиса по ущелью и видит, что на дороге валяется жирный курдюк. Подбежать бы и съесть. «Нет, — решает лиса. — Ни с того ни с сего курдюк на дороге валяться не будет. Что-то за этим кроется».

Говорили горцам и о том, что будут предоставлены колхозу обширные пастбища внизу, на равнине. Тут нашелся один старик, встал и заговорил, опираясь на палку:

— За все равнины мира мы не отдадим наши горные гнезда, наши жалкие клочки полей, наши кривые тропинки. Земля здесь — наша. Сотни лет мы выхаживали ее, как больного ребенка. Мы таскали ее на скалы и разравнивали там ровным слоем. Потом мы таскали воду, чтобы полить ее. Хлеб наш скуден, но каждое зернышко — бесценно. Вот почему в наших краях человек кланется на куске хлеба...

И все же колхоз в том упрямом ауле организовали. Каким же образом удалось убедить темных горцев?

В конце концов они узнали, что не вся земля отойдет в колхоз. Что часть земли останется в личном пользовании в виде приусадебных участков.

— Много ли? — поинтересовались упрямые горцы.

— По двадцать пять соток, согласно уставу сельхозартели.

— Что такое сотка, объясни нам.

И когда уполномоченный объяснил, все дружно заговорили:

— Э, пиши нас в колхоз, о чем разговор!

Оказалось, что поле каждого горца гораздо меньше принятой нормы приусадебного участка!

Бесценна для горцев их высокогорная каменистая земля, хоть и трудна на ней жизнь. Путники удивляются, глядя на эти террасы полей, прилепившиеся на склонах гор, а то и на скалах, на сады, выращенные среди камней, на овец, растянувшихся по тропинке над пропастью и преодолевающих отвесные обрывы со сноровкой канатоходцев.

Все это необыкновенно красиво для глаз, создано, чтобы было воспето в стихах, но трудно поддается обработке и обживанию.

Однако предложите горцу переселиться на равнину, или, как теперь говорят, на плоскость, и он воспримет ваше предложение как оскорбление. Рассказывают, сын приехал из города и стал уговаривать старого отца уехать.

«Лучше бы ты живот пропорол мне кинжалом, чем терзать меня такими словами», — вот как ответил старый горец.

Проблема эта существует, и она очень сложна. Уже много лет брошен в аулы красивый лозунг: «Вылезем из каменных мешков и поселимся на цветочных коврах».

Этот лозунг дошел и до того упрямого аула, в который приезжали в свое время двести уполномоченных, чтобы организовать колхоз. При организации колхоза не было такого шума, как теперь, когда слышали лозунг о переселении. Каждый аулец произнес на этот счет свою фразу. Вот некоторые из них. «Если даже цепями потащите, не пойдем на плоскость!» «Мы как гвозди вколочены в эти скалы. Никто не имеет права вытаскивать нас из наших гнезд». «Разверзнутся могилы наших отцов, если мы покинем их и уйдем жить в другое место». «Нигде голове моей так не хорошо, как на своей подушке». «На родных камнях сон слаще, чем на чужих перинах». «А где я найду там камень, чтобы бросить в собаку?» «Лучше в горах у дымного очага, чем внизу у хорошей печи». «Кто заботится о животе, пусть идет туда, кто заботится о сердце — останется здесь». «Мы никого не убили, ничьих домов не сожгли, за что же обрекать нас на изгнание». «Машины могут работать и здесь». «Фонари на столбах могут висеть и здесь». «Телеграмма и отсюда дойдет». «Мы родились не для того, чтобы кормить комаров и

мух». «Лучше дым кизяка, чем гарь бензина». «Горные цветы ярче». «Родниковая вода слаще водопроводной». «Никуда мы отсюда не пойдём!»

Так каждый горец ответил по-своему на лозунг «Вылезаем из каменных мешков и поселимся на цветочных коврах».

Еще к моему отцу приходили горцы за советом: переселяться или оставаться? Отец побоялся дать определенный совет.

«Посоветуешь им остаться, потом узнают, что внизу жить хорошо, будут меня ругать. Посоветуешь им переселиться, жизнь окажется никудышной, опять меня будут ругать».

— Думайте сами,— сказал им тогда Гамзат Цадаса.

Времена меняются и жизнь тоже. Изменились не только головные уборы (фуражки вместо папахи), но и мысли под шапками у молодых людей. Смешиваются разные крови, разные племена и народы. Могилы наших сыновей все дальше и дальше от отцовских аулов... Камни, плиты, огромные камни, мелкие камни, округлые камни, острые камни. Чтобы вырастить на этих камнях что-нибудь, землю таскают снизу корзинами. Осенью и зимой травянистые склоны поджигали, чтобы лучше уродилась трава. Помню эти многочисленные огни в горах. Помню и праздник первой борозды. Весна. Старики кидают друг в друга комя земли.

О деятельном человеке у нас говорят: «Немало преодолел он гор и хребтов».

О бездейтельном утверждают: «Он ни разу не ударил киркой о камень».

«Чтобы тесно было колосьям на вашем поле» — самое дорогое пожелание горцев.

«Да иссохнет, омертвеет твоя земля» — самое большое проклятие.

«Клянусь этой землей» — самая крепкая клятва.

Осла, зашедшего на чужое поле, можно было безнаказанно убить. Один горец кричал: «Если даже осел Хаджи-Мурата ступит на мою землю — все равно берегись!»

В каждом ауле были свои законы. Но всюду самым большим штрафом каралась потрава поля, потрава земли.

Да и за потраву самого Дагестана история наших гор сурово наказывала в конце концов.

Помню, мать рассказала мне:

«Когда в горах Дагестана был разгромлен шах Ирана Надир, то, чтобы согласовать условия перемирия, для переговоров с шахом горцы послали самого уродливого, бедного и хромого старца, посадив его на такого же дряхлого мула.

— Неужели аварцы не нашли познатнее и попригляднее тебя, чтобы послать ко мне?

— Знатнее и важнее меня тысячи,— ответил старый горец,— но важные люди заняты более важными делами. Они решили, что к такому человеку, как ты, достаточно будет послать меня.

— Какого же возраста твой мул? — попытался пошутить шах.

— У шахов и мулов трудно определить возраст,— ответил горец.

— Кто ваш полководец? — спросил пришелец.

— Вот наши полководцы,— ответил спокойно старик и широким жестом указал на возвышающиеся вокруг скалы и горы, на поля и кладбища.— Это они ведут нас вперед.

— Ваши условия?

— Условие одно: землю горцев оставь горцам, а сам покажи нам свою спину, которая больше нам нравится, чем твое лицо.

Шах вынужден был повернуться и уйти в свой Иран.

Его предупредили: оставляем тебя и войско твое в живых только для того, чтобы рассказали о нашей победе. Оставляем тебя для вести — так принято у нас говорить. В другой раз перережем всех до единого».

В августе 1859 года на горе Гуниб имам Шамиль сошел с боевого коня и предстал перед князем Барятинским как великий пленник. Выставив левую ногу немного вперед и поставив ее на камень, а правую руку положив на рукоять сабли, бросив затуманенный взор на окрестные горы, Шамиль сказал:

— Сардар!<sup>1</sup> Двадцать пять лет я воевал, отстаивая честь этих гор и этих горцев. Мои девятнадцать ран бо-

<sup>1</sup> Сардар — наместник.



лят и не заживут никогда. Теперь я сдаюсь в плен и отдаю свою землю в ваши руки.

— Полно жалеть. Хороша твоя земля: одни скалы да камни!

— Скажи, сардар, кто же из нас был более прав в этой войне: мы ли, кто умирал за землю, считая ее прекрасной, вы ли, кто тоже умирал за нее, считая ее плохой?

Пленного Шамиля целый месяц везли в Петербург. В Петербурге император его спросил:

— Как показалась тебе дорога?

— Большая страна. Очень большая страна.

— Скажи, имам, когда б ты знал, что государство мое так велико и могуче, воевал бы ты против него так долго или благоразумно и вовремя сложил бы оружие?

— Вы же воевали с нами так долго, зная, что у нас маленькая и слабая страна!

У моего отца хранилось одно письмо Шамиля, вернее, его прощание. Вот оно:

«Мои горцы! Любите свои голые, дикие скалы. Мало добра они принесли вам, но без этих скал ваша земля не будет похожа на вашу землю, а без земли нет свободы бедным горцам. Бейтесь за них, берегите их. Пусть звон ваших сабель усладит мой могильный сон».

Шамиль не раз слышал звон и стук горских сабель, хотя дрались горцы уже за другое дело. Шире стала теперь родина дагестанцев. Могилы их разбросаны в далеких полях Украины, Белоруссии, Подмосковья, Венгрии, Польши, Чехословакии, на Карпатах и на Балканах, а также и под Берлином.

— Из-за чего дрались раньше люди одного аула?

— Из-за пяди земли между полями двух горцев, из-за маленького откоса, из-за камня.

— Из-за чего дрались раньше люди двух соседних аулов?

— Из-за пяди земли между полями аулов.

— Из-за чего воевал Дагестан с другими народами?

— Из-за пяди земли на границах самого Дагестана.

— Из-за чего потом воевал Дагестан?

— Из-за пяди земли на границах великой Страны Советов.

— За что теперь борется Дагестан?

— За мир во всем мире.

Вместе с Шамилем были пленены и два его сына. Судьбы их сложились по-разному. Младший сын, Магомед-Шафы, сделался царским генералом. Старший же, Гази-Магомед, оказался в Турции.

Однажды ко мне пришла пожилая женщина, одетая в турецкий наряд. Грузинка, она еще в молодости вышла замуж за турка и сорок лет прожила в Стамбуле. Потом муж умер, а женщина, оставшись одинокой, вернулась в Грузию. И вот она пришла ко мне. Причина ее прихода была следующая: живя в Стамбуле, она, оказывается, дружила с потомками Шамиля по линии его самого младшего сына.

— Как они живут? — спросил я.

— Плохо.

— Отчего?

— Оттого что у них нет Дагестана. Если бы вы знали, как они там скучают! Иногда их обижают чиновники, грозясь отобрать ту землю, которой они владеют. «Отбейте, — говорят потомки имама. — Дагестана у нас все равно нет, а другая земля нам недорога». Узнав, что возвращаюсь на родину, — продолжала грузинка, — они просили меня навестить Дагестан, побывать в родном ауле Шамиля, в горах, где он воевал, а также найти вас. Они дали мне этот платок, чтобы вы завернули в него немного дагестанской земли и послали им.

Я развернул платок. На нем арабской вязью было вышито — «Шамиль».

Рассказ грузинки меня растрогал. Я пообещал послать землю. Об этом я советовался со многими стариками.

— Стоит ли посылать людям, живущим на чужбине, нашу землю?

— Другим бы не надо было посылать, но потомкам Шамиля пошли, — ответили старики.

Один старик принес мне горсть земли из аула Шамиля, и мы завернули ее в именной платок. Старик сказал:

— Пошли им нашу землю, но скажи, что каждая крупица ее бесценна. Напиши им также, что жизнь на этой земле теперь изменилась, настали новые времена. Обо всем напиши, пусть знают.

Но писать мне не пришлось. Вскоре я сам поехал в Турцию. Захватил с собой и драгоценный подарок.

Я разыскал потомков Шамиля, но повидать их мне не удалось. Правнук имама, сказали мне, уехал куда-то, чуть ли не в Мекку. Правнучки Нажават и Нажият тоже не вышли ко мне. У одной, сказали, болит голова, у другой, сказали, сердечный приступ. Кому же отдавать мою землю? Были там еще аварцы, но они покинули Дагестан добровольно.

Тогда я понял, что их Шамиль и мой Шамиль — разные Шамили.

Вот в далекой Турции я держу горсть земли родного Дагестана. В этой щепоти земли я вижу наши аулы: Гуниб, Чиркей, Ахты, Кумух, Хунзах, Цада, Цунта, Чарода... Это моя земля. О ней я много писал и напишу. Ее теперь не накроешь буркой, как случилось с тем незадачливым горцем из старого смешного рассказа.

Второе сокровище Дагестана — море.

Происходят такие телефонные разговоры между Москвой и Гунибом.

— Алло, алло, Гуниб? Омар, это ты? Ты меня слышишь? Как день, как настроение?

— Слышу. У нас хорошо. Сегодня с утра видим море!..

Или:

— Алло, Гуниб? Это ты, Фатима? Как дела, как настроение?

— Так себе. Туман. Моря не видно.

— Не вижу моря, отец,—сказал и Джамалутдин, сын Шамиля.

Он был заложником у царя: воспитывался в Кадетском корпусе и по возвращении на родину считал борьбу отца и горцев против белого царя напрасной.

— Увидишь, сын мой,—ответил Шамиль,—только смотри моими глазами.

От горы Гуниб до моря сто пятьдесят километров. Каким ясным должен быть день, каким лазурным и ярким должно быть море, какими зоркими должны быть глаза, какой высокой должна быть гора, чтобы можно было просто сказать: «Виджу море».

Даже в тех аулах, откуда море никак нельзя уви-

деть, когда спрашивают о настроении, иногда отвечают: прекрасное настроение, будто море перед глазами.

Кто кого украшает: Каспийское море Дагестан или Дагестан Каспийское море? Кто кем гордится: горцы морем или море горцами?

Когда вижу море, вижу весь мир. Когда оно волнуется, кажется, и всюду в мире беспокойная, бурная погода. Когда оно молчит, кажется, и везде царит тишина.

Я пришел к нему еще мальчиком, спустившись по крутым и витиеватым горным тропинкам. С тех пор окна моего дома всегда открыты в сторону моря. Но и окна самого Дагестана глядят туда же.

Когда не слышу морского шума, засыпаю с трудом.

— А ты, Дагестан, почему не спишь?

— Море не шумит, нету сна.

Про яркий цвет говорим — как море. Про сильный шум говорим — как море. Про широкие поля ржи говорим — как море.

Про глубину мудрости и души говорим — как море.

Даже про чистое небо и то говорим — как море.

Когда наша корова давала много молока, мама называла ее — «море мое».

Вспоминаю мать на балконе, кувшин со сметаной у нее в руках. Она сбивает масло, чтобы накормить нас, детей, играющих вокруг нее. Глиняная шейка того кувшина была украшена ожерельем из морских ракушек.

— Чтобы масла получилось больше, — объясняла нам мать. А еще она говорила, что ракушки защищают от дурного глаза.

Каменная грудь Дагестана тоже украшена ожерельями из ракушек, ожерельем из прибрежных камней, ожерельем прибоя.

Привык Дагестан к шуму каспийских волн, плохо ему спится в тишине, совсем бы не смог он спать, когда бы лишился моря.

Белоснежные волны морские, скажите,  
На каком языке вы со мной говорите?

Вы шумите, бурля, у подножия скал,  
Словно в горном ауле воскресный базар,

Где кричащих на всех сорока языках  
Наших горцев не может понять и аллах.

День пройдет, грохотания нет и в помине,  
Шелестите легко, как трава на равнине.

А еще вы начнете плескаться, бывает,  
Словно мать по погибшему сыну рыдает.

Словно старый отец по наследнику стонет,  
Словно конь оплошавший, что в паводке тонет.

То журча и ласкаясь, то яростно споря,  
На своем языке говоришь ты, о море.

Но сродни мое сердце твоей глубине,  
Все твои превращения понятны и мне.

Разве сердце мое не кипит временами,  
Разбиваясь о камни тупые волнами?

Но потом, расстилаясь все тише и ниже,  
Разве берег отлогий в бессилье не лижет?

Разве тайн никаких не хранит глубина?  
И печаль у нас, море, и радость — одна.

Но скажу про свою, про отдельную боль:  
Жажду морем напиться. Немыслимо. Соль.

Поезд, идущий из Москвы, прибывает в Махачкалу на рассвете. Ночь перед этим — для меня самая бесконечная ночь. Встаю среди ночи, вглядываюсь в темное окно. За окном еще степь. Гремит поезд, шумит ветер за стенкой вагона. Второй раз встаю и вглядываюсь в окно — степь. Наконец, встаю в третий раз — вижу море. Значит, это уже мой Дагестан.

Спасибо тебе, синее море, водный простор! Первым ты сообщаемь мне, что я уже приехал домой.

Отец любил говорить: «У кого есть море, у того всегда будет много гостей».

Абуталиб вторил ему: «У кого есть море, тот живет красиво, богато. Красивее моря могут быть горы, но и они у нас есть».

Эти два старика — мой отец и Абуталиб — часто, не сговариваясь, как только встретятся, уходили к морю. Они поднимались на холм, с которого видны все корабли, пришедшие в порт. Оттуда доносился до стариков запах рыбы и соли. Целыми часами они сидели молча, предоставляя возможность говорить только морю.

Пусть море говорит, а ты молчи,  
 Не изливай ни радости, ни горя.  
 Великий Данте замолкал в ночи,  
 Когда у ног его плескалось море.  
 Людьми заполнен берег или пуст,  
 Дай морю петь, волнам его не вторя,  
 И Пушкин — величайший златоуст —  
 Молчал всегда, покамест пело море.

*Перевел Н. Гребнев*

Мой отец говорил: слушая море, научись понимать, о чем оно говорит. Оно много видело, много знает.

— Скажи, о море, почему ты солоно?  
 — Людской слезы в моих волнах не мало!  
 — Скажи, о море, чем ты разрисовано?  
 — В моих глубинах кроются кораллы!  
 — Скажи, о море, что ты так взволновано?  
 — В пучине много храбрых погибало:  
 Один мечтал, чтоб не было я солоно,  
 Другой нырял, чтоб отыскать кораллы!

*Перевел Н. Гребнев*

Два седовласых горца, два поэта, сидят на холме, как два старых орла. Сидят неподвижно, молчат, слушают море. А оно шумит, заставляет думать о жизни, которая похожа на него и которую нужно переплыть от берега до берега, какая бы погода ни захватила на открытом и опасном ее просторе. В отличие от моря в жизни нет тихих гаваней, нет причалов. Хочешь не хочешь — плыви. Будет только одна, последняя гавань, только один, последний причал.

Шумит Каспий, шумит Хвалынское море. Текут в него реки: с одной стороны — Волга, Урал, с другой — Кура, Терек, Сулак. Все они смешались, и теперь их не отличить одну от другой. Для них море тоже своего рода последний причал. Хотя не исчезнет, не умрет, не утихнет их вода, будет ходить, подыматься синими волнами. Будут ходить по этим волнам большие корабли в разные концы света.

Горцы, дети Дагестана, разве ваша судьба не похожа на судьбу этих рек? Вы тоже соединились и слились в едином море нашего великого братства.

Шумит Каспий. Молча стоят два седых человека, два поэта, и с ними я, еще подросток. Потом, когда пошли мы домой, Абуталиб сказал моему отцу:

— Взрослым становится твой сын. Сегодня познал он большое чувство.

— Никому нельзя быть маленьким на том месте, где мы стояли,— отвечает Абуталибу отец.

Теперь, когда прихожу на берег моря, все время кажется, что стою рядом с отцом.

Говорят, Каспий с каждым годом мелеет. Уже стоят городские дома там, где некогда плескалась вода. Наверное, так оно и есть. Но я не верю, что море перестанет быть морем. Оно, может быть, мелеет, да не мельчает.

Я и людям всегда говорю: не будьте мелкими, если даже вы малочисленны.

Ученый муж качает головой,  
Поэт грустит, писатель сожалеет,  
Что Каспий от черты береговой  
С годами отступает и мелеет.  
Мне кажется порой, что это чушь,  
Что старый Каспий обмельеть не может,  
Процесс мельчания некоторых душ  
Меня гораздо более тревожит.

*Перевел Н. Гребнев*

Махач тоже говорил про море. Он был первым ревкомом Дагестана, и его именем называется теперь столица нашей республики. Раньше город назывался Порт-Петровск. Во время гражданской войны Махач превратил его в неприступную крепость.

Так вот, о море Махач сказал: «Сколько бы ни было врагов, всех покидаем в море. Море глубокое, на дно места хватит».

Когда соберутся горцы около мечети или под старым деревом, чтобы потолковать о жите-бытье, называется это у нас годеканом. На годекане спросили однажды у горцев: какой звук приятнее всего душе? Горцы, подумав, начали отвечать:

- Звон серебра.
- Ржанье коня.
- Голос любимой девушки.
- Цокот подков по камням ущелья.
- Смех ребенка.
- Колыбельная песня матери.
- Журчанье воды.

А один горец сказал:

— Голос моря. Потому что у моря есть все звуки, которые вы перечислили.

А в другой раз на годекане спросили у горцев: какой цвет наиболее приятен душе? Горцы, подумав, начали отвечать:

— Ясное небо.

— Белоснежная вершина горы.

— Глаза матери.

— Волосы сына.

— Цветущий персик.

— Осенние ивы.

— Вода родника.

А один горец сказал:

— Цвет моря. Потому что в нем есть все цвета, которые вы перечислили.

Когда спрашивали на годекане о запахах, напитках или о чем-нибудь еще, всегда дело кончалось морем.

Морем навеяны народу прекрасные сказки о юноше и морской царевне, о лазурной птице, которая где ни ударит клювом, там и забьет родник.

Конечно, на годеканах каждый хвалит своего скакуна. Не делаю ли и я то же самое, хваля свое Каспийское море? Иногда мне говорят: подумаешь, Каспий. Это даже и не море, а большое озеро. Настоящее море — Черное.

Верно, что Каспий не так бархатист и нежен, как Черное, Адриатическое или какое-нибудь там Ионическое море. Но ведь туда люди едут преимущественно отдыхать и купаться, а на Каспий — преимущественно работать. Море — рыбак, море — нефтяник, море — труженик. Ну, и характер у него поэтому более суровый. Что поделаешь, у каждого быка свой нрав, у каждого мужчины свой характер, у каждого моря своя повадка... А разве горы Дагестана не отличаются характером от гор Грузии, Абхазии и от других гор?

Но мне, по правде говоря, все моря кажутся похожими друг на друга. Когда плыву по Черному, вспоминаю Каспий, а плывя по Каспию, могу вспомнить даже океан. И ничем наше море не хуже других. Так же в него бросают монеты на память, чтобы — по примете — вернуться снова.

Отец говорил: если море человеку кажется некрасивым, это значит — сам человек некрасив.

Кто-то сказал однажды Абуталибу:



— Море сегодня противно шумит.

— А ты послушай моими ушами.

Итак, на Каспийское море смотрите глазами Дагестана, и оно покажется вам прекрасным.

Подвиг славного подводника капитана 2-го ранга Магомеда Гаджиева из дагестанского аула Меgeb известен всему военно-морскому флоту. Он воевал и в Балтийском, и в Северном, и в Баренцевом морях. Не один фашистский корабль нашел себе могилу в холодных водах от торпед Магомеда Гаджиева. Его лодка первой в истории Отечественной войны приняла открытый бой с фашистской эскадрой. У него было правило: он не брил усов до тех пор, пока не потопит вражеский корабль.

Один раз я видел Магомеда Гаджиева. Я учился тогда в Буйнакском педучилище имени Абашилова. Магомед Гаджиев был в отпуске, и мы пригласили его в наше училище. Мы спросили:

— Как получилось, что выросший среди скал стал моряком?

— В детстве с вершины одной горы я увидел Каспийское море и не поверил своим глазам. Оно позвало меня к себе, вот я и пошел. Не мог устоять перед зовом моря.

Горец Магомед Гаджиев, Герой Советского Союза, погиб в Баренцевом море. Памятник, воздвигнутый ему в Махачкале перед заводом, носящим его имя, глядит на просторы Каспия. В городе Североморске есть школа его имени.

В море уходят смелые, но не все возвращаются. Поэтому горцы бросают в море первые весенние цветы: всем погибшим. Мои цветы тоже не раз плавали среди волн.

В Баренцевом море, в квадрате, где погиб Гаджиев и его товарищи, корабли останавливаются, чтобы почтить его память.

На Каспии существует такой же порядок. Остановка и три минуты молчания, чтобы вспомнить о тех, кто погиб.

Наш город Махачкала стоит как корабль у причала. Из прибрежного парка смотрит на море Пушкин, неподалеку от него стоит Сулейман Стальский, с бульвара смотрит на Каспий мой отец.

Говорят, что на месте моря некогда была унылая го-

лая пустыня. Потом она увидела горы и от радости расплеснулась у их подножия своей синевой.

Говорят, что горы были некогда дерущимися драконами. Потом они увидели море и замерли от удивления, окаменели.

Мать пела над моей колыбелью:

Вырастай, сыночек,  
С гору высотой,  
Вырастай, сыночек,  
С море широтой.

Девушка пела молодому джигиту:

На высокой горе  
Ты, как видно, родился,  
Лихо сдвинул папаху.  
Не глядишь, загордился.

Молодой джигит пел красивой горянке:

Не со дна ли морского  
Ты пришла к нам сюда?  
Я такой красоты  
Не видал никогда.

*Перевел Н. Гребнев*

На одном собрании я услышал такой разговор:

— Что это мы все море да горы, горы да море? У нас есть другие горы и моря, о которых надо говорить. У нас есть море лезгинских садов, море скота, горы шерсти.

Но правильно говорится: «Не пой сам все три песни, одну оставь нам. Не делай сам все три намаза, один оставь нам».

Я рассказал о двух главных частях, из которых состоит Дагестан. А третья часть — все остальное. Разве мало можно сказать о дорогах и реках, о деревьях и травах! Целой жизни не хватит, чтобы рассказать обо всем.

Так и с песнями. В мире есть только три песни: первая — песня матери, вторая — песня матери, а третья песня — все остальные песни.

Горцы приглашают к себе в гости, говоря: «Приезжайте к нам. Наши горы, наше море и наши сердца принадлежат вам. У нас земля — земля, дом — дом, конь — конь, человек — человек. И ничего третьего нет между ними».

## ● ЧЕЛОВЕК

**Ч**еловек и свобода на аварском языке называются одним и тем словом. «Узден» — человек, «узденлџи» — свобода, поэтому, когда имеется в виду человек — «узден», имеется в виду, что он свободный — «узденлџи».

Надпись на могильной плите:

Он мудрецом не слыл  
И храбрецом не слыл,  
Но поклонись ему:  
Он человеком был.

*Перевел Н. Гребнев*

Надпись на кинжале:

Ну кто бы там ни встретился в пути,  
Идя с враждой навстречу иль с приветом,  
Он человек такой же, как и ты,  
Нося кинжал, не забывай об этом.

Когда горец после долгого отсутствия вернулся на родину, его спросили:

— Ну как там, что за земля, какие порядки?

— Там живут люди,— ответил горец<sup>1</sup>.

Когда Хаджи-Мурат был в ссоре с Шамилем, некоторые люди стали, желая угодить наибу, хулить Шамиля. Остановив их суровым жестом, Хаджи-Мурат сказал:

— Не смейте так говорить. Он — человек, а нашу распрю мы сумеем уладить сами.

Хотя Хаджи-Мурат и ушел от него, но во время последней битвы на горе Гуниб, вспоминая отвагу и храбрость своего наиба, Шамиль сказал:

— Таких людей больше нет. Он был человеком.

Много веков прожили горцы в горах, и всегда они испытывали нужду в человеке. Нужен человек. Без человека никак нельзя.

Горец клянется: человеком родился — человеком умру!

---

<sup>1</sup> Горец ответил, конечно: «Там живут человеки» — «узденлџи», вложив в это слово высокий смысл. К сожалению, слово «человек» в современном русском языке не имеет множественного числа. «Человеки» звучит нелитературно, а люди... ну что же, люди бывают всякие. (*Прим. перев.*).

Правило горцев: продай поле и дом, потеряй все имущество, но не продавай и не теряй в себе человека.

Проклятие горцев: пусть не будет в вашем роду ни человека, ни коня.

Когда начинают рассказывать о недостойном, мелком, подлом, горцы обрывают рассказ:

— Не тратьте на него слов. Он же не человек.

Когда начинают рассказывать о каком-нибудь промахе, проступке, недостатке, горцы обрывают рассказ:

— Он человек, и этот проступок ему можно простить.

Об ауле, в котором нет порядка, об ауле тесном, няряшливом, склочном, непутевом, говорят:

— Человека там нет.

Об ауле, в котором порядок и мир, говорят:

— Там есть человек.

Человек — первая необходимость, драгоценность и великое чудо. Откуда появился человек в Дагестане, как возник, где начало, где корень своеобразного племени горцев? Много об этом существует рассказов, сказок, легенд. Одну из них я слышал в детстве.

На земле уже водились разные звери и птицы, и были на земле их следы, но не было следа человека, слышались разные голоса, но не слышно было человеческого голоса. Земля без человека походила на рот без языка, на грудь без сердца.

В небе над этой землей летали орлы, сильные и отважные птицы. В тот день, о котором идет речь, шел такой снег, словно ощипали всех птиц на свете и перья их пустили по ветру. Небо закрыло тучами, землю закрыло снегом, все смешалось, и нельзя было понять, где земля, а где небо. В это время возвращался к своему гнезду орел, у которого крылья были подобны саблям, а клюв подобен кинжалу.

Он ли забыл о высоте, высота ли забыла о нем, но только со всего лета он врезался в твердую скалу. Аварцы говорят, что это произошло на горе Гуниб, лакцы — что это было на горе Турчидаг, лезгины уверяют, что все случилось на Шахдаге. Но где бы то ни случилось, скала есть скала, а орел есть орел. Недаром же говорят: «Швырни камень в птицу — птица умрет, швырни птицу в камень — птица умрет».

Не первый орел упал, наверное, на скалу и разбился. Но этот, у которого крылья были подобны саблям, а

клюв подобен кинжалу, разбился не до смерти. Крылья переломались, но сердце билось, уцелел острый клюв, уцелели железные когти. Пришлось ему бороться за свою жизнь. Трудно без крыльев добывать пищу, трудно без крыльев отбиваться от врагов. С каждым днем с камня на камень, со скалы на скалу забирался он все выше и выше, на скалу, на которой любил, бывало, сидеть, оглядывая окрестные горы.

Трудно было без крыльев добывать пищу, обороняться, подниматься на высоту, строить гнездо. Во время всех этих трудных дел мышцы орла изменились, стал меняться и внешний облик. И когда гнездо было построено, оно оказалось саклей, сам бескрылый орел оказался горцем.

И встал он на ноги, и вместо сломанных крыльев у него выросли руки, одна половина клюва превратилась в обыкновенный, большой, правда, нос, а вторая половина в кинжал, висящий у горца на поясе. Только сердце не изменилось, оно осталось прежним, орлиным сердцем.

— Видишь, сынок,—добавляла мать, заканчивая рассказ,—как трудно пришлось орлу, пока он не превратился в горца. Ты это должен ценить.

Не знаю, так ли все это было, но неоспоримо одно: среди пернатых горцам дороже всех орел. Хорошего, храброго человека зовут орлом. Родился сын—отец возглашает: у меня родился орел. Дочь возвратится откуда-нибудь домой быстро и проворно, мать говорит: прилетела моя орлица.

Во время Отечественной войны о героях Дагестана была написана книга, называлась она «Горные орлы».

На дверях старинных домов, на колыбелях, на кинжалах часто встречается чеканка и строгий облик орла.

Правда, есть и другие легенды.

Когда думают о превратностях судьбы в этом мире, когда отцы вспоминают погибших вдалеке от родины сыновей или когда сыновья вспоминают погибших отцов, считают, что не горец произошел от орла, но орлы от горцев.

— Парящие над реками и скатами,  
Откуда вы, орлы? Каких кровей?

— Погибло много ваших сыновей,  
 А мы — сердца их, ставшие крылатыми!  
 — Мерцающие между зодиаками,  
 Кто вы, светила в небесах ночных?  
 — Немало горцев пало молодых.  
 Мы — очи тех, кем павшие оплаканы.

*Перевел Н. Гребнев*

Вот почему дагестанцы всегда смотрят в небо с любовью, с надеждой. Так же смотрят они на пролетающих и улетающих птиц. Любят горцы синее небо!

Вспоминаю 1942 год. Войска фельдмаршала Клейста захватили некоторые высоты Кавказа. Авиация бомбила нефтяные промыслы Грозного. Дым пожаров был виден с наших дагестанских высот.

В те дни в Грозном собрались представители молодежи всех кавказских народов. В составе дагестанской делегации был и я. На митинге выступал лезгин, известный летчик, Герой Советского Союза Валентин Эмиров. Не забуду ни его речи с трибуны, ни его короткой беседы, которая у нас с ним была после митинга. Уходя, он сказал, показывая глазами на небо:

— Тороплюсь туда. Там я нужнее, чем на земле.

Через две недели пришло известие о его гибели. Погиб, сгорел славный сын Дагестана. Но каждый раз, когда я вижу орла, пролетающего с клетотом над моей головой, я верю, что в нем кипучее сердце Валентина.

1945 год. Москва. Каждый день мы, студенты, ходили в Дагестанское постпредство, чтобы узнать новости с гор, из Махачкалы. Республика в то время готовилась праздновать свое двадцатипятилетие. Однажды я встретил там Наби Аминтаева. В Дагестане вряд ли нашелся бы тогда человек, который не знал бы этого лакца. Джигит неба, этот скромный парень много раз спускался с парашютом на вражескую территорию и всякий раз возвращался невредимым.

— Теперь нет войны, возвращайся в Дагестан, — говорю я ему.

— Небо-то осталось.

Через несколько дней газета «Правда» опубликовала его фотографию. Внизу подпись: «Наби Аминтаев — рекордсмен мира по прыжкам с парашютом. Свой рекорд Аминтаев посвятил Дагестану».

Через несколько дней снова встречаю Наби.

— Едем в Дагестан.

— Небо ждет. Без неба я не могу.

Но жизнь коротка. Однажды подвел парашют; наш Наби упал и погиб, словно орел со сломанными крыльями. С тех пор прошло много лет, но каждый раз, когда слышу в небе клекот орла, я думаю, что в нем кипучее сердце Наби.

Вспоминаю еще красивую Резеду. С дагестанского неба она прыгнула на гору Гуниб. Сколько пандуров застонало тогда под ее окном! Не было ни одного молодого поэта, который не посвятил бы ей стихотворения. Маленький кирпичный домик в городе Буйнакске, сколько глаз смотрело на твои окна! В Хунзахе, в Гунибе, в Кумухе седлали коней, чтобы похитить красавицу с длинными косами. Но приехал один ленинградец, посадил нашу Резеду в самолет и увез. С воздуха помахала она всем влюбленным, оставшимся на земле. Разинув рты, смотрели наши поэты ей вслед, а потом начали писать стихи о голубке, которую похитил орел...

В Ленинграде Резеду застала война. Она писала: «В этом городе теперь нет не только белых ночей, но и дни стали черными. Ленинград в огне. В огне и я. Сквозь дым и огонь я смотрю в небо. Но и в небе война. Мой муж Сеид много раз уходил во вражеский тыл. Теперь я получила уже три извещения о том, что его нет в живых. Он был врач-десантник. Ко мне приходят те, кого он спас от смерти».

Резеда вернулась в Дагестан. И когда в родном небе ей слышится клекот орла, она думает, что в нем кипучее сердце Сеида.

Мой брат Ахильчи... Ты учился в самом земном, сельскохозяйственном институте... Но на войне ты выбрал небо, стал летчиком. Ты погиб над Черным морем. Тебе было двадцать два года. Ты никогда не вернешься в родную саклю, я это знаю. Но каждый раз, когда надо мной клекочет орел, я верю, что это сердце Ахильчи подает мне братскую весть.

Парят в дагестанском небе орлы. Их много. Но ведь немало и храбрецов, сложивших голову за Отчизну. В каждом орлином крике весть о подвиге, об отваге. Каждый крик — это песня битвы.

Я знаю, что это красивая сказка, вымысел. Людям хочется, чтобы так было. Но я знаю, что одному человеку, который вознесся слишком высоко, андиец сказал:

— Даже орлы, чтобы стать людьми, спускаются на землю. Спускайся и ты со своих высот. Все люди родились здесь, на земле. Горец потому и называется горцем, что он человек гор, человек земли. А в песнях и легендах пусть люди летают. У нас любят это слово — «летать». Всадник скачет — летит. Песня летит. Большинство наших песен об орлах.

Меня много раз критиковали за то, что в стихах я часто упоминаю орлов. Но что же делать, если мне эти птицы нравятся больше других. Они летают далеко и высоко, в то время как другие птицы вечно суетятся и чирикают возле проса. И голос у них громкий, ясный. Другие птицы, как только повеет холодом, изменяют Дагестану и улетают в чужие края. Орлы же, какая бы ни случилась погода, сколько бы выстрелов ни пугало их, не покидают родных высот. У них нет курортов. Другие птицы все время жмутся к земле, порхают с крыши на крышу, с дымоходной трубы на трубу, с поля на поле. Какое-нибудь маленькое ущелье у нас называют птичьим ущельем.

Какой-нибудь большой утес у нас называют орлиным утесом.

Каждый человек, который родился, еще не человек. Каждая птица, которая летает, еще не орел.

## ГОРНЫЕ ОРЛЫ

...Полон край мой силы и величья,  
Полон птиц, чьи песни веселы.  
И парят над ним, как боги птичьи,  
Много раз воспетые орлы.

Для того, чтоб в небе их видали  
На посту и в грозовые дни,  
Скалы неприступные избрали  
Грозным местожительством они.

То один поднимется и гордо  
Рассекает крыльями туман,  
То, как по тревоге, вся когорта  
В голубой взмывает океан.



Над землей плывут они высоко,  
 Будто стражи зоркие ее,  
 И услышав их гортанный клекот,  
 Прочь летит в испуге воронье.

И готов, как в детстве, я часами  
 Там, где выси гор всегда белы,  
 Наблюдать влюбленными глазами,  
 Как парят могучие орлы.

То стоят в дозоре над горами,  
 То в степные двинутся края...  
 Самых смелых горными орлами  
 Называет родина моя.

*Перевел Я. Козловский*

Для японцев самые дорогие птицы — журавли. Японцы считают, что если больной человек вырежет из бумаги тысячу журавлей, то он выздоровеет. С летящими журавлями, особенно если журавли летят над Фудзиямой, японцы связывают радость и горе, разлуку и встречу, мечты и дорогие воспоминания.

Мне тоже нравятся журавли. Однако когда японцы спросили меня о любимой птице, я назвал орла, и это им не понравилось.

Правда, вскоре наш борец Али Алиев на соревнованиях в Токио стал чемпионом мира, и тогда один японский друг мне сказал:

— А ваши орлы ничего, неплохие птицы.

Нашим горцам я рассказал о битве, которая произошла в небе над Турцией между орлами и аистами. Когда я сказал, что битву проиграли орлы, горцы пришли в недоумение и даже обиделись. Они не хотели верить моим словам. Но что было, то было.

— Ты неправильно говоришь, Расул, — сказал наконец один горец. — Орлы, наверно, не проиграли битву, а все погибли. Но это же другое дело.

Был у меня один знаменитый друг, дважды Герой Советского Союза Ахмедхан Султан. Отец у него дагестанец, а мать татарка. Жил он в Москве. Дагестанцы считают его своим героем, татары — своим.

— Чей же ты? — спросил я его однажды.

— Я герой не татарский и не лакский, — ответил Ах-

медхан.— Я — Герой Советского Союза. А чей сын? Отца с матерью. Разве можно их отделить друг от друга? Я — человек.

Шамиль спросил однажды у своего секретаря Магомеда Тагира аль-Карахи:

— Сколько человек живет в Дагестане?

Магомед Тагир взял книгу с переписью населения и ответил.

— Я спрашиваю о настоящих людях,— рассердился Шамиль.

— Но таких данных у меня не имеется.

— В ближайшем бою не забудь их пересчитать,— приказал имам.

Горцы говорят: «Чтобы узнать настоящую цену человеку, надо спросить у семерых.

1. У беды.
2. У радости.
3. У женщины.
4. У сабли.
5. У серебра.
6. У бутылки.
7. У него самого».

Да, человек и свобода, человек и честь, человек и отвага сливаются в одно понятие. Горцы не представляют, что орел может быть двуликим. Двуликих они называют воронами. Человек — это не просто название, но звание, притом звание высокое, и добиться его не просто.

Недавно в Ботлихе я слышал, как женщина пела песню о недостойном мужчине:

Что-то есть в тебе от лошади,  
 Что-то есть и от овцы.  
 Что-то есть в тебе от коршуна,  
 Что-то есть и от лисы.  
 И от рыбы что-то есть.  
 Но где же мужество?  
 Где честь?

Слышал я и другую песню женщины — о мужчине, который оказался лгуном:

Я думала, ты человек.  
 И доверила тайну свою.  
 Пустым оказался орех.  
 Одна на дороге стою.  
 Как поздно тебя разглядела,  
 Сама виновата, увы,  
 Ты черкеска, в которой нет тела,  
 Папаха, где нет головы.

Девушка, которая выбирала себе жениха, пожаловалась:

— Если бы я искала носящего папаху, давно бы нашла. Если бы я искала носящего усы, давно бы нашла. Человека ищу.

Когда в горах покупают овцу, смотрят на курдюк, на шерсть, на упитанность. Когда покупают коня, смотрят на морду, на ноги, на весь экстерьер. Но как оценить человека? На что же надо смотреть? На его имя и на его дела... Между прочим, на аварском языке слово «имя» несет в себе два значения. Во-первых, имя как таковое, во-вторых, дело, заслуги, подвиг человека. Когда рождается сын, говорят: «Цар бугеб, цар батаги». Это значит: «А имя ему пусть принесет слава». Имя без дела — пустой звук.

Мать учила меня: «Нет награды больше, чем имя, нет сокровища дороже жизни. Береги это».

Надпись на роге:

Произойти от обезьяны  
 Был человеку путь не мал.  
 В обратный путь пустился пьяный,  
 За час опять животным стал.

Когда Шамиль укрепился на горе Гуниб, взять его не было никакой возможности. Но нашелся изменник, который показал неприятелю тайную тропу. Фельдмаршал князь Барятинский одарил этого горца золотом.

Позже, когда Шамиль находился уже в Калуге, изменник пришел в отчий дом. Но отец его сказал:

— Ты изменник, а не горец, не человек. Ты не мой сын.

С этими словами он убил его, отрезал голову и вместе с золотом бросил со скалы в реку. Сам отец тоже не мог больше жить в родном ауле и показываться людям на глаза. Ему было стыдно за сына. Он ушел куда-то, и с тех пор о нем больше не слышали.

До сих пор горцы, когда идут мимо того места, куда брошена была голова изменника, кидают туда камни. Говорят, что даже птицы, пролетая над этой скалой, кричат: «Изменник, изменник!»

Однажды Махач Дахадаев приехал в аул, чтобы вербовать бойцов в свой отряд. На годекане он увидел двух горцев, игравших в карты.

— Ассалам алейкум. Где ваши мужчины, ну-ка, соберите мне их.

— Кроме нас, в ауле нет больше мужчин.

— Вах! Что за аул без мужчин. Где же они?

— Воюют.

— А! Оказывается, в вашем ауле все мужчины, кроме вас двоих.

Был случай с Абуталибом. Принес он часовщику исправить часы. Мастер в это время был занят починкой часов сидящего тут же молодого человека.

— Садись,— сказал часовщик Абуталибу.

— Да у тебя, я вижу, люди. Зайду в другой раз.

— Где ты увидел людей? — удивился часовщик.

— А этот молодой человек?

— Если бы он был человеком, он сразу встал бы, как только ты вошел, и уступил бы тебе место... Дагестану нет никакого дела, будут ли отставать часы у этого лоботряса, а твои часы должны идти правильно.

Абуталиб потом говорил, что, когда ему присвоили звание народного поэта Дагестана, он не был так обрадован, как тогда в мастерской часовщика.

В Дагестане живет тридцать народностей, но некоторые мудрые люди утверждают, что живут в Дагестане всего два человека.

— Как так?

— А так. Один хороший человек, а другой плохой.

— Если так считать,— поправляют другие,— то в Дагестане живет один человек, потому что плохие люди — не люди.

Кушинские мастера шьют папахи. Но одни их носят на голове, другие держат на вешалках.

Амгузинские кузнецы куют кинжалы. Но одни прицепляют их к поясу, другие вешают на гвоздь.

Андийские мастера делают бурки. Но одни их носят в непогоду, другие прячут в сундук.

Так и люди. Одни всегда в деле, в работе, на солнце, на ветру, а другие подобны бурке в сундуке, папахе на вешалке, кинжалу на гвоздике.

Будто бы за Дагестаном наблюдают три мудрых старца. Они прожили долгие века, все видели и все знают. Один из них, вникая в древнюю историю, оглядывая старинные кладбища, задумываясь о летящих по небу птицах, говорит: «Были люди в Дагестане». Второй, глядя на сегодняшний мир, показывая на зажженные в Дагестане огни, называя имена отважных, говорит: «Есть люди в Дагестане». Третий старец, мысленно обозревая грядущее, оценивая тот фундамент, который мы заложили для будущего сегодня, говорит: «Будут люди в Дагестане».

По-моему, правы все три старика.

Некоторое время назад гостем Дагестана был прославленный космонавт Андриян Николаев. Заходил он и в мой дом. Моя маленькая дочурка спросила:

— А в Дагестане нет своего космонавта?

— Нет,— ответил я.

— А будет?

— Будет!

Будет, потому что рождаются дети, потому что мы даем им имена, потому что они растут, шагают вместе со страной. С каждым шагом они ближе к своей заветной цели. И пусть в других местах скажут про Дагестан, как мы говорим про аул, в котором порядок и мир: там есть человек.

## ● НАРОД

«Скажи, Америка такая же большая страна, как и наша? У них больше населения или у нас?» — так спрашивала моя мать в 1959 году, когда я возвратился из Америки.

Умеющий веселиться без шума и звона,  
Умеющий плакать с сухими глазами,  
Умереть умеющий без жалкого стога —  
Таков человек, рожденный горами.

В почное окно в тихом, спящем ауле, может быть в дождь, может быть в хорошую погоду, раздается короткий стук.

— Эй, есть там мужчина? Седлай коня!

— А ты кто?

— Если спрашиваешь «кто», оставайся дома. От тебя толку не будет.

И опять: стук, стук.

— Эй, есть там мужчина в доме? Седлай коня!

— Куда? Зачем?

— Если спрашиваешь «куда», «зачем», оставайся дома. От тебя толку не будет.

В третий раз раздается стук.

— Эй, есть там мужчина в доме? Седлай коня!

— Сейчас. Я готов.

Вот мужчина, вот горец! И поехали они вдвоем. Стук, стук. «Есть там мужчина? Седлай коня». И вот их уже не двое, не трое, не десять, а сотни и тысячи. К орлу прилетел орел, за человеком пошел человек. Так и образовался народ Дагестана. Ущельные ветры качают люльки, горные реки поют колыбельные песни:

— Где ты был, Дингир-Дангарчу?

— В лес ходил Дингир-Дангарчу.

Родился сын — под подушку положили кинжал. На кинжале надпись: «У отца была рука, в которой я не дрожал, будет ли и у тебя такая?»

Родилась девочка, на колыбель повесили колокольчик с надписью: «Будешь сестра семи братьев».

Качаются в ущельях зыбки на веревках, перекинутых с одной скалы на другую. Растут сыновья, растут и дочери. Вырос народ Дагестана, выросли у него усы, можно закручивать.

И стало дагестанского народа один миллион и сто тысяч. Пошла о нем слава по отдаленным горам, обожгла эта слава ненасытные сердца завоевателей, потянулись к Дагестану жадные руки.

Дагестанцы говорили: «Оставьте нас в покое у наших домашних очагов, с родителями и женами. Нас и так мало».

Браги отвечали: «Если вас мало, то разрубим каждого из вас надвое, и вас будет больше».

Начались войны.

Загорелся, запылал Дагестан. На склонах гор, в ущельях, в скалах погибло сто тысяч лучших сынов Дагестана, самых молодых, крепких, отважных.

Но остался миллион. А ветры по-прежнему качали колыбели, не умолкли колыбельные песни. Выросло сто тысяч новых дагестанских сынов. Дали им имена погибших героев. И тогда на Дагестан надвинулось нашествие арабов.

Была великая битва, и был от битвы великий шум. Отсеченные головы катились по ущельям словно камни. Погибло сто тысяч лучших сынов Дагестана. Сто тысяч воинов, сто тысяч пахарей, сто тысяч женихов, сто тысяч отцов.

Но остался миллион, и не перестали качаться люльки, не смолкли колыбельные песни:

— Где ты был, Дингир-Дангарчу?

— В лес ходил Дингир-Дангарчу.

Выросло новых сто тысяч, и пришел тогда из Ирана шах над шахами, смертоподобный надир. Он собирался покорить мир, а уж с Дагестаном хотел расправиться одним ударом. «Дуну на них и сдую, как пыль». Раскинул он шатры. «Неужели эти мыши собираются воевать против моих котов?» — так еще говорил шах над шахами перед началом битвы. Но в конце ее он сказал: «Все свое войско готов сменять на одного их героя Муртузали».

Много красивых слов говорил шах Надир. Но не по мычанью узнают силу быка, а во время дела. По ветру пустили горцы шаха над шахами, погнали его войско, как ветер гонит золу, обильно полили своей и чужой кровью бесплодную, выжженную Чохскую долину. С тех пор в Иране есть поговорка: «Если шах глуп, то он пойдет завоевывать Дагестан».

Я видел в Тегеране золотой трон шаха Надира, привезенный из Индии. Я видел его добычу из разных стран, я видел его кривой меч.

— Эта маленькая вещь держала в повиновении и страхе полмира, — сказали мне иранские друзья.

— Но не сумела дотянуться до маленького Дагестана.

В Мешхете стены музея шаха Надира расписаны стихами прославленных поэтов Ирана, восхвалявших шаха

на все лады. Но и дагестанский народ триста лет поет песню об этом шахе:

Бегите, спасайтесь, мы вас не убьем,  
Мы вас не прикончим на месте,  
Чтоб вы рассказали о бегстве своем,  
Мы вас оставляем для вести.

В Иране считают, что шах Надир объединил разрозненные народы и создал могучее Иранское государство. Может быть, оно так и есть. Но я к этому добавил бы, что он помог объединиться и разрозненным дагестанским народам, нашим сердцам. Их объединила общая ненависть к шаху-завоевателю.

В войне с шахом Дагестан потерял сто тысяч лучших своих сынов. Погибли чабаны, охотники, каменотесы, чеканщики, землепашцы, поэты...

Но остался миллион. Качались люльки, пели песни, джигиты увозили своих возлюбленных, согревались под одной буркой, обнимались, продолжали род Дагестана. Народилось сто тысяч новых сынов и дочерей, сто тысяч серпов, кинжалов, пандуров, бубнов.

Тогда началась еще одна война. В ущельях и на каменистых дорогах загремели пушки. В лесах на склонах гор застучали топоры. Засверкали штыки, засвистели пули.

От Урала до Дуная,  
До большой реки,  
Колыхаясь и сверкая,  
Двигутся полки,  
Веют белые султаны,  
Как степной ковыль,  
Мчатся пестрые уланы,  
Подымая пыль.  
Боевые батальоны  
Тесно в ряд идут;  
Впереди несут знамены,  
В барабаны бьют.  
Батареи медным строем  
Скачут и гремят,  
И дымясь, как перед боем,  
Фитили горят.  
И испытанный трудами  
Бури боевой,  
Их ведет, грозя очами,  
Генерал седой.  
Идут все полки могучи,  
Шумны, как поток,



Страшно медленны, как тучи,  
 Прямо на Восток.  
 И томим зловещей думой,  
 Полный черных снов,  
 Стал считать Казбек угрюмый —  
 И не счел врагов...

Да, трудно было их сосчитать. В наших песнях поется, что приходилось выходить одному на сто. «Отрубали руку — дрались другой рукой, отрубали голову — тела продолжали драться, — рассказывали о той войне старики. — Убитыми конями перегораживали дороги и ущелья, с высоких скал прыгали на штыки. Нам говорили: хватит лить кровь. Сопротивление бесполезно. Куда вы денетесь? У вас нет крыльев, чтобы взлететь в небо. У вас ведь нет таких когтей, чтобы зарыться в землю.

Но Шамиль отвечал:

— Есть крыло — моя сабля. Наши когти — наши кинжалы, наши стрелы».

Двадцать пять лет дрались горцы во главе с Шамилем. В те годы изменился не только внешний облик Дагестана, но даже названия мест и рек. Авар-Койсу стала называться Кара-Койсу, то есть Черной рекой. Появились Раненые скалы, Ущелье смерти, прославилась река Валерик, остались в народной памяти тропа Шамиля, дорога Шамиля, танец Шамиля.

Трагическим венцом войны стала гора Гуниб. На ее вершине последний раз молился имам. Во время молитвы в поднятую руку попала пуля. Не вздрогнул Шамиль и продолжал свой намаз. Кровь обрызгала колени имама и каменную плиту, на которой он стоял. Раненый имам довел до конца свою молитву. Когда он встал, приближенные сказали ему:

— Ты ранен, имам.

— Эта рана — пустяк. Она заживет. — Шамиль сорвал пучок травы и стал вытирать кровь с руки. — Дагестан истекает кровью. Ту рану залечить труднее.

В этот самый тяжелый час имам призывал к себе на помощь своих храбрецов, давно уж взятых могилой. И тех, которые сложили головы на Ахульго, и тех, которые погибли в Хунзахе, и тех, которые остались лежать в каменистой земле близ аула Салты, и тех, которые похоронены в Гергебиле, и тех, которые пали в Дарго.



Он вспомнил своего одноаульца и предшественника, первого имама Кази-Магомеда, хромого Хаджи-Мурата, Алибекилава, Ахбердилава и многих еще храбрецов. Кто без головы, кто без руки, кто с простреленным сердцем,



лежат они в дагестанской земле. Война — это значит смерть. Сто тысяч лучших дагестанских сынов.

А Шамиль, пересекая великую Россию, все еще твердил:

— Мал Дагестан, мал наш народ. Мне бы еще хоть тысячу сабель.

В Верхнем Гунибе сохранился камень, на котором есть надпись: «На сем камне восседал князь Барятинский, принимая пленного Шамиля».

— Напрасны же были все твои старания, вся твоя борьба,— сказал Барятинский своему пленнику.

— Нет, не напрасны,— ответил Шамиль.— Память о ней сохранится в народе. Многих кровников моя борьба делала братьями, многие враждовавшие между собой аулы она объединила, многие народы Дагестана, враждовавшие между собой и твердившие «мой народ», «моя нация», она слила в единый дагестанский народ. Чувство родины, чувство единого Дагестана я завоевал и оставляю своим потомкам. Разве этого мало?

Я спросил у отца:

— Почему арабы, Тимур, шах Надир шли на нас, проливали кровь, сеяли зло и ненависть? Зачем им нужен был Дагестан, похожий на волчонка, не познавшего нежности и ласки?

— Я расскажу тебе притчу об одном очень богатом человеке. Да, он был очень богат. Когда он поднялся на холм, то увидел, что вся долина от подножия гор до берега моря заполнена его отарами. Не видно конца и его рогатым стадам, и его резвым табунам. Весь воздух был наполнен блеянием ягнят. И возрадовалось сердце богатого человека, что вся земля — его земля и весь скот на земле — его.

Но вот взгляд богача упал вдруг на клочок земли, оставшийся свободным и пустым от его стад. И заныло тогда его сердце, будто кто нанес ему глубокую рану. Разгневался богач и закричал грозным голосом: «Эй! Что там за клочок земли, похожий на облысевшую шкуру? Неужели у меня не хватит овец, чтобы заполнить его?! Гоните туда отары, гоните стада!»

Но больше всего отец любил рассказывать о самом Шамиле.

Например, о том, как Шамиль победил смелого разбойника.

Однажды имам со своими мюридами приехал в какой-то аул. Старейшины аула встретили его враждебно. Они сказали:

— Нам надоела война. Мы хотим жить мирно. Если бы не ты, мы давно бы помирились с царем.

— Эй вы, что были раньше горцами! Вы что же, хотите есть дагестанский хлеб, а служить его врагам? Разве я нарушил ваш мир и покой? Я его защищаю.

— Имам, мы ведь тоже дагестанцы, но мы видим, что эта война ничего хорошего Дагестану не дает и не даст. На одном упрямстве далеко не уедешь.

— Вы дагестанцы? По месту вы и правда живете в Дагестане, но сердца у вас заячьи. Вам нравится ворошить угли в очаге, когда Дагестан истекает кровью. Откройте ворота! Или мы их откроем саблями!

Долго переговаривались аульские старейшины с имамом, наконец решили впустить его и принять мирно как высокого и почетного гостя. За это Шамиль дал им слово не убить ни одного человека в этом ауле и не вспоминать о старых грехах. Он остановился в сакле верного своего кунака и жил тут несколько дней, ведя переговоры со старейшинами аула.

В то время в самом ауле и в его окрестностях промышлял ужасный разбойник, великан более чем двухметрового роста. Он грабил всех подряд, отнимал зерно, скот, коней, убивал и запугивал жителей аула. Для него не было ничего святого. Аллах, царь и имам были для него пустые слова.

Тогда старейшины аула обратились с просьбой к Шамилю:

— Имам, освободи нас от этого разбойника.

— Но что я с ним должен сделать?

— Убить, имам, убить. Он же сам многократный убийца.

— Я дал слово вашему джамаату не убивать в этом ауле ни одного человека. Слово надо держать.

— Имам, найди способ, освободи нас от злодея!

Через несколько дней мюриды Шамиля окружили разбойника, поймали и связали его, а приведя в аул, посадили в подвал. Чтобы наказать преступника по заслугам, собрался специальный суд — диван. Постановили выколоть бандиту глаза. Ослепив, снова посадили злодея в подвал, под замок.

Прошло несколько дней. Однажды ночью, ближе к рассвету, когда Шамиль спал крепким сном, раздался в его комнате шум и грохот. Имам вскочил, огляделся.

Видит, что, раскошив топором дверь, надвигается на него гора — звероподобный человек, похожий на дэва, рычащий, извергающий проклятия. Имам понял: разбойнику удалось каким-то образом убежать из-под замка и теперь он пришел отомстить.

Гигант надвигался скрипя зубами. В одной руке он держал огромный кинжал, в другой — топор. Имам тоже схватил свой кинжал. Он звал мюридов, но разбойник успел зарубить их. Аул спал. Никто не слышал зова имама.

Отступая, Шамиль ловил удобный момент, чтобы напасть на противника, а тот сослепу прыгал туда и сюда, метался и махал топором. Он разворотил все, что было в комнате.

— Где же ты, храбрец, о котором рассказывают книги? — кричал гигант. — Где ты прячешься? Иди, свяжи мне руки, поймай меня, выколи мне глаза.

— Я здесь! — громко крикнул имам и тотчас отскочил в сторону. Топор врезался глубоко в стену как раз в том месте, где секундой раньше стоял Шамиль. Тогда он улучил минуту, прыгнул на своего врага. Тот был сильнее, лютее. Начал кидать и швырять Шамиля, успел несколько раз поранить. Но ловкость и быстрота Шамиля всякий раз выручали, ему удавалось избежать смертельного ранения. Борьба длилась около двух часов. Наконец разбойник схватил Шамиля, поднял над головой и хотел ударить об пол, а потом и отрубить голову. Но поднятый в воздух Шамиль изловчился и успел ударить несколько раз кинжалом по голове разбойника. Тот внезапно сник, ослабел, закачался и рухнул, как кирпичная башня. Кинжал выпал из его рук. Утром нашли их обоих в луже крови. У Шамиля оказалось девять ран, и ему целый месяц еще пришлось лечиться в том ауле.

Борьба Шамиля с могущественным внешним противником во многом напоминала эту драку. Противник в незнакомых ему горах иногда действовал как бы вслепую. Шамиль же ловко увертывался от ударов и внезапно нападал то сбоку, то сзади.

У каждого горца, наверно, есть свой образ Шамиля. Я тоже вижу его по-своему.

Он еще молод. На плоской скале Ахульго, припав на колени, он воздел в небо руки, только что омытые волной аварской Койсу. Рукава черкески засучены. Губы шеп-

чут какое-то слово — некоторые утверждают, что, когда во время молитвы он шептал «аллах», слышалось людям — «свобода», а когда он шептал «свобода», слышалось людям — «аллах».

Он уже стар. На берегу Каспия он навсегда прощается с Дагестаном. Он пленник белого царя. Он поднялся на камни и окинул взглядом кипящие воды Каспия. Губы его вместо «аллах» и «свобода» шепчут «прощай». Говорят, что на щеках его видели в тот час капли влаги. Но ведь Шамиль никогда не плакал. Возможно, это были морские брызги.

И все же ярче всего он представляется мне, по рассказу отца, в тесной сакле один на один с разъяренным разбойником в длительной и кровавой борьбе.

С Хаджи-Муратом они жили то в мире, то в ссоре. Много легенд существует о них, много былей.

Возведя Хаджи-Мурата в сан наиба, Шамиль послал его в Хайдак и Табасаран, чтобы привлечь их на свою сторону, вернее, чтобы вовлечь их в войну. Он надеялся, что Хаджи-Мурат будет действовать убеждением, однако новый наиб навел в Хайдаке и Табасаране порядок кнута и огня. Если кто осмеливался заикаться о законе, Хаджи-Мурат показывал свой кулак и говорил: «Вот ваш закон. Я Хаджи-Мурат из Хунзаха. Я и есть для вас главный закон».

До Шамиля дошли слухи о жестокостях Хаджи-Мурата. Он послал гонца и вызвал наиба к себе. Тот вернулся с большой добычей. Его отряд гнал впереди себя стада рогатого скота, отары овец, табуны лошадей. Сам Хаджи-Мурат держал поперек седла похищенную красавицу.

— Ассалам алейкум, имам! — приветствовал Хаджи-Мурат своего вождя, сходя с коня.

— Ваалейкум салам, наиб. С приездом тебя. С чем хорошим приехал?

— Не с пустыми руками. Есть серебро, есть отары, есть кони, есть ковры. Хорошо ткут ковры в Табасаране.

— А красавицы не найдется?

— Есть и красавица. Да еще какая! Для тебя привез, имам.

Воины некоторое время смотрели в глаза друг другу. Потом Шамиль сказал:

— Скажи, с этой красавицей, что ли, я пойду вое-

вать? Мне нужны не овцы, а люди. Мне нужны не кони, а всадники. Ты угнал у них скот. Но этим ты ранил их сердца и отворотил от нас. Они должны были стать нашими воинами, заменить убитых и раненых. А кем их теперь заменишь? Разве случилось бы с нами то, что случилось в Салты и Гергебиле, если бы хайдакцы и табасаранцы были с нами? И разве допустимо, чтобы одни дагестанцы разоряли других дагестанцев?

— Имам, но другого языка они не понимали!

— А ты постарался сам понять их язык? Если бы понял, то обошлось бы без кнута и огня. Разве разбойники мои наибы?

— Имам, я — Хаджи-Мурат из Хунзаха!

— Я тоже — Шамиль из Гимры. А Кебед-Магомед из Телетля, а Гусейн из Чиркея. Ну и что из того? Аварцы, хиндаляльцы, кумыки, лезгины, лакцы, ограбленные тобой хайдакцы и табасаранцы — все мы сыновья одного Дагестана. Мы должны понимать друг друга. Ведь мы — пальцы одной руки. Для того чтобы получился кулак, все пальцы должны крепко-крепко соединиться. За храбрость спасибо тебе, Хаджи-Мурат. За это ты достоин любой награды. Твоя голова увенчана чалмой. Но теперь я тебя не одобряю.

— Когда другие в таких же чалмах грабили, ты ничего им не говорил, имам. Теперь, где бы гром ни гремел, все на мою голову.

— Я знаю, кого ты имеешь в виду, Хаджи-Мурат: Ахбердилава, моего сына Қазы-Магомеда или даже меня самого. Но Ахбердилав ограбил в Моздоке нашего врага. Я отнял добро у ханов, которые не хотели идти вместе с нами и даже пытались противостоять нам. Нет, Хаджи-Мурат. Чтобы быть наибом, недостаточно иметь смелое сердце и острый кинжал. Надо иметь еще хорошую голову.

Такие споры часто возникали между Шамилем и Хаджи-Муратом. Эти распри раздувались, преувеличивались молвой, и в конце концов злая вражда разделила их. Хаджи-Мурат покинул Шамиля, ушел на другую сторону, лишился головы. Тело его погребено в Нухе. Знаменательное разделение: голова досталась врагу, а сердце осталось в Дагестане. Какая судьба!



## ГОЛОВА ХАДЖИ-МУРАТА

Отрубленную вижу голову  
И боевые слышу гулы,  
А кровь течет по камню голому  
Через немирные аулы.

И сабли, что о скалы точены,  
Взлетают, видевшие виды.  
И скачут вдоль крутой обочины  
Кавказу верные мюриды.

Спросил я голову кровавую:  
«Ты чья была, скажи на милость?»  
И как, увенчанная славою,  
В чужих руках ты очутилась?»  
И слышу вдруг:  
«Скрывать мне нечего,  
Я голова Хаджи-Мурата,  
И потому скатилась с плеч его,  
Что заблудилась я когда-то.

Дорогу избрала не лучшую,  
Виной всему мой нрав тщеславный...»  
Смотрю на голову заблудшую,  
Что в схватке срублена неравной.

Тропинками, сквозь даль  
                                простертыми,  
В горах рожденные мужчины,—  
Должны живыми или мертвыми  
Мы возвращаться на вершины.

Перевел Я. Козловский

Увезли имама из Дагестана. Настроили крепостей с амбразами во все стороны. Пушки и ружья смотрели из амбразур. Они хотя и не стреляли, но как бы говорили: «Смирно сидите, горцы, ведите себя хорошо и тихо».

В печальной доле племя этих гор,  
В печальной доле реки, звери, птицы,  
Казалось, нет дороги на простор  
И только в смерти выход из темницы.

«Земля дикарей»,— сказал один губернатор, уезжая из Дагестана. «Они живут не на земле, а в пропасти»,— писал другой.

«Этим диким туземцам и та земля, что есть,— лишняя»,— утверждал третий.

Но даже в то глухое время звучали голоса Лермонтова, Добролюбова, Чернышевского, Бестужева-Марлинского, Пирогова... Да, были в царской России люди, понимавшие душу горца, сказавшие добрые слова о народе Дагестана. Если бы горцы могли тогда понять их язык!

Вечный снег на горах Дагестана,  
Вечной ночи над ним темнота,—

сказал некогда Сулейман Стальский, глядя на родную землю.

«С тех пор, как Дагестан посадили в темницу, все месяцы года имеют по тридцать одному дню»,— писал некогда мой отец.

«Горы, мы с вами сидим в подвале»,— сказал некогда Абуталиб.

«От такого горя и тур грустит в горах»,— пела некогда Анхил Марин.

«Об этом мире и думать нечего. У кого жирнее хинкалы, у того больше и славы»,— махнул рукой Махмуд.

«Счастья нигде нет»,— сделал вывод, объездив весь мир, кубачинец Ахмед Мунги.

Но Ирчи Казак писал: «Мужчина Дагестана везде должен оставаться мужчиной Дагестана».

Но тот же Батырай писал перед смертью: «Пусть у храбрых не рождаются робкие сыновья».

Но тот же Махмуд пел:

Если тур заплутался в горах, где темно,  
Иль тропу, или смерть он найдет все равно.

Но тот же Абуталиб сказал: «Этот мир вот-вот загремит. Пусть же он загремит громче».

И пришло время — раздался гром. Ударило далеко, не сразу докатилось до Дагестана, но все уже было разделено на две части зримой красной чертой: история, судьбы, жизнь каждого человека, все человечество. Гнев и любовь, мысли и мечты — все разделилось надвое.

— Загремело!..

— Где загремело?

— По всей России.

— Что загремело?

— Революция.

— Чья революция?

— Детей трудового народа.  
 — Ее цель?  
 — Кто был ничем, тот станет всем.  
 — Ее цвет?  
 — Красный.  
 — Ее песни?  
 — «Это есть наш последний и решительный бой».  
 — Ее армия?  
 — Все голодные и горестные. Великая армия труда.  
 — Ее язык, нация?  
 — Все языки, все нации.  
 — Ее глава?  
 — Ленин.  
 — Что говорит революция горцам Дагестана? Переведите нам.

Герои и певцы перевели на все наречия Дагестана язык революции:

«Веками угнетенные народы Дагестана! В наши дома, на наши поля по извилистым горным тропинкам пришла великая Революция. Слушайте ее и служите ей. Она говорит вам слова, которых вы никогда не слышали. Она говорит:

— Братья! Новая Россия подает вам свою руку. Принимайте ее, сплетайтесь с нею в крепком рукопожатии, в ней ваша сила и ваша вера.

— Дети ущелий и гор! Открывайте окна в большой мир. Начинается не день новый, а новая судьба. Идите навстречу этой судьбе!

— Теперь вы не обязаны гнуть спину перед сильными. Отныне на вашего коня не сядет чужой. Теперь ваши кони — ваши кони, ваши кинжалы — ваши кинжалы, ваши поля — ваши поля, ваша свобода — ваша свобода».

Так перевели язык «Авроры» на языки народов Дагестана. Его перевели Махач, Уллубий, Оскар, Джелал, Казим-Магомед, Магомед-Мирза, Гарун и другие мюриды революции, хорошо знавшие горести Дагестана.

И пошел Дагестан навстречу своей судьбе. Горцы приняли цвет и песни революции. Но испугались ее враги. Это над их головами загремел гром, под их ногами зашаталась земля, перед ними вскипело море, за их спинами обрушились скалы. Затрясся и рухнул старый мир. Разверзлась глубокая пропасть.

— Дайте руку! — взмолились враги революции, называвшие себя друзьями Дагестана.

— Ваши руки в крови.

— Постой, не уходи, оглянись, Дагестан!

— А на что оглядываться, что позади? Нищета, ложь, темнота и кровь.

— Маленький Дагестан! Куда ты?

— Искать большое.

— Окажешься ты как маленький челнок в большом океане. Пропадешь. Исчезнут твой язык, твоя религия, твои адаты, твоя папаха, твоя голова! — угрожали они.

— Я привык ходить по тесным тропинкам. Теперь, на широкой дороге, неужели сломаю ногу? Слишком долго я искал этот путь. Ни один волос не упадет с моей головы.

— Дагестан — вероотступник. Он погибает. Спасите Дагестан! — каркали вороны, выли волки. Кричали, угрожали, просили, убивали, обманывали. Кто только не кидал камня в зажженный фонарь! Кто только не пытался сжечь великий мост! Знамя сменялось знаменем, разбойник сменялся разбойником. Словно шубу в зимнюю холодную ночь, тянули друг у друга, рвали в клочья маленький Дагестан. А он метался, как тур, освобожденный от цепи. Каждый с жадностью хищника кинулся ловить его для себя. Какие только охотники не стреляли в него!

«Я, имам Дагестана Нажмудин Гоцинский, выбран народом у Андийского озера. Моя сабля ищет папаху, увенчанные красным лоскутом материи!» «Братья по религии, мусульмане! Идите за мной. Это я поднял зеленое знамя ислама», — так говорил зычным голосом другой человек. Его звали Узун-Хаджи.

«Пока я не вздерну на жердь голову последнего большевика и не выставлю ее на самой высокой горе Дагестана, я не повешу свое оружие на гвоздь!» — шумел князь Нухбек Тарковский.

Как раз в тот год в Хунзахе построил себе дворец полковник царской армии Кайтмаз Алиханов. Он позвал одного горца, чтобы показать ему новое жилище. Довольный собой и дворцом, Кайтмаз спросил:

— Ну как, хорош мой дворец?

— Для умирающего человека даже слишком хорош, — ответил горец.

— Зачем мне умирать?

— Революция...

— Ее я в Хунзах не пушу! — сказал полковник Алиханов и вскочил на белого скакуна.

«Я Саидбей — родной внук имама Шамиля. Пришел сюда от турецкого султана, чтобы с помощью его аскеров освободить Дагестан», — так заявил еще один пришелец, а с ним были всевозможные турецкие паши и беи.

«Мы — друзья Дагестана», — кричали интервенты, и на земле Дагестана высадился британский десант.

«Дагестан — это ворота Баку. И я на этих воротах повешу крепкий замок!» — хвалился полковник царской армии Бичерахов и разрушил Порт-Петровск.

Много было непрошенных гостей. Чья только грязная лапа не рвала рубаху на груди Дагестана! Какие знамена здесь не промелькнули! Какие ветры не крутились! Какие волны не разбивались о камни!

«Если ты не покорись, Дагестан, мы столкнем тебя в море и утопим!» — грозили пришельцы.

В то время мой отец писал: «Дагестан похож на животное, которое со всех сторон клюют птицы».

Была стрельба, был огонь, была кровь, дымились скалы, горел хлеб, разорялись аулы, болезни косили людей, крепости переходили из рук в руки. И длилось все это четыре года.

«Продав поле, покупали коня, продав корову, покупали саблю», — говорили тогда горцы.

Ржали лошади, теряя всадников. Вороны клевали глаза убитых.

Отец сравнивал Дагестан того времени с камнем, через который с шумом протекло множество разных рек. А мать сравнивала его с рыбой, плывущей против многих бурных потоков.

Абуталиб вспоминает: «Каких только зурнистов не повидала наша страна!» Сам он был зурначом партизанского отряда.

Сейчас перьями пишут ту повесть, ту историю, которая была уже написана саблями. Сейчас, изучая те дни, взвешивают на весах и славу и подвиги. Оценивая героев, ученые спорят между собой, можно даже сказать, воюют.

Но герои отвоевали. И мне, право, не важно, кто был первым, кто вторым, а кто третьим. Важно другое: революция вложила свой кинжал в ножны, полой черкески стерев кровь последнего убитого врага. И горец из этого

кинжала уже выковал серп. Свой острый штык он воткнул между камней на откосе. Налегая на соху, начал пахать свою землю, понукая, погнал своих быков, нагрузил на арбу сено со своего поля.

Водрузив красное знамя на вершине горы, Дагестан закрутил усы. Из чалмы лжеимама Гоцинского он сделал пугало, а самого имама покарала революция. Перед судом взмолился Гоцинский: «Белый царь в живых оставил Шамиля. Волос не упал с его головы. Почему же вы меня убиваете?»

Дагестан и революция ему ответили: такому, как ты, Шамиль тоже отрубил бы голову, он говорил: «Предателю лучше находиться в земле, чем на земле». Да, кара свершилась, и ни одна гора не содрогнулась, никто не заплакал, никто не установил на его могиле каменного надгробия.

Через Цунтинские леса бежал на своем белом коне Кайтмаз Алиханов. Бежали с ним и два его сына. Но их настигли красные партизанские пули. Белый конь полковника, понурившись, хромя на одну ногу, вернулся в крепость Хунзах.

— По неверной дороге пустили они тебя,— сказал бедному животному Муслим Атаев.— И Дагестан хотели пустить по такой же дороге.

Прогнали и Бичерахова. В волнах Каспия утонули его разрозненные отряды. «Аминь»,— сказали волны, смыкаясь над ними. «Аминь,— сказали и горы,— пусть в ад попадут те, кто на земле творил ад».

В Стамбуле я пошел на базар. Окружавшие меня бывшие аварцы показали мне там на одного старика, шедшего сквозь толпу. Он был похож на мешок, из которого высыпали зерно.

— Он — Казимбей.

— Какой Казимбей?

— Тот, который приходил в Дагестан с войсками султана.

— Неужели он еще жив?

— Тело, как видите, живо.

Нас познакомили.

— Дагестан... Знаю я эту страну,— сказал дряхлый старик.

— Вас в Дагестане тоже знают,— сказал я.

— Да, я там был.

— Еще приедете? — спросил я нарочно.

— Больше не приеду, — сказал он и поспешил за свой прилавок.

Неужели этот мелкий торговец на стамбульском базаре забыл, как он в Касумкенте прямо в поле убил трех мирных землепашцев? Неужели он не вспомнил скалу в горах, с которой бросилась юная горянка, лишь бы не попасть в руки его янычар? Неужели не вспомнил этот торговец, как к нему из сада привели мальчонку, как он отобрал у него вишню и косточкой плюнул прямо ему в глаза? Но, во всяком случае, не забыл он, как бежал в нижнем белье и как горянка крикнула ему вслед: «Эй, вы забыли папаху!»

Бежали из Дагестана грабители. Бежали британские десантники. Бежал Казимбей. Бежал Саидбей, внук Шамиля.

— Где сейчас Саидбей? — спросил я в Стамбуле.

— Уехал в Саудовскую Аравию.

— Зачем?

— По торговым делам. Там у него есть немного земли.

Торговцы! Не пришлось вам поторговать в Дагестане. Революция сказала: «Базар закрыт». Кровавой метлой вымела она из горской земли всю нечисть. Теперь лишь чахлые тела «защитников и спасителей Дагестана» бродят где-то в чужих краях.

Несколько лет тому назад в Бейруте состоялась конференция писателей стран Азии и Африки. Меня тоже послали на эту конференцию. Приходилось иногда выступать не только на конференции, но и в других местах, куда нас приглашали. На одном таком вечере я рассказывал о своем Дагестане, о его людях, обычаях, читал стихи разных дагестанских поэтов и свои.

После вечера на лестнице меня остановила молодая красивая женщина.

— Господин Гамзатов, можно ли поговорить с вами, не уделите ли вы мне немножко времени?

Мы пошли по вечерним улицам Бейрута.

— Расскажите о Дагестане. Пожалуйста, все, — просила моя неожиданная спутница.

— Но я только что рассказывал целый час.

— Еще, еще!

— А что вас интересует больше?

— О, все! Все, что касается Дагестана!

Я начал рассказывать. Мы брели наугад. Не давая мне еще закончить, она просила:

— Еще, еще.

Я рассказывал.

— Прочитайте свои стихи на аварском языке.

— Но вы же ничего не поймете!

— Все равно.

Я читал стихи. Чего не сделаешь, когда просит молодая красивая женщина. К тому же в ее голосе чувствовался такой искренний интерес к Дагестану, что отказать было нельзя.

— А не споете ли вы аварскую песню?

— О нет. Петь я не умею.

«Сейчас заставит меня танцевать», — подумалось мне.

— Хотите, я вам спою?

— Сделайте милость.

В это время мы вышли к морю, зеленовато освещенному яркой луной.

И вот в далеком Бейруте неизвестная мне красавица на непонятном языке запела для меня дагестанскую песню «Далалай». Но когда она запела вторую песню, я понял, что поет она на кумыкском языке.

— Откуда вы знаете кумыкский язык? — удивился я.

— К сожалению, я его не знаю.

— Но песня...

— Этой песне меня научил мой дедушка.

— Он что, был в Дагестане?

— Да, в некотором роде он бывал.

— Давно?

— Видите ли, мой дед — Нухбек Тарковский.

— Полковник?! Где он сейчас?

— Жил в Тегеране. В этом году умер. Умирая, он все время просил меня петь ему эту песню.

— О чем она?

— О перелетных птицах... Он меня научил и одному дагестанскому танцу. Смотрите!

Женщина вся засветилась, как молодая луна, она легко вскинула руки и поплыла по кругу, словно лебедь по озеру.

Потом я попросил ее еще раз спеть песню о перелетных птицах. Она и перевела мне слова. Придя в гостиницу, я по памяти записал песню, но уже переведя на аварский язык.



...Да, в Дагестан пришла весна. Но я все думаю: какое отношение имеет князь Нухбек Тарковский к этой песне о перелетных птицах? Зачем ему, живущему в шахском Тегеране, вспоминать солнце красных гор, ему, полковнику, который бежал от революционного края и от мести Дагестана? Как он мог испытать чувство тоски по родине?

Сначала, живя в Иране, Тарковский говорил: «То, что произошло со мною и с Дагестаном,— ошибка судьбы, и я вернусь туда, чтобы исправить эту ошибку». Он и вместе с ним другие эмигранты каждый день ходили на берег Каспия, чтобы узнавать новости из Дагестана. Но они видели каждый раз, что на мачтах кораблей, плывущих по Каспию, полощутся красные флаги. Осенью, глядя на летящих с севера птиц, тоскующая его жена пела песни. Пела она и эту песню о перелетных птицах. И сначала князю Тарковскому эта песня очень не нравилась.

Шли годы. Выросли дети. Состарился полковник. Он понял, что навеки лишен Дагестана. Он понял, что Дагестану предназначена другая судьба, что страна эта сама выбрала для себя единственный и правильный путь. И тогда престарелый князь тоже запел песню о перелетных птицах.

Отец говорил:

— Дагестан не пойдет с теми, кто не пошел с Дагестаном.

Абуталиб добавлял:

— Кто сел на чужого коня, тот быстро свалится. Наш кинжал не идет к чужому покрою одежды.

Сулейман Стальский писал:

«Я был подобен клинку, зарытому в землю. Советская власть вытащила меня, отчистила от ржавчины, и я заблестал».

Отец еще говорил:

— Хотя мы и всегда были горцами, но только сейчас поднялись на вершину горы.

Абуталиб добавил:

— Дагестан, выходи из подвала!

Моя мать пела, качая люльку:

Спи спокойно, мир в горах настал,  
Выстрелов не слышно среди скал.

— Самый короткий месяц февраль, а какой важный,— говорил также Абуталиб,— в феврале свергли царя, в феврале образовалась Красная Армия, в феврале Ленин принял делегацию горцев.

В то время в далеком ауле Ругуджа женщины сложили песню о Ленине:

Ты первым пришел и людьми нас назвал,  
Оружье победное в руки нам дал,  
Как гуси, услышав орла, разлетаются прочь,  
От Ленина-солнца развеялась темная ночь.

У маленького народа большая судьба. Поют дагестанские птицы. Звучат слова сынов революции. О них говорят дети. Имена их высечены на могильных камнях. Но у иных героев не известны могилы.

Я люблю тихой ночью бродить по улицам столицы Дагестана. Когда читаю названия улиц, мне кажется, снова заседают ревкомы республики. Махач Дахадаев! Слышу я его голос: «Мы — борцы революции. Языки наши, имена наши, характеры наши — разные. Но у всех нас есть одно общее: верность революции и Дагестану. Никто из нас не пожалеет ни крови, ни жизни ради революции и Дагестана».

Махача убили разбойники из отряда князя Тарковского.

Уллубий Буйнакский. Слышу его голос: «Враги меня убьют. Убьют они и моих друзей. Но сжатые в единый кулак наши пальцы никакому врагу не удастся разжать. Этот кулак тяжел и верен, потому что его сжали беды Дагестана и идеи революции. Он схватит за горло угнетателей. Знайте об этом».

Молодого дагестанского коммуниста, двадцативосьмилетнего Уллубия убили деникинцы. Они убили его в пустыне. Теперь там растут маки.

Слышу я голос Оскара Лещинского, Кази-Магомеда Агасиева, Гаруна Саидова, Алибека Багатырова, Сафара Дударова, Солтан-Саида Казбекова, отца и сына Батырмурзаевых, Омарова-Чохского... Их много, убитых. Но каждое имя — это огонь, звезда, песня. Все они герои, оставшиеся вечно молодыми. Они наши дагестанские Чапаевы, Щорсы, Шаумяны. Они погибли в Ахтах, в ущелье Ая-Кака, у Касумкентского потока, за стеной Хунзахской крепости, в сожженном Хасавюрте, в древнем

Дербенте. В Араканском ущелье нет камня, который не обогрен кровью дагестанских комиссаров. В Мочохских кряжах была расставлена западня для отряда Багатырова. Видели кровь Темир-Хан-Шура, Порт-Петровск и все четыре Койсу, куда теперь бросают цветы в память погибших. Погибли сто тысяч дагестанцев — коммунистов и партизан. Но другие народы узнали о Дагестане. Миллионы друзей протянули руки красному Дагестану. Познав тепло этих дружеских рук, дагестанцы сказали: «Теперь нас немало».

Война не рождает людей. Но в огне революционных боев родился новый Дагестан.

13 ноября 1920 года был созван Первый чрезвычайный съезд дагестанских народов. На съезде от имени правительства РСФСР выступил Сталин. Он объявил автономию стране гор — Дагестану. Новое имя, новый путь, новая судьба.

Вскоре дагестанский народ получил подарок. Ленин прислал свою фотографию с надписью: «Красному Дагестану». Кубачинские златокузнецы и унцукульские краснодеревщики создали невиданную рамку для этого портрета. В том же году из махачкалинского порта вышел новый пароход — «Красный Дагестан». Но и сам Дагестан походил теперь на могучий корабль, вышедший в большое новое плавание.

«Утренняя звезда». Так называли первый дагестанский журнал. Пришло в Дагестан утро. Открылись окна в широкий мир.

В трудные дни гражданской войны, когда в горах хозяйничали отряды Гоцинского, мой отец получил письмо от однокашника по медресе.

В письме бывший соученик рассказывал о Нажмудине Гоцинском и о его войсках. В конце письма отец прочитал: «Нажмудин недоволен тобой. Мне показалось, что он очень хотел бы, чтобы ты обратился к горской бедноте со стихами, где рассказал бы правду об имаме. Я взял на себя обязанность связаться с тобой и обещал ему, что ты это сделаешь. Прошу тебя, исполни мою просьбу и желание имама. Нажмудин ждет твоего слова».

Отец ответил: «Если ты взял на себя такое обязательство, то ты и пиши стихотворение о Нажмудине. Что ка-

сается меня, то я не намерен проводить воду к его мельнице. Вассалам, вакалам...»

В то же время большевик Магомед-Мирза Хизроев вызвал отца в Темир-Хан-Шуру и предложил сотрудничать в газете «Красные горы». В этой газете и было опубликовано стихотворение отца «Обращение к горской бедноте».

Отец писал о новом Дагестане, он сотрудничал в газете «Красные горы». Шло время. У Магомеда-Мирзы Хизроева родилась дочка. Позвали отца, чтобы он выбрал ей имя. Высоко подняв девочку, отец провозгласил:

— Загъра!

Загъра — это значит звезда.

Родились новые звезды. Росли дети, носящие имена погибших героев. Весь Дагестан стал похож на большую колыбель.

Каспийские волны пели ему колыбельные песни. Огромная страна склонилась над Дагестаном как над ребенком.

А мама пела тогда песни о ласточках, о травах, прорастающих из-под камней, о цветах, расцветающих осенью. Под эти колыбельные напевы выросли в нашем доме три сына и одна дочь.

И вновь выросли в Дагестане сто тысяч сыновей и дочерей. Выросли землепашцы, скотоводы, садоводы, рыбаки, каменотесы, чеканщики, агрономы, врачи, учителя, инженеры, поэты, артисты. Поплыли корабли, полетели самолеты, загорелись невиданные доселе лампы.

— Теперь я стал хозяином большого богатства, — сказал Сулейман Стальский.

— Теперь я в ответе не только за аул, но и за всю страну, — сказал мой отец.

— Мои песни, летите в Кремль! — воскликнул Абу-талиб.

Новые поколения создавали новые черты народа.

Великая Страна Советов — могучее дерево. Дагестан — ветка на нем.

И вот, чтобы это дерево выкорчевать, чтобы сжечь его ствол и его ветви, напали на нас фашисты.

В тот день жизнь должна была идти своим чередом. В Хунзахе — воскресный базар. В крепости — выставка достижений сельского хозяйства района. Отряд молоде-

жи пошел штурмовать вершину Седло-горы. Аварский театр готовил к постановке пьесе моего отца «Сундук бедствий». Вечером должна была состояться премьера.

Но утром открылся такой сундук бедствий, что все остальные бедствия пришлось забыть. Утром началась война.

Тотчас потянулись из разных аулов цепочки мужчин и молодых людей, вчера еще мирных пастухов и земледельцев, а сегодня защитников Родины. Старушки, дети и женщины стояли на крышах всех дагестанских аулов и долго глядели вслед уходящим. И уходили надолго, многие навсегда. Только и слышалось:

— Прощай, мама.

— Будь здоров, отец.

— До свидания, Дагестан.

— Счастливой дороги вам, дети, возвращайтесь с победой.

Из Махачкалы, как бы отделяя горы от моря, идут и идут поезда. Они увозят молодость, силу, красоту Дагестана. Эта сила понадобилась всей стране. Слышалось то и дело:

— До свидания, невеста.

— Прощай, жена.

— Не оставляй меня, я хочу с тобой.

— Вернемся с победой!

Идут поезда. Идут непрерывные поезда.

Вспоминаю родное педучилище. У братской могилы жертв революции выстроен конный дагестанский полк. Им командует красный партизан, прославленный Кара Караев. Суровые, сосредоточенные лица. Полк принимает присягу.

Девяностолетний горец перед уходящим полком произносит речь:

— Жалко, что мне сегодня не тридцать лет. Но и я могу отправиться вместе с тремя сыновьями.

Потом появились: эскадрилья истребителей «Дагестан», танковая колонна «Шамиль», бронепоезд «Комсомол Дагестана». Отцы и дети воюют в одном ряду. Военская доблесть снова засветилась над горами. Браслеты, серьги, пояса, кольца, подарки женихов, мужей и отцов, серебро и золото, драгоценные камни, старинное искусство Дагестана наши женщины отдали большой стране, чтобы она ковала победу.

Да, ушел на фронт Дагестан. Он воевал вместе со всей страной. В каждой воинской части, у моряков, у пехотинцев, у танкистов, у летчиков, у артиллеристов — всюду можно было встретить дагестанца: стрелка, пилота, командира, партизана. Со всех обширных фронтов стекались в маленький Дагестан скорбные письма.

В нашем ауле Цада семьдесят саклей. Почти столько же юношей ушло на войну. Мама говорила во время войны: «Я часто вижу во сне, будто все наши цадинские ребята собираются на Нижней поляне». Иногда, увидев звезду в небе, она говорила: «Наверно, эту звезду видят сейчас и наши аульские парни где-нибудь около Ленинграда». Когда с севера прилетали к нам перелетные птицы, моя мама спрашивала: «Не видали ли вы наших цадинских ребят?»

Горянки, читая письма, слушая радио, заучивали наизусть непонятные и трудные для них слова: Керчь, Брест, Корсунь-Шевченковский, Плоешти, Констанца, Франкфурт-на-Майне, Бранденбург. Особенно путались горянки в двух названиях — Бухарест и Будапешт, — удивляясь, что это два разных города.

Да, где только не побывали юноши из аула Цада!

В сорок третьем году мы с отцом поехали в город Балашов. Там в госпитале умер мой старший брат. На берегу маленькой речки мы нашли могилу и прочитали надпись: «Магомед Гамзатов».

Отец посадил на могиле деревце, русскую березу. Он сказал: «Расширилось теперь наше цадинское кладбище. Большим теперь стал наш аул».

## РОДНОЙ ЯЗЫК

Цадинское кладбище...  
В саванах белых,  
Соседи, лежите вы, скрытые тьмой.  
Вернулся домой я из дальних пределов,  
Вы близко, но вам не вернуться домой.

В ауле осталось друзей маловато,  
В ауле моем поредела родня...  
Племянница — девочка старшего брата,  
Сегодня и ты не встречала меня.

Что стало с тобой — беззаботной, веселой?  
Года над тобою текут как вода.

Вчера твои сверстницы кончили школу,  
А ты пятиклассницей будешь всегда.

И мне показалось нелепым и странным,  
Что в этом краю, где вокруг никого,  
Зурна моего земляка Бияслана  
Послышалась вдруг у могилы его.

И бубен дружка его Абусамата  
Послышался вновь, как в далекие дни,  
И мне показалось опять: как когда-то,  
На свадьбе соседа гуляют они.

Нет... здесь обитатели не из шумливых,  
Кого ни зови, не ответят на зов...  
Цадинское кладбище — край молчаливых,  
Последняя сакля моих земляков.

Растешь ты, свои расширяешь границы,  
Теснее надгробьям твоим что ни год.  
Я знаю, в пределах твоих поселиться  
Мне тоже когда-нибудь время придет.

Сходиться, куда б ни вели нас дороги,  
В конечном итоге нам здесь суждено,  
Но здесь из цадинцев не вижу я многих,  
Хоть знаю, что нет их на свете давно.

Солдат молодых и седых ветеранов  
Не дома настигла крошечная тьма.  
Где ты похоронен, Исхак Биясланов,  
Где ты, мой товарищ Гаджи-Магома?

Где вы, дорогие погибшие братья?  
Я знаю, не встретиться нам никогда.  
Но ваших могил не могу отыскать я  
На кладбище в нашем ауле Цада.

На поле далеком сердца вам пробило,  
На поле далеком вам руки свело...  
Цадинское кладбище, как ты могилы,  
Могилы свои далеко занесло!

И нынче в краях, в холодных и жарких,  
Где солнце печет и метели метут,  
С любовью к могилам твоим не аварки  
Приносят цветы и на землю кладут.

*Перевел Н. Гребнев*

У нас в ауле в сельсовете на стене висела во время войны большая карта. Тогда по всей стране много висело

таких карт. Обычно на них отмечали красными флажками линию фронта. На нашей карте тоже были флажки, но обозначали они другое. Они были воткнуты в тех местах, где погибли наши цадинцы. Много было флажков на карте. Столько же, сколько и материнских сердец, раненных этими острыми булавками.

Да, не маленьким оказалось цадинское кладбище, не маленьким оказался наш аул.

Тоскующие матери ходили к гадалкам, гадалки успокаивали горянок: «Вот дорога. Вот огонь. Вот победа. Вернется к тебе твой сын. Наступит мир и покой».

Хитрили гадалыщицы. Но насчет победы они не ошиблись. На стене рейхстага среди прочих есть и такая надпись, вырезанная штыком: «Мы из Дагестана».

Снова старики, женщины и дети стояли на крышах саклей и глядели вдаль. Но теперь они не провожали, а встречали своих орлов. На горных дорогах не было верениц людей. Уходили все сразу, а возвращались поодиночке. У некоторых женщин на головах яркие, а у некоторых черные платки. Спрашивают чужие матери у тех, кто вернулся:

— А где мой Омар?

— Не видал ли моего Али?

— Скоро ли вернется мой Магомед?

И моя мать повязалась черным платком. Не вернулись Магомед и Ахильчи, два ее сына, два моих брата. Не вернулись многие из тех, кого видела мать в своих окнах играющими на Нижней поляне. Не вернулись те, кому гадалыщицы предсказывали скорое возвращение. Сто человек не вернулись в наш небольшой аул. Сто тысяч человек не вернулись домой по всему Дагестану...

Смотрю на флажки на карте, читаю названия мест, вспоминаю имена моих земляков. В Баренцевом море остался Магомед Гаджиев. В Симферополе — танкист Магомед Загид Абдулманапов. В Сталинграде погиб пулеметчик Ханпаша Нурадилов, чеченец, но сын Дагестана. В Италии командовал партизанами и погиб храбрец Камалов...

В каждом горном ауле стоят пирамидальные памятники, а на них имена, имена, имена. Горец сходит с коня, подъезжая к ним, пеший снимает папаху.

Журчат в горах родники, носящие имена погибших. Старики сидят около родников, потому что они понимают



язык воды. В каждом доме на почетном месте висят портреты тех, кто навсегда останется молодым и красивым.

Когда я возвращаюсь из какой-нибудь далекой поездки, некоторые матери спрашивают меня с затаенной надеждой: «Не встретился ли тебе случайно мой сын?» С надеждой и болью глядят они и на журавлей, пролетающих длинными стаями. Я тоже, когда они пролетают, не могу оторвать от них глаз.

## ЖУРАВЛИ

Мне кажется порою, что солдаты,  
С кровавых не пришедшие полей,  
Не в землю эту полегли когда-то,  
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних  
Летят и подают нам голоса.  
Не потому ль так часто и печально  
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Сегодня, предвечернею порою,  
Я вижу, как в тумане журавли  
Летят своим определенным строем,  
Как по земле людьми они брели.

Они летят, свершают путь свой длинный  
И выкликают чьи-то имена.  
Не потому ли с кличем журавлиным  
От века речь аварская сходна?

Летит, летит по небу клин усталый —  
Летят в тумане на закате дня,  
И в том строю есть промежуток малый —  
Быть может, это место для меня!

Настанет день, и с журавлиной стаей  
Я поплыву в такой же сизой мгле,  
Из-под небес по-птичьи окликая  
Всех вас, кого оставил на земле.

*Перевел Н. Гребнев*

Летят журавли, вырастают травы, качаются колыбели. Трех вынянчила лялька и в моем доме, три девочки родились у меня. А у другого — четыре, а у других — десять, а то и пятнадцать. Сто люлек качаются в ауле Цада, сто тысяч люлек качаются в Дагестане. По рождению Дагестан занимает первое место в Российской Федерации. Стало нас полтора миллиона. А чем больше

народу, тем чаще свадьбы, а чем чаще свадьбы, тем больше людей.

В трех случаях нельзя медлить, говорят горцы: когда надо похоронить умершего, накормить гостя и выдать взрослую дочь замуж.

Во всех этих трех делах в Дагестане не опаздывают. Вот зарокотал барабан, запела зурна, начались свадьбы. Поднимая первую чашу, провозгласят: «Пусть невеста рождает сына!»

И еще три вещи, которые горец должен неукоснительно выполнять: выпивать рог до конца, беречь имя и не терять мужества в час испытаний.

А испытаний немало выпало на долю горцев. Немало бил молот судьбы по саклям Дагестана, чтобы раздробить их, но они устояли.

А между тем по-прежнему нет покоя в мире. То тут, то там на земном шаре раздается стрельба, рвутся бомбы, и, как всегда, матери прижимают к груди своих детей.

Когда появляются на небе дождевые тучи, земледelec спешит в поле, чтобы убрать скорее то, что скошено. Когда сгущается небо над миром, народы стремятся защитить мир, спасти его от военной грозы.

В Дагестане так говорят: драчливому быку отпиливают рога, кусачую собаку держат на цепи. Если бы и в мире существовал такой обычай, легко бы жилось. С думами о большом мире живет теперь маленький Дагестан.

Раньше, если горцы уходили в набег, не брали с собой слишком уж молодых джигитов. Но Шамиль сказал— надо брать. Невелик палец мизинец, но без него нет крепкого кулака.

Пусть Дагестан будет мизинцем в большом и тяжелом кулаке целой страны. Тогда враги, при всем их старании, не разожмут этот кулак.

Кулак этот только для врагов, а на плече друга лежит просто широкая ладонь. Ну и у ладони все равно есть мизинец.

Когда бываю в других странах, прежде всего знакомлюсь с поэтами. Песня песню хорошо понимает. А еще я стараюсь познакомиться с земляками, если такие есть. Конечно, земляки за границей разные. Но не терплю выскомерия к землякам именно потому, что они разные. Я встречал их в Турции, в Сирии, в ФРГ, да и где только не встречал!

Иные дагестанцы оказались вдалеке от родины еще во времена Шамиля. Ушли от своих очагов на поиски счастья, которое не далось дома.

Другие уехали, не поняв революции или поняв, но испугавшись, а третьих революция выдворила сама. Есть и четвертые, самые негодные, самые жалкие и потерянные. Эти изменили родине уже во время последней войны.

Разных дагестанцев повидал я. В Турции побывал даже в дагестанском ауле.

— У нас здесь тоже маленький Дагестан,— сказали мне жители этого аула.

— Нет, вы не правы, Дагестан только один. Двух Дагестанов быть не может.

— А кто же, по-твоему, мы, откуда?

— Да, кто и откуда вы?

— Из Карата, из Батлуха, из Хунзаха, из Акуша, из Кумуха, из Чоха, из Согратля. Мы из разных аулов Дагестана, так же как и те, кто уже лежит в этих могилах на аульском кладбище. Мы тоже маленький Дагестан!

— Вы — были. Некоторые хотят еще быть. Может, и это дагестанцы? — спросил я, показывая на портреты Гоцинского, Алиханова и Узун-Хаджи.

— А кто же они? Они из нашего народа, одного с нами языка.

— Дагестан их языка не понял, а они не поняли язык Дагестана.

— Каждый по-своему понимает Дагестан. У каждого в сердце свой Дагестан.

— Но не каждого Дагестан считает своим сыном.

— Кого же считает?

— Приезжайте туда, где качаются колыбели наших детей.

— А что говорят там про нас?

— Камни, которые не подошли к стене и остались лишними, когда воздвигался Дагестан. Листья, унесенные осенним ветром, струны, несозвучные главным струнам пандура.

Так я разговаривал с земляками, живущими на чужбине. Среди них есть богатые и бедные, добрые и злые, честные и потерявшие честь, обманутые и обманщики. Они танцевали при мне лезгинку, но бубен был чужой.

Мы не считаем этих людей, когда говорим, что нас, дагестанцев, полтора миллиона.

Когда я уезжал из Сирии, одна аварка все просила меня передать привет абрикосовому дереву в Гергебиле, потрогать его руками.

Аварские дети на берегу Мраморного моря, у которых отец уехал в Мекку на поклонение, сказали мне:

— А для нас Мекка — Дагестан. Того, кто побывал в Мекке, называют хаджи. А теперь для нас тот хаджи, кому удалось побывать в Дагестане.

Ко мне в Махачкале приходил однажды такой хаджи, который не был на родине сорок лет.

— Ну и как? — спросил я у него. — Изменился Дагестан?

— Если буду там рассказывать — не поверят. Но скажу им одно: Дагестан есть!

Есть мой Дагестан! Есть республика! Есть народ, язык, имена, обычаи. Вот судьба Дагестана. Игруются свадьбы, качаются колыбели, поднимаются тосты, поются песни.

## ● СЛОВО

**А**варское слово «миллат» имеет два значения: нация и забота. «Кто не заботится о нации, тот не может заботиться и обо всем мире», — говорил мой отец.

«Должна ли нация заботиться о том, кто не заботится о нации?» — спрашивает Абуталиб.

«У кур, у гусей, у крыс, кажется, не бывает нации, но у людей она должна быть», — так говорила моя мама.

Бывает одна нация и две республики, как у наших соседей осетин. Бывает одна республика и сорок наций.

«Целая гора языков и народов», — сказал о Дагестане какой-то путник.

«Тысячеголовый дракон», — говорили о Дагестане враги.

«Многоветвистое дерево», — говорят о Дагестане друзья.

«Хоть днем с огнем иди по всему миру, не найдешь на земле такого места, где было бы так мало народу и много народностей», — говорили путешественники.

Абуталиб шутил:

— Мы очень помогли развиваться грузинской культуре.

— Что ты говоришь? У них тысячелетняя культура. Шота Руставели жил восемьсот лет назад, а мы только вчера научились писать. Как же могли мы им помочь?

— А вот как. У нас в каждом ауле свой язык. Грузины, наши соседи, решили эти языки изучать и сравнивать. Те, кто их исследовал, писали о них статьи, научные книги, стали учеными, кандидатами, докторами. Разве было бы у них столько докторов, если бы во всем Дагестане был только один язык? То-то вот и оно.

Да, пишутся и будут писаться всевозможные книги о грамматике, синтаксисе, фонетике, лексике дагестанских языков. Тут есть над чем поработать. Приходите, ученые, хватит и вам и вашим детям.

Ученые спорят. Одни говорят: в Дагестане столько-то языков, другие говорят — столько-то. Одни говорят — языки возникли так, а другие говорят — эдак. Много противоречивого в их расхождениях и доказательствах.

А я знаю только то, что у нас на одной арбе могут ехать люди, говорящие на пяти языках, а если остановятся на перепутье пять арб, то услышишь и тридцать языков.

Когда подпольную партийную организацию во главе с Уллубием Буйнакским расстреляли — их было шесть человек, — они перед смертью выкрикнули проклятье врагам на пяти разных языках:

Кумык Уллубий Буйнакский.

Аварец Саид Абдулгалимов.

Даргинец Абдул-Вагаб Гаджиев.

Кумык Меджид Али-оглы.

Лезгин Абдурахман Исмаилов.

Русский Оскар Лещинский.

У дагестанского писателя Магомеда Сулиманова есть пятнадцать веселых рассказов о пятнадцати Магомедах пятнадцати разных дагестанских народностей. Рассказы так и называются «Пятнадцать Магомедов».

Русский писатель Дмитрий Трунов написал очерк о колхозе, в котором работают люди тридцати двух народностей.

В блокноте Эффенди Капиева записано, как он и еще три дагестанских писателя — Сулейман Стальский, Гамзат Цадаса и Абдула Магомедов — ехали в поезде в одном купе в Москву на Первый съезд писателей СССР.

Ехали они трое суток, все народные поэты Дагестана, а поговорить друг с другом не могли. У каждого свой язык. Объяснялись жестами и мимикой. Кое-как понимали друг друга.

Рассказывая о своей партизанской жизни, Абуталиб вспоминает: «За одним котелком толокна говорили на двадцати языках. Один мешок муки делили на двадцать народностей».

Есть у нас Нижний Дженгутай и Верхний Дженгутай. Расстояние между ними три километра. В Нижнем Дженгутае язык кумыкский, а в Верхнем Дженгутае язык аварский.

Даргинцы говорят, что в Мегебе живут даргинцы, аварцы говорят, что в Мегебе живут аварцы. А что же говорят сами жители Мегеба? Они говорят: мы не даргинцы и не аварцы. Мы — мегебцы. У нас свой мегебский язык! Отойдешь от Мегеба на семь километров, попадешь в Чох. С мегебским языком туда не ходи, в Чохе свой особый язык.

Говорят, потому так долго и надежно хранились секреты кубачинских златокузнецов, что никто не мог понять их языка. И захочешь разболтать секрет, да кому разболтаешь?

И еще рассказывают о том, как хунзахский хан послал в Гидатли своего лазутчика, чтобы тот прислушивался ко всем разговорам на их годеканах и базарах, чтобы узнать, о чем думают гидатлинцы.

Лазутчик возвратился быстрее, чем нужно.

— Все узнал?

— Ничего не узнал.

— Как же так?

— Каждый разговаривает на своем языке. Нам их языки непонятны.

Один горец пошел в Анди на базар, чтобы купить себе бурку. Увидел, приценился, начал торговаться. Торговались, торговались, и вдруг андийцы заговорили по-своему. Горец сказал им:

— Поскольку я покупатель, то надо бы говорить на понятном мне языке.

— Мы и будем говорить на понятном языке, когда ты согласишься на нашу цену.

Ну, правда, андийцы никогда еще не проигрывали в торговле.

Один горец влюбился в красивую девушку. Решил он написать ей три заветных слова: «Я тебя люблю», — но не в письме, а там, где девушка ходит и где она могла бы увидеть его признание: на скале, на тропинке к роднику, на стене ее дома, на своем пандуре. И в этом не было бы беды. Но взбрело влюбленному в голову написать эти три слова на всех языках, которые только есть в Дагестане. С этой целью он вышел в путь. Он думал, что путешествие его будет недолгим, но оказалось, что в каждом ауле эти слова говорят по-своему.

Дие мун йокьула (аварский).

Заз вун кланда (лезгинский).

Ттун ина ччай бура (лакский).

Хлу наб ригула (даргинский).

Мен сени сюемен (кумыкский).

Узуз уву ккундузуз (табасаранский).

Ме туьре хосденуьм (татский).

А там еще ботлихцы, чохцы, цумадинцы, цунтинцы...

Говорят, до сих пор все бродит по горам этот влюбленный, давно вышла замуж его возлюбленная, давно состарилась, а наш рыцарь все пишет свои слова.

— Не знаешь ли, как по-вашему сказать «я тебя люблю?» — спросил старик у юноши.

Тогда юноша обнял стоявшую рядом с ним девушку и ответил:

— Вот так говорят о любви на моем языке.

Всякая маленькая птичка, всякий цветок, всякий ручеек имеет в Дагестане десятки названий.

По Конституции у нас восемь главных народностей: аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы, таты, табасаранцы, ногойцы.

Выпускаем мы пять литературных альманахов на пяти языках. Они называются «Дуствал», «Дослукъ», «Гьалмагъдеш», «Гьудуллѣи», «Дусшиву». Впрочем, у всех у них одно общее название — «Дружба».

На девяти языках издаются в Дагестане книги. Но на скольких языках поют песни? У каждого ковра свой узор. На каждой сабле своя надпись.

Но как получилось на одной руке столько пальцев? Как возникло в одном Дагестане столько языков?

Пусть ученые объясняют это по-своему. А мой отец рассказывал так:

«Ехал по земле посланник аллаха на муле и раздавал

из огромного хурджуна всем народам их языки. Китайцам дал китайский язык. Побывал у арабов и дал им арабский язык. Грекам дал греческий, русским — русский, французам — французский. Разные были языки: один певучий, другой твердый, третий красочный, четвертый нежный. Народы радовались такому дару и тотчас начинали говорить, каждый на своем языке. Благодаря своим языкам люди лучше узнавали друг друга, а народ лучше узнавал другой, соседний народ.

Вот доехал на своем муле этот человек до нашего Дагестана. Только что он вручил язык грузинам, на котором потом напишет Шота Руставели свою поэму, только что облагодетельствовал осетин их осетинским языком, на котором будет писать Коста Хетагуров. Дошла очередь и до нас.

Но случилось так, что в горах Дагестана в тот день гуляла снежная буря. Снег крутился в ущельях и поднимался до неба, ничего не было видно — ни дорог, ни жилья. Слышно только, как во мгле свистит ветер, обрушиваются временами скалы да еще гремят четыре реки, четыре наших Койсу.

— Нет,— сказал раздаватель языков, у которого уже и усы начали леденеть,— не буду я карабкаться по этим скалам, да еще в такую погоду.

Взял он свой хурджун, в котором на дне лежали еще пригоршни две нерозданных языков, да и высыпал все языки на наши горы.

— Берите кто какой хочет,— сказал он и возвратился к аллаху.

Высыпанные языки подхватила буря, начала носить и метать по ущельям и скалам. Но тут выскочили из своих домов все дагестанцы. Торопясь и отталкивая друг друга, побежали они навстречу благодатному золотому дождю, которого ждали тысячелетиями. Начали хватать, собирать драгоценные зерна, кому какое досталось. Каждый тогда раздобыл себе свой родной язык. Убежали горцы со своей добычей в сакли дожидаться, пока не кончится буря.

Утром встают: на земле солнышко, снега как не бывало. Глядят — гора! Теперь это уже — «гора». Ее можно назвать по имени. Глядят — море! Теперь это уже — «море». Его можно назвать по имени. Все, что ни попадется на глаза, все можно теперь называть. Радость какая!



Вот — хлеб, вот — мама, вот — сакля, вот — очаг, вот — сын, вот — сосед, вот — люди.

Высыпали все люди на улицу, крикнули хором: «Гора!» Слышат — получилось у всех по-разному. Крикнули хором: «Море!» Получилось у всех по-разному. Так и пошли с тех пор аварцы, лезгины, даргинцы, кумыки, таты, лакцы... А все это с тех пор называется Дагестан. Отделились люди от овец, от волков, от лошадей, от кузнечиков... Говорят, «коню немножко не хватило, чтобы он сделался человеком».

Но посланник аллаха! Зачем испугался ты тогда снежной бури и крутых гор? Зачем высыпал нам языки не глядя? Что ты наделал! Людей, которые духом, сердцем, нравами, обычаями, образом жизни так близки, ты разделил, разъединил языками.

Ну да ладно, и на том спасибо. А плохих языков не бывает. В остальном мы как-нибудь разберемся сами. Найдем дорогу друг к другу, сделаем так, чтобы разные языки, в конечном счете, не разъединяли, а объединяли нас.

Потом налетели на нас и хромой Тимур, и арабы, и шах иранский, и все норовили навязать нам свой язык. Но оттого, что трясли нашу руку, пальцы не оторвались, оттого, что трясли наше дерево, ветки не обломались.

«Как родную землю надо беречь язык», — сказал Шамиль.

«Слова — те же пули, попусту их не трать», — добавил Хаджи-Мурат.

«Когда умирает отец, он оставляет сыновьям в наследство дом, поле, саблю, пандур. Но поколение, уходя, оставляет другим поколениям в наследство язык. У кого есть язык, тот построит себе дом, вспашет поле, откует саблю, настроит пандур и сыграет на нем», — так говорил мой отец.

Родной мой язык! Не знаю, доволен ли ты мной, но я тобой живу и тобой горжусь. Как светлая вода родника стремится из темных глубин на солнце, где зелень, так слова родного языка стремятся из сердца к моей гортани. Губы шепчут. Вслушиваюсь в свой собственный шепот, вслушиваюсь в тебя, мой язык, и кажется мне, что рокошет в теснине сильная горная река, пробивает себе доро-

гу. Люблю я рокот воды. Люблю я и звон булата, когда два кинжала, вынутые из ножен, бьются друг о друга. И это все есть в моем языке. Люблю я также шепот любви.

Трудно мне, мой родной язык, сделать так, чтобы все знали тебя. Как богат ты звуками, как много их у тебя, так трудно неаварцу научиться произносить их, но как сладко их произносить, если умеешь! Вот хотя бы простенький счет до десяти: цо, к'иго, лъабгго, унк'го, шуго, анл'го, мик'го, ич'го, анц'го. Когда я встречаю человека, который на аварском языке может правильно сосчитать до десяти, я сравниваю это с мужеством, нужным, чтобы перейти разлившуюся реку от одного берега до другого, держа на плече огромный валун. Если сумеешь считать до десяти правильно, то сумеешь и дальше. Теперь ты уже умеешь и плавать. Смело иди вперед.

Что говорить о людях других национальностей! Даже нашим аварским детям старики говорили: «Попробуй без запинки, подряд три раза скажи: «Къода гъорк' къверк' къвак'вадана». Это значит: «Под мостом квакала лягушка». Всего четыре слова, а бывало, мы, аульские ребята, целыми днями тренировались, чтобы правильно и быстро произнести эту фразу.

Абуталиб умел говорить по-аварски, он послал своего сына к нам в аул Цада, чтобы и он научился аварскому языку. Когда сын вернулся, Абуталиб спросил у него:

— На осле катался?

— Катался.

— До десяти считать умеешь?

— Умею.

— Скажи три раза подряд: «Къода гъорк' къверк' къвак'вадана».

Сын сказал.

— О, можно считать, что ты укусил свой собственный локоть!

Таковы языки наших аулов, зажатых в теснинах скал. Чтобы записать наше произношение, наши звуки, то есть, по-ученому говоря, чтобы дать транскрипцию наших звуков — гортанных и придыхательных, — не нашлось букв ни в одном алфавите. Поэтому, когда создавали нам письменность, пришлось к буквам русского алфавита добавить особые буквы и сочетания букв. Осо-

бенно это касается согласных. Вот некоторые из них: гъ, хl, gl, cl, хг, хъ, цли, къ, къ, лъ, лълъ...

Наверное, из-за этих лишних букв всякая аварская книга, будучи переведенной на русский язык, выглядит тоныше. Ее можно сравнить с горцем, который три месяца подряд держал мусульманский пост — уразу.

У Шамиля кто-то спросил:

— Зачем Дагестану так много народностей?

— Чтобы одна могла выручить другую, если та попадет в беду. Для того чтобы одна могла поддержать другую, если та запоеет песню.

— Ну и что, — спрашивают теперь у меня, — выходили все выручать одного?

— Выходили. Ни один народ не оставался в стороне.

— Ну и что, слаженно пелась песня?

— Слаженно. Родина ведь у нас одна.

Много мелодий, но они составляют одну песню. Есть границы между языками, но нет границ между сердцами. И подвиги разных людей в конце концов слились в один подвиг.

— Но все же, есть ли разница между разными народностями? И какая она?

— На этот вопрос очень трудно ответить.

Говорят про наши народности: одни созданы, чтобы воевать, другие — чтобы ковать оружие, третьи — пасти овец, четвертые — пахать землю, пятые — разводить сады... Но это пустой разговор. У каждого народа есть и воины, и пастухи, и кузнецы, и садоводы. У всех есть и герои, и певцы, и мастера.

Аварцы: Шамиль, Хаджи-Мурат, Гамзат, Махмуд, Махач.

Даргинцы: Батырай, Багатыров, Ахмед Мунги, Рабадан Нуров, Кара Караев.

Лезгины: Сулейман, Эмин, Тагир, Агасиев, Эмиров.

Кумыки: Ирчи Казак, Алим-Паша, Уллубий, Солтан-Саид, Зайнулабид Батырмурзаев, Нухай.

Лакцы: Гарун Саидов, Саид Габиев, Эффенди Капиев, Сурхай, ну, и еще мой друг Абуталиб.

Из многих народностей я вспомнил только те, которые первыми пришли на ум. Из каждой народности я

вспомнил только те имена, которые первыми пришли на ум. Но много их у нас — и народностей и славных имен.

Об одних говорят, что они, мол, легкомысленны, о других, что глуповаты, о третьих, что вороваты, о четвертых, что обманщики. По-моему, это все клевета.

В каждой народности встречаются и высокие люди и низкие, и красивые и уроды. Найдешь и вора и клеветника. Но это уж будут сорняки, а не сама народность.

Еще один мой приятель говорил так:

— Я всегда заранее отличу, к какой народности человек принадлежит.

— Как так?

— Очень просто. Люди одной дагестанской народности (не будем ее называть), приехав в Махачкалу, первым делом ищут, где тут ресторан и где можно познакомиться с красивой девушкой. У них три человека заменят шумную компанию, целое застолье. Люди другой народности (тоже не будем их называть) спешат в кино, в театр, на концерт. Здесь где трое, там уже оркестр, где пятеро — ансамбль песни и пляски. Третьи стремятся в библиотеку, стараются поступить в институт, защитить диссертацию. У них где трое — ученый совет, где пятеро — филиал Академии наук. Четвертые (опять не будем называть) только и думают, как бы купить автомобиль, или хотя бы стать водителем такси, или, на худой конец, устроиться в ГАИ. Этих людей где трое — автобаза, где пятеро — таксомоторный парк. Пятые предпочитают всему какую-нибудь артель, магазин, базу, столовую или хотя бы ларек. Этих где трое, там универмаг, где пятеро — промкомбинат.

Но ведь это все говорится только ради шутки. Разве есть народности, у которых мужчины не любили бы красивых девушек или не хотели посидеть в ресторане?

У всех есть свои театры, свои танцы, свои песни. И есть у нас еще и общий для всех народностей ансамбль «Лезгинка». У всех найдутся желающие купить «Волгу» или работать в магазине. Но разве это национальный характер? Абуталиб назвал однажды болезнь, о которой раньше и не слышали в Дагестане: пьянство.

Абуталиб сказал так: «Раньше в нашем ауле был один пьяница, и тем он был знаменит, его знали по всей округе. Теперь в нашем ауле один трезвенник. Поглядеть на него как на чудо приходят издалека».

Много еще рассказывает Абуталиб по этому поводу разных историй, но если мы пойдем вслед за его рассказами, то, боюсь, совсем забудем, о чем беседовали. А мы обсуждали, по каким признакам можно отличить человека одной дагестанской народности от другой. Может быть, все-таки — одежда? Форма папахи, манера носить папаху? Но все теперь носят одинаковые пиджаки, одинаковые брюки, одинаковые ботинки, одинаковые кепки или шляпы. Нет, если и осталось что-нибудь, что решительно характеризует народность и отличает ее от другой, так это язык. Причем интересно, что даже когда по-русски говорит лезгин или тат, аварец или даргинец, и тогда по одному только акценту, то есть по одному только искажению русского языка можно сразу отличить кумыка от лакца, а лезгина от кумыка.

Аварцы, например, к каждому слову, которое начинается с буквы «с», добавляют в устной речи «и». У них получается: «Истамбул» (Стамбул), «истакан» (стакан), «Истальский» (Стальский), «исон» (сон).

Если же в середине слова попадает звук «и», то они его, наоборот, пропускают: вместо «Сибирь» аварец скажет «Сбирь», вместо «белиберда» — «белберда». После звука «т» мы делаем придыхание, словно бы спотыкаемся: «товарищи» — «т'оварищи».

У даргинцев вместо «о» часто слышится «у» и вместо «ю» тоже слышится «у»: «пучта» (почта), «кушка» (кошка), «лубовь» (любовь). В конце слова «й» они не произносят вообще: «Стальски» вместо Стальский.

Лакцы звук «х» произносят мягко — «хь»: «хьдожник», «хьомут». Абуталиб, например, скажет: «К Хьапалиеву Хьузангай приехьал».

Словом, одни растягивают гласные, другие их сокращают и даже опускают, одни говорят более резко, другие более мягко. Многие вместо «ф» произносят «п».

Однажды мы разговаривали о наших языках в присутствии Абуталиба, и мой собеседник показывал, подражая, разницу в произношении. Абуталиб сначала слушал, а потом прервал и сказал:

— Садись, помолчи. Много ты нам тут всего набарабанил, а теперь я скажу. Недостатки одного человека не надо валить на весь народ. Лес не бывает из одного дерева. И даже из трех деревьев. Даже и сто деревьев — это еще не лес. Вопрос о наших языках — сложный во-



прос. Это узел из трех узлов, что получается, когда завяжут мокрую веревку. Одно время считали, что самое простое решение вопроса — сделать вид, что такого вопроса нет. Не говорить о нем, не трогать его — вот и ре-



шение! Но он есть. В былые времена ничто другое не заставляло людей так часто схватываться за сабли, как национальная рознь.

Я вспоминаю одну пресс-конференцию, которая про-

ходила в Махачкале. Тридцать восемь корреспондентов, аккредитованных в Москве и представляющих двадцать девять разных государств, приехали в Дагестан. Сначала они ездили по аулам, разговаривали с нашими горцами и горянками, а потом и собрались на пресс-конференцию. Защелкали фотоаппараты, затрещали кинокамеры. Корреспонденты заточили свои карандаши, придвинули чистую бумагу.

Расселись мы все за большим столом, и старшим среди нас оказался Абуталиб. Ему и поручили открывать пресс-конференцию. Абуталиб начал:

— Дамы и господа, товарищи!.. (Это мы научили его, что такими словами нужно открывать конференцию. Ну, а дальше он уже говорил сам.) Давайте познакомимся. Вот наш дом. Вот мы сами. Вот наши известные поэты.— Абуталиб указал на портреты, висевшие на стене. С портретов смотрели на гостей: Батырай, Казак, Махмуд, Сулейман, Гамзат, Эффенди...

О каждом из этих поэтов Абуталиб сказал несколько слов: кто к какой народности принадлежит, кто на каком языке писал, чем жил, какой славы достиг. Когда дошла очередь до портрета самого Абуталиба, он, несколько не смутившись, объяснил:

— А это я сам. Только не думайте, что я пришел за этот стол со стены. Это я на стену попал отсюда, из-за стола.

После этого Абуталиб представил гостям поэтов, сидящих за столом, и добавил:

— Может быть, для некоторых из них найдется место на этой стене. Познакомьтесь: Ахмедхан Абу-Бакар, златокузнец из Кубачи, народный писатель Дагестана.

Фазу и Муса. Жена и муж. В одной семье два писателя, два романиста, два поэта, два драматурга. Иногда пишут вместе, иногда отдельно.

Муталиб Митаров — зять аварского народа, табасаранский поэт.

Шах-Эмир Мурадов — «Голубь мира». Лезгинский поэт. Всегда пишет о голубях.

Жамидин — наш сатирик, наш Марк Твен. Одновременно и наш Литфонд.

Анвар — народный поэт Дагестана, главный редактор пяти литературных альманахов.

Трунов — русский писатель, живущий в Дагестане.



Хизгил Авшалумов — татский писатель, пишущий на родном языке и на русском.

Представляя дальше гостям дагестанских писателей, Абуталиб заставил подняться Бадави, Сулеймана, Сашу Грача, Ибрагима, Алирзу, Меджида, Ашуга Рутульского. Он познакомил гостей с редакторами литературных альманахов, а потом сказал:

— Законами гостеприимства нам запрещено спрашивать имена гостей...

Но тут все гости встали по очереди и представились: кто из какой страны, кто из какой газеты.

После этого начались вопросы и ответы, как и полагается на пресс-конференции.

**ВОПРОС:** У вас столько языков, столько народностей, настоящее вавилонское столпотворение. Как же вы понимаете друг друга?

**АБУТАЛИБ ОТВЕЧАЕТ:** Те языки, на которых мы говорим, — разные, те языки, которые во рту, — одинаковые. (Положив руку на сердце.) Оно хорошо понимает. (Дергая себя за уши.) А они — плохо.

**ВОПРОС:** Я корреспондент болгарской газеты. Скажите, существует ли такая же степень родства между разными дагестанскими языками, как, например, между болгарским и русским?

**АБУТАЛИБ ОТВЕЧАЕТ:** Болгарский и русский языки — родные братья. А наши языки даже не четвероюродные. Совсем нет одинаковых слов. Среди писателей наших бывает некоторая групповщина, но в языках никакой групповщины нет. Каждый сам по себе.

**ВОПРОС:** Каким другим языкам родственны ваши языки, к каким языковым группам относятся?

**АБУТАЛИБ ОТВЕЧАЕТ:** Таты говорят, что понимают таджикский язык и могут читать Хафиза. Но я их спрашиваю: если вы понимаете язык Саади и Хайяма, почему же не пишете, как они?

Раньше во время сватовства говорили, расхваливая жениха: «Он знает кумыкский язык», — и это значило, что жених очень знающий человек, с таким не пропадешь.

В самом деле, понимая по-кумыкски, поймешь турецкий, азербайджанский, татарский, балкарский, казахский, узбекский, киргизский, башкирский и многие другие родственные между собой языки. Можно без переводов читать Хикмета, Кайсына Кулиева, Мустая Карима... Но

мой язык! За исключением нас самих, лакцев, его понимают разве лишь ученые, которые посвятили ему многие годы ради докторской диссертации.

Один известный лакец обошел весь мир, попал в Эфиопию, сделался там министром. Он утверждал, что не встретил на своем пути ни одного языка, похожего на наш, лакский.

ОМАР-ГАДЖИ: И наш аварский не похож ни на один язык.

АБУТАЛИБ: Нет языков, похожих и на даргинский, лезгинский, табасаранский.

ВОПРОС: Как вы освоили все эти непохожие языки?

АБУТАЛИБ: В свое время я много скитался по Дагестану. Людям нужна была песня, а мне нужен был хлеб. Когда заходишь в чужой аул и не знаешь языка, даже собаки злее набрасываются. Нужда заставила меня узнать наши дагестанские языки.

ВОПРОС: Но все же нельзя ли поподробнее рассказать о признаках родства и различия между языками? И как получилось, что в такой маленькой стране такие разные языки?

АБУТАЛИБ: О различии и родстве наших языков написано много книг. Я не ученый, но расскажу, как я это себе представляю. Вот тут сидим мы. Иные из нас родились и выросли в горах, другие — на равнинах. Одни — в холодных местах, другие — в теплых местах, одни на берегу реки, другие — на берегу моря. Одни — там, где есть поле, но нет быка, другие — там, где есть бык, но нет поля. Одни родились в местах, где есть огонь, но нет воды, другие — где есть вода, но нет огня. Там — мясо, тут — хлеб, а там еще — фрукты. Там, где хранится сыр, развелись и крысы, там, где пасутся бараны, развелись волки. Кроме того — история, войны, география, разные соседи, природа.

Слово «природа» у нас имеет два значения. В одном случае — земля, трава, деревья, горы, в другом — характер человека. Разная природа в разных местах способствовала появлению разных имен, законов и обычаев.

В разных местах по-разному носят папаху, по-разному одеваются, по-разному строят дома. Над колыбелями поют разные песни. Махмуд пел свои песни, играя на пандуре из двух струн. Пандур Ирчи Казака имел три струны. Лезгин Сулейман Стальский играл на таре. Струны

для одних инструментов делали из козьих кишок, для других — из железа.

Народов много, и у каждого народа свои обычаи. Как и везде. Родится человек. У одного народа младенца крестят, у другого — обрезают, у третьего — выправляют ему свидетельство о рождении. Становится человек совершеннолетним — другие обычаи. Сватают ему девушку... Впрочем, сватовство — это уже обычай. Я хотел сказать — женится человек — вступают в силу третьи обычаи. Чтобы рассказать о свадебных дагестанских обрядах, не хватит и дня. Кто захочет, тому мы подарим книгу «Обычаи народов Дагестана». Вернетесь домой — почитаете.

ВОПРОС: Обычаи разные, что же в таком случае вас сближает, роднит?

АБУТАЛИБ: Дагестан.

ВОПРОС: Дагестан... Нам сказали, что в переводе это слово означает «Страна гор». Значит, Дагестан — это просто название местности?

АБУТАЛИБ: Не местности, а Родины, республики. Это слово едино и для тех, кто живет высоко в горах, и для тех, кто живет в долинах. Нет, Дагестан — это не просто географическое понятие. У него есть свое лицо, свои желанья, своя мечта. Есть общая история, общая судьба, общие горести и радости. Разве боль в одном пальце не касается другого пальца? Есть у нас и такие общие слова, как Октябрь, Ленин, Россия. Эти слова не надо даже переводить на каждый язык. Они понятны и без того. Много у нас, писателей, бывает разных споров. Но по этим трем словам у нас нет никаких разногласий. Вам понятно?

ВОПРОС: Это нам понятно. Но вот что я хочу спросить. Сегодня в одной из газет я прочитал стихотворение Адалло Алиева. На русский язык его перевел Анатолий Заяц. Там сказано, что это перевод с дагестанского. Что это за язык?

АБУТАЛИБ: Этого языка я тоже не знаю. Вчера я видел Адалло Алиева и разговаривал с ним. Вчера еще он был аварцем. Не знаю, что с ним такое случилось. Но успокойтесь, это просто ошибка.

ВОПРОС: У нас в Америке тоже много разных национальностей и языков. Но основной, государственный язык — английский. На нем ведется все делопроизвод-

ство, вся документация. А у вас? Какой язык у вас является основным?

**АБУТАЛИБ:** Для каждого человека основным является язык его матери. Кто не любит свои горы, тот не способен любить чужие равнины. Счастье, которого не нашел дома, на улице не найдешь. Тот, кто наплевал на свою мать, наплюет и на чужую женщину. Все пальцы на руке являются основными, когда нужно крепко держать саблю или крепко пожать руку друга.

**ВОПРОС:** Я прочитал поэму Муталиба Митарова. В ней он утверждает, что он не аварец, не тат, не табасаранец, но дагестанец. Что вы на это скажите?

**АБУТАЛИБ** (поискав глазами Митарова): Слушай, Митаров, то, что ты не аварец, не кумык, не тат, не ногаец, не лезгин, я давно знал. Но что ты и не табасаранец, я слышу впервые. Кто же ты? Завтра ты, может быть, напишешь, что ты и не Муталиб, и не Митаров. Вот я, например, Абуталиб Гафуров. Я, во-первых, лакец, во-вторых, дагестанец и, в-третьих, поэт Страны Советов. Или можно считать наоборот: во-первых, я советский поэт, во-вторых, я живу в республике Дагестан, а в-третьих, я по национальности лакец и пишу на лакском языке. Это все во мне нерасторжимо. Это мое самое дорогое сокровище. Ни от одного из них я не хочу отказываться. За это я пойду в огонь.

**ВОПРОС** (корреспондент из ГДР): Вот я держу в руках книгу кандидата медицинских наук товарища Аликишиева. Называется она «Долголетие в Дагестане». Здесь он пишет о людях, живущих больше ста лет, и доказывает, что по долголетию Дагестан занимает первое место в Советском Союзе. Но дальше он утверждает, что наблюдается постепенное сближение наций и что уже существуют перспективы для создания единой нации в Дагестане. Через несколько лет будто бы и аварец, и даргинец, и ногаец будут считать себя дагестанцами и так и напишут в паспорте. Я читал также статьи еще одного вашего ученого, который утверждал, что литература ваша уже ломает границы народностей и становится общедагестанской литературой. Поскольку кандидаты и доктора наук поднимают такие вопросы в своих книгах и статьях, значит, вопросы эти важные и глубокие?

**АБУТАЛИБ:** Товарища Аликишиева я тоже знаю. Он родом из нашего района. Этот ученый обошел многих ста-

риков, чтобы они рассказали ему о своей жизни. Но идею создать из всех народностей одну вряд ли подсказал ему кто-нибудь из почтенных старцев. Это плод его собственного ума. Немало я видел таких «мичуринцев», которые в своих «лабораториях» пытались выращивать гибриды, скрещивая разные языки и производя над ними разные опыты, как над кроликами. Собирались объединить в один театр семь национальных дагестанских театров. Пытались сделать одну газету из пяти национальных дагестанских газет. Собирались многие писательские секции нашего Союза писателей слить в одну, но это все равно что ветвистое дерево превратить в прямой ствол.

**ВОПРОС:** Я корреспондент индийской газеты. У нас в Индии тоже очень много языков: хинди, урду, бенгали... Некоторые националисты хотели, чтобы именно их язык сделался государственным языком всей Индии. Были из-за этого споры и даже кровавые столкновения. Не происходит ли нечто подобное и у вас?

**АБУТАЛИБ:** Подобный спор произошел однажды и у нас между двумя мальчиками. Два мальчика — аварец и кумык — ехали на одном осле. Аварский мальчишка кричал: «Хла! Хла! Хлама!» А кумыкский мальчишка кричал: «Эш! Эш! Эшек!» И то и другое слово означает «осел». Но мальчишки так распорились, что в конце концов оба упали с осла и остались без хлама и без эшека. По-моему, это детский спор. Мы наши языки не превращаем в волков. Они у нас не грызутся. У нас так еще говорят: «Домашний глупец хулит своих соседей, аульский глупец хулит соседние аулы, национальный глупец хулит другие страны». Тот, кто говорит плохо о другом языке, у нас не считается человеком.

**ВОПРОС:** Значит, вы хотите сказать, что по этому вопросу у вас не было ни споров, ни недоразумений?

**АБУТАЛИБ:** Споры были. Но всерьез на наши языки никто и никогда не посягал. И на наши имена тоже. Пусть каждый пишет, читает, поет, разговаривает на том языке, на каком хочет. Спорить можно, доказывая, что вот это плохое или хорошее, правильное или неправильное, красивое или уродливое. Но разве могут языки и целые народы или народности быть неправильными, плохими или уродливыми? Если бы и были споры на эту тему, то в таких спорах не было бы ни победителей, ни побежденных.

**ВОПРОС:** И все же, разве не лучше, если бы в Дагестане была одна нация и один язык?

**АБУТАЛИЕ:** Так многие говорят: «Ах, если бы нам один язык!» Хромой Ражбадин во время одного набега на Грузию сказал царю Ираклию: «Вся эта беда произошла оттого, что мы не знаем языка друг друга», Хаджи-Мурат писал из Хайдака-Табасарана своему имаму: «Мы друг друга не поняли».

Конечно, лучше, когда люди легко и с первого слова понимают друг друга. Много было бы проще, многого мы добились бы с меньшим трудом. Но, по-моему, совсем неплохо, если в семье много детей. Семья должна заботиться о каждом из них. Редкие родители раскаиваются потом, что у них много детей.

Одни говорят: «Ну, кому нужен наш язык за пределами Дербента? Все равно нас никто не поймет».

Другие говорят: «Куда годится наш язык за Араканским перевалом?»

Третьи жалуются: «Наши песни не долетят и до моря».

Но они слишком торопятся сдавать в архив свою родную речь.

**ВОПРОС:** Что вы скажете о консолидации?

**АБУТАЛИЕ:** Консолидация нужна между чужими и даже чуждыми людьми. Братьям консолидация ни к чему.

**ВОПРОС:** Однако, чтобы брат говорил с братом, нужен им один язык.

**АБУТАЛИЕ:** Такой язык у нас есть.

**ВОПРОС:** Какой?

**АБУТАЛИЕ:** Тот, на котором мы теперь разговариваем с вами. Русский язык. Его понимают и аварец, и даргинец, и лезгин, и кумык, и лакец, и тат, его понимают все. (Показывает на портреты Лермонтова, Пушкина, Ленина.) С ними мы хорошо понимаем друг друга.

**ВОПРОС:** Я читал двухтомник Расула Гамзатова. В первом томе, в стихотворении «Родной язык», он прославляет язык аварский, а во втором томе, в стихотворении с таким же названием, он прославляет язык русский. Разве можно одновременно сидеть на двух конях? Какому Гамзатову мы должны верить: из первого тома или из второго?

**АБУТАЛИЕ:** На этот вопрос пусть отвечает сам Расул.

**РАСУЛ:** И я думаю, что нельзя сидеть одновременно

на двух конях. Но двух коней в одну арбу запрячь можно. Пусть тянут. Два коня — два языка везут вперед Дагестан. Один из них русский язык, а другой наш: для аварца — аварский, для лакца — лакский. Мне дорог и мой родной язык. Мне дорог и второй родной язык, который через эти горы, по этим горным тропинкам вывел меня на простор земли, в большой и богатый мир. Родное я называю родным. По-другому я не могу.

**ВОПРОС:** В связи с этим я хочу еще спросить Расула Гамзатова. В своем стихотворении он пишет: «Если аварскому языку суждено умереть завтра, то пусть уж сегодня я умру от разрыва сердца». Но у вас и так говорят: «Когда подходит старший, младший должен встать». Вот подошел русский язык. Не должны ли местные языки уступить ему свое место? Разве не к этому идет дело? Говоря вашими словами: нельзя носить на голове сразу две папахи. Или зачем брать в рот сразу две сигареты?

**РАСУЛ:** Языки — не папахи и не сигареты. Язык не враждует с языком. Песня не убивает песню. Оттого, что в Дагестан пришел Пушкин, Махмуд не должен покидать родные края. Лермонтову незачем подменять Батырая. Если хороший друг пожал твою руку, рука твоя не исчезнет в его руке. Она станет только теплее и крепче. Языки не сигареты, а светильники жизни. У меня два светильника. Один освещал мне путь из окна отцовской сакли. Он был зажжен моей мамой, чтобы я не заблудился. Если этот светильник погаснет, действительно, погаснет и моя жизнь. Она погрузится во тьму, если даже я физически не умру. Второй светильник зажжен моей великой страной, моей большой Родиной, Россией, чтобы я не заплутался по дороге в большой мир. Без него моя жизнь будет темна и ничтожна.

**АБУТАЛИБ:** Как легче поднять камень: с плеча одной рукой или с груди двумя руками?

**ВОПРОС:** И все же горцы покидают те сакли, где их мамы зажгли светильники, и переселяются на равнину?

**АБУТАЛИБ:** Но, переселяясь, они берут с собой и свой язык, и свои имена. Не забывают взять и папаху. И свет в их окнах горит тот же самый.

**ВОПРОС:** Но в новых местах юноши часто женятся на девушках другой народности. На каком языке говорят? И на каком языке потом говорят их дети?

**АБУТАЛИБ:** Есть у нас старый рассказ: влюбился юноша в девушку другой народности и решил на ней жениться. Девушка сказала: «Я выйду за тебя замуж, но сделай для меня сто дел». Начал юноша выполнять ее капризы. Сначала она заставила его залезть на скалу без единого выступа. Потом прыгнуть с той скалы. Юноша прыгнул и повредил ногу. Тогда, третьим делом, она заставила его ходить и не хромать. Хорошо, перестал хромать. Разные там были задачи: и переплыть реку, не замочив хурджуна, и остановить скачущего коня, и поставить коня на колени, и даже разрубить яблоко, которое невеста положила на собственную грудь... Выполнил юноша девяносто девять дел. Осталось одно. Тогда девушка сказала: «А теперь забудь свою мать, своего отца и свой язык». Тут юноша вскочил на коня и ускакал навсегда.

**ВОПРОС:** Это красивая сказка. А как в действительности?

**АБУТАЛИБ:** В действительности, когда юноша и девушка начинают супружескую жизнь, они берут на себя многие обязательства. Но никто не обязывает другого забыть свой язык. Наоборот, каждый старается узнать язык другого.

В действительности с грустью и осуждением мы смотрим на детей, не знающих языка родителей. Вскоре и дети начинают упрекать отца и мать за то, что не учили их своему языку. Печальные люди.

В действительности вот мы сидим перед вами. Вот наши стихи, рассказы, повести, наши книги. Вот наши газеты и журналы. На разных языках издаются они. И с каждым годом издается их все больше и больше. Огромная страна не оттолкнула наши языки. Она узаконила, утвердила их, и они засияли, как звезды. «И звезда с звездой говорит». Мы видим других, другие видят нас. Если бы этого не было, то и вы бы о нас ничего не слышали, не интересовались бы нами. Не было бы и этой встречи. Вот что происходит в действительности...

Вопросы — ответы, вопросы — ответы. Было бы время, эта конференция, казалось, не кончилась бы никогда. У всех народов и во все времена велись и ведутся разговоры о языке, но конца этому разговору не видно.

— Эта пресс-конференция похожа на наши игры-хороводы, где одни отвечают, другие спрашивают,—



сказал Абуталиб, вконец измученный столь непривычным ему собранием.

Вопрос — стрела, пущенная наудачу, куда-нибудь.

Ответ — стрела, попадающая в мишень. Вопрос — ответ. Вопросительный знак — восклицательный знак. Прш-лое — вопрос, нынешнее — ответ.

Старый Дагестан был похож на старушку, сидящую на камне. Он был вопросительным знаком. Сегодняшний Дагестан — восклицательный знак. Он — сабля, выхваченная из ножен и вскинутая кверху.

Когда в Дагестан пришла революция, испугавшиеся ее говорили, что скоро исчезнут нации, языки, имена, цвета. Меседу превратится в Марусю, а Муса станет Васей. Говорили, что человеку некогда будет даже подумать о том, какой он нации и откуда он. Уложат всех под общее одеяло. А потом более сильные перетянут одеяло к себе, а более слабые будут мерзнуть.

Дагестан не стал слушать этих людей. Член горского правительства Гайдар Баматов, поднявшись на палубу парохода, увозящего его за границу, сказал: «Не приняли их души мои слова. Посмотрим, что будет потом».

Что произошло потом, все видят. Об этом написано в книге, спето в песнях. Имеющий уши — да услышит, имеющий глаза — да увидит.

Один горец, испугавшийся общего одеяла, покинул Дагестан и уехал в Турцию. Спустя пятьдесят лет он приехал к нам в горы, чтобы посмотреть, что у нас делается. Я пригласил его прогуляться по Махачкале. Бывший Порт-Петровск. Город, носивший имя русского царя, стал носить имя дагестанского революционера Махача. Я показывал гостю улицы, носящие имена Батырая, Уллубия, Капиева, улицы, названные в честь сынов Дагестана. Гость долго смотрел на памятник Сулейману Стальскому в прибрежном сквере. На улице Ленина он увидел памятник моему отцу Гамзату Цадаса. До эмиграции он, оказывается, знал моего отца.

Его приняли ученые филиала Академии наук. Разговаривал он с сотрудниками Научно-исследовательского института истории, языка и литературы. Он ходил по залам Музея дагестанской истории и искусства. Побывал в университете, где на пятнадцати факультетах учатся молодые горцы и горянки. Вечером мы пошли в Государственный аварский театр. В аварском театре, названном име-

нем аварца, аварцы смотрели пьесу, написанную аварцем об аварке. Это была пьеса Гаджи Залова «Анхил Марин». Когда песню Марин, старую аварскую песню, спела на сцене народная артистка РСФСР Патимат Хизроева, мой гость не выдержал, и глаза его увлажнились.

На площади он долго стоял перед памятником Ленину. Потом он проговорил:

— Не во сне ли я?

— Этот сон расскажите аварцам в Турции.

— Не поверят. Я и сам бы не поверил, если бы не увидел своими глазами.

Абуталиб сказал так: «Первый раз я срезал тростник, сделал свирель и заиграл на ней. Голос моей свирели услышал аул. Потом я срезал древесную ветвь, сделал дудку и заиграл другую песню. Меня услышали далеко в горах. Потом я срезал дерево, сделал зурну, и голос ее слышали все в Дагестане. Потом я взял маленький карандаш и написал стихотворение на бумаге. Оно улетело за пределы Дагестана».

Итак, еще раз спасибо тебе, раздаватель языков, спасибо за то, что не обошел наши горы, наши аулы, наши сердца.

Спасибо и всем вам, кто поет и думает на своих родных языках.

## ● ПЕСНЯ

«Бакъан». Это аварское слово имеет два значения: мелодия, мотив и состояние, самочувствие человека, благополучие мира. Когда хотят попросить: «Сыграй мне одну мелодию», говорят слово «бакъан». Когда спрашивают: «Как ты себя чувствуешь?» — говорят слово «бакъан». Итак, самочувствие и песня сливаются у нас в одном слове.

Надпись на пандуре:

Кинжал и бодрого кладет на ложе смерти.

Пандур и мертвого поднимет с ложа смерти.

Слова, разговор пропусти через сито — получишь песню. Ненависть, гнев, любовь пропусти через сито —

получишь песню. События, дела людей, всю жизнь пропусти через сито — получишь песню.

«Особенно трогательна была для него одна тавлинская песня. Слов в ней было мало, но вся прелесть ее заключалась в печальном припеве: «Ай! Дай, далалай!» Ерошка перевел слова песни: «Молодец погнал баранту из аула в горы, русские пришли, зажгли аул, всех мужчин перебили, всех баб в плен побрали. Молодец пришел из гор: где был аул, там пустое место, матери нет, братьев нет, дома нет; одно дерево осталось. Молодец сел под дерево и заплакал. Один, как ты, один остался, и запел молодец: ай, дай! далалай!» (Лев Толстой, «Казачьи».)

...Ай, дай, далла-лай, далла, далла, дулла-лай-дуллалай! Песни родные, печальные песни гор, когда вы родились, где и как? Откуда вы взялись, такие удивительные, такие прекрасные?

Надпись на пандуре:

Ты думаешь, эти мелодии — дело струны?  
То звуки, рожденные в сердце, слышны.

Надпись на кинжале:

Две песни, два лезвия, две стороны:  
О смерти врагов, о свободе страны.

Надпись на колыбели:

Нет на свете человека,  
Над которым в колыбели  
Песен добрых материнских,  
Песен ласковых не пели.

Надпись на придорожном камне:

Дорога и песня — удел молодца,  
Дороге и песне не будет конца.

Надпись на могильной плите:

Он песни пел, и слушали другие.  
Теперь он слушает, когда поют другие.

Песни старинные, песни новые... Песни колыбельные, свадебные, боевые. Длинные и короткие. Печальные и

веселые. По всей земле поют вас! Слова нанизывают, словно бусинки, на серебряную нить. Слова заколачивают крепко, словно гвозди. Слова возникают и текут легко, как слеза за слезой, когда плачет красавица. Слова летят и попадают в цель, как стрелы, выпущенные опытной рукой. Слова выются и уводят вдаль, как горные тропинки, по которым можно уйти в конце концов на край света.

Пространство между строчками — словно улица, на которой стоит дом твоей любимой. Оно словно межа на отцовском поле. Оно как час рассвета и час заката, отделяющие день от ночи.

Песни, записанные на бумаге, и песни, не записанные на бумаге. Но какой бы ни была песня, она должна петься. Непоющая песня все равно что не летающая птица, все равно что небьющееся, нестучащее сердце.

В горах у нас говорят: когда чабаны не поют песни, овцы перестают щипать траву. Но когда звучит песня над зеленым склоном горы, пасутся и щиплют даже неумелые, только что родившиеся ягнята.

Один кунак попросил другого спеть песню на его родном языке. То ли не знал гость ни одной песни, то ли не умел петь, но только сказал, что у них в народе нет ни одной песни.

— В таком случае надо посмотреть, сами-то вы есть или нет? Не может существовать народ без песни!

Ай, дай, даллалай! Дала-дала, дулла-лай! Песни — это ключи, которыми открываются заповедные сундуки языка. Ай, дай, далла-лай! Дала-дала-дулла-лай!

Расскажу о том, как родилась песня. Об этом я давно уж написал стихотворение. Вот оно.

### КИНЖАЛ И КУМУЗ

Аульский парень в старину,  
Что жил за перевалом,  
Имел смоковницу одну,  
Владел одним кинжалом.

Козла единственного пас,  
Где зелена поляна...  
И вот влюбился как-то раз  
В одну из дочек хана.

Был парень смел и не дурак,  
Но хан расхотелся,

Когда посвататься бедняк  
Однажды попытался.

Пускай козла, мол, своего  
Подойт он сначала —  
Владелец древа одного  
И одного кинжала.

И отдал дочку он тому,  
Кто золотых туманов  
Имел до дьявола и тьму  
Имел в горах баранов.

И парня бедного тоска  
Под стать огню сжигала.  
И оттого легла рука  
На рукоять кинжала.

Козла он в жертву небесам  
Принес и с камнем вровень  
Срубил единственную сам  
Смоковницу под корень.

Кумуз он сделал из ствола,  
Как требовала муза,  
И превратил кишки козла  
Он в струны для кумуза.

И струн коснулся он едва  
В загадочном тумане,  
Как родились на свет слова,  
Что клятва на коране.

Не старясь, милая с тех пор  
Ему принадлежала —  
Владельцу двух сокровищ гор:  
Кумуза и кинжала...

Гнездится в дымной вышине  
Аул, прижавшись к скалам,  
Где предо мною на стене  
Висит кумуз с кинжалом.

*Перевел Я. Козловский*

Кумуз и кинжал. Битва и песня. Любовь и подвиг. История моего народа. Этим двум вещам отводят горцы самое почетное место.

В саклях, на настенных коврах, переkreщиваясь как на гербе, висят эти два сокровища. В руки их берут осторожно, с уважением, с любовью. А без дела и вовсе не берут. Когда будешь снимать кинжал, кто-нибудь стар-

ший за спиной скажет: «Осторожно, не оборви струну на пандуре». Когда будешь снимать пандур, кто-нибудь старший за спиной скажет: «Осторожно, обрежешь пальцы». На кинжале чеканят рисунок пандура, на пандуре рисуют кинжал. На серебряном девичьем поясе, на нагрудных серебряных украшениях изображают и кумуз и кинжал, как они вместе висят на стене, на ковре. А когда шли на войну, брали с собой и кинжал и кумуз. Пустынней, голой становилась почетная стена в сакле.

— Но зачем же в бою пандур?

— А! Лишь ударишь по струнам, лишь только заденешь за струну, сразу приходят к тебе отцовский край, родной аул, материнская сакля. А ведь именно за все это и надо драться, только за это и стоит умереть.

«Аулы приближаются, когда звенят сабли»,— говорили, бывало, храбрецы. Но ничто не сокращает дороги до родных аулов так, как звон пандура.

Ай, дай, далла-лай. Далла-далла-дулла-лай!

Махмуд пел на Карпатах, и рядом с ним был его аул, родные горы. И близко была его Марьям, потом Махмуд завещал:

На могилу поменьше мне сыпьте земли,  
Чтобы комья мне слух не замкнули,  
Чтобы уши и сердце слышать могли  
Наши горские песни в ауле.

Вы любимый пандур закопайте со мной,  
Чтоб от песен моих не уснули,  
Чтобы слушали голос тоскующий мой  
Все красавицы в нашем ауле.

Будто бы Махмуд сказал еще так:

Гора становится ниже, когда заиграю я,  
Но как мне тебя растрогать, любовь моя, о Марьям?  
Услышав напев пандура, танцует даже змея,  
Но как мне тебя растрогать, любовь моя, о Марьям?

Хотите ли знать, откуда появилась горская песня?

Она в мечтах народа рождена,  
Никто не знает, где ее начало.  
В груди широкой плавилась она,  
Она в крови горячей клокотала.

Она пришла из звездной высоты,  
Из дагестанских саклей и селений.  
И прежде чем услышал ты,  
Ее слышали сотни поколений.

*Перевел Н. Гребнев*

Песни — потоки с гор. Песни — стремительные гонцы, вестники с поля битвы. Песни — кунаки, друзья, неожиданный приехавшие в гости. Берите пандур, чонгур, чаган, свирель, кеманчу, зурну, бубен, гармонь, барабан, берите просто таз или медную тарелку. Бейте ладонью о ладонь. Бейте каблуками о землю. Слушайте, как сабли ударяются о сабли. Слушайте, как звенит камушек, брошенный в окно любимой. Пойте и слушайте наши песни. Они послы печали или радости. Они паспорта чести и храбрости, свидетельства мысли и дел. Они молодых делают мужественными и мудрыми, старых и мудрых — молодыми. Всадника они заставляют сойти с коня и заслушаться. Пешего они заставляют вскочить в седло и лететь, как птица. Хмельного они отрезвляют и заставляют задуматься над своей судьбой, трезвого делают отчаянным и как бы хмельным. О чем только нет на свете песен! Посадите горца около своего теплого очага, поднесите ему рог пенной браги и попросите спеть песню. Он запоет. Он будет петь хоть до утра, только просите его хорошенько да еще заказывайте, о чем ему петь. О любви? Будет вам песня и о любви.

Ай, дай, далалай!  
Любовь красна, как кровь и тюльпан.  
Любовь черна, как ночь и обман.  
Как девичья лента, бела она,  
Бела, как саван из полотна.  
Голубее неба, синее льда  
Любовь прекрасная, как звезда.  
Падает снег, высыхает поток.  
Но не меркнет любви цветок.

- Что самое красивое на свете?
- Фиалка в горах.
- Что красивее фиалки в горах?
- Любовь.
- Что самое яркое на свете?
- Солнце утром в горах.
- Что ярче солнца утром в горах?
- Любовь.

— Ай, дай, далалай! Ну о чем же еще вам спеть?

— О влюбленных, погибших от любви.

— Ромео и Джульетта, Тахир и Зухра, Тристан и Изольда...

Разве мало было их и у нас в Дагестане! Сколько было у нас влюбленных, которые не смогли принадлежать друг другу! Не сбылись их мечты, не слились их губы, не соединились их руки. Многих молодых людей уносила война, но многих уносила и любовь. Они сгорали в ее огне, бросались с высоких скал, прыгали в бурные реки. Вот девушка из Азайни и вот юноша из Кумуха. Вот их история, их любовь. Расскажу вам конец их любви, известный всему Дагестану.

Юноша из Кумуха приехал в аул Азайни, чтобы взглянуть на свою возлюбленную. Но она не появляется. Четыре дня и четыре ночи ждал юноша. На пятый день сел на коня, чтобы возвратиться домой.

Вниз поглядел — сухая земля внизу,  
Вверх поглядел — голубое небо вверху.

Откуда же дождик заморосил,

Бурку молодца замочил?

На крыше невеста его Меседа,

Слезы льются, как с гор вода.

— Четыре ночи я ждал, четыре дня.

Зачем ты пряталась от меня?

— Стук подков услышав издалека,

За четыре двери, за четыре замка

Посадили братья мои меня,

Просидела я там четыре дня.

Но на пятый день, как ты сел в седло,

Сердце вытерпеть не могло.

Я разбила все четыре замка,

Так любовь моя велика!

Здесь ведь торг идет, здесь идет базар,

Продают меня, как простой товар.

За немилого отдают меня.

Ты останься здесь, расседлай коня.

...Но юноша из Кумуха уже не хочет остаться.

— Я коня оседлал. Могу ли его расседлать?

Что скажут друзья, что соседи могут сказать?

Мне кунак на прощанье пожелал прямого пути,

Могу ли вернуться и снова к нему прийти?

Я уеду, но сердце оставлю тебе свое.

— Раскуют его братья, набросятся, как воронье.

— Свои глаза я оставить тебе буду рад.



— Их братья высосут, как виноград.  
 Если ты все равно решил покинуть меня,  
 Тише води до конца аула коня.  
 Ты его в поводу до конца аула води,  
 А потом оглянись и на меня еще погляди.  
 А в долине коня накорми зеленой травой,  
 А у реки коня напои холодной водой.  
 Ночь придет, под буркой своей усни.  
 А проснешься, опять меня вспомани.  
 Дождь пройдет, знай, что это слезы мои.  
 Снег пойдет, знай, что это муки мои.

Трижды ударил плетью коня гордый юноша из Кумуха, трижды оглянулся и покинул аул. Прошло три недели. Горы засыпал снег. Несчастливая Меседа, не желая выходить за немилого, бросилась со скалы. Накануне вечером отец и братья выгнали непокорную Меседу на улицу в снежную метель.

В эту ночь она пела:

Пусть родится в доме сто дочерей.  
 Пусть отец их замуж продаст скорей,  
 Чтоб на свадьбах мог нагуляться он,  
 Чтоб золотом мог подавиться он,  
 Пусть и братья богатых невест найдут,  
 С нелюбимыми женами век живут.  
 Пусть не губы целуют — свое добро.  
 Пусть в проклятое серебро  
 Превратится снег, что меня сечет,  
 И вода в ручье, что у ног течет.  
 Мой возлюбленный, замечает снег,  
 Потеплее себе ты найди ночлег.  
 Мой возлюбленный, под ногами лед,  
 Не гляди назад, а гляди вперед.

То ли услышал юноша стон погибающей своей Меседу, то ли сердце подсказало ему, но примчался он из Кумуха на взмыленном коне. Узнал о печальном событии. Бросил поводья и отпустил коня. Расстегнул пояс и сбросил с себя оружие. О камень разбил ружье. Обращаясь к отцу и братьям погибшей своей невесты, юноша говорил:

«Вашей сакли мир нарушать не хочу,  
 Свой кинжал на вас о скалу не точу.  
 Ни сталью мстить не хочу, ни лихим свинцом,  
 Покажите лишь мне ее лицо.  
 Покажите мне — только раз взглянуть —  
 Белоснежную, молодую грудь».  
 Вот снимает полотно старик отец,

Побледнел жених, стал и сам мертвец,  
 Расстегнули грудь, поглядел жених,  
 Покачнулся, упал и навек затих.

Судьба их сплелась в одну, только тела лежат отдельно. Что же делать с ними, как хоронить? Тогда собрался великий совет. Со всего Дагестана съехались мудрецы, начал заседать всеобщий диван.

Говорят прославленные пророки любви:

Угасла жизнь, остыла кровь,  
 Была любовь верна.  
 Два тела, но одна любовь,  
 Две жизни — смерть одна.

Могилу ройте для двоих,  
 Чтоб не тесна была.  
 Жизнь разделила их на миг,  
 Но смерть опять свела.

В одну их бурку завернем,  
 Один насыплем холм,  
 Одно надгробие на нем  
 Поставим мы потом.

Сделали все как сказали. И вырос около надгробья красный цветок. Под снегом не вянут его лепестки. Снег, как только коснется цветка, тотчас тает. Словно огонь этот красный цветок. У подножья могилы пробился родник. Пьют из него люди. А еще два дерева выросли по бокам могилы. Таких красных деревьев не бывает даже в сказках. Холодный ветер подует — они размыкают свои ветви, теплый ветер подует — опять соединяются, словно обнимаются двое влюбленных: юноша из Кумуха и девушка из аула Азайни.

Спел бы я еще песню об Али, но очень она длинна. Поэтому позвольте, я, как и в первой песне, где спою, где перескажу своими словами.

Жил в одном ауле Али. Была у него молодая красивая жена, была у него старая мать. Надолго уходил он в горы пасти овец.

Однажды пришел к Али человек с наказом от матери, чтобы бросил Али своих овец и шел скорее домой.

Недобрые предчувствия закрались в сердце Али. Не случилась ли какая беда? Зачем он мог понадобиться? А если беда, то от кого ее можно ждать, как не от молодой жены?

Спрашивает он у посыльного, а тот молчит. Стал настаивать Али, стал сердиться, стал кинжалом грозить, и тогда рассказал ему тот человек:

Красива жена у тебя, Али.  
Ночью тихо, все в доме спят.  
Но тогда скажи мне, о друг Али,  
Почему окошки во тьме скрипят?

Молодая жена у тебя, Али,  
Покрывает землю снежком седым.  
Но тогда скажи мне, о друг Али,  
Чьи на свежем снегу следы?

Не от ветра окна скрипят, о нет,  
Открывает окна твоя жена.  
Твой подарок не носит она — браслет,  
И кольцо твое не носит она.

Али, конечно, спешит в аул. Сразу, не заходя к матери, спешит к молодой красивой жене. Жена хочет снять с мужа бурку и папаху, предлагает бузы, хочет, чтобы он отдохнул с дороги.

— Раздевайся, я бузой тебя напою.  
В доме сыр и лепешка есть.  
— На какие плечи бурку мою  
Без меня примеряла здесь?

— Ты сними и папаху, хозяин мой,  
Богатырь ты мой, молодец.  
— Ты кого поила хмельной бузой,  
Пока пас я в горах овец?

Али выхватил кинжал и ударил два раза свою жену.

— Счастлив будь, богатырь Али,  
Триста лет на свете живи,  
Но взгляни на меня, богатырь Али,  
На полу я лежу в крови.

Да пошлет спасенье тебе аллах,  
На тебе его благодать.  
Отнеси меня на своих руках,  
Положи меня на кровать.

— Положу,— раздается Али ответ,—  
Если скажешь ты мне в лицо,  
Где подарок мой, дорогой браслет,  
Почему ты сняла кольцо?

— Ты сундук открой, богатырь Али,  
И браслет и кольцо на дне.  
Если нету рядом тебя, Али,  
То зачем украшенья мне?

Али бросился к матери:

— Ты зачем меня позвала, что случилось?

— Жена по тебе соскучилась, дети соскучились. Да еще, думала, свежей баранины привезешь. Давно не ели.

Схватился Али за голову, побежал опять на половину жены.

Угасают очи, в них меркнет свет,  
Холодеют руки, не дышит грудь.  
Слезы льет Али, а жены уж нет,  
И никак ее не вернуть.

В третий раз Али обнажил кинжал.  
Все в крови его острие.  
Обернул к себе, посильней нажал  
И упал он возле нее.

Так и кончилась эта история. Похоронили их рядом. Выросли около могилы два дерева.

Ну о чем же еще мне спеть? Разве что о Камалил Башире? Кто такой Камалил Башир? Это наш дагестанский, если хотите, Дон-Жуан. Говорят, когда он пил воду, то было видно, как льется по горлу светлая вода. Так тонка и нежна была его кожа. И вот эту-то шею перерубил его отец. За что? За то, что его сын был слишком красив.

Ну что же, умер Камалил Башир, а о любви продолжают петь, как и пели.

Ребенок еще в колыбели, а песни о любви уже звучат над ним.

Еще раз я должен вспомнить нашу бесхитростную народную игру. Она называется у нас «бакиде рахъин».

Это состязание в лиричности, соревнование в остроумии, в умении найти нужное и скорое слово — вот что такое эта игра. В каждом ауле Дагестана знают ее. В зимние долгие вечера собираются в чьей-нибудь сакле аульские юноши и девушки. Не пьют водку, не режутся в карты, не лузгают семечек, не охальничают, но играют в поэзию. Это ли не прекрасно!

Появляется палочка. Она оказывается в руках у девушки. Девушка дотрагивается палочкой до юноши и поет:

Возьми эту палочку, самый красивый,  
Выбери ту, что красивее всех.

Юноша выбирает девушку, и та садится на табуретку. Между ними начинается песенный разговор.

О красавица, красавица,  
Как зовут тебя, скажи?  
О красавица, красавица,  
Чья ты родом, Расскажи.

Все хлопают в ладоши и поют: «Ай, дай, далалай!»

Имя я уже сказала,  
Но другому, не тебе,  
И любовь я обещала,  
Но другому, не тебе.

Все хлопают в ладоши и поют: «Ай, дай, далалай!»  
Девушка встает с табурета, выбирает палочкой юношу, который сядет вместо нее. Новая пара затевает новый песенный разговор:

Девушка:

Снегом горы покрывает,  
И тропинок не видать.  
Златорунному ягненку  
Негде травку пощипать.

Юноша:

Снег растает и прольется  
Серебристою водой.  
На твоей груди пасется  
Тот ягненок золотой.

«Ай, дай, далалай!» Выходит новая пара.

Девушка:

У студеного колодца,  
Под скалой дракон живет.  
Златорогому козленочку  
Напиться не дает.

Юноша:

У студеного колодца  
Не пугай драконом нас.  
А козленочек напьется  
Из твоих прекрасных глаз.

«Ай, дай, далалай!» Выходит новая пара.

Юноша:

По ущелью выюга злится,  
И река покрылась льдом.

На тебе хочу жениться  
И построить новый дом.

Девушка:

Где-нибудь в другом ауле  
Ты невесту выбирай.  
Не посадишь куропатку  
Вместо курицы в сарай.

«Ай, дай, далалай!» Все хлопают в ладоши, смеются. Так проходят длинные зимние вечера.

Дагестанские песни о любви! Пока этот юноша просил, чтобы девушка вышла за него замуж, другие ее бесцеремонно украли.

Пока к этой девушке вежливо стучали в дверь, другие залезли к ней в окно.

Проходят века, а песни живут себе и живут. Их создают певцы, но и они создают певцов.

Может ли быть свадьба без песни, может ли пройти день без песни, может ли прожить человек без песни?

У нас говорят: кто не знает песен, тому жить надо не в доме, а в хлеву.

Говорят еще, что великан, не знающий любви, не достанет и до пояса влюбленному человеку.

Рассказывают про Махмуда. Во время первой мировой войны он был на карпатском фронте вместе с Дагестанским конным полком. Там он написал свою знаменитую песню «Мариам», и боевые друзья Махмуда стали петь ее на привалах. А история этой песни такова.

В одном жестоком бою русские войска захватили село, выбив оттуда австрийцев. Преследуя бегущего неприятеля, Махмуд оказался около церкви. Из церковных дверей выскочил перепуганный австриец, но увидев свирепого горца на коне, юркнул обратно в церковь.

У Махмуда за несколько дней до этого погиб брат, и он жаждал мести. Недолго думая, соскочил он с коня и, обнажив кинжал, бросился вслед за австрийцем, думая, что сейчас изрежет его на куски. Но вбежав в церковь, Махмуд остолбенел.

Прямо перед собой он увидел австрийца, стоящего на коленях и молящегося перед иконой божьей матери Марии.

В Дагестане и без того не поднимаются руки на человека, стоящего на коленях, а тем более на молящего-

ся. Но, кроме того, Махмуд был потрясен красотой женщины, которой австриец молился.

Махмуд вдруг увидел, что перед ним его возлюбленная Муи, ее глаза, ее печаль в глазах, ее черты, ее одежда. Кинжал выпал у него из рук. Неизвестно, что потом рассказывал об этой истории австриец, но только свирепый горец тоже упал рядом с ним на колени и стал молиться по-христиански, неумело ударяя себе пальцами в лоб, в плечи и в грудь. Махмуд не видел, когда австриец исчез. Придя в себя, он написал свои знаменитые стихи «Мариам», то есть стихи о Марии. Для него Муи и Мария слились в один образ. Он писал о Марии, а думал о Муи, писал о Муи, а думал о Марии.

С тех пор Махмуд признавал на свете только одно — любовь. Его душа не принимала других песен. Среди дагестанских певцов не было еще человека, который поднимался бы до высоты его страсти, до глубины его песен. Он не замечал, что пишет стихи, что говорит стихами, что не говорит, а поет. Как будто кто-то говорил и пел за него. Все свои удачи он приписывал Муи и своему чувству к ней. Если друг говорил с ним не о Муи, он переставал слушать друга.

Вот что рассказывал о нем мой отец.

К Махмуду стали приходиться многие люди. Шли только влюбленные. Они поняли силу его слова и просили сочинить для них стихи. Приходил тот, кто впервые влюбился в девушку и не знал, как ей об этом сказать. Приходил тот, чья любимая вышла замуж за другого, и теперь бедняга не знал, что делать с терзающей его тоской. Приходил тот, кто полюбил вдовую женщину, остающуюся верной своему мертвому мужу, и влюбленный не знал, как растопить ее сердце.

Приходили обманутые своими возлюбленными. Приходили те, чьи сердца сжигает неразделенная любовь. Приходили те, кто запутался в своей любви. Приходили те, кто поссорился со своей любимой. Приходили разлученные.

Сколько людей, столько и влюбленных. Сколько влюбленных, столько и разной любви. Двух одинаковых не бывает.

И Махмуд сочинял стихи, соответствующие каждому особому случаю. Соединялись влюбленные, мирились ссорящиеся, смягчалась строгая и печальная вдова,

становился смелым юнец, стыдились изменившие, прощали обманутые.

Однажды спросили у Махмуда:

— Как это ты умеешь сочинять стихи, отвечающие настроению самых разных людей?

— Судьба всех людей может уместиться в одном человеческом сердце. Разве о них я пишу стихи? О их любви, о их страданиях? Нет, я пишу стихи о себе. Сын бедного углежого, в юности я полюбил Муи из аула Бетли. Потом Муи вышла замуж за другого. И облилось кровью мое сердце. Потом муж у Муи умер, и она осталась вдовой. По-прежнему не знала покоя моя душа... Нет, я все знаю про любовь, и незачем мне сочинять стихи о других.

Говорят, что к Махмуду приходили также люди с просьбой написать стихи об умерших или о погибших на войне. Просили матери сыновей, сестры братьев, жены мужей, невесты женихов. Но Махмуд не мог написать ни одного такого стихотворения. Он отвечал:

— Как я в мирном ауле могу писать о войне, если и на войне я писал о любви.

Но при этом горцы говорят: «По-настоящему оценишь мирную песню только тогда, когда случится война». И еще: «Чтобы проверить свою любовь, идите на поле битвы».

Два лезвия у кинжала: одно — любовь к родному краю, другое — ненависть к врагу. И две струны у пандура: одна поет песню ненависти, другая — песню любви.

Говорят про горца, что когда он лежит, обняв подругу одной рукой, то в другой руке держит кинжал. Недаром многие песни и старые истории кончаются ударом кинжала. Но многие истории кончаются и тем, что горец возвращается в свой аул, везя девушку перед собой в седле.

Когда раскапывают старые могилы в горах, находят там кинжалы и сабли.

— Почему же не находят пандура?

— Пандуры остаются живым, чтобы живые пели песни о погибших героях. Итак, если исчезнет на земле все оружие, не останется ни одного кинжала, то песня все равно не исчезнет.

Отец говорил, что простой гость — это гость твоего дома. Но гость — певец, гость — музыкант — это гость



всего аула. Всем аулом встречают и провожают его. Махмуда, например, встречали везде лучше, чем губернатора. А может, губернаторы потому и не любили вольных певцов?

Отец рассказывал, как шли по Дагестану два путника. Когда наступили сумерки, один сказал другому:

— Не пора ли нам отдохнуть? Скоро вечер. Я вижу, ты устал и озяб. А вон, кстати, виден аул. Свернем с дороги и попросимся на ночлег.

— Я действительно устал и озяб. Пожалуй, я даже и заболел. Но в этом ауле останавливаться не буду.

— Почему?

— Это скучный аул. Никто еще не слышал, чтобы в нем пели песни.

Такой аул, возможно, попался путникам. Но никто таких слов не может сказать о всем Дагестане: дескать, это страна, где не услышишь песни, поэтому пообедем-ка ее стороной.

Бестужев-Марлинский вставил в свою книгу дагестанские песни, и Белинский сказал о них, что они ценнее, чем сама книга. Он сказал, что и Пушкин не постыдился бы назвать их своими.

Песни горцев слушал в Темир-Хан-Шуре юноша Лермонтов. И хотя он не понимал нашего языка, но наслаждался ими.

Профессор Услар говорил, что гунибские мелодии — прекрасный подарок человечеству.

Кто же дал нам эти звуки и эти песни? Кто научил горцев этим чувствам? Орлы и кони, сабли и травы, детские колыбели, четыре реки Койсу, волны Каспия, возлюбленная Махмуда Мариам, вся история Дагестана, все языки, сущие в нем, весь Дагестан.

У Абуталиба однажды спросили:

— Сколько поэтов в Дагестане?

— Э, три-четыре миллиона наберется.

— Как так? Всего и народу-то у нас один миллион!

— В каждом человеке сидит по три-четыре певца. Только не все и не всегда поют. Не все и знают об этом.

— А все же, кто самые лучшие певцы?

— Всегда найдется певец лучше самого лучшего. Но одного я могу назвать.

— Кого же?

— Дагестанскую мать. Вообще у горцев насчитывается только три песни.

— Какие?

— Первую из них поет горянка-мать, когда у нее родится сын, и она сидит над его колыбелью.

— А вторую?

— Вторую из них поет горянка-мать, когда она лишается своего сына.

— А третью?

— Третья песня — это все остальные песни.

Да, мать... Правдивый, хотя и пристрастный свидетель цветущего и увядающего, рождающегося и гибнущего, приходящего и уходящего. Мать, качающая колыбель, держащая на руках ребенка, обнимающая сына, который уходит от нее навсегда.

Вот красота, вот правда, вот честь.

Люди бывают плохие и хорошие, даже и песни бывают лучше и хуже. Но всегда прекрасна мать и песня матери.

Тех песен, которые пелись над моей колыбелью, я, конечно, не помню. Но потом я подслушал в разных аулах много хороших песен, и колыбельных тоже. Вот хотя бы одна из них:

Будешь ты, сынок, расти, силы набирать,  
Чтоб у волка из зубов мясо мог отнять.

Будешь ты, сынок, расти, чтобы ловким быть,  
Чтоб у барса из когтей птицу утащить.

Будешь ты, сынок, расти, чтобы все уметь,  
Слушать речи стариков и друзей иметь.

Будешь ты, сынок, расти, богатеть умом,  
Тесной станет колыбель, ты взмахнешь крылом.

Сыном будешь для меня — матери родной,  
Затем будешь для нее — матери чужой.

Мужем будешь для нее — молодой жены,  
Песней будешь для нее — дорогой страны.

Какая вера! Нет ни одной матери, не умеющей петь, говорил мой отец. Нет такой матери, которая в душе не была бы поэтом.

Дождик в сухое лето — это, мой мальчик, ты.  
Солнце в дождливое лето — это, мой мальчик, ты.  
Губы — медовые соты — это, мой мальчик, ты.

Глаза — виноградные ягоды — это, мой мальчик, ты.  
 Имя, что слаще меда, — это, мой мальчик, ты.  
 Лицо, что глаза ласкает, — это, мой мальчик, ты.  
 Сердце, что живо бьется, — это, мой мальчик, ты.  
 Ключи от живого сердца — это, мой мальчик, ты.  
 Сундучок, серебром окованный, — это, мой мальчик, ты.  
 В сундучке том чистое золото — это, мой мальчик, ты.

Ты пока что колобочек,  
 А потом ты станешь пулей.  
 Станешь молотом тяжелым,  
 Что дробит и рушит скалы.  
 Станешь ты стрелою точной,  
 Не летящей мимо цели,  
 Станешь ты танцором статным  
 И певцом сладкоголосым.  
 Перед юношами рода  
 Бегуном ты станешь быстрым  
 И наездником-джигитом.  
 По долине ты проскачешь,  
 Пыль из-под копыт взвьется,  
 Черной тучей станет в небе.

Кто не слышал материнской песни, все равно что рос сиротой, говорил мой отец. А кто вырос без отца и без матери, все же не сирота, если пелн ему над колыбелью наши дагестанские песни. Кто же мог петь, если не было ни матери, ни отца? Сам Дагестан пел, высокие горы пели, речки, текущие с высоких гор, пели, люди, живущие по горам, пелн:

Клубочек ниток золотых — дочь моя.  
 Ленточка из серебра — дочь моя.  
 Луна над высокой горой — дочь моя.  
 Козленочек над горой — дочь моя.

Трусливый, поди ты прочь,  
 Не для трусливого дочь моя,  
 Робкий, не крутись у ворот,  
 Не для робкого дочь моя.

Весенний яркий цветок — дочь моя.  
 Из цветов весенний венок — дочь моя.  
 Из нежных травинки ковер —  
 Драгоценная дочь моя.

Пригоните мне три отары овец,  
 Даже брови ее не отдам.  
 Приносите мне золота три мешка,  
 Даже щечку ее не отдам,  
 Даже ямочку на щеке  
 Я за три мешка не отдам.

Черному ворону не отдам.  
 Павлину доброму не отдам.  
 Куропаточка ты моя,  
 Аистиночка ты моя.

Другая мать по-другому поет:

Кто поленом барса убьет,  
 Отдам ее.  
 Кто кулаком скалу разобьет,  
 Отдам ее.  
 Кто плеткой крепость возьмет,  
 Отдам ее.  
 Кто разрежет, как сыр, луну,  
 Отдам ее.  
 Кто остановит речную волну,  
 Отдам ее.  
 Кто сорвет, как цветок, звезду,  
 Отдам ее.  
 Кто на ветер накинёт узду,  
 Отдам ее.  
 Краснощекое яблочко ты мое.

Или вот песня-пожелание:

Еще цветок не зацветет,  
 А дочь моя пусть расцветет.

Еще ручьи не побегут,  
 А ей уж косы заплетут.

Еще снега не замели,  
 А к ней уж свататься пришли.

А если свататься придут,  
 Пусть бочку меда принесут.

Ягнят пусть гонят и овец,  
 Но у невесты есть отец.

Пусть гонят для отца скорей  
 Табун горячих лошадей.

Еще и такое надколыбельное пожелание:

До того, как чирикнет первая ранняя птичка,  
 Пусть дочку мою на пшеничном увидят поле.

До того, как проснется в далеком лесу кукушка,  
 Пусть дочку мою на зеленом лугу увидят.

Пока красавицы наряжаться, краситься будут,  
Она уже воды с родника принесет в кувшине.

Если бы не было колыбельных песен, может быть, не было бы на свете и других песен. Была бы бесцветнее жизнь людей, совершилось бы меньше подвигов, было бы в жизни меньше поэзии.

Матери — самые первоначальные поэты. Они зароняют зернышки поэзии в души своих сыновей и дочерей, а потом уж из этих зернышек вырастают и расцветают цветы. В самые трудные, тягостные, страшные часы своей жизни вспоминают потом мужчины колыбельные песни.

Одному робкому воину Хаджи-Мурат сказал: «Наверно, мать не пела над твоей колыбелью».

Когда же сам Хаджи-Мурат изменил Шамилю и ушел к русским, Шамиль презрительно обронил: «Он забыл колыбельную песню матери».

А колыбельная песня его матери была такая:

Послушай песенку мою  
С улыбкой на лице.  
О храбрце тебе спою,  
О гордом храбрце.

Носил он саблю на боку,  
Достоинство храня,  
В седло он прыгал на скаку  
И умирал коня.

Границы он пересекал,  
Как горная река,  
Хребет горе перерубал  
Он молнией клинка.

Столетний дуб одной рукой  
Он мог согнуть кольцом.  
Да будешь ты, орленок мой,  
Таким же храбрцом.

Мать смотрела на улыбающееся личико и верила в слова своей песни. И не знала, какие испытания ждут впереди ее сына Хаджи-Мурата.

Узнав, что Хаджи-Мурат покинул Шамиля и ушел к его врагам, мать спела другую песню:

Ты в пропасть прыгал с утесов и скал,  
Любой не страшась высоты.

Из бездны, в которую нынче упал,  
Уже не воротишься ты.

Из дерзких набегов к родным горам  
Спешил ты среди темноты.  
Но сам, как добыча, достался врагам,  
Домой не воротишься ты.

Черны и мои материнские дни,  
Они и горьки и пусты,  
Из крепких железных когтей западни  
Домой не воротишься ты.

Имама презрел и царя ты презрел,  
И было бы все полбеды.  
Но ты еще горы родные презрел,  
Домой не воротишься ты.

Хаджи-Мурат, как известно, пытался потом уйти от русских и снова вернуться к своим. Но во время побега его настигли, и он был убит. Мертвому Хаджи-Мурату отсекали голову. Тогда в горах появилась еще одна песня матери:

Размахнулись, и нет головы на плечах,  
Только это пустая молва.  
На военных советах и в жарких боях  
Так нужна нам его голова.

У дороги зарыт обезглавленный прах,  
Только слухи о том неверны.  
В опаленных войной, осажденных горах  
Его плечи и руки нужны.

Вы спросите у сабель и острых ножей,  
Жив иль умер наиб Шамиля?  
Разве порохом скалы не пахнут уже,  
И вокруг не дымится земля?

Его имя летело орлом в вышину,  
Под конец потускнело оно.  
Сабли выправят жизни его кривизну  
И отчистят позора пятно.

Песня матери — начало, источник всех человеческих песен. Первая улыбка и последняя слеза — вот что такое она.

Песня рождается в сердце, потом сердце ее передает языку, потом язык передает ее сердцам всех людей, а сердца всех людей передают песню векам.

Уместно здесь будет рассказать еще о тех песнях.

## ПЕСНЯ МАТЕРИ ШАМИЛЯ

«В песне ищи что-нибудь одно — или смех, или слезы. Нам, горцам, сейчас ни то, ни другое не нужно. Мы воюем. Мужество не должно жаловаться и плакать, какие бы испытания на него не обрушивались. С другой стороны, нам нечему и радоваться. Печаль и горечь в наших сердцах. Вчера я наказал молодых людей, которые около мечети танцевали и пели. Глупцы они. Увижу такое еще раз, накажу снова. Если вам нужны стихи, читайте коран. Твердите стихи, написанные пророком. Его стихи высечены и на воротах Каабы».

Так запрещал имам Шамиль петь в Дагестане. Женщин за песню наказывал метлой, а мужчин — кнутом. Приказ есть приказ. Немало певцов попало в те годы под удары кнута.

Но разве можно заставить замолчать песню? Певца — можно, а песню — никогда. Мы видим много надгробных камней, там похоронены люди. Но кто видел могилы песен?

На одной могильной плите я прочитал: «Умер, умирают, умрут». Про песню можно сказать: «Не умерла, не умирает, не умрет». Чего только не делали с песнями в дни газавата, а они мало того что выжили и дошли до нас, но называются теперь по иронии судьбы «песнями Шамиля».

Так вот, про песню матери Шамиля... В те дни неприятельские войска захватили аул Ахульго. Много героев породила эта битва, но все они остались там, на поле битвы. Раненые, не желая сдаваться, прыгали в Аварское Койсу. Среди осажденных была и сестра Шамиля с детьми.

В это тяжелое время усталый, израненный имам приехал в свой родной аул Гимры. Не успел он отдать мюридам повод коня, как услышал песню. Или, вернее, плач:

Плачьте, люди, в горных аулах,  
Плачьте по мертвым и славьте их,  
Врагу досталась крепость Ахульго,  
И никого не осталось в живых.

Далее в песне перечислялись имена всех убитых героев. Сочинивший песню просил всех надеть траурные одежды. Говорилось о том, что в горах высохли все род-

ники, прослышав о таком горе. Была в песне мольба к аллаху защищать горцев, вдохнуть силы в имама и сохранить жизнь восьмилетнему Джамалутдину, сыну Шамиля, находящемуся в заложниках у белого царя в Петербурге.

Шамиль сел на камень, запустил пальцы в густую, крашенную хной бороду, испытующе посмотрел на стоящих вокруг людей, а потом спросил:

— Юнус, сколько строк в этой песне?

— Сто две строки, имам.

— Найди сочинителя этой песни и подвергни ста ударам кнута. Два удара оставь за мной.

Мюрид незамедлительно вытащил кнут.

— Кто сочинил песню?

Все молчали.

— Я спрашиваю: кто сочинил песню?

Тут к имаму подошла его согбенная, печальная мать. В руках она держала метлу.

— Сын мой, песню эту сочинила я. В нашем доме сегодня траур. Возьми эту метлу. Исполни свой приказ.

Имам задумался. Потом он взял из рук матери метлу и прислонил к стенке.

— Мать, ты уходи домой.

Оглядываясь на сына, мать ушла. Как только она скрылась в переулке, Шамиль снял с себя саблю, развязал пояс, сбросил черкеску.

— Бить маму нельзя. Ее вину должен взять на себя я, ее сын, Шамиль.

Раздевшись до пояса, он лег на землю и сказал мюриду:

— Зачем ты спрятал кнут? Достань-ка его и исполний то, что я говорю.

Мюрид колебался. Имам нахмурился, и мюрид лучше всех знал, что за этим может последовать.

Он начал стегать имама, но стегал мягко, не наказывал, а гладил. Шамиль вдруг встал и крикнул:

— Ложись вместо меня!

Мюрид растянулся на лавке. Шамиль взял его кнут и больно стегнул три раза. На спине мюрида появились красные рубцы.

— Вот как надо бить, понял? Теперь начинай и не вздумай снова ловчить.

Мюрид начал хлестать имама и отсчитывать удары.



— Двадцать восемь, двадцать девять...

— Нет, только еще двадцать семь. Не пропускай, не перескакивай.

С мюрида катился пот, и он вытирал его левым рукавом. Спина имама была похожа на горный хребет в пересечениях дорог и тропинок или на склон холма, истоптанный многими табунами.

Наконец истязание кончилось. Мюрид отошел в сторону, отдуваясь. Шамиль облачился, надел оружие. Повернувшись к людям, сказал:

— Горцы, нам надо воевать. Нам некогда сочинять и распевать песни, рассказывать сказки. Пусть враги поют песни о нас. Этому научат их наши сабли. Вытирайте слезы, точите оружие. Ахульго мы потеряли, но Дагестан еще жив, и война не кончилась.

После этого дня еще двадцать пять лет воевал Дагестан, пока не отгремела последняя битва и не пал Гуниб.

В разгар гунибского сражения, которое продолжалось несколько дней, имам молился в мечети.

— Такой беды никогда не знал Дагестан! — сказала Патимат, первая, старшая жена Шамиля.

— Ты ошибаешься, Патимат, знал Дагестан одну беду и до того.

— Какую?

— Когда я, имея такую жену, как ты, взял себе и жены еще и Шуайнат.

Засмеялся имам. Засмеялись израненные мюриды, лежащие тут же, в мечети. Казалось, засмеялся весь Дагестан, впервые услышав, как смеется имам.

Он смеялся в самый трудный для Дагестана час, когда рушилось все, что он создавал и чем гордился. Он смеялся за несколько часов до своего плена.

Вдруг Шамиль замолчал и сделался серьезным. Всех трех своих жен он посадил рядом на гунибские камни и попросил:

— Спойте мне ту песню, которую сочинила моя покойная мать.

Патимат, Написат и Шуайнат втроем запели:

Плачьте, люди, в горных аулах...

Затихли последние звуки песни. С неба светила луна. Погрустнел имам...

— Спойте еще раз.

Снова запели Патимат, Написат и Шуайнат. На этот раз песня полетела дальше. Ее слушали освещенные лунной печальные скалы, плакучие ивы, гунибские березы.

— Спойте ее в третий раз! — крикнул Шамиль.

Еще дальше полились звуки песни. Ее слышали теперь горящие аулы вблизи Гуниба, и все молчаливые аулы в отдаленных горах, и все мертвые мюриды в своих могилах. Но тут наступил рассвет, и опять загрохотала битва, последняя битва. А когда отгремели и умолкли орудия, песни уже не было.

Имам стал почетным пленником. Ему возвратили оружие и коня, ему сохранили жен, но ему не оставили Дагестана, увезли далеко на север. Осталась от Дагестана одна только песня, сочиненная некогда старой матерью. Сначала эту песню пели почетному пленнику три его жены. Потом остались только Написат и Шуайнат. Потом, в далекой аравийской пустыне, уже умирающему Шамилю пела эту песню Шуайнат, пережившая двух старших жен, последняя его жена и последняя песня.

Когда рассказывали о Шуайнат, мой отец говорил:

«Она была самой красивой женщиной в доме Шамиля. Она была последней женой имама и первой его любовью. Имам тоже, как все горцы, брал себе жен, соблюдая наши обычаи. Но эту.... Она была нечаянной наградой. Когда храбрейший из наибов Ахвердил Магомед совершил набег на Моздок, он похитил дочку армянского купца, красавицу Анну. Это случилось за несколько дней до ее свадьбы. Мюрид привез свою добычу во дворец имама, завернутой в бурку. Когда же ее развернули, имам ничего не увидел, кроме двух больших голубых глаз, как будто сделанных из дагестанского неба. Эти глаза прямо и без всякого страха смотрели на имама. Они видели красные сапоги из тонкого хрома, его оружие, его бороду, его глаза. Юная армянка увидела перед собой человека, которого никак не назовешь ни молодым, ни красивым. Но что-то привлекало и манило в его внешности. В нем вместе с властностью и силой чувствовались также нежность и доброта. Глаза их встретились. Суровый воин почувствовал некую слабость в сердце. Эта слабость была непривычна, и он испугался ее. Тотчас раздался его повелительный голос:

— Поезжай и отведи эту девушку туда, где взял.

— Зачем, имам? Такая красивая девушка. Все на месте.

— Я знаю зачем, а твое дело оседлать коня.

— Какой же выкуп взять за нее?

— Отдашь просто так, без выкупа.

Удивился Ахвердил Магомед. Никогда еще Шамиль не отдавал пленников без выкупа. Но спорить нельзя. Своей пленнице он сказал:

— Сейчас я повезу тебя обратно к твоим родителям. То-то обрадуются. Скажешь им, что Шамиль не разбойник.

Когда Анне перевели слова мюрида, она посмотрела на Шамиля удивленными глазами. Все подумали, что она просто не верит своему счастью.

Ей сказали еще раз.

— Имам очень сожалеет о случившемся. Он отпускает тебя без всякого выкупа.

Тогда красавица сказала, обратясь к Шамилю:

— О, вождь Дагестана. Меня никто и не думал похищать. Я сама приехала к тебе, чтобы быть твоей пленницей.

— Как, почему?

— Чтобы взглянуть на героя, о котором говорит весь Кавказ и весь мир. Делай что хочешь, но своего добровольного плена я ни на что не променяю. И никуда я отсюда не поеду.

— Нет, тебе лучше уехать.

— И это говоришь ты, Шамиль, которого все считают храбрым мужчиной.

— Так говорит аллах.

— Бог не может так говорить.

— Мой аллах и твой бог говорят по-разному.

— Отныне я твоя пленница, вождь Дагестана, твоя рабыня. Отныне твой аллах будет и моим богом. Еще в детстве я слышала песни о тебе и одну из них запомнила. Она запала мне в сердце.

Юная армянка на непонятном никому языке вдруг запела красивую песню. Из-за высокой горы вышла в небо луна. А дочь Армении все пела песню о Шамиле.

Вошел мюрид.

— Имам, конь оседлан. Могу ли я взять девицу?

— Оставь ее. Эту песню она должна допеть до конца, хотя бы на это понадобилась вся ее жизнь.

Через несколько дней по Дагестану пополз приглушенный слухок. Шептали на ушко человек человеку, аул аулу, шушукались, перемывая косточки.

— Слышали? Шамиль взял себе еще одну жену.

— Правоверный имам женился на армянской девчонке.

— Чалму имама стирает гяурка. Вместо молитв она поет ему песенки.

Зашептался Дагестан. Но слухи были правдивы. Имам взял третью жену. Она приняла мусульманскую веру, повязалась горским платком, взяла аварское имя. Анна сделалась Шуайнат. Для имама самой вкусной была еда, которую подавала она, самой мягкой была постель, которую стелила она. Самой светлой и теплой была ее комната. Самым родным было ее слово. Суровое лицо имама стало мягче, ласковее, добрее. Много раз к Шамилю приходили из Моздока с просьбой от ее родителей отпустить Шуайнат домой за любой выкуп, который он сам назначит. Шамиль рассказывал об этом Шуайнат, но та говорила только одно:

— Имам, ты мой муж. Хоть голову отсеки, но я домой не поеду.

Ее ответ передавал имам послам из Моздока. Как-то раз приехал к имаму родной брат Шуайнат. Имам его принял хорошо, разрешил повидаться с Шуайнат, поговорить с ней. Два часа брат и сестра оставались наедине. Брат рассказал о горе отца, о слезах матери, о прекрасной жизни, которая ждет ее дома, о молодом несчастном женихе, который все еще любит ее.

Все напрасно. Шуайнат отказалась. Брат уехал ни с чем.

Первая жена имама Патимат, улучив благоприятный момент, сказала ему:

— Имам, вокруг проливается кровь, погибают люди. Как ты можешь слушать, словно молитву, песни Шуайнат? Ведь ты запретил петь в Дагестане. Ведь ты отказался от песни даже родной матери.

— Патимат,— сказал вождь,— Шуайнат поет песни, которые поют о нас наши враги. Если бы я дал возможность распространяться слезливым песенкам, то они дошли бы до врага и о нас по-другому бы стали думать. Тогда мне было бы стыдно смотреть в глаза матерей, чьи сыновья погибли в походах со мною. Но враги пусть

поют о нас песни. Я с удовольствием их послушаю. И других позову послушать.

Но не потому переживала Патимат, что имам слушает песни молодой жены, а потому, что с прежними женами он уже не делился как прежде. Вскоре произошло следующее событие.

Однажды имаму сообщили, что белый царь готов вернуть его сына Джамалутдина, который в это время учился в Кадетском корпусе в Петербурге, обменяв его на Шуайнат. Трудная задача. Имам отказался. О том, что была такая возможность, Шамиль скрыл от всех, но слух об этом все же дошел до Патимат.

Однажды она пришла к своей молодой сопернице.

— Шуайнат, даешь ли ты слово, что о нашем разговоре будет знать только один аллах?

— Даю.

— Ты лучше меня знаешь, что в последнее время Шамилю не спится, что он сильно озабочен и мучится.

— Вижу, Патимат, вижу.

— А ты не знаешь ли отчего?

— Не знаю.

— Я знаю. Если хочешь, ты можешь найти для него лекарство.

— Скажи, Патимат, скажи, моя дорогая.

— Ты, конечно, слышала о Джамалутдине, сыне моем и Шамиля?

— Слышала.

— Его возвращение к нам зависит от тебя. Ты же вспоминаешь свою маму. Я тоже мама. Десять лет не видела я своего сына. Помоги! Не ради меня, а ради имама.

— Все сделаю ради Шамиля. Но как?

— Если ты вернешься к своим родителям, царь возвратит нам нашего Джамалутдина. Верни мне моего сына. Аллах тебя наградит вечным раем. Я тебя прошу.

В глазах Шуайнат заблестели слезы.

— Все сделаю, Патимат, все сделаю,— сказала она и ушла.

В своей комнате она упала на ковер. Сперва долго рыдала, потом запела печальную песню. Пришел Шамиль.

— Что с тобой, Шуайнат?

— Имам, отпусти меня к родителям.

— Как?

— Я должна вернуться.

— Почему? О чем ты говоришь? Сама же отказывалась, а теперь я не могу тебя отпустить.

— Шамиль, отправь меня домой. Другого выхода нет.

— Ты, как видно, больна.

— Я хочу, чтобы ты увидел Джамалутдина.

— Ах вот в чем дело. Никуда ты не пойдешь, Шуайнат. Пусть я останусь без сына навсегда, если его можно получить только взамен жены. Если он мой сын, пусть сам найдет дорогу к матери, к родной стране. Я к сыну пойду не по тобой проложенной дороге. Я к нему найду дорогу, достойную меня и его. Лучше приведи моего коня.

Шуайнат вывела из ворот коня имама. Сняла с гвоздя и вручила ему плетъ.

Во всех походах, во всех странствиях — в Дагестане, в Петербурге, в Калуге, на арабской земле — до самой смерти имама неразлучно с ним была его жена Шуайнат. Еще и теперь, в наши дни, рассказывают легенды об этой удивительной женщине. В конце концов, она способствовала тому, что к имаму вернулся его сын Джамалутдин. Но это другой рассказ.

### ПЕСНЯ ДЖАМАЛУТДИНА

Восьмилетний заложник вернулся в Дагестан уже двадцатичетырехлетним молодым человеком. Много сил, терпения и хитрости понадобилось имаму, чтобы вернуть сына. Многих русских военнопленных предлагал Шамиль белому царю, но царь не соглашался на обмен. Юный горец был нужен ему в Петербурге. Грозясь лишить его жизни, царь убеждал Шамиля прекратить бессмысленную борьбу. Имам не поддавался угрозам. От имени сына (а может быть, и сам сын) писали ему, что царь могуществен и нет никакой надежды победить его. Дагестан же истекает кровью, и дальнейшее сопротивление ничего, кроме вреда и горя, не принесет.

Упрямый имам ничему не верил.

Случилось так, что Хаджи-Мурат с несколькими мюридами перешел на сторону русских. Но в горах он оставил свою семью: мать, жену, сестру и сына. Естественно, они все оказались в руках Шамиля. «Если не вернешься,— писал Шамиль Хаджи-Мурату,— то сыну твоему

Булычу отсеку голову, а мать, сестру и жену отдам войнам на позор».

Хаджи-Мурат со своей стороны искал путей выручить семью и тем самым развязать себе руки в борьбе с упрямым имамом. Он говорил в те дни: «Я связан веревкой, а конец веревки у Шамиля». Ни о каком выкупе не могло быть и речи. Когда Шамиль узнал, что бывший его мюрид надеется выкупить семью, он сказал: «Вдобавок ко всему Хаджи-Мурат, видно, сошел с ума».

Но если Шамиль держал в руках конец веревки, ведущей к Хаджи-Мурату, то у Хаджи-Мурата была ниточка, ведущая прямо к сердцу Шамиля. Этой ниточкой был Джамалутдин. Хаджи-Мурат просил Воронцова: «Пусть белый царь отпустит Джамалутдина к отцу. Тогда Шамиль, может быть, отпустит моих родных. Пока моя семья в руках имама, выйти мне с ним на войну все равно что своими руками зарезать и мать, и сына, и жену, и вообще всю родню».

Воронцов доложил царю, и тот согласился на обмен. Шамилю написали: «Получишь сына, если отпустишь семью Хаджи-Мурата».

Шамиль оказался перед мучительным выбором. Три ночи не спал ни он сам, ни его семья. На четвертый день имам вызвал к себе сына Хаджи-Мурата Булыча.

— Ты сын Хаджи-Мурата?

— Да, я сын Хаджи-Мурата, имам.

— Ты знаешь, что он совершил?

— Знаю, имам.

— Что же ты скажешь на это?

— Что об этом можно сказать?

— Хочешь его видеть?

— Очень хочу.

— Я отпускаю тебя к нему вместе с матерью, с бабушкой, всю семью.

— Нет, я не могу к нему поехать. Мое место в Дагестане. А там ведь не Дагестан.

— Надо ехать, Булыч. Я велю.

— Не поеду, имам, лучше убей меня сейчас же на этом месте.

— Я вижу, ты такой же непокорный, как твой отец.

— Мы все покорны тебе, имам, но только не говори мне, чтобы я туда ехал. Пошли меня лучше на войну. Жизни не пожалею.

— Воевать против отца?

— Против врагов.

В тот день Шамиль подарил Булычу один из лучших своих кинжалов.

— Владей им так же, как твой отец. Но только всегда знай, кого бить.

Не удался торг Хаджи-Мурата. Не пошел к нему сын. Не вернулся и Джамалутдин к имаму.

Но Шамиль тем временем принимал свои меры. Он послал другого своего сына, Кази-Магомеда, в набег на грузинское княжеское имение Цинандали. В результате были захвачены в плен княгиня Чавчавадзе, княгиня Орбелиани и с ними гувернантка-француженка. Екатерину Чавчавадзе, сестру Нины Грибоедовой, мюриды нашли в дупле дерева и вытащили оттуда.

Вот теперь-то Шамиль мог диктовать условия царю. Ведь царь любой ценой постарался бы выручить грузинских княгинь.

«Верну княгинь только за моего сына»,— таково было последнее слово Шамиля.

И вот настал этот день. Течет широкая река. На этом берегу ждут свободы похищенные княгини. На тот берег вышел в сопровождении русских воинов сын имама. Шамиль тоже подъехал к реке на своем коне. Он вглядывался в людей на другом берегу реки, стараясь разглядеть своего Джамалутдина. Ведь они не виделись так долго. Узнают ли теперь друг друга отец и сын?

Имаму показали на стройного русского офицера в шинели с золотыми погонами. Офицер разговаривал с другими русскими офицерами, прощался с ними, обнимался. Потом подошел к юной девушке, стоящей несколько в стороне, и поцеловал ей руку. Временами он взглядывал на отца, восседавшего на белом коне.

— Этот, что ли, мой сын? — спросил имам, не спуская глаз с офицера и стараясь не пропустить ни одного его движения.

— Да. Это и есть Джамалутдин.

— Отнесите ему на тот берег черкеску и наше оружие. Отныне он не царский офицер, но воин Дагестана. Одежду, которая на нем теперь, бросьте в реку. Иначе я не подпущу к себе сына.

Джамалутдин выполнил волю отца и переоделся.



Поверх горской черкески он надел оружие горца. Но под черкеской и папакхой оставались сердце и голова Джамалутдина, и их нельзя было ничем заменить.

Вот наконец он переправился через реку и подошел к отцу.

— Мой дорогой сын!

— Мой отец!

Джамалутдину дали коня. Всю дорогу до самого Ведено отец и сын ехали рядом. Иногда отец спрашивал:

— Скажи, Джамалутдин, ты помнишь эти места? Не забыл эти скалы? Помнишь ли наш аул Гимры? Помнишь Ахульго?

— Отец, я был тогда очень маленьким.

— Скажи, молился ли ты хоть раз о Дагестане? Не забыл ли наши молитвы, помнишь ли стихи из корана?

— Там, где я жил, корана не было под рукой,— неохотно отвечал Джамалутдин.

— Неужели ты ни разу не преклонил головы перед всемогуществом аллаха? Не пел молитв? Не соблюдал наших постов? Не творил намаза?

— Отец, нам надо поговорить.

Но Шамиль пришпорил коня.

На другой день утром имам позвал сына к себе:

— Смотри, Джамалутдин, солнце поднимается из-за гор. Правда, красиво?

— Красиво, отец.

— Готов ли ты отдать жизнь за эти горы, за это солнце?

— Отец, нам надо поговорить.

— Ну что ж, говори.

— Отец, царь велик, богат и могуч. Зачем нам защищать бедность этих гор, нищету, темноту? В России великая литература, великая музыка, великий язык. Они придут к нам. Дагестан только выиграет, если присоединится к России. Настало время взглянуть правде в глаза, сложить оружие и залечить раны. Поверь, я люблю Дагестан не меньше тебя...

— Джамалутдин!..

— Отец, нет в Дагестане ни одного аула, который не был бы сожжен хоть один раз. Нет скалы, которая не была бы ранена. Нет камня, не обагренного кровью.

— Я вижу, ты не готов и не способен защищать эти раненые скалы.

— Отец!

— Я тебе не отец. И ты оказался не моим сыном. Услышав твои слова, мертвые должны вырваться из своих могил. Но что делать мне, живому, когда я все это от тебя слышу? Видишь, как потемнели скалы?

Шамиль созвал своих верных людей и свою семью:

— Люди, я хочу рассказать вам, что говорит мой сын. Он говорит, что белый царь велик, что у врагов много силы, что государство царя велико и что мы воюем напрасно. Он говорит, что нам пора сложить оружие и покорно склонить головы наши перед царем. Я считал, что человека, который осмелится не только так сказать, но и так подумать, я ни на час не оставлю в Дагестане. Сегодня эти слова звучат, и где же? В нашем доме. Кто же говорит эти слова? Мой сын! Что делать с ним, с человеком, которого подослал сюда царь, чтобы опозорить и Дагестан и меня? Вы хорошо знаете, сколько раз кололи грудь Дагестана и мою собственную грудь вражеские штыки. А теперь штык, который я сам отковал, царь наточил и направляет в мое же сердце. Что делать?

Печально слушали родные своего имама. Только мать еще не в силах была поверить всему этому.

Шамиль повернулся к Джамалутдину:

— Эй, враг гор! Будешь там, откуда не услышу твоего голоса. Нет у тебя отца, нет у тебя Дагестана. На тебя я обменял грузинских княгинь, но на кого обменять тебя? Что мне с тобой сделать?

— Что хочешь делай, отец, со своим сыном. Убей, но сперва дослушай.

— Хватит. Я всегда слушался аллаха, но сегодня не слушаюсь и его. Он говорит: «Убей врага!» Я ему отвечаю, что это не враг, а заблудившийся сын. Я ему говорю, что не в силах отрезать палец от руки. Итак, живи, но сними этот кинжал. Оружие нужно только тому, кто готов драться.

Шамиль сослал своего сына в далекий аул. Там Джамалутдин жил, словно листок, оторванный от родного дерева. Изнуренный печальными думами, плохой пищей, непривычным климатом, он заболел чахоткой. Имам воевал, а сыну все труднее и труднее дышалось. Он был обречен. В это время к нему приехала тайком от имама Патимат. Мать привезла с собой игрушки из хлеба. Одна была в форме кинжала, другая в форме орла, третья в

форме сабли. Потом со двора она принесла кизяк и развела огонь в очаге. Разогрела игрушки из хлеба, вытерла с них золу о собственные колени и, разломив одну из них, подала Джамалутдину, словно маленькому ребенку.

— Когда у матери нет своего молока, она старается приучить ребенка к молоку тура,— сказала Патимат.

Джамалутдин смотрел на мать удивленными глазами. Ему казалось, что он видит ее впервые. Вдруг она вспомнилась ему молодой и красивой. В детстве именно такими хлебцами она кормила его. У колыбели, похожей на коня, она пела ему песню о юноше, вскормленном молоком львицы. В изголовье под подушечкой лежал деревянный кинжальчик.

— Мама! — как в детстве, крикнул Джамалутдин.

— Джамал, мой сын, вернись ко мне! — сказала Патимат.

Джамалутдин узнал свою мать. У потухающего очага, склонившись над больным сыном, пела мать колыбельные песни, как это она делала на заре его жизни.

Имам вместе со своими мюридами воевал где-то далеко, не понятый сыном. А его жена Патимат пела прощальную песню своему умирающему первенцу.

Джамалутдину казалось, что где-то близко между скалами стонет река. Ему чудилось, что у дверей на скошенной и высохшей траве лежит теленок.

Он вспомнил свой дом в Гимрах, вспомнил отца, вспомнил своего первого коня. Мать пела о веселом Дингир-Дангарчу, который поднялся в небеса по дождевой струйке.

- Где ты был, Дингир-Дангарчу?
- В лес ходил Дингир-Дангарчу.
- Ты зачем ходил, Дингир-Дангарчу?
- Деревья рубил Дингир-Дангарчу.
- Ты зачем рубил, Дингир-Дангарчу?
- Дом построить хочет Дингир-Дангарчу.
- Зачем тебе дом, Дингир-Дангарчу?
- Жениться хочет Дингир-Дангарчу.
- А жениться зачем, Дингир-Дангарчу?
- Чтоб героев родить Дингир-Дангарчу.
- А герои зачем, Дингир-Дангарчу?
- Чтоб гордился ими мир Дингир-Дангарчу.

Перед взором Джамалутдина встали родные горы. Тает снег, гремят камнями потоки. По горным кряжам ползут облака. Дагестан, забытый на чужой стороне, об-

ступил его. А мать все пела и пела. Тут были песни, которые поют, когда рождаются сыновья, и песни, которые поют, когда сыновья умирают. И о том, что после сыновей остаются песни о них. Мать пела о Шамиле, о Хаджи-Мурате, Кази-Магомед, Гамзат-беке, о храбром Хочбаре, о Парту-Патимат, о разгроме Надир-шаха, о тех, кто не вернулся из набегов.

В очаге догорал огонь. Дагестан пылал в пожаре войны. Оба эти огня отражались теперь в глазах Джамалутдина. Песня матери всколыхнула его. Проснувшись, вспыхнула сыновья любовь к Дагестану. Она звала его встать рядом с отцом.

— Мать, я только сейчас вернулся в Дагестан. Только сейчас встретился со своим отцом. Принеси мне оружие. Я — сын Шамиля. Я не должен умереть у домашнего очага. Отпустите меня туда, где стреляют.

Так песня матери сумела сделать то, чего не могли сделать ни коран, ни приказ отца.

Но это была только вспышка. Песни матери не могли заглушить в сердце Джамалутдина другие песни. Он не мог забыть Петербург, в котором вырос. На непонятном языке он читал дагестанским горцам непонятные строки:

Люблю тебя, Петра творенье,  
Люблю твой строгий, стройный вид.  
Невы державное течение,  
Береговой ее гранит,  
Твоих оград узор чугунный,  
Твоих задумчивых ночей  
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,  
Когда я в комнате моей  
Пишу, читаю без лампады  
И ясны спящие громады  
Пустынных улиц, и светла  
Адмиралтейская игла...

Странно звучали эти слова в дымной сакле горного аула. Джамалутдину снилось по ночам, будто он снова в Кадетском корпусе, будто у решетки Летнего сада он встречается с красавицей-грузинкой Ниной...

Два орла жили в сердце Джамалутдина и раздирали его каждый в свою сторону. Две песни звучали в душе. Любимая Нина далеко. Могучая река протекает между ними. Через эту реку не ходит почта. В этой реке утонул русский офицер, сын дагестанского имама. Река смы-

ла и унесла все его мечты и среди них одну, самую главную.

Заветной мечтой Джамалутдина было построить мост над этой могучей рекой, соединить оба берега, заменить жестокость войны, бессмысленные убийства дружбой, лаской, жизнью. Он понимал песни, которые поют в горах, песни матери, но он понимал и песни Пушкина. Две песни соединились в одном сердце. Если бы это понял отец. Если бы это поняли все. Если бы сами песни поняли и полюбили друг друга!

Но песни были похожи на сабли. Они сшибались в воздухе, высекая искры. Истекающий кровью Дагестан пел о крови, о храбрецах, о глазах, расклеванных вороном, о храпе коней, о звоне кинжалов, о скакуне, который возвращается домой, потеряв всадника на поле битвы.

А в тех случаях, когда песни понимали друг друга, когда люди одного берега понимали песню с другого берега, затихали выстрелы, переставали звенеть кинжалы, переставала литься кровь, останавливала занесенную руку месть, и в сердце вместо злобы возникала любовь.

В битве у речки Валерик израненный мюрид Шамиля Молла-Магомед попал в плен к русским. В ауле его оплакали, считая, что он погиб. Но через месяц живым и здоровым он вернулся домой. Удивленные люди стали расспрашивать, как ему удалось освободиться. Это обидело мюрида, и он сказал:

— Не думайте, что Молла-Магомед вышел на свободу при помощи лжи или лести. Я не трус.

— Мы знаем, что ты храбрый мюрид. Наверно, саблей нашел себе дорогу.

— У меня не было сабли. Да и не помогла бы она.

— Как же ты вырвался?

— Меня посадили в подвал. На дверь повесили замок.

— Ну, и как ты там себя чувствовал?

— Как тур, попавший в западню. Но в этом подвале я вдруг вспомнил песню об Али, которого коварные братья оставили на высокой скале. Я спел эту песню. Потом я стал петь другие песни. Я пел о прилетающих весной птицах, об улетающих осенью журавлях, пел об

олене, который был девять раз ранен неумелым охотником, пел об осени, пел о зиме. Пел песни, до сих пор никем не спетые. Три дня я ничего не делал, но только пел. Караульные мне не мешали. Песня есть песня, если даже слова ее не всем понятны. Песню все слушают. И вот однажды к караульным пришел молодой офицер. Я подумал, что мне конец. С офицером пришел еще один человек, который знает наш язык. Он меня спросил: «Офицер хочет знать, о чем ты поешь? О чем твоя песня? Спой нам еще раз». Я стал петь о горящем Дагестане. Меня просили спеть еще. Я спел о бедной маме, о любимой жене. Офицер слушал и смотрел в сторону гор. А горы были окутаны облаками. Он сказал караульным, чтобы меня отпустили. Человек, который знал наш язык, сказал: «Этот офицер освобождает тебя. Ему очень понравились твои песни, и поэтому он отпускает тебя на родину». После этого иногда я думаю: может, и Дагестану петь бы всегда свои песни, а не проливать кровь.

Но Шамиль спросил у вернувшегося из плена мюрида:

— Я же запретил петь песни, зачем ты пел?

— Имам, ты запретил петь в Дагестане, но не запретил петь там.

— Твой ответ мне понравился,— сказал Шамиль. И, немного подумав, добавил: — Можешь петь себе, Молла-Магомед.

С тех пор Моллу-Магомеда люди называли Магомедом, которого спасла песня.

Нужна была песня, чтобы спасти Дагестан. Но всякий ли понял бы ее, как понял тот офицер? И кто же это был? Не поручик ли Лермонтов? Он ведь тоже сражался у Валерика.

Еще один случай. Совершив удачный набег на Темир-Хан-Шуру, Хаджи-Мурат возвращался со своим отрядом домой. В одном лесу недалеко от дороги он увидел двух русских солдат. Они спокойно сидели у костра и пели песни. У одного своего воина, немного понимавшего по-русски, Хаджи-Мурат спросил:

— О чем они поют?

— О матери, возлюбленной, о дождях далекой родины.

Долго слушал Хаджи-Мурат песню русских. Потом тихо сказал:

— Эти люди не враги. Оставьте их в покое. Пусть они поют песню о матери.

Так песня отвела пули от людей. Сколько таких пуль было бы отведено и остановлено, если бы люди понимали друг друга!

Третий случай. Ревком Дагестана Махач послал к хунзахским партизанам известного поэта Махмуда с важной запиской и сказал ему:

— Не кинжалом, а пандуром проложи себе дорогу.

В ауле Цаданих его поймали и посадили в яму. Обнаружили письмо Махача и, конечно, расстреляли бы. Сидя в яме, Махмуд пел песни о своей любви. Весь аул пришел слушать его, пришли люди даже из других аулов. Тогда понял Нажмудин Гоцинский: «Если сегодня я убью этого певца, завтра от меня отвернутся все горцы». И поэта отпустили на волю.

Ирчи Казак говорил, что в сибирской ссылке он умер бы от горя, если бы не было с ним песни.

Много таких рассказов... Им надо верить. Многим песни спасали жизнь, многих пеших сделали конными. Многие робкие люди, услышав песню о храбрецах, перестали бояться.

А этот рассказ я услышал от Абуталиба.

Когда я вернулся из Индии, он много расспрашивал меня об этой стране. Я рассказал ему, как в Индии факиры, заклинатели змей, заставляют танцевать кобру, словно балерину, играя на специальной дудочке.

— Это неудивительно, — сказал Абуталиб, — ведь наши чабаны, играя на свирели, заставляли танцевать туров на высоких горах. Я сам видел, как самые пугливые лани с радостью шли на звуки музыки. Я видел, как под зурну, словно канатоходцы, танцевали на канате медведи, — Абуталиб помолчал и признался: — Мелодии и мне помогли в жизни. Ты, наверно, знаешь, что больше всего я люблю зурну. Ее слышно далеко. Она возвещает о дне рождения сына, о приезде кунака, о свадьбе. Победил ли кто в борьбе на ковре, выиграл ли скакун на бегах — вестником всех радостей в Дагестане является зурна. Она — как тамада среди всех музыкальных инструментов. Я зурну люблю и потому, что в молодости

она кормила меня. Я хочу рассказать тебе, что случилось со мною однажды.

Я был тогда молод. Как-то раз пригласили меня на свадьбу в далекий горный аул. Была зима. Шел крупный снег. Дорога была извилиста, как цифры два, три, пять или восемь. Я устал и присел отдохнуть на камень. До аула дороги хватило бы еще на целый кисет табака. Вдруг за поворотом зазвенели колокольчики и вынырнул на дорогу фаэтон. В нем трое людей, сытых, пьяных и шумных. Из богатого рода. Лошади — одна белая, как сахар, у другой только белая звездочка на лбу, а сама вороная. «Ассалам алейкум». — «Вассалам алейкум». Узнав, что седоки едут на ту же свадьбу, я попросил подвезти меня. Но они, как это теперь делают недостойные шоферы, отказали да еще стали надо мной насмехаться: «Ничего. Ты успеешь дойти до аула к следующей свадьбе. А эта уж, видно, обойдется и без тебя».

Усталый, обиженный, я достал свою зурну и давай играть. Так я никогда еще не играл. И тут произошло чудо. Услышав зурну, кони остановились как вкопанные. Ездоки злились, били коней кнутами, но все бесполезно. Лошади не двигались. Видимо, им понравилась моя мелодия. У лошадей, видимо, человеческого оказалось больше, чем у их хозяев. Долго длился наш спор. Лошади держали мою сторону, и хозяева были вынуждены посадить меня в свой фаэтон. Так моя зурна выручила меня. Песни же вывели меня из подвала на большую дорогу уважения и почета.

Я спросил у Абуталиба:

— Вот ты играешь на свирели, на зурне и на всяких там дудочках. Ты умеешь не только играть на них, но и мастерить их. Но почему ты не умеешь играть на скрипке? Ведь горцы очень любят этот инструмент.

— Рассказать тебе, почему я не играю на скрипке? Слушай. Когда был молод, я играл на ней. Однажды в нашем лакском ауле появился несчастный, изнуренный аварец. Он убил своего сельчанина и за это был изгнан. Изгнанника всегда поселяют в сакле на краю аула. Люди к нему не ходят. Он тоже не ходит к ним. Поскольку я немного знал аварский язык, то стал иногда заходить к нему. Пришел как-то раз вечером со своей скрип-



кой. Он сидел у очага и ворошил под кастрюлькой тлеющую солому. В кастрюле кипела такая же солома. Я стал играть на скрипке, а несчастный аварец глядел в огонь и молча слушал. Потом он неожиданно взял в руки мою скрипку, посмотрел, повертел, немного подстроил и начал играть.

Бабабай, Расул, как он играл! Никогда в жизни не забуду его игры. Тлела солома в очаге. Иногда она вспыхивала ярким огнем и освещала наши глаза. А на наши глаза временами набегали слезы. Я оставил скрипку у аварца и пошел домой. На другой день я отправился в горы, нашел его аул, а потом нашел и его кровников. Я привел их к сакле изгнанника. Днем они отсиживались в моей сакле, а по ночам вместе со мной ходили слушать, как играет на скрипке их кровный враг. Так продолжалось подряд три ночи. На четвертый день кровники отказались от мести. Своему аульцу они сказали: «Возвращайся домой, мы простили тебя». Прощаясь со мной, аварец хотел вернуть мне скрипку, но я не взял ее. Я сказал: «Играть, как ты, я все равно никогда не научусь. А играть хуже я уже не смогу. Поэтому скрипка мне теперь не нужна». С тех пор я никогда не брал в руки скрипку. Но музыку, которая помирила кровников, я тоже никогда не забуду. Часто я думаю, что если бы все люди могли слушать такую игру на скрипке, то не нашлось бы человека, который решился бы сотворить зло, не было бы в мире вражды.

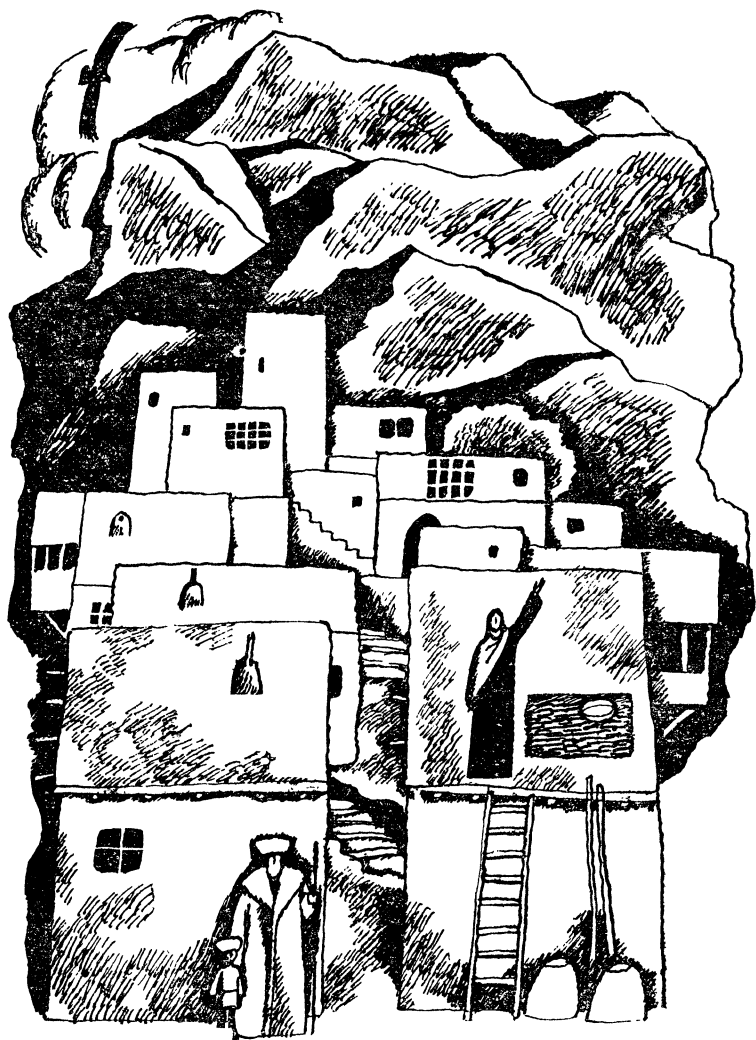
Расскажу теперь две маленькие истории, связанные с моим отцом.

Один гоцатлинец по имени Хаджи открыл в Хунзахе трактир. Он позвал отца и сказал ему:

— Ты человек, известный в горах. Сочини песню про мое заведение, скажи о нем доброе слово, чтобы все люди узнали про мой трактир. За платой остановки не будет.

Отец действительно написал стихи и действительно прославил трактир гоцатлинца, но прославил его как заведение никудышное и грязное. После этого все показывали пальцем на трактир и на трактирщика и говорили: «Вот кого развенчал наш Гамзат».

Трактирщик, узнав, что есть такие стихи, забеспокоился.



Он предлагал отцу коня под седлом, лишь бы он не обнародовал свое сочинение. Но если слово прсевалило через один перевал, то оно обойдет все горы и ничем его не удержишь. Песню отца о незадачливом гоцатлинце вскоре узнали во всех аулах. Ее поют и до сих пор. А Хаджи пришлось закрыть свое заведение.



Однажды из нашего дома исчезли вяленые бараньи бока. Вернуть их не было никакой возможности. Но вдруг по аулу пошли слухи, что Гамзат написал песню о воре. В тот же день вяленые бока были подброшены на наш балкон, хотя отец и не думал сочинять эту песню.

Между молодоженами иногда происходят ссоры. В такие вечера друзья молодоженов, чаще, конечно, друзья молодого мужа, приходят под окна дома и начинают играть на чонгуре. Звуки чонгура заставляют ссорящихся супругов забыть свои маленькие распри.

У меня тоже был хороший друг, фотограф и музыкант Амин Чутуев. В первые годы после моей женитьбы частенько ему приходилось играть под моими окнами.

Амин Чутуев, что же ты не возьмешь свою скрипку и не заиграешь под окнами мира, чтобы улеглись и утихли распри нашего века?

В Чикаго на одной из встреч у меня произошел горячий спор с американским коллегой. Спор был жестокий и, казалось, непримиримый. Но потом вдруг американец прочитал стихи своего брата, которого он потерял в Германии во время последней войны. Я прочитал стихи своего брата, погибшего там же и в то же время. Наш спор утих. Остались только стихи. Если бы почаще мы вспоминали о погибших, если бы почаще обращались к стихам и песням!

Мои предки часто совершали набеги на соседнюю Грузию. В один из таких набегов они похитили и увезли в аварские горы молодого Давида Гурамишвили, будущего грузинского классика.

Несчастный пленник, брошенный в яму в высокогорном Унцукуле, пел грузинские песни. Там же он стал сочинять стихи. Из Унцукуля ему удалось бежать в Россию, потом он переехал на Украину.

Я был в Тбилиси на юбилее этого замечательного поэта. Мне дали слово. Шутя я заметил, что это нам, дагестанцам, Грузия обязана таким большим поэтом, как Давид Гурамишвили. Если бы мы не похитили его да не засадили в яму, то, может, он не начал бы писать стихи. Не попал бы в Россию, на Украину. Вся биография его сложилась бы иначе. Но потом я сказал: «Когда мои предки похищали молодого князя, они не знали, что похищают поэта. А то бы они этого не сделали. Но как бы то ни было, если раньше Давид Гурамишвили был пленен дагестанцами, то теперь дагестанцы пленены его поэзией. Вот как изменились времена!»

Теперь поются новые песни. Но мы не забыли и старых. Теперь эти драгоценные сокровища дагестанский народ дарит всем людям.

Сурова природа гор. В старые времена здесь умирало много детей. Но те, кто выживал, жили долго, больше ста лет.

Не все спетые песни остались жить, но те, что остались, будут жить века.

В детском возрасте умирали все больше мальчишки. Девочки оказывались выносливее, жизнеспособнее.

Так и с песнями. Мужские, джигитские, боевые песни, песни о набегах, о сечах, о могилах, о мести, о крови, об удалстве, о храбрости почему-то сохраняются хуже, нежели песни о любви.

Но все древние песни — это как бы предисловие к новой музыке Дагестана. Новые струны натягиваются на старый пандур. И вот уж ловкие пальцы горянок бегают по белым и черным клавишам пианино.

Я родился и вырос в песенном доме. Робко я взял в руки свой карандаш. Я боялся прикоснуться к поэзии, но не мог не прикоснуться к ней. Положение мое было сложное. Кому после Гамзата Цадаса нужен будет еще Расул Цадаса (то есть из аула Цада). Из одного аула, из одного дома, из одного Дагестана.

Куда бы я ни поехал, где бы ни приходилось мне встречаться и говорить с людьми, даже и сейчас, когда у меня самого седые волосы, везде и всегда говорят: «А сейчас слово предоставляется сыну нашего Гамзата — Расулу». Конечно, не маленькое дело быть сыном Гамзата, но хочется быть и самим собою.

Однажды поехал я в горный район. Побывал в нескольких аулах, остался на моем пути один аул — Цумада. Издалека я увидел, что на окраине аула собрался народ. Слышно, что играет зурна, звучат песни. Кого-то встречают. Некого больше встречать, кроме меня. Стало мне и приятно и немного совестно, как будто пока не заслужил я такой встречи. Подъезжаем все ближе. Выходим из машины. Люди спрашивают:

— А где же старый Гамзат?

— Гамзат в Махачкале. Он и не собирался к вам ехать. Я приехал, сын Гамзата Расул.

— А нам сказали, что приедет Гамзат.

Люди начали расходиться. Остались около меня несколько молодых людей. Мы стали петь песни. Пели много. И то, что сочинил народ, и то, что сочинил мой отец, и даже спели одну песню, сочиненную мной.

Эта песня была похожа на мальчишку, который, держа плетку, поднимается по лестнице вслед за отцом, несущим седло.

Наш горский пандур! Чем становлюсь старше, чем больше узнаю жизнь, людей, мир, тем больше боюсь взять тебя в руки. Струны твои натягивали и настраивали тысячелетия. Тысячи певцов извлекали из тебя дивные звуки. Когда я начинаю поворачивать колки, сердце замирает, и если бы лопнула в этот миг струна, кажется, разорвалось бы и сердце. Так легко оборвать струну. Это значит убить песню.

Но как бы то ни было, я должен взять тебя в руки, должен настроить, должен спеть свою песню. Пусть она затеряется среди других песен Дагестана, потому что голос мой не может сравниться с голосами старинных певцов. Да, песни у нас стали другими.

— Неужели после Махмуда никто не влюблялся? Что-то не слышно стало любовных песен.

— Влюбляться-то влюблялись. Но зачем песни? Муи не нужно петь серенады и похищать ее. Муи приходит сама.

— Неужели после Шамиля перевелись храбрецы? Что-то не слышно песен о славных делах храбрецов и о славных битвах.

— Храбрецы-то, наверно, есть. Но зачем теперь песни о битвах, когда даже сабли просят мира.

Что из того, что затеряется мой голос среди других голосов Дагестана. Придут другие, допоют то, что я не допел.

Старость лишает человека многих радостей жизни. Она отнимает силы, зоркость глаза, остроту слуха, спускает перед человеком занавес сумерек, отделяя его от мира. Подчас рука не может удержать бокала с вином.

Но я не боюсь ее, потому что она, отняв все, не отнимет у меня песню. Она не отнимет у меня моих Махмуда, Батырая, Пушкина, Гейне, Блока, всех великих певцов, в том числе и такого певца, как Дагестан. Пока он есть, дела не так плохи. Останется он — не пропадем, не потеряемся и мы,

В одном горном ауле есть детская игра, которую можно назвать так: «Кто ищет, тот найдет, кто найдет, тот получит». Однажды я участвовал в этой игре.

Мальчика отсылают в другую комнату, чтобы он не

видел, куда спрячется одна из девочек. Вдобавок ему завязывают глаза. Мальчик приходит и начинает искать. Все хором поют: «Ай, дай, далалай». Когда мальчик ищет не там, поют печально и тихо. Когда он на верном пути, поют оживленно и весело. Когда он находит девочку, все хлопают в ладоши и заставляют их танцевать. Так песня выводит мальчика с завязанными глазами на правильную дорогу и приводит к желанной цели.

Я родился в песенном доме, в песенном Дагестане, в песенной стране России, в песенном мире. Я знаю силу песни, я знаю её цену. Если бы у Дагестана не было песен, то никто не знал бы его так, как знает сегодня. Был бы Дагестан как заблудшийся тур. Но по крутым горным тропинкам наша песня вывела нас в большой мир, приобрела нам друзей.

«Спой мне песню, и я скажу, кто ты», — говорит Абу-талиб, изменяя известное изречение. Дагестан пел свои песни, и мир понял его.

## ● КНИГА

Слово «тлехъ» имеет на аварском языке два значения. Во-первых, овечья шкура, во-вторых, книга.

Говорят: «Каждый должен беречь голову и папаху на голове». Папаха, как известно, шьется из овечьей шкуры. Ну, а голова горца столетиями была той единственной неписаной книгой, в которой хранились наш язык, наша история, наши повести, наши сказки, преданья, обычаи, все, что придумал народ. Овечья шкура веками предохраняла, согревала, защищала собой ненаписанную книгу о Дагестане — голову горца. Многое осталось и дошло до нас, а многое потерялось и застряло в пути, безвозвратно погибло.

Некоторые страницы этой книги погибли, как герои в огне боев (папаха не может предохранить от пули и от сабли), а некоторые погибли, как несчастные путники, когда они сойдут с дороги, попадут в пургу, выйдут из сил, сорвутся в пропасть, угодят под снежный обвал, набредут на нож разбойника.

Говорят: что забыто и потеряно — самое лучшее и великое.

Ибо когда читаешь стихотворение и вдруг забудешь строку, она кажется самой нужной.

Ибо, когда вспоминают корову, которая пала, кажется, что она давала молока больше других и молоко у нее было жирнее.

Отец Махмуда сжег полный сундук рукописей своего сына-поэта. Ему казалось, что стихи губят непутевого сына. Теперь все утверждают, что в сундуке были самые лучшие стихи Махмуда.

Батырай никогда не пел одну и ту же свою песню два раза. Часто он пел на пьяных свадьбах. Эти песни там и остались, никем не сохраненные. Теперь все утверждают, что они были самыми лучшими.

Много песен спел Ирчи Казак при дворе шамхала, но редкие песни покинули этот двор, перелетели через ограду и достались людям. Сам Ирчи Казак говорил: сколько ни пой, ни шамхал, ни осел песен не понимают.

Говорят, что те потерянные стихи Ирчи Казака были самыми лучшими.

Голоса сожженных пандуров не дошли до нас. Мелодии чонгуров, выброшенных в реки, не дошли до нас. По всем погибшим и убитым я тоскую сегодня.

Но когда я слушаю и читаю то, что осталось, сердце мое радуется, и я благодарен сердцам бедных горцев, которые несли в себе и донесли до нас наши бесценные неписанные книги.

Эти повести, сказки, песни как бы говорят теперешним написанным пером на бумаге и напечатанным книгам: «Мы, неписанные, сотни лет брели через все невзгоды и вот дошли. Интересно, дойдете ли вы, так красиво изданные, хотя бы до следующего поколения? Посмотрим,—говорят они,—что является более надежным книгохранищем: библиотеки, книжные склады или человеческие сердца?»

Многое забывается. Из сотни строк остается одна строка, но если она остается, то навеки.

Уже говорилось, что раньше многие дети умирали еще в колыбельном возрасте.

Имам приказывал раненым прыгать в реку. Калеки ему были не нужны, ибо воевать они не могли, а кормить их было нужно.

Настали другие времена. Малыши растут, окруженные заботой и докторами. Раненых перевязывают. Без-



ногим выдают протезы. Когда дело касается людей, то эти перемены надо считать прекрасными и гуманными.

Но не это ли происходит и с хромыми мыслями, немощными стихами, полуживыми чувствами и даже мертворожденными песнями? Все остается в книге. Все записано на бумаге.

Говорили раньше: «Сказанное уходит, записанное остается». Как бы не случилось наоборот!

Но не подумайте все же, что я ругаю книгу и письменность. Они как солнце, которое, поднявшись из-за гор, осветило ущелье, развеяло мрак, невежество, темноту.

Мать рассказывала мне сказку о лисе и птице. Вот она, эта сказка.

Жила-была на дереве одна птица. У нее было крепкое, теплое гнездо, в котором она выводила своих птенцов. Все шло хорошо. Но однажды пришла лиса, уселась под деревом и запела:

Эти скалы все мои,  
 Это поле все мое,  
 Вся земля кругом моя.  
 На моей земле  
 Растет мое дерево.  
 На моем дереве  
 Ты свила себе гнездо.  
 Так отдай же мне за это  
 Одного своего птенца.  
 Иначе дерево срублю  
 И всех птенцов твоих сгублю.

Чтобы спасти родное дерево и родное гнездо, чтобы спасти остальных своих детей, отдала птица лисе младшенького птенца.

На другой день снова пришла лиса, снова завела свою песню. Пришлось пожертвовать и вторым птенцом. Теперь птица не успевала оплакивать своих детей: что ни день, то — птенец.

Узнали о ее несчастье другие птицы. Прилетели, спрашивают, в чем дело. Рассказала им глупая птица о своем горе. Умные птицы спели ей:

Виновата ты сама,  
 Глупенькая птица,  
 Провела тебя кума,  
 Хитрая лисица.  
 Чем ей дерево срубить,

Не своим хвостом ли?  
 Как птенцов твоих достать?  
 Не своим хвостом ли?  
 Где, скажи, ее топор?  
 Где ее пила?  
 Наша птица с этих пор  
 Мирно зажила.

Однако лиса не знала ничего этого и снова пришла пугать, угрожать и требовать очередную жертву. Опять начала петь, что срубит дерево, погубит всех птенцов. Но теперь слова, которые приводили птицу в ужас, показались ей смешными, хвастливыми и пустыми словами. Птица ответила лисе:

У этого дерева корни в земле,  
 Приноси лопату их подрывать.  
 У этого дерева крепость в стволе,  
 Приноси топор его подрубать.  
 Мое гнездо на высоких ветвях,  
 Лестницу тащи — до него достать.

Побрела лиса от дерева несолоно хлебавши и перестала приходить. А птица и сейчас живет, птенцов выводит, птенцы вырастают, песни поют.

Сколько своих птенцов погубил Дагестан из-за отсталости, невежества, темноты. Для того чтобы узнать самих себя, нужна книга. Для того чтобы узнать других, нужна книга. Народ без книги похож на человека, бредущего с завязанными глазами, он не видит мира. Народ без книги похож на человека без зеркала, ему нельзя увидеть свое лицо.

«Отсталые и темные горцы», — так писали и говорили о нас путешественники, побывавшие в Дагестане. В этих словах было больше правды, нежели превосходства и недоброжелательности. «Они — взрослые дети», — написал о нас один чужестранец.

«У них нет знаний, надо воспользоваться этим», — говорили неприятели.

«Если бы этим народам освоить искусство ведения войны, никто бы не осмелился поднять на них руку», — говорил один полководец.

«Если бы теперешние знания прибавить к храбрости Хаджи-Мурата или таланту Махмуда!» — говорят горцы.

— Имам, почему остановились? — спросил как-то раз Хаджи-Мурат у Шамиля. — В груди кипит сердце, в руке острый кинжал. Чего ждать? Идем вперед и проложим себе дорогу!

— Погоди, не торопись, Хаджи-Мурат, торопливые речки до моря не доходят. Спрошу-ка я у книги, что она скажет нам, Книга — умная штука.

— Может быть, и умна твоя книга, имам, но нам теперь нужна храбрость. А храбрость — на острие сабли, на спине коня.

— Книги тоже бывают храбрыми.

Книга... Буквы, строчки, страницы. Казалось бы, простой лист бумаги. Но он — музыка слова, певучесть языка, мысль. Это — я, исписавший его, и другие люди, о которых я написал, которые сами написали о себе; он — жаркое лето, зимняя вьюга, вчерашние события, сегодняшние мечты, завтрашние дела.

Историю мира, как и судьбу каждого человека, надо разделить на две части: до появления книги и после ее появления. Первый период — ночь, второй — ясный день. Первый — тесное, темное ущелье, второй — широкая равнина или вершина горы.

«Наверно, невежество является преступлением, — говорил отец, — если история так долго и тяжело нас за него карала».

Два периода — с книгой и без нее. Но к человеку теперь книга приходит рано в виде букваря, когда человек едва научился ходить, а вот к Дагестану книга пришла, когда ему уже насчитывались тысячелетия. Поздно, поздно научился Дагестан читать и писать.

До этого в течение многих веков небо было для горцев страницей, а звезды буквами. Сизые тучи были чернильницами, дождь чернилами, земля бумагой, трава и цветы — как буквы, и сама высота склонялась над такой страницей, чтобы читать.

Красные лучи солнца были карандашами. Они писали на скалах нашу полную ошибок историю.

Тело мужчины — чернильница, кровь — чернила, кинжал — карандаш. И тогда писалась книга смерти, и язык ее был всем понятен, не требовал перевода.

Женская обездоленность — чернильница, слезы — чернила, подушка — страница, и тогда писалась книга

страданий, но мало кто ее читал, горянки не выставляют напоказ свои слезы.

Книга, письменность... Вот два сокровища, которые забыл дать нам тот, кто раздавал языки.

Книги — открытые окна в доме, а мы сидели в глухих стенах... Из окон можно было бы видеть просторы земли и моря и чудесные корабли, плывущие по волнам. Мы были похожи на тех птиц, что почему-либо остались зимовать и в стужу стучат клювами в стекла окон, просятся в тепло.

Высохшие, опаленные жаждой губы горцев... Голодные, горящие наши глаза.

— Если бы мы умели пользоваться бумагой и карандашом, то не так часто прибегали бы к услугам кинжала.

Никогда мы не опаздывали надеть саблю, оседлать коня, вскочить в седло, выйти на поле брани. Тут у нас не было ни хромых, ни глухих, ни слепых. Но мы так опоздали освоить мелкие, как будто ничтожные буквы. А известно: у кого хромает мысль, тому унцукульские трости не помогут.

Тысячу пятьсот лет тому назад славному армянскому воину Месропу Маштоцу пришла мысль, что письменность сильнее оружия, и он создал армянский алфавит.

Я побывал в Матенадаране, где хранятся древнейшие рукописи.

Там я с горечью думал о Дагестане, который прозевал целые тысячелетия, не имея книги и письменности. Протекла история сквозь сито времени, и не осталось от нее никаких следов. Только смутные, не всегда достоверные преданья да песни, шедшие к нам из уст в уста, из сердца в сердце.

Легко нам в сказках вспоминать  
Седую старину.  
Из тех, что мне твердила мать,  
Запомнил я одну.

В ауле храбрый горец жил  
И подвиги свершал.  
Однажды всемогущий хан  
Его к себе призвал.

В дворец заходит наш герой  
По имени Селим,  
Одна открылась за другой  
Все двери перед ним.

Ковры, светильники, фонтан —  
Жемчужные струи.  
И разложил богатый хан  
Сокровища свои.

Всего нельзя и перечесть,  
Что увидал храбрец,  
Все, что на белом свете есть,  
Наполнило дворец.

И разрешает хан седой  
Тут гостю своему:  
«Бери, что хочешь, горец мой,  
По сердцу и уму.

Все эти вещи хороши,  
Но помни об одном:  
Ты, выбирая, не спеши,  
Чтоб не жалеть потом».

Но храбрый горец отвечал,  
Достоинство храня:  
«Ты дай мне саблю и кинжал,  
И быстрого коня.

Хвала бесценным сундукам,  
Но их не надо мне.  
Все это я добуду сам  
При сабле и коне».

Ах, горец, горец, предок мой,  
Какой ты промах дал.  
Коня и саблю взял с собой,  
А книгу ты не взял.

Не положил ты в свой мешок,  
Наивный предок наш,  
Пергамента большой листок,  
Перо и карандаш.

Душа твоя чиста была,  
Но голова пуста.  
Нам книга больше бы дала,  
Чем стали острота.

Судьбу свою веря ей,  
Не знали мы одно:  
Острее слово всех ножей,  
Быстрее коня оно.

В нем всякой мудрости секрет  
И мудрость красоты.  
Отстали мы на сотни лет,  
Вот что наделал ты!

Так опоздавший ученик  
Приходит на порог,  
Когда за школьными дверьми  
Давно идет урок.

Рядом, за горной цепью,— Грузия. Много веков назад Шота Руставели сотворил и подарил грузинам свою бессмертную поэму с витязе в тигровой шкуре. Долго искали его могилу, объездили весь Восток. «Нет нигде его могилы,— сказала одна женщина,— зато везде бьется его живое сердце».

Человечество читает повесть о Прометее, прикованном к кавказской скале.

Над страницами стихов уже тысячелетия плачут арабы.

Тысячелетие назад на пальмовых листьях индусы писали свои истины и заблуждения. Дрожащими руками я дотрагивался до этих листьев, подносил их к глазам.

А трехстрочечная, полная изящества поэзия Японии! А древность Китая, где за каждой буквой, вернее за каждым знаком, скрывается целое понятие!

Если бы иранские шахи пришли в Дагестан не с огнем и мечом, а с мудростью Фирдоуси, с любовью Хафиза, с мужеством Саади, с мыслью Авиценны, им не пришлось бы убежать без оглядки.

В Нишапуре я посетил могилу Омара Хайяма. Там я подумал: «Мой друг Хайям! Пришел бы ты к нам тогда вместо шаха, с какой бы радостью приняли тебя народы гор»:

Уже создавалась алгебра, а мы не умели еще считать. Уже звучали грандиозные поэмы, а мы еще не умели написать «мама».

Сначала мы узнали русских солдат, а потом уж русских поэтов.

Если бы горцы прочитали Пушкина и Лермонтова, может, и сама история пошла бы по другому пути.

Когда горцу прочитали вслух «Хаджи-Мурата» Толстого, он сказал: «Такую умную книгу мог написать только бог, но не человек».

Все у нас было, что нужно для книги. Пылкая любовь, храбрые герои, трагедии, суровая природа, не было только самой книги.

Сколько было там беды своей,  
И мужья ревнивые, со стоном

Сжав в ладонях серебро ножей,  
Подходили к горским Дездемонам.

Сколько их прошло за сотни лет  
Там, в горах, почти на крыше мира,  
Гамлетов, Офелий и Джульетт!  
Было все, но не было Шекспира.

Как звенела музыка в горах —  
Рокот рек и хор певцов пернатых,  
Но не появлялся горский Бах,  
И Бетховен не писал сонаты.

И когда трагическим концом  
Завершался краткий путь Джульетты,  
Речь о ней не песнею — свинцом  
Кровники вели, а не поэты.

*Перевел Н. Гребнев*

Когда около аула Кумух после жестокой битвы с ордами Тимура горцы собирали трофеи, то в кармане одного убитого нашли книгу. Перелистали ее страницы, склонились над буквами. Но ни одного не нашлось среди них, кто мог бы читать. Тогда хотели горцы сжечь ее, изорвать и пустить по ветру. Но вперед выступила умная, храбрая Парту-Патимат. Она сказала:

— Берегите ее вместе с оружием, доставшимся нам от врага.

— Зачем она нужна? Никто из нас все равно не может ее читать!

— Если мы не сумеем прочесть эту книгу, прочитают наши дети, внуки. Неизвестно ведь, что в ней заключено. Может, в ней наша судьба.

Во время битвы Сураката Танусинского с арабами один пленный араб отдал горцам коня, оружие, шит. Но книгу, спрятанную на груди, не хотел отдать. Суракат вернул пленнику оружие и коня, но книгу приказал отобрать. Он сказал:

— Коней и сабель у нас у самих хватает, но книги нет ни одной. У вас же, арабов, много книг. Зачем же ты жалеешь одну-единственную?

Удивились воины и спросили у своего полководца:

— Для чего нам книга? Мы не только читать не умеем, мы не знаем даже, как ее правильно держать. Разве разумно брать ее вместо коня и оружия?

— Придет время, ее прочтут. Придет время, она заменит горцам и черкеску, и папаху, и коня, и кинжал.

Когда дела иранского шаха, напавшего на Дагестан, стали плохи, он зарыл в землю драгоценности, которые всегда возил с собой. Над ямой положили плиту, на плите высекли подкову. Свидетелей шах убил. Но все же Муртазали-хан нашел эту яму и обнаружил сундуки с золотом, серебром, драгоценными камнями — все, что успел нагнать иранский шах. На двадцати мулах увезли добро шаха. Среди других сокровищ попало несколько персидских книг. Осмотрев весь клад, отец Муртазали-хана безрукий Сурхат сказал:

— Сын мой, большое сокровище нашел ты. Раздай его воинам, а хочешь, продай. Оно все равно иссякнет. Но и через сто лет горцы найдут те перлы, которые спрятаны в этих книгах. Не отдавай их. Они дороже всех драгоценностей.

У Шамиля был секретарь Магомед Тагир аль-Карахи. Шамиль никогда не пускал его в опасные места. Магомед Тагир был этим очень недоволен. Однажды он сказал:

— Имам, может, ты мне не веришь? Пусти меня на поле битвы.

— Если даже все погибнут, ты должен остаться в живых. Воина с саблей все могут заменить, но летописца — нет. Ты пиши книгу о нашей борьбе.

Магомед Тагир умер, не дописав книгу, но его сын завершил труд отца. Книга эта называется «Блеск сабли имама в некоторых битвах».

У самого Шамиля была большая библиотека. Двадцать пять лет на десяти мулах возил он ее с места на место. Без нее он не мог жить. Потом на горе Гуниб, сдаваясь в плен, Шамиль попросил, чтобы ему оставили книги и саблю. Живя в Калуге, он постоянно просил книг. Он говорил: «По вине сабли проиграно много битв, но по вине книги — ни одной».

Когда Джамалутдин вернулся из России, имам заставил его надеть горскую форму, но книг его не тронул. Тем, кто предлагал бросить в реку «книги гяуров», он ответил: «Эти книги не стреляли в нас на нашей земле. Они не жгли наших аулов, не убивали людей. Кто позорит книгу, того опозорит она».

Хотелось бы теперь знать: какие книги привез с собой из Петербурга Джамалутдин?



Не имея своей письменности, дагестанцы писали иногда редкие слова на чужих языках. Это были надписи на колыбелях, на кинжалах, на досках потолка, на могильных камнях. Они сделаны на арабском, на турецком, на грузинском, на фарси. Много этих узоров-надписей, всех не соберешь. Но ничего не прочитаешь на родном языке. Не умея написать собственное имя, горцы изображали его рисунками сабли, коня, горы.

Некоторые надмогильные надписи можно перевести:

«Здесь похоронена женщина по имени Бугб-бай, которая дожила до желанного ею возраста и умерла, когда ей было двести лет». «Здесь похоронен Куба-али, который погиб в битве с аджарханом в возрасте триста лет».

Жалкие крохи, отдельные слова и фразы вместо многотомной истории.

Когда я учился в Литературном институте, древнегреческую литературу нам читал добрый седенький старичок Сергей Иванович Радциг. Он все античные тексты знал наизусть, читал нам большие куски по-древнегречески, был влюблен в древних греков, любил говорить о впечатлении, которое они производят на него. Читал он стихи древних так, будто сами авторы слушали его, будто боялся, что вдруг ошибется, как фанатичный мусульманин боится перепутать стих корана. Он думал, что все, о чем он говорит, мы давно и хорошо знаем. Он даже в мыслях не допускал, что можно не знать «Одиссеи» или «Илиады». Он думал, что все эти ребята, только что вернувшиеся с войны, четыре года перед этим только и делали, что изучали Гомера, Эсхила, Эврипида.

Однажды, увидев, как мало ребята знают, он чуть не заплакал.

Особенно его удивил я. Другие все же кое-что знали. Когда он спросил меня о Гомере, я начал рассказывать о Сулеймане Стальском, помня, что Максим Горький назвал Сулеймана Гомером двадцатого века. С сожалением посмотрел на меня профессор и спросил:

— Где же это ты вырос, что даже не читал «Одиссею»?

Я ответил, что вырос в Дагестане, где книга появилась лишь недавно. Чтобы сгладить свою вину, я без стеснения назвал себя диким горцем. Тогда профессор сказал мне незабываемые слова:

— Молодой человек, если ты не читал «Одиссею», то

тебе далеко до дикого горца. Ты еще просто дикарь и варвар.

Теперь, когда я бываю в Греции или Италии, я часто вспоминаю моего профессора, его слова и его отношение к древней литературе.

Но откуда я мог знать Гомера, Софокла, Аристотеля, Гесиода, если я едва-едва говорил и едва-едва читал по-русски? Многое в мире было недоступно Дагестану, многие сокровища были не для него.

Мне уж приходилось рассказывать, как плакала Максакова, слушая нашего певца Татама Мурадова. Мурадов никакого образования не имел, было тогда ему около шестидесяти лет. Все думали, что Максакову растрогал голос певца, но она сказала:

— Я плачу от жалости. Такой дивный голос! Он мог бы удивить мир, когда бы у него в свое время были учителя. А теперь не поможешь.

Я часто вспоминаю эти слова, когда думаю о судьбе Дагестана. Они сказаны не только о Татаме. Разве мало певцов, воинов, художников, борцов (на ковре) ушли в землю, так и не возвестив миру о своих талантах. Имена их остались неизвестными. А были, наверно, у нас и свои Шалапины и свои Поддубные. Наверное, непобедимым борцом был бы Осман Абдурахманов, наш Геркулес, если бы к его силе добавить технику, мастерство. Но не было у него учителей. Не было у нас консерватории, театров, институтов, академии, даже школ.

О прошлых веках не расскажут скрижали.

Потеря. Но путь не кончается наш.

Ту повесть, что саблями предки писали,

Я писать продолжаю, беря карандаш.

Не умели горцы держать карандаша в руке, не умели выводить буквы. Врагам, которые предлагали сдаваться, горцы показывали кукиш почти так же, как это делали запорожцы. Или рисовали что-нибудь почище этого и отсылали врагам.

Про Дагестан говорили: «Как ненаписанная, неспетая песня, лежит эта страна в каменном сундуке. Кто достанет ее, кто напишет и кто споет?»

Буквы, слова, книги — ключи от замка, на который закрыт тот сундук. В чьих же руках ключи от тяжелых, вековых замков Дагестана?

Разные люди подходили к этим замкам и даже иногда приоткрывали крышку, чтобы заглянуть внутрь. Сами дагестанцы еще не держали пера в руке, а многие гости, путешественники, ученые-исследователи писали уже о Дагестане на других языках: арабском, персидском, турецком, греческом, грузинском, армянском, французском, русском...

В старинных библиотеках я ишу, Дагестан, твое имя и нахожу его написанным на разных языках. Упоминается о Дербенте, Кубачи, Чиркее, Хунзахе. Путешественникам спасибо. Они не могли понять тебя во всей глубине и сложности, но все же они первыми вынесли твое имя за пределы наших гор.

А потом сказали свое слово Пушкин, Лермонтов.

В полдневный жар в долине Дагестана  
С свинцом в груди лежал недвижим я...

Дивные строки! А Бестужев-Марлинский написал своего «Аммалат-бека». И сейчас на дербентском кладбище цел надгробный камень, поставленный им на могиле своей невесты.

Александр Дюма побывал в Дагестане. Полежаев, написавший поэмы «Эрпели» и «Чир-Юрт». Каждый по-разному писал о тебе, но никто не понял тебя так глубоко и проникновенно, как юноша Лермонтов и старец Толстой. Перед этими твоими певцами я склоняю свою поседевшую голову, эти книги я читаю, как мусульманин читает коран.

День, когда дают имя сыну,— день большой радости. Таким же днем должен бы стать тот день, когда впервые написали о Дагестане твои сыновья на родных языках. Помню, какую ошибку я допустил, когда моя первая учительница Вера Васильевна вызвала меня к доске и попросила написать твое имя. Я написал: «дагестан». Вера Васильевна объяснила мне, что Дагестан — имя собственное и что оно пишется с большой буквы. Тогда я написал «Ддагестан». Мне казалось, что нужны и большое и маленькое «д». И это тоже было ошибкой. Потом, в третий раз, я написал правильно: «Дагестан».

Не так ли и тебя учили, Дагестан, писать свое имя? Не так ли тебя учили рассказывать о себе? Много раз ты начинал все сначала. Выбирал буквы, алфавит. Писал арабскими, латинскими, русскими буквами. Было допу-

щено много ошибок. Потому что писали с маленькой буквы то, что надо было писать с большой буквы. Потому что писали с большой то, что надо было писать с маленькой. Лишь на третий раз научился ты, мой Дагестан, писать правильно. Вот название первых дагестанских книг, журналов, газет: «Утренняя звезда», «Новый луч», «Красный горец», «Джейран», «Горские пословицы», «Кумыкские сказки», «Лакские мелодии», «Даргинские повести», «Лезгинские стихи», «Советский Дагестан». И все это — на родных языках. Это не просто названия. Это — крылья.

В 1921 году после беседы с дагестанской делегацией Ленин послал в страну гор три самые необходимые для нее вещи: хлеб, материю, типографский шрифт. У Дагестана был конь и кинжал. Ленин вместе с хлебом дал ему книгу. Революция склонилась над колыбелью Дагестана. Дагестан увидел море, увидел самого себя, увидел свое прошлое и будущее. И начал он писать о себе сам.

Сулейман Стальский просил у Максима Горького: «Оба мы уже старыс. Прожили жизнь, познали мир. У нас у обоих есть книги. Но ты пишешь на бумаге, ты грамотный. Я пою. Потому что я писать не умею. Мы олицетворяем Дагестан и Россию. Россия образованная. В Дагестане большинство людей еще не умеют написать свое имя. Вместо подписи ставят отпечаток пальца. Не можешь ли ты послать к нам бригаду образованных писателей, чтобы они рассказали о нас, дагестанцах, всей стране и всему миру?»

Разговор Сулеймана Стальского и Горького переводил Эффенди Капиев. Горький обещал выполнить просьбу Сулеймана, но сказал, указывая на Капиева, что теперь в Дагестане выросла образованная, талантливая молодежь, что лучше, если бы дагестанцы сами писали о своей земле на всех языках республики. Ибо, сказал Максим Горький, как это у вас говорится: «О состоянии дома лучше всего знают его стены».

Молодые люди, о которых говорил Горький, теперь выросли и состарились. Они написали и еще напишут книги о Дагестане. Раньше отцы оставляли сыновьям в наследство саблю и пандур. Теперь — перо и книгу. Нет в Дагестане дня, когда бы не рождался сын. Нет и дня, когда не выходила бы в свет книга. Каждый пишет о своем собственном Дагестане. Более пятидесяти лет

писал мой отец. Не хватило жизни. Теперь пишу я. Но и я не допишу всего, что хотел бы. Поэтому вместо кинжала у изголовья детей я кладу перо, чистую тетрадь. У отца и у меня — один Дагестан. Но какой он разный на языке наших перьев! У каждого свой почерк, свои буквы, своя манера, своя мелодия. Так и катится эта арба, смежная возчиков на своем долгом пути.

Отец говорил: «Пиши о том, что знаешь и можешь. А о том, чего не знаешь, читай в чужих книгах».

### КНИГА

Ты с книгою дружи, чьи щедрые листы  
Ждут взгляда твоего. Она всегда верна.  
Пусть ты богат, как хан, пусть без копейки ты,—  
Не станет изменять, не подведет она.

Прилежнее склонись челом к страницам книг,  
Где каждая строка мед мудрости таит.  
Будь жаден к знаниям, сын! Знай: ты не все постиг —  
Лишь черная из них, твой разум будет сыт.

Оружье это ты не выпускай из рук,  
Брани его иль нет — надежен друг такой.  
В обиде на тебя не будет этот друг,  
Хоть бросишь ты его, в сердцах махнув рукой.

Будь знания кунаком. Богат его очаг.  
Щедры его дары, густы его сады.  
А ты — желанный гость в цветущих тех садах:  
Иди и собирай румяные плоды

Ты книге поверяй свои мечты и жизнь,  
Знай: в сердце, не спросясь, врывается поэт.  
Ты всем, что на душе, с поэзией делись:  
В ее улыбке ты на все найдешь ответ.

Когда к отцу приходили молодые поэты со своими стихами, отец прежде всего смотрел на почерк. Потому что: «Какова борозда, таков и хозяин поля». Потом он исправлял ошибки, расставлял знаки препинания. Покачивая головой, он как бы говорил: учишься писать правильно. Некоторые из молодых робко замечали, что и «Гомер XX века» был безграмотен. «А я-то не знал!» — говорил отец молодому «гомеру». Таких «гомеров» и сейчас много еще в Дагестане. Даже грамматическая ошибка в стихах всегда раздражала отца. Когда его стихотворение было напечатано в газете со множеством ошибок, отец написал стихотворение:

Несчастье с песнею моей  
 Произошло неожиданно.  
 Ее в газету я послал  
 На праздник Дагестана.

Гляжу — она, как толокно,  
 Размолота, измята  
 Так, словно встретилась в пути  
 С дубинкой суковатой.

Столкнулась, может быть, она  
 С оравой горьких пьяниц,  
 Чьи лапы на ее спине  
 Сплясали буйный танец?

А может, на кулачный бой  
 Попала к чондотлинцам  
 И еле ноги унесла,  
 Не рада их гостинцам?

Четверостишиям иным  
 Так по загровку дали,  
 Что их первоначальный смысл  
 Теперь поймешь едва ли.

А в довершение, видать,  
 Им плеткою досталось,  
 Агонизируют они,  
 В них жизни не осталось.

О, бедный череп! Ведь на нем  
 Не счесть рубцов и вмятин.  
 Мне этот случай роковой,  
 Признаться, непонятен.

У песни ребер целых нет,  
 Взирает мутным взглядом,  
 Как наш гуляка Мустафа,  
 Побитый камнепадом...

Коль в каждом номере у вас  
 Подобных «жертв» десятков,  
 То вы прославитесь везде,  
 «Герои» опечаток.

Но самокритика всегда  
 Вину заглазить может.  
 И эту песню, я прошу,  
 Опубликуйте тоже!

Мой отец... Из тех, кто его знал, каждый, наверно,  
 по-своему представлял себе моего отца.

Конечно, он и пахал землю, и косил траву, и грузил  
 сено на арбу, и кормил коня, и ездил на нем верхом. Но  
 я его вижу только с книгой в руке. Он держал книгу  
 всегда так, точно это птица, готовая выпорхнуть из рук.

Любивший гостей, он всегда чувствовал себя растерянно и смущенно, если кто-нибудь приходил и отрывал его от чтения, словно его сбили с важной молитвы. В те часы, когда отец читал, мать ходила на цыпочках и все время приставляла палец к губам, заставляя нас говорить шепотом:

— Не шумите, отец работает.

Она правильно понимала, что чтение книги для писателя — это его работа.

Сама она иногда осмеливалась заглянуть к нему и узнать, не нужно ли чего, не кончаются ли чернила в чернильнице. Мать очень зорко следила за чернильницей отца и не давала ей пересыхать.

Если в жизни отца было хоть два радостных дня, то эти дни ему принесли книги.

Если в жизни отца было хоть два печальных дня, то и эти дни ему принесли книги.

Книги, которые он читал, и книги, которые он писал.

О чем бы его ни просили люди, он никогда не мог им ни в чем отказать. Сказать «нет», когда на самом деле «есть», он считал самой большой ложью и самым тяжким грехом. Поистине бедственным становилось его положение, когда просили у него любимую книгу. Книга уже отдана, уже держат ее чужие руки, а руки отца все еще протянуты к ней.

Когда взявший долго не возвращал книгу, отец писал ему: «Я очень скучаю по своему другу, которого вы в прошлый раз увели с собой. Не думает ли он возвращаться?»

Отец был единственный брат семи сестер (единственная папаха в семье), а все вместе они рано остались сиротами. Рано отец покинул и родной аул. Дядя, опекавший сирот, отправил Гамзата в другой аул, в медресе, сказав, что у большого аула и ума больше. С тех пор отец бродил из аула в аул, не снимая с плеч хурджуна — переметной сумы: в одном мешке книги, в другом — жареная мука. Надо сказать, что вернулся он богачом. За время своих странствий он обогатился знаниями. Ему говорили тогда на аульском годекане: если свой талант и свои знания ты впряжешь в одну арбу, далекое будет путешествие.

И они не ошиблись. Имя отца сделалось известным. Многие строки его стихов разошлись как пословицы.

Отец писал много и для взрослых и для детей, для тех, кто приходит в жизнь, и для тех, кто уходит из жизни. Он писал стихи, поэмы, пьесы, басни, сказки. Почерк у него был спокойный, ровный. Таким же был и его язык. Таким же был и он сам. В молодости, зная почерк Гамзата, его всегда просили переписывать важные бумаги: решения, обращения к народу. Писал он, пользуясь разными алфавитами: арабским, латинским, русским. Писал справа налево и писал слева направо.

Его спрашивали:

— Почему пишешь слева направо?

— Слева сердце, слева вдохновение. Все, что нам дорого, прижимаем к левой стороне груди.

— А почему пишешь справа налево?

— Справа у человека сила. Правая рука. Прицеливаются тоже правым глазом.

Эти слова, конечно были шуткой, но не шутка была выучить разные алфавиты. Стихи, правда, он почти всегда писал на родном аварском языке.

Некоторые стихи написаны им по-арабски. Главным образом интимные стихи. Их не мог прочитать кто-нибудь из семьи. Но таких стихов очень мало. Гамзат был принципиальным противником таких стихов. Он говорил:

«Стихи не должны быть такими, чтобы их нельзя было прочитать матери, дочери, сестре. Не по душе мне кинофильмы, на которые не допускаются дети до шестнадцати лет».

Чаще всего отец пользовался арабским. Он любил тут сами буквы, их начертания, видел в них красоту. Терпеть не мог неряшливого, небрежного письма. Однажды он получил от старого товарища письмо, написанное небрежным арабским, и высмеял его в стихотворении:

Одна твоя буква похожа на прорванный бубен,  
Точка внутри этой буквы — тяжелый булыжник.  
Другая стоит, как сарай, у которого крыша свалилась,  
Торчит только столб, подпирает останки сарая,  
А эту несчастную букву утесом большим придавило.  
Как ты сумел взгромоздить на нее столь тяжелую глыбу?  
На четвертую букву до самых бровей нахлобучил папаху.  
Каждая строчка твоя занимает страницу.  
Может, вместо пера ты придумал использовать лапу кошачью?  
Что ни буква, то дерево, куст разветвленный,  
А страница похожа на лес, по которому буря промчалась,  
Сквозь который прошли напрямик топоры лесорубов.  
Удивляюсь тебе: где такому учился письму?



Эти стихи в свое время многих обидели. Некоторые обиделись потому, что не поняли как следует стихов, другие потому, что очень хорошо поняли. Некоторые считали, что Гамзат высмеивает не уродливое написание арабских букв, а сами арабские буквы.

Но отец и не думал критиковать алфавит в целом. Он кидал камни в огород тех, кто своей небрежностью портил его, не умел им пользоваться. Вообще отец никогда не отзывался плохо ни об одном алфавите. Людей, которые хулили какой-нибудь алфавит, он презирал.

«Арабы нападали на Дагестан, это правда,— говорил отец,— но арабская письменность в этом не виновата и арабские книги тоже».

Часто после обеда собирались на крыше нашей сакли жители аула. Отец читал им удивительные повести, рассказы, стихи. Мерно звучала музыка многоразмерных арабских стихов.

Русского языка отец не знал. Ему приходилось на арабском же языке читать Чехова, Толстого, Ромена Роллана. Ни о ком из них горцы тогда не имели представления. Больше других писателей отец любил Чехова, особенно нравился ему рассказ «Хамелеон», и он часто его перечитывал.

Вообще арабский язык был очень распространен. Некоторые писали на арабском потому, что у Дагестана не было своей письменности, некоторые потому, что этот язык казался им богаче и образнее родных дагестанских языков. На арабском языке писались все официальные бумаги и документы. Все надписи на каменных надгробьях — арабская вязь. Отец умел хорошо читать эти надписи и объяснять их.

Потом были годы, когда арабский язык объявили буржуазным пережитком. Пострадали люди, читавшие и писавшие по-арабски, пострадали и книги. Утрачены целые библиотеки, которые собирались с большим трудом дагестанскими просветителями Алибеком Тахо-Годи и Желалом Коркмасовым. Желал учился в Сорбонне, знал двенадцать языков, был другом Анатоля Франса. В горных аулах он собирал старинные книги, отдавая за них оружие, коня, корову, позднее за горсть муки, кусок бумазеи. Пропало много и рукописей. Невозвратимая, горькая потеря!

Многострадальная книга Дагестана, разными почер-

ками, разными буквами на разных языках писали тебя. Писали потому, что не могли не писать, писали бескорыстно, не требуя возмещения, гонорара. Издала книгу Революция.

Появилась газета «Красные горы», которая потом называлась то «Горец», то «Большевицкий горец». В этой газете впервые были опубликованы стихи моего отца. Он много лет не только сотрудничал, но и работал в этой газете секретарем. Я тогда удивлялся, как быстро газета успевает напечатать стихи. Да и как было не удивляться. Стихи, которые вчера отец писал на моих глазах, сегодня уже можно было читать в газете. Потом стихи соединялись в книги. Четыре тяжелых тома вместили в себе всю жизнь отца, всю его работу.

Он и умер в своем кабинете, около своих книг, перьев, карандашей, исписанной бумаги и бумаги чистой, которую он не успел исписать. Ну что ж, ее испишут другие. Дагестан учится, Дагестан читает, Дагестан пишет.

А теперь расскажу о том, как учился я сам. Правильнее было бы сказать, как меня заставляли учиться.

Тогда мне было пять лет. Весь Дагестан сел за парту. Одна за другой открывались школы, училища, техникумы. Учились старики и дети, женщины и мужчины. Были ликбезы, культпоходы. Помню первый букварь, первые тетради, которые отец мне купил. Он сам ходил по аулам и призывал людей учиться.

Появилась новая письменность. Отец горячо приветствовал ее. Он всегда переживал, что из-за отсутствия письменности Дагестан был оторван от великой русской культуры.

Он говорил: «Дагестан — часть великой нашей страны. Ему необходимо знать ее, знать все человечество, уметь читать его книгу жизни, разобраться в его почерке».

«Новый путь», «Новый свет», «Новые люди» — вот лозунги тех времен. Навстречу этому зову времени послал отец и своих детей. Нелегко было новому пробивать себе дорогу. Много было людей, которые бросали камни на дорогу нового. Много было разбито окон в первых школах. Враги просвещения говорили: «Что это за мир, где чабан читает книгу, а мельник учит уроки? Они должны пасти овец и молотить муку». Бывало и хуже. Я помню, как пуля, предназначенная учителю, попала в

карту, висевшую на стене школы, и как отец сказал по этому поводу: «Чуть не продырявил этот бандит весь мир одним выстрелом».

В те первые годы во многих аулах старались сочетать с новой учебой и старую, религиозную. Бывали случаи, когда они смешивались. Трудно было разобраться, где находится магазин, а где базар, где Али, а где Омар. Мои старшие братья ходили в школу коммунистической молодежи. Я завидовал им, но вынужден был бить баклуши и каждый день с нетерпением дожидался их возвращения. Очень мне хотелось учиться. Но мне еще не было семи лет.

В то время в нашем ауле открылась школа для тех, кто не хотел своих детей отправлять учиться в Хунзахскую крепость. Школа эта была наполовину религиозной. Называлась она «школой Гасана».

Гасан был странный и добрый человек. Странность его состояла в том, что он верил, будто можно совместить новое и старое. Как он умудрялся совмещать это в себе, одному богу известно. Одновременно он был секретарем комсомольской организации в одном ауле и муллой в другом. Чем это кончилось, нетрудно догадаться: как муллу его прогнали из комсомола, а как комсомольца отстранили от мечети. Во время гражданской войны он был красным партизаном. Волею судеб он сделался первым моим учителем. О первом учителе не грешно рассказать поподробнее, поэтому я расскажу вам, чтобы вы лучше представили себе этого человека, три маленькие смешные истории, связанные с ним.

## 1. ГАСАН И ПЛЕННИК

Партизаны поймали и взяли в плен солдата-контрреволюционера. Его нужно было отконвоировать в штаб к Муслиму Атаеву. Поручили это дело Гасану. Сначала все шло хорошо. Но вот наступил час намаза. Гасан остановился около ручейка и стал молиться, а пленника посадил рядом на камень. Пленник попросил развязать ему руки, чтобы и он мог сотворить свой намаз. Гасан удивленно спросил:

— Зачем тебе молиться? Ты же беслый. Сколько бы ты ни молился, все равно будешь в аду.

— Все-таки ведь я мусульманин. А Муслим Атаев

меня не пощадит, сразу поставит к стенке. Так что последний раз мне надо помолиться.

Гасан развязал руки пленнику, приговаривая:

— Вот ты ругал Советскую власть, говорил, что она запрещает мусульманам верить в аллаха. Пожалуйста, молись сколько душе угодно.

После этого Гасан так увлекся молитвой, что когда оглянулся, пленника уже не было, он убежал. Тогда рассерженный Гасан закричал:

— Клянусь аллахом и революцией, я тебя найду и поймаю!

И действительно он его поймал на одном хуторе и доставил по назначению.

## 2. МОЛИТВА И ПЕСНЯ

В первые годы Советской власти Гасан работал секретарем сельсовета. Сельсоветская печать за это время совсем вытерлась и стала гладкой, потому что Гасан не жалел ее и ставил на всякую бумажку.

Если возникал трудный и важный вопрос, он говорил:

— Надо посоветоваться с муллой и с райисполкомом.

Он пытался, между прочим, перенести выходной день с воскресенья на пятницу, то есть на день рамазана. Он неутомимо пропагандировал, разъяснял народу и проводил в жизнь распоряжения и решения Советской власти и ремонтировал сельскую мечеть, которая пострадала во время гражданской войны.

Мечеть отремонтировали. Назначили день ее открытия. Как раз приехала в район большая культбригада: писатели, художники, артисты, певцы, музыканты. Из района всю культбригаду направили в аул, где Гасан приготовился к торжественному открытию мечети.

Гостей в ауле встретили хорошо. Показали им скачки, борьбу, бой петухов. Гости тоже не остались в долгу: прочитали лекцию, рассказали о предстоящих хозяйственных задачах, дали концерт.

В самый разгар концерта на минарет мечети поднялся муэдзин и громким голосом стал призывать правоверных мусульман к вечерней молитве. Тогда Гасан встал и обратился к приезжим с речью:

— Спасибо, что вы уважили нас и приехали в такой знаменательный день, в день открытия нашей мечети.

Спасибо и за концерт. А теперь мы пойдем помолимся. Хотите — продолжайте концерт, хотите — подождите нас, а хотите — пойдемте с нами.

Некоторые люди аула пошли в мечеть, некоторые остались слушать песни приезжих, другие стояли в растерянности и не знали, что им делать. Растерялись и гости. Но потом на крышу, которая была как бы сценой, вышли известные певцы Арашил, Омар, Гази-Магомед да еще певица Патимат из Кегера. Две папахи, один платок, два пандура, один бубен. И полетела над горами новая песня. Это была песня о Ленине, о красной звезде, о красном Дагестане. Они пели ее, то высоко над головой поднимая пандуры и бубен, то прижимая их к груди.

Некоторых молящихся эта песня увлекла из мечети на улицу, некоторые, наоборот, ушли в мечеть.

Об этом забавном случае до сих пор рассказывают в ауле Гасана.

В составе культбригады был мой отец Гамзат Цадаса, а перед ним в седле сидел я, тогда ничего не понимавший.

На прощание гости подарили аулу патефон и громкоговоритель.

### 3. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ И ГАСАН

Не знаю, кто распорядился, скорее всего сам же Гасан, но только громкоговоритель, подаренный гостями, повесили на телефонном столбе около мечети. С утра до ночи теперь в ауле вещало радио. Репродуктор на все окрестные горы то трубил в пионерские трубы, то пел, то гремел музыкой, то говорил, то просто хрипел и трещал.

Иногда голос муэдзина с минарета мечети и голос радио смешивались, и тогда вообще ничего нельзя было разобрать.

И вот однажды, как раз перед тем, как муэдзину выйти на свой минарет, громкоговоритель умолк. Кто-то ухитрился перерезать провод на столбе. Когда правоверные отмолились в мечети, Гасан залез на столб и починил провод, громкоговоритель опять заговорил.

На другой день перед молитвой опять замолчало радио. Пришлось Гасану (когда отслужили в мечети) снова лезть на столб.

История повторялась много раз. Все недоумевали: почему Гасан не займется этим и не выследит «диверсанта»?

Каково же было удивление всех аульцев, когда оказалось, что радио каждый раз портил сам Гасан.

В нем боролись две силы: молитва и песня. Гасан их стремился примирить. Он считал, что коран и нормы жизни Советского государства должны сблизиться. Он венчал молодоженов в мечети, а потом вел их в сельсовет расписываться.

У него были свои методы изучения природы. Он останавливался и глядел на звезду или на скалу. Проходили часы, Гасан все стоял. Если ему надо было куда-нибудь отлучиться по делам, он просил постоять за себя жену, а иногда и нас, мальчишек.

В школе он объяснял нам законы движения небесных тел. Рассказывал он нам очень много о землетрясениях, о затмении луны и солнца, о приливах и отливах, и рассказывал как будто интересно, но странно, что теперь у меня в голове ничего не осталось от его рассказов.

В его программе все перепуталось — и арабское, и русское, и латынь.

На фанере он писал огромные арабские буквы и говорил:

— Учись выводить эти буквы. Твой отец всю жизнь читал и писал по этим буквам.

Потом он выводил такие же большие русские буквы и говорил:

— Учи их. Твой отец в возрасте, когда уже носят очки, выучил все эти буквы. Они тебе пригодятся.

Иногда он давал нам задание выучить какой-нибудь текст, а сам уходил в мечеть молиться.

Когда он обучал нас арабскому письму, в руках у него была палка, которой он и бил нас за ошибки или за нерадение.

Когда же дело доходило до русского алфавита, Гасан брал в руки линейку. Таким образом, нам попадало то от палки, то от линейки.

Попадало мне вот за что. Наш дом стоял рядом с мечетью. Между ними был проход не шире одного человеческого шага. Я повадился прыгать с крыши своего дома на крышу мечети. За это меня Гасан побил. Потом мечеть закрыли и организовали в ней что-то вроде сельского клуба. Я продолжал свои прыжки по-прежнему. Гасан снова наказал меня.

Отец одобрил Гасана и сказал мне:

— Ты не кузнечик, чтобы прыгать, учись ходить по земле.

А потом мне исполнилось семь лет, и мои прыжки кончились сами собой. Я начал учиться в школе Хунзахской крепости.

Никто не успел закончить школы Гасана, ее закрыли. Гасан стал работать на колхозной ферме, был послан на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку и вернулся оттуда с выставочной медалью. Две другие медали он получил на фронте. После войны он рассказывал:

— Где бы я ни был, я ни разу за всю войну не пропустил ни одного намаза. Если бы не это, разве я мог бы вернуться домой целым и невредимым?

Короче говоря, он остался все таким же Гасаном. Теперь он собирает материал по истории аварского хана Сураката. Человек он по-прежнему добродушный, честнейший, хотя и чужак.

Когда я бываю в ауле, я захожу к нему, потому что чту его как самого первого своего учителя.

Помню я и второго учителя, уже в нормальной школе. Этот все время рассказывал нам сказки о самом себе. Теперь-то я понимаю, что он был настоящим аварским Мюнхгаузеном. Каждый урок он начинал обыкновенно следующими словами:

— Ну, ребята, рассказать вам один случай из своей жизни?

— Расскажите! — дружно кричали мы.

— Как-то переходил я по канатному мосту через Аварскую Койсу. Тут навстречу мне идет огромный медведь. Разойтись нам никак нельзя, Медведь не хочет уступить дорогу мне, я — ему. В середине моста началась схватка. Этот медведь оказался гораздо сильнее всех медведей, с которыми мне приходилось встречаться раньше. Но все же я изловчился, ухватил его за загривок и сбросил в реку.

Мы разинув рты слушали небылицы нашего учителя.

— А на прошлой неделе поехал я в поле и спокойно начал пахать свой участок. Быки у меня хорошие, сильные. Но вдруг они остановились и перестали тянуть. Что случилось? Поглядел я, а всю мою соху обвили змеи толщиной с руку — девять змей. Две подбираются уже к моим рукам. Не будь плох, я выхватил наган и перестрелял всех змей. Крови было столько, что она оросила все

поле. Я спокойно допахал его и вернулся домой. Только вот беспокоюсь иногда: а вдруг на поле вместо хлеба вырастут змей?

Рассказать ли вам, как я похитил себе жену? В то время я занимался тем, что в Цунтинских лесах ловил разбойников. Пришел я в дом одного, самого страшного разбойника. Сам он успел убежать, но оставалась его красивая луноподобная дочь. Я посмотрел на нее, она — на меня. Мы полюбили друг друга. Я схватил ее, положил поперек седла, и мы поскакали. Вдруг вижу, за мной скачут сорок страшных разбойников. В зубах у каждого по кинжалу, в одной руке сабля, в другой пистолет. Я обернулся и меткими выстрелами уложил их всех до одного. Об этой истории знают все в Дагестане.

Однажды на уроке мы разговаривали с соседом Басиром. Учитель вызвал меня и строго спросил:

— Ты почему плохо себя ведешь? О чем вы целый час говорили с Басиром?

— Мы спорили. Басир говорил, что тогда в поле ты, учитель, убил восемь змей, а я говорил, что восемнадцать.

— Скажи Басиру, что прав ты, а не он.

С тех пор отец и мать всегда удивлялись, как это я, не уча уроки, умудрялся приносить из школы хорошие отметки.

Добрый он был человек, но долго на одном месте не задерживался. Его посылали в глухие аулы, то в Силух, то в Арадерих, но и там он не приживался.

Недавно он приходил ко мне в Союз писателей и просил, чтобы я дал ему какую-нибудь работу.

— А что бы ты хотел делать?

— Я мог бы писать воспоминания о войне. Ведь все маршалы были моими друзьями. Некоторых я даже спас от смерти.

Разные у меня были учителя, первый, второй, третий. Но по-настоящему первой своей учительницей я считаю добрую русскую женщину учительницу Веру Васильевну. Она открыла мне красоту русского языка и величие русской литературы.

Учителя в Педагогическом аварском училище, профессора в Литературном институте в Москве!

Мансур Гайдарбеков и Пospelов, Магомед Гайдаров и Галицкий, Шамбинаго, Радциг, Асмус, Фохт, Бонди,



Реформатский, Василий Семенович Сидорин... Я, конечно, плохо отвечал вам на экзаменах, так как плохо еще говорил по-русски. Но мне кажется, что экзамены мои еще не кончились. Иногда мне снится, будто я снова сдам трудные для меня экзамены, проваливаюсь, остаюсь снова на первом курсе.

Наяву же, когда выходит моя новая книга, я надеюсь, что, может быть, она попадет в руки кому-нибудь из моих учителей и будет прочитана ими. Тогда я трепещу больше, чем на экзаменах по языкознанию или древнегреческой литературе. Вдруг моя книга не понравится, ее отложат в сторону не дочитав, скажут про меня: «Плохо написал Расул, как видно, поторопился». Это и есть мой самый трудный экзамен.

Дагестан! И у тебя были разные учителя. Свои Гасаны, свои Мюнхгаузы. Некоторые сами не верили в то, чему учили, некоторые обманывали, иные заблуждались. Но потом пришла учительница великая и справедливая, мужественная и добрая. Эта учительница — Россия, СССР, Революция. Новая жизнь, новая школа, новая книга.

Раньше в целом ауле один только мулла мог прочитать письмо или книгу. Теперь все читают книги, кроме муллы.

У малого народа оказалась большая судьба. Еще пишется повесть о Дагестане. Нет и не будет у нее конца. Счастлив буду я, если в этой золотой и извечной книге окажется хоть одна и мной написанная страница. Я пою свою песню, прими ее, мой Дагестан!

Дагестан, все, что люди мне дали,  
Я по чести с тобой разделю,  
Я свои ордена и медали  
На вершины твои приколю,  
Посвящу тебе звонкие гимны  
И слова, превращенные в стих,  
Только бурку лесов подари мне  
И папаху вершин снеговых!

Вот и все. Пора нам расстаться. Как говорится, бог даст, еще встретимся.

#### *Конец второй книги*

*Она написана в разных местах: и в ауле Цада, и в Москве, и в Махачкале, и в Дилижане, и во многих других городах. Когда начал писать, не помню. Закончил 25 сентября 1970 года.*

*Вассалам, вакалам.*

## ● ПОСЛЕСЛОВИЕ

### КНИГА-ПОИСК, КНИГА-РАЗДУМЬЕ

Книги, книги — победы кровавые,  
Разве знаешь, высоты беря:  
Ты себя покрываешь славою  
Или кровь проливаешь зря?

Расул сказал (Перевел Н. Гребнев)

**М**ожет быть, категорично, но по существу, думается, верно: Расул Гамзатов не мог не прийти к «Моему Дагестану». Давно вызревал замысел книги, программной по значению и звучанию. Дело не в том, что сам поэт декларирует: «Теперь я понимаю, что, где бы ни скитался, какие бы песни ни пел — все время... была проза, которая ждала, когда к ней придет поэт». Важнее осознать другое: логика долгого художественного развития «вытолкнула» на поверхность именно такую книгу — книгу-обобщение, книгу, зафиксировавшую в форме развернутого повествования ту картину мира, фрагментами которой были стихи (не стоит, естественно, называть книгу итоговой: художник в пути, в работе, и лучшее его творение, хочется верить, впереди). Тут же приходят на память: «Всей грудью вздохнув, Дагестану ответил: «Немало краев повидал я, но ты по-прежнему самый любимый на свете» (из книги «Высокие звезды»), «Мне ль тебе, Дагестан мой былинный, не молиться, тебя ль не любить...» («И звезда с звездой говорит»), «Покарай меня, край мой нагорный, за измену твоей высоте» («Мулатка»), «Имя смакую твое по слогам: выдохнул «Даг», следом выдохнул — «стан» («Четки лет»). Переходя от книги к книге, видишь истоки становления той художественной целостности, которая получит название «Мой Дагестан». В стихах — точки вызревания, укрупнения образа Дагестана. Не случайно, когда читаешь в «Моем Дагестане»: «Мой аул, мои горы, мой Дагестан. Вот гнездо моих дум, моих чувств и стремлений» (вслу-

шайтесь: прямо-таки двустийшие), то воспринимаешь подобные фразы как необозначенные цитаты из стихотворений. Да и пафос раздумий, определивший смысловой настрой книги («Мои рассказы, мои раздумья!»), прямо связан с той тенденцией к медитативности, которая в последние годы доминирует в творчестве Гамзатова (в восьмисгишиях прежде всего). Что же это — повторение пройденного? Да, но повторение на качественно ином витке спирали творческого пути.

М. Чехов в «Пути актера» (1928) писал, что перед исполнением роли его «охватывало чувство предстоящего целого... Это будущее целое, из которого рождались все частности и детали, не иссякало и не угасало, как бы долго ни протекал процесс выявления. Я не могу сравнить его ни с чем, кроме зерна растения, зерна, в котором чудесным образом содержится все будущее растение». Эта мысль многое объясняет и в нашем случае. Ощущение Дагестана — смысловое ядро, точка отсчета, та ось, вокруг которой вращается самобытный художественный мир Гамзатова. В этом смысле Гамзатов — художник-однолюб, который «знал одной лишь думы власть», «одной-единой страсти ради» писал и пишет: «Дагестан — моя любовь и моя клятва, моя мольба и моя молитва. Ты один — главная тема моих книг, всей моей жизни». «Мой Дагестан» принимаешь как художественное доказательство и, если хотите, испытание верности генеральной темы. Испытание на жизненную прочность идеи, которая, пользуясь словами М. Горького, выделяется как идея «духовного собрания» Дагестана. Как солнце отражается в каждой капле, так эта идея нашла свое выражение на каждой странице «Моего Дагестана».

На своем языке, по-своему рассказал Гамзатов о **своем** Дагестане. Его книга — не копия, а версия, не эквивалент, а свободная избирательность авторского зрения. Настоячиво, упорно повторяется мысль о **своей** песне, **своем** Дагестане: «сотворился во мне мой собственный Дагестан», «мое представление о нем отличается от представления других людей», «каждый пишет о своем собственном Дагестане, Более пятидесяти лет писал мой отец. Не хватило жизни. Теперь пишу я».

Проза Гамзатова — не «набег» поэта на чужую территорию, а достижение той же цели — образная реализация темы Дагестана другими средствами. Перед нами просто иная форма существования поэтической мысли, иная жизнь слова, где поэтический порыв отменяет каноническое средостение между жанрами. Не оригинальности ради, когда изобретательность становится самоцелью, возникло иное бытие поэзии, а как результат поиска единственно возможной формы для адекватного воплощения замысла. «Мой Дагестан» Р. Гамзатова свидетельствует, — пишет Г. Ломидзе, — о щедрости красок советской многонациональной литературы, о больших, пока еще полностью не

обнаруженных и не использованных возможностях ее художественного обновления и развития».

Жанр — категория столь же родовая, сколь и индивидуальная, существующая не в отвлеченной умозрительной трактовке, а в конкретном художественном бытовании. Вольное смешение жанров — явление, так же хорошо известное в литературе, как и извечное стремление художника уйти от апробированных рецептов, от автоматизма восприятия, от условностей литературного выражения, спокойно предлагая недовольство блюстителей «чистоты» жанровых норм. К ним обращается Гамзатов: «Не удивляйтесь же, что в моей книге вы встретите то стихи, то прозу». И дальше: «Когда я смешиваю разные жанры в одном, это не значит, что я беру разные фрукты и режу их, чтобы перемешать и получить некий фруктовый винегрет. Но я хочу смешать их живыми, скрестить их, как это делают мудрые садоводы, и таким образом вырастить новый сорт».

Не будем забывать аксиому: талант всегда неожиданность, оборотная сторона которой — нетерпимость к штампу. Притча и быль, воспоминание и строки из записной книжки, легенда и предание, проклятие и напутствие, надпись и сказка, афоризм и анекдот, песня и поговорка — все это переплавлено в тигле вдохновенного сказа о Родине.

Поначалу пространственная организация повествования кажется слишком причудливой для того, чтобы в этой коллекции остроумных зарисовок и картин найти некое объединяющее начало. Потом понимаешь: здесь управляет не логика событий, а логика художественной идеи, признающей не причинно-следственную, а эмоционально-смысловую связь положений. На первый взгляд книга представляется собранием самостоятельных миниатюр, арифметической суммой обособленных «блоков», глав, вырванных из будущей книги. Но только на первый взгляд. В калейдоскопе сцен и фрагментов, сквозь их текучую подвижность четко проступает барельеф — образ Дагестана, образ Родины. Единство замысла, авторской позиции, организующая воля автора цементируют свободное сопряжение планов, интонаций, уровней повествования, снимая их кажущуюся несовместимость. Представьте себе разветвленный куст, каждая веточка которого восходит к одному корню... Можно сопоставить художественную структуру «Моего Дагестана» и с движением киноленты: каждый кадр (эпизод) сам по себе постольку автопомен, поскольку заявлен как элемент целого. Монтаж, обеспечивая органическое слияние кадров, оборачивается цельностью картины, целостностью нашего впечатления. Все миниатюры функционально связаны друг с другом, создавая особую напряженность текста. Назовите это вариациями на одну тему, репликами одного разговора — и вы не ошибетесь. Но соль

в другом — в безошибочном воплощении правды народного духа, самой непосредственности потока жизни, когда вечно живая реальность бытия преобразуется на уровне «второй реальности» — мира, созданного художником.

Пуристы, не замечая солнца, поспешат заметить пятна: некоторую немотивированность повторов, избыток сравнений, приверженность к сентенциям и фольклорным реминисценциям, стилевую разноголосицу. Частности, несущественные потому, что уведат от сути, которую надо уметь и хотеть увидеть за орнаментом, за узором, за плотностью и насыщенностью изобразительного ряда. Она, эта суть, в психологической точности воссоздания горской жизни, в обаянии художественной правды, которая вовсе не «пас возвышающий обман», а осмысленное воплощение правды, исторической правды.

Многонациональный, многокрасочный Дагестан — характерный и яркий образец природной и духовной неповторимости национального микрокосма. В 1924 году В. Брюсов писал: «Дагестан, со всем его **великим своеобразием** (подчеркнуто мною. — К. С.) и разнообразием природы, фауны и флоры, разноплеменного населения, еще мало исследован». Своеобразие жизненного материала, своеобразие творческой индивидуальности Гамзатова откристаллизовались в своеобразии художественного решения темы: в соотношении замысла и его образной интерпретации, материала и его трансформации есть что-то от системы сообщающихся сосудов.

Нелепо упрекать Гамзатова в «бунте» против правил, в отступлении от некоей нормы (кто возьмет на себя смелость квалифицировать, что есть норма в искусстве?). Вопрос надо ставить иначе: целесообразна ли выбранная стилевая манера, оправдан ли найденный ракурс, жизнеспособна ли избранная форма? И, наконец, соблюдено ли единство содержания и формы, на чем прежде всего базируется категория жанра? Утвердительные ответы не вызывают сомнений.

Когда А. Суворин пашел в «Скучной истории» то, чего в ней не было, А. Чехов ответил ему: «Если вам подают кофе, то не старайтесь искать в нем пива». Старое доброе правило: судить художника не по заранее принятым измерениям, а по законам, которые он сам признал таковыми. Сначала и в «Моем Дагестане» необходимо увидеть своеобразие эстетической реакции на мир, эстетического отклика, отмеченного печатью специфики художественного мышления, и только потом судить о книге.

Выпадение из известных жанровых схем, свобода от канона предопределили жанровую «промежуточность» книги. Но «давление» определенных жанровых образований она, бесспорно, испытывает. Здесь ощутимо влияние поэтики описательно-повествовательных жанров (повесть и повелла, документальный очерк и мемуары). С другой сто-

роны, очевидно и заимствование особенностей фольклорных жанров, сюжетов, мотивов. Явная соотнесенность с самой атмосферой фольклора, активное использование арсенала его композиционных и стилистических средств, элементов импровизации, театрализации свидетельствует о подчеркнуто уважительном отношении Гамзатова к устному народному творчеству, Самохарактеристика народа, «удостоверение его личности», как любит говорить поэт, его вкусов, воззрений, неподдельная поэтичность вымысла, непринужденность «бессознательно-художественного» (К. Маркс) познания мира, демократизм, социальный оптимизм — все это в представлении Гамзатова обеспечивало историко-культурную ценность коллективного творчества. Приемы, средства, идущие от фольклора, плодотворно использованы в «Моем Дагестане»: зачин («Говорят, что на месте моря некогда была...»), постоянные эпитеты, перифразы, параллелизмы (в том числе отрицательные: «ибо можно сходить за спичками к соседу, чтобы разжечь огонь в своем очаге, но нельзя идти к друзьям за теми спичками, которыми зажигается огонь в сердце»), тавтология (пример структурной тавтологии: «Дагестан состоит из трех частей: горы..., море... и все остальное» и «В мире есть только три песни: первая — песня матери, вторая — песня матери, а третья песня — все остальные песни»), тричность действия («трижды ударил плетью коня...», «в третий раз раздается стук»), событий («говорила же моя мать, ... говорил же мой отец, ... говорил же Шамиль»), явлений (см. главу «Три сокровища Дагестана»).

Не нужно быть особенно проницательным, чтобы заметить диалектичность художественного мышления Гамзатова. Как правило, исходное утверждение проверяется в отталкивании от возможной альтернативы, разрешение противоречий достигается через столкновение тезиса и антитезиса, предположение становится убеждением в проблемной ситуации выбора, где важна не позиция, как готовая данность, а путь к истине, процесс познания, осененный сомнением. После первых страниц, после диспута о названии книги, «механика» которого неоднократно повторится, стало ясно, что диалог в «Моем Дагестане» больше форма выявления противоречий, полярных суждений, чем просто метод само- и взаимохарактеристики персонажей. Обоснование через доказательство от противного — излюбленный прием Гамзатова. В третьей главе одна за другой следуют истории о «чересчур идейных товарищах», один из которых пудно и много говорил о своей идейной выдержанности, второй черным по белому писал в заявлении: «Несмотря на все мои усилия и даже физические воздействия, моя жена недостаточно прилежно читает «Краткий курс истории ВКП(б)». Прошу райком воздействовать на мою жену с целью содействия ее идейному воспитанию», третий же призывал «создать

в нашем городе новое кладбище на более высоком идейном уровне» (на старом, дескать, погребены верующие). Эти, пусть и полуанекдотические, случаи, лишь компрометирующие понятие «идейность», активизируют гражданские раздумья автора о подлинной и мнимой идейности. И вывод уже трогает как живая волнующая истина: «Идея не та вода, которая с грохотом мчится по камням, разбрасывая брызги, а та вода, которая незримо увлажняет почву и питает корни растений».

На диалектическую сущность мира, конфликтность его начал Гамзатов всегда остро реагировал (достаточно сослаться на книгу стихов «Мулатка»). Поэта вообще привлекает двойственность определенных явлений и понятий. Как интересно «обыгрывает» он двойственность и названия книги («Мой Дагестан» и «Маленькое окно на великий океан»), и географического положения Дагестана («комитет единства Европы и Азии»), и некоторых аварских слов («баккан» — это и мелодия и самочувствие; «узден» — человек и свобода; «ригь» — возраст и дом, «миллат» — нация и забота). Два крыла птицы, две струны пандура, два лезвия кинжала, две матери (Дагестан и Россия) — сквозные, рефренные образы. Выстраивается и другой ряд. Огонь и родник, горы и море, любовь и ненависть, истина и ложь, добро и зло, непосредственность Абуталиба и профессионализм композитора Гасанова — эти антонимические пары, эти понятия-сигналы, понятия-лейтмотивы обрели у Гамзатова не только значение первоэлементов, оценочных знаков человеческого бытия, но и многозначность, объемность, емкость поэтических символов.

В книге чувствуется пульс трудного осмысления единства мира: признание его раздробленности и понимание его гармонической нерасчлененности. В соотношении противоположностей, которые, исключая друг друга, в то же время взаимопроникают друг в друга, источник развития, движения. Само повествование — сплав разнохарактерных, несовместимых, казалось бы, интонаций: дух полемики («я знаю литераторов, которые сегодня делают то, что выгодно делать сегодня...», «Некоторые художники, не имеющие таланта, терпения и гордости, чтобы сбыть свой товар, ... рядятся в чужие одежды...») и созерцательная неторопливость («Я медлю произнести слово»), неожиданность вымысла и почтительное повторение известного («Об этом есть и рассказ, может быть, уже слышанный не однажды... Но не могу не рассказать его и я»), окрыленность романтического воодушевления и несуетная, сосредоточенная попытка проникнуть в «тайное тайных» творчества, вдохновенный лирический монолог («Мой родной аварский язык! Ты мое богатство, сокровище...») и трезвый самоанализ («Я был тенью времени. Я не знал тогда, что поэт не может быть тенью, что он всегда огонь...»). Статика противопоставления Гамзатову

неинтересна, он высекает искру из гармонии контраста: «Я хочу, чтобы Абуталиб и Годфрид соединились в моих стихах... Какая воистину великолепная симфония получилась бы, если бы слить в один эти два больших и сильных таланта: простой народный талант Абуталиба и профессиональный, образованный талант Гасанова».

«Мой Дагестан» написан талантливо — этим он прежде всего интересен. Но что значит — талантливо? Что есть талант? «Дорогой Расул, этот парень — наш близкий родственник и хороший человек. Помоги ему стать таким же известным поэтом, как ты сам» — с такой запиской пришел к поэту некий молодой человек, который «пускался на дебют», не подозревая, «что строчки с кровью — убивают, нахлынут горлом и убьют!». Были у него и другие, столь же «исотразимые» рекомендации: «В справке из сельсовета говорилось о том, что такой-то действительно является племянником знаменитого поэта Махмуда из Кахаб-Росо и что сельсовет считает его достойной кандидатурой в известные поэты». Как заманчиво просто: захотел стать поэтом — и становишься им, стоит только запастись пужными бумагами. Есть и такие, которые всерьез штудируют в надежде стать поэтом научно-просветительские книжонки типа «Практическое руководство, при помощи которого каждый может легко выучиться писать стихи» или «Сборник примеров и упражнений для самоизучения в самое короткое время и не больше как в пять уроков сделаться стихотворцем». И невдомек и тем и другим, что все дело в прекрасном, бесценном, непостижимом даре, который именуется талантом. Неуловимое, неизвестно где бытующее в человеке нечто — талант. Всем загадкам загадка: «Что ты — совесть, честь, мужество или, может быть, страх?» Каскад вопросов: «Может быть, сила таланта просто в уме?.. в упорном труде?.. в человеческой слабости, в бедности?.. в одном зрении?.. в богатстве?.. в начитанности и эрудиции?». Гамзатов избегает однозначных определений, предвидя их роковую ограниченность. За главой «Талант» идут, как звенья одной цепи, главы «Работа», «Правда. Мужество», «Сомнения». Что ж, формула найдена: талант есть работа плюс сомнения? И да, и нет: ни одна из формул не исчерпает существо таланта.

Стремление проникнуть в природу таланта **выводит** Гамзатова к кардинальным проблемам творчества. Цель и смысл искусства. Становление творческой личности. Своеобразие и предопределенность пути художника. Традиции и предпосылки новаторства. Долг и совесть художника. Слово как дело. Сила и слабость слова. Сомнение как источник совершенствования... Беспокойные, волнующие каждого художника вопросы. Мучительным напряжением мысли оплачены раздумья автора «Моего Дагестана». Во многих главах («Тема», «Стиль», «Сюжет») — прочные приметы теоретического эссе, и подчас



Гамзатов не останавливается перед формулировкой правил творческого поведения (например, советы критику в главе «Сомнения»), хотя тут же идет на ироническое снижение многозначительности заявки. Не претендуя на создание аксиом, он как бы предлагает попытку систематизировать ту «информацию к размышлению», которую дает собственное творчество, прокомментировать процесс самодвижения силы, заключенной в «зерне», вскрыть те возможные условия, которым дано сотворить эффект художественности. Он открывает перед читателем изнанку своего ремесла, крупным планом подавая технологические подробности. То, что обычно остается «за кулисами» и называется «творческой лабораторией» или планом будущего здания, вводится в художественное целое как его полноправная часть. Первые четыре главы (о предисловии, о замысле, о смысле книги, о ее форме) — это и формальное начало книги, и преддверие самой книги, мысленный прогноз, предощущение дела, размышление на берегу реки перед тем, как вступить в воду. Книга — не результат в его законченности, а путь к нему, как бы *tabula rasa*, чистая доска, которая заполняется письменами на глазах читателя, когда вместе с ним художник пытается угадать момент зарождения образа, превращения факта жизни в факт искусства.

В «Моем Дагестане» нет того, что требовал Аристотель от эпического поэта: рассказать «о событии как о чем-то отдельном от себя». Всепроникающий лиризм отменяет дистанцию, отделяющую автора от героев. О конструктивной, жанрообразующей роли лиризма в «Моем Дагестане» писали много. Поэтическое — не привнесенный каталлизатор, а сам пафос произведения, свечение души, сама «истина чувств» (А. Пушкин), не формальный атрибут, а содержательный момент, особое чутье, отношение, дар неоднозначного видения, то нечто, которое, пронизывая каждую клетку художественной ткани, без остатка не переводится в слова. То, что М. Пришвин назвал «излучением чувства жизни в пространство». Поэтическое ничего общего не имеет со свободой неуправляемой эмоции. Оно сопряжено с внутренней свободой самовыражения, которая в себе находит спасительную меру выразительности, чувство пропорции, равновесия, сама себе полагает русло ограничения. «Душа стесняется лирическим волненьем», «Я думаю стихами» — как нельзя лучше эти пушкинские слова характеризуют постоянное, имманентное состояние аварского поэта. Поэма в прозе, цикл стихотворений в прозе... Обозначения напрашиваются сами собой, хотя исчерпывающими их не назовешь. Поэтическое, как бродильное начало, подпочва определяет движение образов, сказывается на общей тональности, на интонировании текста, на его синтаксическом членении (краткая «рубленая» фраза, как стихотворная строка в прозаическом изложении), на «инструментовке» высказы-

вания. Да и в ритмообразующей службе повторов при нагнетании одной «ударной» мысли, разнообразной по словесному оформлению, чувствуешь ритмическую дисциплину стиха: «Разве я не был тогда поэтом? Разве мое сердце билось реже, а кровь была холоднее? Разве печали терзали меня слабее, а радость была менее радостна?» В стихии поэтического истоки и того щедрого метафоризма, который позволил одному из критиков увидеть в «Моем Дагестане» «праздник метафор». Метафоры обильными пригоршнями рассыпаны в тексте. С «засильем» метафоризма связано и такое определяющее качество художественного мышления Гамзатова, как ассоциативность восприятия. Появление таланта, например, объясняется через ассоциативный «ход»: блеск молнии, радуга в небе, дождь в пустыне. Поэт увидел на заводе Форда испытательную горку, и незамедлительно рождается продолжение: «Для писателя такой проверочной горкой должно быть то место, где он родился». Возможности метонимии использованы и в том эпизоде, где говорится о сгоревшей рукописи: «Говорят, что самая большая рыбина та, которая сорвалась; самая красивая женщина та, которая ушла от тебя». Или: «Пустую раковину я нессу на поверхность из морских глубин или обнаружится в раковине полновесная матовая жемчужина?» Это о книге, о «Моем Дагестане».

Критика, конечно же, сразу выделила ее генетическое родство с тем направлением советской литературы, которое принято называть лирической прозой. Наши представления о лирической прозе, как «прозе, наполненной сущностью поэзии» (К. Паустовский), во многом определили «Дневные звезды» О. Берггольц, «Владимирские проселки» В. Солоухина, автобиографические повести К. Паустовского, «Зачарованная Десна» А. Довженко. В. Оскоцкий в работе «Богатство романа» (1976), анализируя «Мой Дагестан» в ряду таких книг, как «Лирические этюды» Э. Межелайтиса, повести М. Стельмаха «Гуси-лебеди летят...», «Щедрый вечер», роман Я. Брыля «Птицы и гнезда» (я бы добавил сюда и другую его книгу — «Горсть солнечных лучей»), верно выносит традицию лирической прозы за границы советской литературы — к «Былому и думам». Можно для «Моего Дагестана» подыскать и более близкую аналогию в дагестанской литературе: опыт Э. Капиева, книга которого «Поэт» многое дала Гамзатову.

В лирической прозе сюжетные функции берет на себя лидерство личностного начала, суверенное «я» повествователя, который ведет рассказ «на виду у всех и наедине с собой» (О. Берггольц). И у читателя возникает ощущение знакомства с каким-то интимным, предельно искренним письмом, которое почему-то обнародовали. Родовые признаки лирической прозы — доверительность, исповедальность, откровенность, интенсивность переживания, чистота и естественность

тона. Сказать о времени — значит сказать о себе. И наоборот. Поэтому поэтическая биография республики читается и как автобиография, поэтому художественный портрет Дагестана несет в себе черты и автопортрета. «Мой Дагестан» — не «учебник о Дагестане», а взволнованное признание в любви. Откровение, личное открытие Родины, самоочищение перед судом Отчизны и Совести.

Коль скоро заговорили о литературных явлениях, так или иначе связанных с книгой Гамзатова, то хочется добрым словом упомянуть и предшественников, тех, кто не обошел стороной тему Дагестана. Тем более сам Гамзатов пишет: «Я ищу, Дагестан, твое имя и нахожу его написанным на разных языках». Есть что вспомнить...

«Явно увлечен жизнью диких и вольных горцев» — это В. Белинский о А. Пушкине.

«В полдневный жар в долине Дагестана...» и «Синие горы Кавказа, приветствую вас!.. вы к небу меня приучили...» — с детства знакомые каждому лермонтовские строки.

«И ты сей жребий испытал, Чир-Юрт отважный, непокорный!» — это из поэмы А. Полежаева «Чир-Юрт».

«И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история» — история, которая под пером Л. Толстого превратилась в классического «Хаджи-Мурата».

Снова В. Белинский: «В них так много чувства, так много оригинальности, что и Пушкин не постыдился бы назвать их своим». Более чем высокая оценка горских песен, которые позднее обратят на себя восторженное внимание А. Фета и Л. Толстого.

Образы дагестанцев в «Записках из мертвого дома» Ф. Достоевского, бунинский «Дагестан» («лежит аул: дракон тысячеглазый гнездится в высоте»), дерзкая метафора Б. Пастернака:

Каким-то сном несло оттуда,  
Как в печку вмазанный казан,  
Горшком отравленного блюда  
Внутри дымился Дагестан.

«Мой Дагестан» — голос самого Дагестана. Не взгляд со стороны, каким бы глубоким он ни был в познании ипостаси самобытности, а сама самобытность, заявившая о себе «во весь голос».

Голос Дагестана... Голос Шамиля. Голос отца. Голос Абуталиба. Голос автора. Соположение голосов, объединенных при многообразии индивидуальной окраски единством темы, идеи, истины.

Гамзатову хорошо известны эстетические возможности и собственно прямой речи, и диалога — тому подтверждение пресс-конференция, которую вел Абуталиб (глава «Слово»). Многоголосие, пере-

сечение, переключки точек зрения, взаимопритяжение голосов («Отец любил говорить... Абуталиб вторил ему...», «Отец говорил... Абуталиб говорил... А я говорю...») стимулирует полифоническое развертывание образа Дагестана в исторической перспективе.

В сознании Гамзатова связь времен, преемственность — это живой контакт с нетленными морально-этическими ценностями прошлого, ориентация на действенность традиций, в контексте которых многомерность целостного народного сознания противостоит разорванности личностного сознания. Отсюда стремление не «бесстрастной мерой» поверить пути-перепутья народные, а глубоко заинтересованно, с болью и волнением поведать о них, дойти «до оснований, до корней, до сердцевины» родной истории. До самой сути: «Я смешаю века, а потом возьму самую суть исторических событий, самую суть народа, самую суть слова «Дагестан».

Шамиль, отец, Абуталиб — олицетворение лучших нравственных качеств, присущих народу, выражение искомой сути, носители и хранители неписаного кодекса горской чести и благородства. Гамзатову, наследнику их дел и помыслов, дорого, близко настроение, запечатленное однажды И. Буниным:

Поэзия не в том, совсем не в том, что свет  
Поэзией зовет. Она в моем наследстве.  
Чем я богаче им, тем больше я поэт.

В устах Гамзатова характеристика, которую он дал отцу: «Мой отец был простым работником, в нем жили все привычки и все качества нашего народа, и он с достоинством носил их в себе», звучит аттестацией народного характера вообще. Уроки отца (один из них: «Твой стиль, твоя манера, то есть твой нрав и характер, должны стоять в стихах на втором месте. На первое же место нужно поставить нрав и характер своего народа»), письмо-завещание Шамиля («Мои горцы! Любите свои голыс, дикие скалы...»), мудрость Абуталиба — все это означает не только возвращение «на круги своя», но и нечто более значительное: общение с учителями, обретение надежных ориентиров, выбор опорных координат, гарантирующих жизнестойкость, сущность личности и слова художника. Тот камертон, по которому настраивается авторское отношение к жизни, тот заветный родник, который поддерживает силы так же, как поддерживал когда-то большого Гамзата Цадасу глоток воды из колодца в ущелье Буцраб (родник, Родина — однокоренные, точнее — односмысловые слова).

В детстве отец наказал маленького Расула за ложь, невинную, но — ложь. И тот урок — «на свете нет ничего страшнее лжи» — Гамзатов пронес через годы. В его обращении к читателю зеркально отра-

зилось былое наставление отца: «Если же ты обнаружишь хотя бы крупницу лжи, не медли, выбрось всю книгу целиком — она никуда не годится». Как отразилось оно и в известном восьмистишии о трех поэтах, один из которых только ругал мир, другой только хвалил, но прав оказался только третий: «все то, что плохо, он назвал плохим, а что прекрасно, он назвал прекрасным».

Подробные, яркие воспоминания об отце предшествуют рассказам «День, проведенный с Абуталибом» и «Новая квартира Абуталиба». Житейская достоверность, неоспоримая характерность — этого не отнять у Абуталиба. Но перед нами не индивидуализированный характер, а скорее метафоризированный герой или, как сказано в «Гамбургской драматургии» Г. Лессинга, «скорее олицетворенная идея характера, чем охарактеризованная личность». Обобщенно-типическая материализация народных представлений о жизни, эмблемное выражение сущности народного духа. Гамзатов, создавая образ Абуталиба, не скрывает, что многое дала ему колоритная фигура лакского певца Абуталиба Гафурова. Но некоторые склонны переоценивать влияние прототипа на персонаж, настаивая на знаке равенства между Абуталибом Гафуровым и гамзатовским Абуталибом. С подобной ситуацией столкнулся и Э. Капиев. Художнику Н. Лакову, который оформлял «Поэта», он в 1941 году писал: «Сулейман не должен быть с портретным сходством — ты угробишь идею всей книги. Наш герой должен быть в типе Стальского — почти Стальский, но выразительней, гораздо острее и колоритней, чем Сулейман. Ты понимаешь, — это должен быть обобщающий образ народного певца (человека из народа, сына Каьказа), который (дай бог нам силы!) должен войти в литературу, как Кола Брюньон или Дон-Кихот». «Обобщающий образ народного певца» — это сказано и об Абуталибе Гамзатова.

Обнаруживая в конкретных человеческих судьбах первооснову национальной жизни, Гамзатов далек от абсолютизации ее исключительности. Он видит правду на путях познания диалектики единичного и всеобщего. Чувство национальной гордости наполняется иным, безмерно более значительным смыслом, выходя на простор интернациональной общности. Неприкосновенность первозданного — иллюзия, химера; пафос интернационализма — реальная сила, властное требование времени. Мысль о несостоятельности национального отчуждения красной нитью проходит через «Мой Дагестан».

Дагестан и мир. Преданность родной земле и сопричастность к судьбам мира. «Люблю тебя, мой маленький народ» и «Шар земной, для меня ты — лицо дорогое». Исток и устье. Семьдесят очагов родного аула и «белый свет, что распахнут всегда и лежит предо мной на четыре стороны от аула Цада». Очарование отеческого уголка, достоинство национальной культуры и размыкание границ националь-

ного и человеческого опыта, выход в сферу мировых интересов, приобщение к достижениям других народов, расширение горизонтов. «Мой Дагестан», по мнению Ю. Борева, «не только величальная песнь во славу маленького горского народа, но и поэма о его вхождении в человечество». Не отрываясь от корней, Гамзатов на тесном пятке локального пространства поставил проблемы общечеловеческие, сказал о мире, говоря о Дагестане, раскрывая себя: «Чувство родины я нахожу во всех явлениях мира и во всех его уголках. И в этом смысле моя тема — весь мир». Всегда и всюду, будучи «специальным корреспондентом Дагестана», он называет себя и «специальным корреспондентом общечеловеческой культуры». Сопереживание, сострадание, волнение, чуткая отзывчивость, преодолевающая во имя гуманизма и братства языковые, эгипетские, географические барьеры, — таково душевное самочувствие автора «Моего Дагестана», который не понаслышке знает, что такое ответственность «за всю планету. Двадцатый век. Нельзя жить иначе». Беспокойство за человека, где бы он ни жил, потребность быть на страже его достоинства, где бы ни угрожали ему, чувство ответственности за события, где бы они ни произошли, — святая привилегия, высокая добровольная обязанность литературы, неизбежно причастной ко всему живому.

...Почти четверть века отделяет первую публикацию «Моего Дагестана» в «Новом мире» (1967) от первой книжки Гамзатова «Пламенная любовь и жгучая непамять». Много воды утекло с того дня, когда Гамзат Цадаса со свойственной ему сдержанностью отозвался о стихах сына: «Если взять щипцы и порыться в этой золе, то можно найти уголек хотя бы для того, чтобы прикурить папиросу».

Рано повзрослевший (из ранней поэмы «Разговор с отцом»: «О зрелость моя! Мне исполнилось тридцать»), поэт навсегда усвоил, что «нужны не громкие удары в барабан, не треньканье на пандуре, а зоркость, чуткость, совесть перед поколениями, которые придут завтра».

«Мой Дагестан» вышел из-под пера чуткого, совестливого художника. Правда о Дагестане, раздумья о Родине волнуют, и веришь вместе с Гамзатовым «тем геологам, которые говорят, что и в маленькой горе может оказаться много золота». Ученый и переводчик, пропагандист советской литературы Ежи Ендженевич в послесловии к польскому изданию «Моего Дагестана» заметил: «Мы, поляки, можем сказать, что **его** Дагестан является и **нашим** Дагестаном». Можно ли сказать лучше?

Очень дагестанский писатель, принадлежащий миру, Расул Гамзатов подарил читателю талантливую книгу — краткую лирико-философскую энциклопедию малого народа, сокращенную, сжатую летопись движения народного духа во времени.

*Казбек СУЛТАНОВ.*

## ● СО Д Е Р Ж А Н И Е

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| КНИГА ПЕРВАЯ . . . . .                                                 | 7   |
| КНИГА ВТОРАЯ . . . . .                                                 | 235 |
| КНИГА-ПОИСК, КНИГА-РАЗДУМЬЕ. <i>Послесловие</i> К. Султанова . . . . . | 418 |

**Расул Гамзатович ГАМЗАТОВ**

**МОЙ ДАГЕСТАН**

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1977, 432 стр. с илл.

Редактор приложения **Е. Мовчан**

Редактор **Л. Цуранова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **Л. Сухоставская**



А07069. Сдано в набор 20/I-77 г. Подписано в печать 24/V-77 г.  
Формат 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бум, печ, № 1. Печ. л. 13,5. Усл. печ. л. 22,68.  
Уч.-изд. л. 22,9. Зак. 1452. Тираж 200 000 экз.

**Цена 1 руб. 10 коп.**



Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»,  
Москва, Пушкинская пл., 5.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».  
Москва, Краснопролетарская, 16.

**В 1977 году  
издается 15 книг  
библиотеки  
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

**Т. Ахтанов** — Буран. Роман. Повесть. Драматическая поэма. Перевод с казахского.

**Г. Березко** — Необыкновенные москвичи. Роман. Повести.

**Э. Бээкман** — Трилогия о Мирьям. Перевод с эстонского.

**В. Богомолов** — В августе сорок четвертого... Роман.

**Е. Воробьев** — Незабудка. Повести. Рассказы.

**М. Галшоян** — В Каменной долине. Роман. Повесть. Перевод с армянского.

**Р. Гамзатов** — Мой Дагестан. Повесть. Перевод с аварского.

**Н. Думбадзе** — Солнечная ночь. Романы. Перевод с грузинского.

**В. Земляк** — Лебединая стая. Роман. Перевод с украинского.

**Избранное «Дружбы народов».** Сборник.

**И. Науменко** — Сорок третий. Роман. Перевод с белорусского.

**Не считай шаги, путник!** Сборник. Выпуск второй.

**Б. Полевой** — На диком берегу. Роман.

**В. Распутин** — Живи и помни. Повести.

**В. Санги** — Женидьба Кевонгов. Романы. Повести. Рассказы.



Scan Kreyder - 13.04.2018 - STERLITAMAK

